А.С.СЕРАФИМОВИЧ

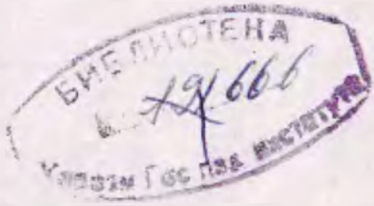
БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
КЛАССИКА

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 3



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Г. Ершова

Составление
И. Попова

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

© Издательство «Правда». 1980.
(Составление, Примечания. Иллюстрации.)

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В ДЫМУ ОРУДИЙ

ПОХОД

I

Мне только что приснился какой-то приятный и интересный сон, и мне ужасно хотелось, чтобы он и дальше снился, но наша нянька немилосердно теребит меня, стараясь поднять и посадить на постель.

— Костя, Костечка, вставайте, уже запрягают. О господи, да вставайте же!

Но как только она меня выпускает, я сейчас же опять падаю на подушку, забиваюсь под одеяло, закрываю глаза и стараюсь привести себя в то состояние, в каком только что перед этим застало меня разбуженное сознание, чтобы «доснился» тот приятный сон, который я видел и подробности которого сейчас же по пробуждении стерлись в памяти. Но потревоженное сознание непослушно начинает работать в другом направлении. Ощущение теплоты нагретой телом постели, уютность гнездышка, в котором я лежу свернувшись калачиком, прерванный сладкий утренний сон и жесткие нянькины руки, что не дают мне покоя, а главное — сознание, что в конце концов меня все-таки подымут и опять надо будет сидеть в этом гадком экипаже и целый день ехать шагом за полком,— все это вместе не дает мне привести себя в то состояние, в котором мне было так приятно.

— Нянечка, милая, ну хоть немножечко, чуть-чуть, одну минуточку, я сейчас встану.

— Да нельзя, вставайте, вставайте, нельзя же, ведь мамаша ждут.

— Ну я сейчас, ей-ей, сейчас... ну встану, отойди только к двери.

Нянька с сердцем отходит и начинает одевать маленького брата и сестренку, которые сидят на груде по-

душек, уложенных вместо кроватки на сдвинутые среди комнаты скамьи, и протирают ручонками заспанные глаза.

Как только нянька отошла, я сейчас же юркнул под одеяло, высоко подбросил его ногами, чтобы оно легло надо мной пузырем, закрылся с головой и стал усиленно дышать, чтобы нагреть воздух в образовавшемся надо мной пустом пространстве. Про свой сон я уже забыл, мне просто хотелось поваляться в постели. Впечатления обычно начинающегося походного утра стали толпиться в голове. Мне представилось, что теперь уже подвинули к крыльцу длинный фургон, в котором мы ехали, и денщики укладывают багаж и сейчас заберут подушки, на которых я лежу, и что Нефед, наверное, подал самовар и казаки навесили лошадям овес. Потом я вспомнил командира пятой сотни, толстого низенького офицера с несоразмерно развитым животом и в то же время проворного, юркого и веселого. Он постоянно дразнил меня и шалил со мною. Вспомнил, как раз он посадил меня с собой на лошадь и я на ходу чувствовал позади себя его большой живот. И как только я вспомнил про это, я в то же мгновение радостно вспомнил, что ведь с сегодняшнего именно дня отец разрешил мне ехать вместе с полком уже не в фургоне с матерью, братом и сестрой, а верхом на Калмычке, небольшой буланой лошади, которую он незадолго перед тем купил. И как только я вспомнил про Калмычка, я в ту же секунду припомнил и тот сон, что снился мне и который я забыл. Мне именно и снилось, будто я еду верхом на Калмычке вместе с казаками.

Я уже сделал движение, чтобы сбросить с себя одеяло, поскорее одеться и побежать посмотреть, не оседлали ли Калмычка, но в это время подошла нянька, и я опять зарылся в подушки, и, хоть мне душновато было под одеялом, я не шевелился и притворился спящим. Нянька без церемонии стащила одеяло и, поддерживая меня одной рукой, другой торопливо и сердито старалась надеть на меня штаны. Я же умышленно сгибал ноги, точно сонный, так что она никак не могла справиться.

— Да что же это вы, господи, ведь мамаша велели... пойду, пойду сейчас скажу, что не хотите одевать-

ся. Вон Сусанночка и Алеша какие умнички, оделись, а вы что это? Пойду сейчас скажу.

Брат и сестренка действительно были одеты и уже играли. Мне и самому хотелось поскорее встать и выбежать на двор, но какой-то злой бесенок шептал мне, чтобы я не одевался, что нянька теперь злится, что она хочет нажаловаться на меня и что она нарочно похвалила Сусанну и Алешу, чтобы заставить меня скорее одеться, и я опять зарылся в подушки.

Нянька потеряла терпение и с сердцем встряхнула меня. Я вырвался у нее и заплакал, стараясь громче всхлипывать, чтобы услышала мать.

— Уйди, уйди... не буду одеваться, уйди от меня!

— Ну чего же плачете? — говорила нянька сдержанным, уже заискивающим голосом, подавляя злобу, но я продолжал плакать, пока не вошла мать.

— Что у вас тут? Ты чего плачешь?

Я всхлипывал, ничего не отвечая.

— Ты что плачешь? — переспросила мать, заботливо наклоняясь.

— Да они вот не хотят одеваться,— проговорила нянька, натягивая мне чулки.

Я уже ничего не отвечал и не оправдывался, желая показать, что меня обидели, и только утирал слезы.

— Вечно, Анисья, ты с ребенком что-нибудь сделаешь. Ведь сколько раз я тебе говорила...

— Да, ей-богу, барыня, я только разбудила их и говорю: «Надевайте шаровары», а они стали плакать.

Нянька передавала дело несколько иначе, и мне приятно было, что она боится матери и принуждена лгать. Но мне хотелось, чтобы ей досталось побольше.

— Мама, она меня побила.

— Ну-ну, одевайся, одевайся,— проговорила мать, не совсем доверяя моим словам, чувствуя, что и я, вероятно, не совсем прав, и не желая в то же время бранить при мне прислугу.

Мне сделалось немножко неловко и обидно, что няньку не выбранили хорошенько за меня, и я молча стал надевать свои сапожки.

Как только мать вышла, мне захотелось поскорей забыть всю эту неприятную историю с нянькой. Я снова вспомнил, что я сегодня поеду верхом на Калмычке, и мне опять сделалось весело.

Я побежал в другую половину хаты, где мы квартировали, попросил Нефеда, нашего денщика-повара, полить воды, быстро умылся и, освеженный холодной колодезной водой, прибежал к матери.

Она сидела за простым белым крестьянским столом, на котором шумел начищенный походный самовар. Кругом на полу, на лавке, на складном стуле стояли корзины, лежали мешочки и сумочки с дорожными припасами и какие-то свертки из синей сахарной бумаги. Мать разливала чай и то и дело доставала из корзин то то, то другое, или торопливо рылась в них и потом вдруг вспоминала, что то, что она искала, уже вынуто и лежит на столе. В хату беспрестанно входили и выходили денщики, вынося подушки, сундуки, узлы. Нянька суетилась около детей, которых усадила к столу, нагромоздив на лавках подушки, чтобы было не низко сидеть, и поила их чаем. Маленькая четырехлетняя сестренка что-то рассказывала, размахивала ручонками и все не хотела пить чай, а нянька уговаривала ее и обещала, что они сейчас пойдут «тпруа» и их повезут лошадки.

Я подошел к матери, сказал: «С добрым утром, мама» — и поцеловал у нее руку. Радостное и оживленное чувство наполняло меня ввиду предстоящей езды верхом на Калмычке, и мне хотелось особенно приласкаться к ней, но заботливое выражение ее лица и торопливость, с какой она старалась поскорее окончить чай, чтобы не опоздать к выступлению, удержали меня.

— Пей, Костя, сейчас и выезжать будем.

— Мама, вы мне дайте булку с маслом, а чаю я не хочу.

— Ну вот еще что. А потом выедем, голодный будешь! Садись пей.

Я сел и стал торопливо глотать горячий и сладкий чай, чтобы поскорее отделаться и побежать к Калмычку.

Отца не было. Он служил в полку казначеем и бо́льшую часть времени проводил у полковника. Они вместе и уезжали на следующую станцию впереди полка. Мать между тем распоряжалась, спешно отдавая приказания: то надо было взять свежего молока на дорогу и вымыть хорошенько бутылки, в которых оно бы не прокисло, то воды захватить, то сварить детям яиц

всмятку и уложить их в гарнец с овсом,— и постоянно раздражалась, потому что суетившаяся прислуга забывала сделать, что приказывали, или делала не так, как было надо.

Это повторялось каждое утро вот уже две недели с тех пор, как мы присоединились к полку, и я привык ко всему этому, но сегодня вся эта суета показалась мне необыкновенно мелочной и совершенно ненужной. Они все суетились и заботились о каком-то молоке, яйцах и как будто не знали, что я сегодня должен ехать на Калмычке.

Наконец я, поминутно обжигаясь, кое-как допил свой чай и, насилу отбившись от стакана молока, который мать непременно хотела заставить меня выпить, выбежал из хаты.

III

Недалеко от дверей действительно стоял наш неуклюжий длинный фургон, обтянутый черной кожей. Денщики выносили из хаты чемоданы, узлы, подушки и подавали в фургон; там их подхватывал Нефед и, стоя на коленях и согнувшись всей своей огромной фигурой, быстро и ловко укладывал и прилаживал по местам.

Я взлез на переднее колесо и заглянул внутрь.

— Нефед! А я сегодня на Калмычке поеду.

Он торопливо всунул между узлами бывший у него в руках мешок и повернул ко мне свое вспотевшее, гладко выбритое лицо с рыжеватыми усами и с синевшим подбородком, по которому упрямо пробивалась из-под кожи жесткими иглами щетина.

— О! Али папаша позволили?

— Позволил. Вчера при мне просил майора, чтобы он велел казаку оседлать. Я с майором и буду ехать.

— Ай да молодцы! Теперича настоящими казаками будете. Ну-ка, покажите им всем, как донцы ездят.

Когда Нефед сказал это, мне представилось, что я и на самом деле кому-то покажу что-то, и я торопливо соскочил с колеса, с нетерпением ожидая, когда это все будет готово, но, вспомнив, что я его хотел спросить о Калмычке, опять забрался на дышло.

— Нефед, а Калмычок где?

— Поить с упряжными повели.

Я опять спрыгнул на землю и побежал на край деревни, чтобы встретить с водопоя Калмычка. Здесь кучками стояли казачьи лошади и громко жевали свою обычную дачу овса, мотая головами и высоко вскидывая торбы, чтобы захватить со дна последние зерна. Казаки суетились вокруг, разбирали седла, оправляли потники. Когда же лошадь, поев овес, неподвижно стояла, понурив голову, они быстро сдергивали торбу и начинали взнуздывать, задирая ей морду и с силой втискивая между зубов железные удила, которые она потом долго жевала, стараясь выбросить языком. Щеголеватые, выхоленные, успевшие уже за поход раздобреть вахмистры, с заломленной набекрень фуражкой, похаживали между рядами и строго поглядывали кругом с сознанием своей начальнической силы и достоинства, делая то тому, то другому из казаков замечания в весьма сильных выражениях.

— Никак, седлать? — проговорил возле меня маленький шустрый казачок, поднимая седло и расправляя стремена, чтоб вскинуть его на лошадь.

Недалеко на пригорке действительно показался трубач. Я побежал к нему. Он несколько раз откашлялся, вытер ладонью усы и, слегка раздвинув их, плотно приложил к устью трубы сжатые и в то же время как-то подобранные губы, как будто он с усилием старался удержать невольную улыбку, и, напряженно надув щеки и слегка покраснев, он заиграл. Две небольшие жилы набежали у него на лбу. Он поворачивался то в ту, то в другую сторону, и далеко по полю, и за деревней, и над полком было слышно, как звучала медная труба.

— Вса-а-дники, дру-ги, в поход собирайтесь, с бо-о-рдым ду-хом хра-бро сра-жаться...— играл трубач без слов, но у меня сейчас же вместе с мотивом возникало и содержание.

Далекий отклик резко звучавшей трубы, говор, смешанные восклицания, звук цеплявшихся друг за друга стремян, полк, готовившийся к выступлению, и тихое безоблачное июньское утро — все это слагалось в душе в особенное, непривычное настроение. Мне стало казаться, что я сегодня не просто поеду верхом на Калмычке, но как будто собираюсь со всеми на какое-то торжественное предприятие, и это имеет особенное значение для всех, и все это чувствуют — и хлопы ма-

ленькой польской деревушки, и казаки, проворно седлающие коней, и офицеры, которые теперь повыходили из квартир и отдавали приказания строиться полку.

Трубач доиграл сигнал, перевернул трубу и подержал ее так с секунду, пока из нее тонкой струйкой не выбежала слюна, и потом пошел к своей лошади.

Я тоже сбежал с пригорка, но Калмычка все не было. Я вернулся к фургону. Оказывается, лошадей уже привели с водопоя и уже запрягли. Калмычка взял денщик майора и седлал вместе с майорским конем.

Я опрометью пустился туда. Около майорской квартиры собрались офицеры. Недалеко одна за одной строились в колонну сотни, покрытые лесом черных пик.

IV

— Э, Костя! Ты куда? — закричал толстый и низенький командир пятой сотни, схватывая меня под мышки и приподняв немного, так что ноги мои болтались в воздухе.

Мне неприятно было, что он меня схватил и, главное, поднял на воздух; во-первых, это напомнило, что я еще совсем маленький и что со мной обращаются, как с мальчишкой, и, во-вторых, моя беспомощно висевшая в воздухе фигура, наверное, была смешна. Но я все-таки смеялся, брыкаясь и стараясь вырваться.

— Пустите, я сегодня верхом поеду на Калмычке. На моем Калмычке. Папа мне купил, чтобы я на нем верхом ехал вместе с полком.

— Э, вот как! Так ты, значит, служишь. Пойдем, пойдем же!

И он меня потащил к офицерам.

— Господа, вот вам для пополнения комплекта.

— Что такое?

— Да вот — и лошадь есть — казак Потемкинской станицы.

Офицеры окружили меня.

— Ко мне, Костя, в сотню, в урядники живо произведу, а провинишься — на часы к ящику.

— А я не стану, а я не стану,— упрямо твердил я, желая попасть в тон шутки и показать, что я понимаю, что это шутка.

— Ну, как же не станешь? — на гауптвахту.

— Да, не стану, да, не стану.

Мне было в одно и то же время и приятно, что все офицеры так занимаются мною, и досадно, что они подшучивают и подсмеиваются над тем, что я поеду верхом.

Между тем вышел майор. Он поздоровался с теми из офицеров, с которыми еще не виделся, и подошел ко мне. Я часто встречался с ним и привык к нему, и все-таки каждый раз, как я взглядывал на него, мне бросалось в глаза его широкое рябое лицо монгольского типа с крошечными глазками, и при этом я вспоминал, что казаки говорят, будто он раскольник.

— Ну, здравствуй, Костенька, что же не садишься на своего Калмычка? Сейчас и выступать будем.

И опять, когда он говорил, у меня мелькнуло в голове, что он рябой и раскольник.

Денщик подвел майору лошадь, а потом мне Калмычка. В это время меня позвали к матери. Сердце у меня забилось от тревоги и страха: что, как мать раздумала и не позволит мне ехать на Калмычке? Сдерживая дыхание, подбежал я к фургону. Мать, сестренка и нянька уже расположились внутри, посреди подушек, корзин, узелков, а шестилетний Алеша забрался на козлы к Тимофею, флегматично крутившему цигарку с корешками, и, ухватив обвитую тонким ремнем ручку кнута, размахивал им над лошадьми, беспрестанно задевая кучера по голове, шлепая по кузову фургона и причмокивая губами. Мать подозвала меня и стала говорить, чтобы я ехал как можно осторожнее, подальше от шоссейных канав и казачьих лошадей, чтобы отнюдь не отъезжал ни на шаг от майора и, боже сохрани, не бил бы Калмычка, который от этого может поскакать. У меня отлегло на душе, когда я увидел, что непосредственной опасности нет, и с нетерпением ждал, когда мать договорит. И когда она кончила, я торопливо уверил ее, что «я так и буду ехать около майора, так и буду ехать, и уж так осторожно», и, когда она отпустила, задыхаясь пустился назад.

Я уже подбежал было к денщику, чтобы он посадил меня в седло, так как сам еще не мог взобраться, да вдруг вспомнил, что по правилу на коня надо садиться непременно с левой стороны, но от радостного волнения в первое мгновение никак не мог вспомнить, где у меня правая и левая сторона, и, сложив незаметно пальцами правой руки крест, наконец сообразил и подошел с про-

тивоположной стороны. Но так как я стоял к лошади лицом, то оказался у нее не с левой, а с правой стороны.

— Отсель заходите, подсажу,— проговорил казак, и я, сконфуженный, обошел лошадь, точно сделал что-то очень неприличное или смешное, и кое-как уселся в седле.

Офицеры тоже сели на лошадей и отъехали к своим частям. Полк далеко вытянулся за деревню узкой сплошной колонной, разрываясь лишь по сотням и чернея пиками. Все было готово к выступлению. Оставалось лишь вынести знамя, находившееся тут же, в помещении полковника. Скомандовали: «Смирно!» Потом раздалась общая команда «Пики в руки, шашки вон!».

И вдруг точно лес колыхнулся, свободно мотавшиеся за локтем черные древки пик встали прямо над полком, сверкнув на солнце остриями, и блеснули выдернутые из ножен шашки, издав характерный металлический звук.

Трубачи заиграли марш.

Вынесли знамя, свернутое и плотно обтянутое черным чехлом.

Снова раздалась команда. Застучали неровно вдвинутые в ножны шашки, и опять, покачнувшись свободно, повисли за спиною на ремнях длинные пики.

Тогда майор подобрал поводья коня и хриплым, точно надорванным, и в то же время необыкновенно резким голосом скомандовал:

— Спра-ва по шести шагом...— Он на секунду приостановился, сердито оглянув весь полк.—...марррш!! — крикнул он таким голосом, словно у него оборвались голосовые связки. И, нахмурившись и круто повернув коня, он спокойно пустил его по дороге, точно принял какое-то бесповоротное решение и ему теперь уж было все равно, что там ни делалось за спиной.

В ту же секунду лошади переднего ряда, на мгновение замявшись на месте, дружно тронулись вперед, мерно покачивая всадников, мотая головами и нетерпеливо забирая поводья, и движение, передаваясь по рядам, пробежало по всему полку, захватив последних казаков, стоявших в хвосте уже за деревней.

Я видел, как за полком двинулись фуры, потом обозные повозки, потом офицерские фургоны, а между ними и наш.

Мой Калмычок тоже попросил повода и пошел во главе полка, рядом с лошадью майора, своей ровной мягкой поступью.

И как только я почувствовал движение своей лошади, радостное и торжественное настроение опять охватило меня. Но первое время к этому настроению примешивалось неясное чувство стеснения; мне все казалось, что теперь все на меня смотрят, что странно видеть среди офицеров и целого полка казаков маленького мальчика на лошади, что я не умею сидеть на коне и не так, как следует, держу поводья и все это замечают.

Полк между тем, выйдя из деревни, с четверть версты прошел проселочной дорогой, подымая целые облака пыли, потом свернул на шоссе. Люди весело выбирались на широкую торную дорогу, и по убитому щебню звонко застучали сотни кованых копыт.

Офицеры выехали вперед и свободно поехали вместе, разговаривая, перекидываясь шутками и остротами.

Мой приятель, командир пятой сотни Сербин, попридержал свою лошадь и, опершись рукой о заднюю луку, повернулся вполоборота и крикнул зычным голосом:

— Песенники, вперед!

«Песельники, вперед, песельники, вперед»,— побежало веселым говором по всем рядам.

Человек тридцать или сорок казаков там и сям выбрались из полка и, съехав в сторону от шоссе, рысцой обогнали его и поехали впереди.

— Ну-ка, веселей,— сказал Сербин, махнув рукой.

Молодой приземистый казак на рослой гнедой лошади, сжав ей бока коленями, выдвинулся вперед и, поправив шапку и приподняв руку, на которой свободно висела у кисти плеть, затянул высоким и необыкновенно сильным тенором что-то протяжное и тягучее, глядя прямо перед собою и как-то смешно раздвинув рот в ширину, и потом вдруг повернулся к казакам и резко и неожиданно оборвал, точно ему перехватили горло. И в ту же секунду подхватили казаки плясовую песню, ударили в бубен и тарелки, и, мелодично вибрируя, зазвенел стальной треугольник.

И далеко через колосившиеся уже поля откликнулось эхо казацкой песни.

Потом казак, управлявший бубном, быстро приложил к нему большой палец и искусно повел по туго натянутой коже, и бубен зажужжал и загудел, словно то ветер заходил, крутя опавшим листом.

Песня на мгновение упадала и сейчас же подхватывалась молодыми, необыкновенно высокими голосами, почти фальцетами, не выговаривавшими даже слов: сквозь переливы где-то на самых верхних нотах слышно только было: э-э... оо-э... А бородатые, оканчивавшие уже срок службы казаки густо, дружно и отчетливо выговаривали слова, точно поддерживали молодых, которые рвались слишком высоко.

При первых звуках грянувшей песни лошади насторожили уши, чутко поводя ими, и шли на туго натянутых поводьях. Люди весело и беззаботно поглядывали вперед, от времени до времени привставая на стременах, чтобы оправиться в седле. Офицеры громко разговаривали, наклоняясь друг к другу и повышая голос, чтобы не дать заглушить себя, и усиленно жестикулировали.

И я, подзадориваемый песней, радостно подталкивал коленями Калмычка, точно спешил и хотел заставить его идти скорее, и в то же время сейчас же натягивал поводья, опасаясь, как бы он и в самом деле не вздумал поскакать.

Казаки, пропев песню, круто и разом обрывали ее и, дав себе несколько времени вздохнуть и хорошенько прокашлявшись, дружно подхватывали новую, и подголоски опять заливались, выделывая самые хитрые колена, бубен жужжал и гудел, как ветер в трубе, а тарелки дребезжа звенели, словно битая посуда.

V

Мы уже шли несколько часов. Солнце подымалось все выше и выше, и начинало припекать. Лошади нетерпеливо отмахивались от оводов и мух.

Прямо от нас все так же уходило шоссе. На перекрестках от перебегавших его проселочных дорог стояли огромные деревянные кресты и маленькие часовенки, которые можно встретить на каждом шагу по всей Польше. Справа к самой канаве подходили перелески густо синевшего в полуверсте соснового леса; слева жаркий ветерок легкой зыбью пробегал по склонившей-

Мой Калмычок тоже попросил повода и пошел во главе полка, рядом с лошадью майора, своей ровной мягкой поступью.

И как только я почувствовал движение своей лошади, радостное и торжественное настроение опять охватило меня. Но первое время к этому настроению примешивалось неясное чувство стеснения; мне все казалось, что теперь все на меня смотрят, что странно видеть среди офицеров и целого полка казаков маленького мальчика на лошади, что я не умею сидеть на коне и не так, как следует, держу поводья и все это замечают.

Полк между тем, выйдя из деревни, с четверть версты прошел проселочной дорогой, подымая целые облака пыли, потом свернул на шоссе. Люди весело выбирались на широкую торную дорогу, и по убитому щебню звонко застучали сотни кованых копыт.

Офицеры выехали вперед и свободно поехали вместе, разговаривая, перекидываясь шутками и остротами.

Мой приятель, командир пятой сотни Сербин, попридержал свою лошадь и, опершись рукой о заднюю луку, повернулся вполоборота и крикнул зычным голосом:

— Песенники, вперед!

«Песельники, вперед, песельники, вперед»,— побежало веселым говором по всем рядам.

Человек тридцать или сорок казаков там и сям выбрались из полка и, съехав в сторону от шоссе, рысцой обогнали его и поехали впереди.

— Ну-ка, веселей,— сказал Сербин, махнув рукой.

Молодой приземистый казак на рослой гнедой лошади, сжав ей бока коленями, выдвинулся вперед и, поправив шапку и приподняв руку, на которой свободно висела у кисти плеть, затянул высоким и необыкновенно сильным тенором что-то протяжное и тягучее, глядя прямо перед собою и как-то смешно раздвинув рот в ширину, и потом вдруг повернулся к казакам и резко и неожиданно оборвал, точно ему перехватили горло. И в ту же секунду подхватили казаки плясовую песню, ударили в бубен и тарелки, и, мелодично вибрируя, зазвенел стальной треугольник.

И далеко через колосившиеся уже поля откликнулось эхо казацкой песни.

Потом казак, управлявший бубном, быстро приложил к нему большой палец и искусно повел по туго натянутой коже, и бубен зажужжал и загудел, словно то ветер заходил, крутя опавшим листом.

Песня на мгновение упадала и сейчас же подхватывалась молодыми, необыкновенно высокими голосами, почти фальцетами, не выговаривавшими даже слов: сквозь переливы где-то на самых верхних нотах слышно только было: э-э... оо-э... А бородатые, оканчивавшие уже срок службы казаки густо, дружно и отчетливо выговаривали слова, точно поддерживали молодых, которые рвались слишком высоко.

При первых звуках грянувшей песни лошади насторожили уши, чутко поводя ими, и шли на туго натянутых поводьях. Люди весело и беззаботно поглядывали вперед, от времени до времени привставая на стременах, чтобы оправиться в седле. Офицеры громко разговаривали, наклоняясь друг к другу и повышая голос, чтобы не дать заглушить себя, и усиленно жестикулировали.

И я, подзадориваемый песней, радостно подталкивал коленями Калмычка, точно спешил и хотел заставить его идти скорее, и в то же время сейчас же натягивал поводья, опасаясь, как бы он и в самом деле не вздумал поскакать.

Казаки, пропев песню, круто и разом обрывали ее и, дав себе несколько времени вздохнуть и хорошенько прокашлявшись, дружно подхватывали новую, и подголоски опять заливались, выделывая самые хитрые колена, бубен жужжал и гудел, как ветер в трубе, а тарелки дребезжа звенели, словно битая посуда.

V

Мы уже шли несколько часов. Солнце подымалось все выше и выше, и начинало припекать. Лошади нетерпеливо отмахивались от оводов и мух.

Прямо от нас все так же уходило шоссе. На перекрестках от перебегавших его проселочных дорог стояли огромные деревянные кресты и маленькие часовенки, которые можно встретить на каждом шагу по всей Польше. Справа к самой канаве подходили перелески густо синевшего в полуверсте соснового леса; слева жаркий ветерок легкой зыбью пробегал по клонившейся

БИБЛИОТЕКА
49166

ся тяжелевшим колосом пшенице, которую местами на большие пространства сменяла темная зелень картофеля. Там и сям медленно отходили назад разбросанные между возделанными полями убогие деревушки.

Песенники, утомившиеся и осипшие, разъехались по своим сотням. Офицеры разбрелись по шоссе и некоторые ехали за канавами. Всеми, видимо, овладевало понемногу то обычное настроение долгого пути, когда знаешь, что до места еще далеко, ускорить движение нет возможности, а внешняя обстановка с однообразием и постоянством повторяется изо дня в день.

Я понемногу тоже освоился с новизной своего положения; первое чувство радости и волнения мало-помалу улеглось, и я уже спокойно покачивался в седле и рассеянно смотрел на мелькавший у самой головы Калмычка круп майорской лошади, на широкую, немного сутуловатую спину майора, на шоссе, медленно уходившее назад из-под ног моего Калмычка. Окружающая обстановка и мое особенное сегодняшнее положение уже не поглощали внимания. Стала чувствоваться усталость, и мысли неопределенно бродили, ни на чем не останавливаясь.

Полк шел все дальше и дальше.

— Господа, пристанище! — крикнул вдруг ехавший впереди Сербин, указывая сложенной плетью по направлению шоссе: в стороне от него из-за сосен показалась одинокая корчма. И в ту же секунду, пригнувшись, он пустил коня в карьер. Несколько молодых офицеров марш-маршем понеслись за ним.

Мой Калмычок насторожил уши и поднял голову, внимательно следя за скакавшими лошадьми. Я испугался, как бы он тоже не пустился следом, и потянул поводья — он остановился; я затолкал его коленями и, когда он пошел было рысью, снова потянул, и он опять остановился. Майор посмеивался, прищурив свои маленькие глазки, и я не знал, смеется ли он надо мной или над скакавшей молодежью.

Оставшиеся офицеры с интересом следили за импровизированной скачкой, обрадованные возможностью хоть чем-нибудь развлечься.

— Сладков-то, Сладков забирает; смотрите, смотрите, как насел!

Огромная серая лошадь Сладкова неуклюже и как

будто с усилием выбрасывала свои длинные ноги и действительно быстро шла к скакавшему впереди Сербину, оставив позади других. Сербин пригнулся всей своей круглой фигурой и, подняв плеть, видимо, изо всех сил старался не дать себя обойти.

Офицеры стали слезать возле корчмы.

Остановили и полк. Скомандовали спешиться. Выпростав пики и опираясь ими о землю, лениво слезали с лошадей казаки и потом долго вытягивали и расправляли одеревеневшие в одном положении ноги. Облегченные лошади отряхивались и фыркали. Мне с седла виден был весь спешившийся полк.

— Шаго-ом ма-арш!

И звук шагов многих сотен ног неровным шумом повис над двинувшимся полком.

Офицеры, майор и я рысцой подъехали к корчме. У изгороди стояли привязанные лошади. Следовавший за нами денщик ссадил меня. Я едва не упал, до того одеревенели с непривычки ноги. Я испытывал такое ощущение, как будто ноги у меня стали кривые.

Мы все вошли в корчму. Грязные стены и пол, закопченный потолок, зеленого стекла бутылки на полках, бочонок с краном в углу и тяжелый воздух, пропитанный спиртным запахом,— все это производило неприятное впечатление. Тут же на полу в углу комнаты сидели две еврейки и, держа между коленями живых гусей, выщипывали из них пух. Каждый раз, как они выдергивали щепотку перьев и пуха, несчастные птицы громко вскрикивали, вытянув шеи и глядя на окружающих своими добрыми круглыми глазками. Они были почти совсем голые, и по вспухшей и покрасневшей коже капельками выступила кровь. Старая, худая и желтая еврейка в лохмотьях, не обращая внимания на вошедших, продолжала свое дело, другая же, молоденькая и хорошенькая, улыбаясь и немножко конфузясь, искоса посматривала на офицеров и торопливо пощипывала своего гуся.

Офицеры потребовали водки и пива и выпили по одной, по две рюмки, заедая селедкой, колбасой и солеными огурцами с возбужденным аппетитом проголодавшихся в дороге людей. Корчмарь, еврей-выкрест, с подобострастным и суетливым видом подавал на грязные столы рюмки, бутылки и закуску. Рюмки он

предварительно торопливо вытирал за стойкой полой своего засаленного кафтана незаметно для других. Я это видел, но почему-то не решался сказать об этом.

— Ну, а ты что же, Костя? — обратился ко мне Сербин.— Ну-ка, катай!

И он налил мне полстакана пива. Я было стал упираться, но он таки заставил; я сделал над собой усилие и выпил. Когда прошло первое ощущение горечи, я почувствовал, как побежала по всему телу приятная теплота и голова слегка закружилась. Сербин нарезал мне сыру и колбасы, и я, примостившись возле окна, с аппетитом стал завтракать.

По шоссе мимо шли с пиками на плечах казаки, ведя в поводу лошадей, и в окно доносился тяжелый гул шагов.

Офицеры, подзакусившие и подвыпившие, громко и весело разговаривали и курили. Синеватый дым легкими слоями ходил по всей корчме. Говорили о Стопнице, маленьком еврейском местечке, куда назначен был наш полк, о «жидах», о фуражных суммах, о провиантском довольствии, о том, как и где будут сосредоточены казачьи войска в случае войны. Кто-то припомнил и рассказал несколько эпизодов из последнего польского восстания.

Человека три-четыре из молодежи, покуривая папиросы, смеялись, балагурили и шутили с красивой еврейкой.

— И не стыдно это тебе так мучить?— говорил молоденький подхорунжий, улыбаясь и поминутно стряхивая с папиросы пепел.

Еврейка тоже улыбалась и, слегка потупившись, продолжала щипать гуся.

— Як же ж, пане, пух продаем и перья.

— А если б тебя так вот взять да выщипывать волосы?

Она засмеялась.

— Ой, так не можно. И перья и пух сызнова вырастают.

И она поправила свои тяжелые черные косы, выбившиеся из-под платка.

Офицерик затянулся и искусно стал пускать дым колечками.

— Тебя как зовут?

Девушка снова засмеялась и больше наклонилась над своим гусем.

— Ну, как же зовут?

— Дебора.

— Поедем, Дебора, с нами в Стопницу.

Она ничего не отвечала.

— Ну что же? Тебе весело там будет.

— Дебора не поедет, не поедет,— проговорила другая еврейка.

— Тебя не спрашивают, старая ведьма.

Дебора между тем, выщипав последний пух, спустила гуся на пол. Все дружно расхохотались. Бедная птица была совершенно голая и, не зная, что это с ней сделалось, неуклюже и с удивлением топталась на одном месте, подергивая крыльями; потом, закинув назад шею, стала перебирать клювом горевшую кожу.

Офицеры еще покурили, побалагурили и стали расплачиваться и выходить. Я рад был выбежать на свежий воздух из душной, пропитанной табачным дымом корчмы.

Калмычок мой стоял недалеко у изгороди и лениво махал хвостом. Я подбежал к нему и погладил и потрепал его по шее. Я попросил денщика посадить меня в седло. Офицеры тоже садились.

— Ну, Костя, смотри, теперь держись!—крикнул мне Сербин.

Я беззаботно и весело кивнул ему головой и, поправившись, сел немного боком в седле, как сам Сербин, но колени у меня слегка дрожали.

Все поехали крупной рысью, чтобы догнать полк, который ушел вперед с версту. Мой Калмычок тоже пошел рысью, прижав уши и потряхивая гривой. Я знал, что на рысях надо привстать на стременах, но первое мгновение не сообразил, и меня до того стало подкидывать, что я едва не свалился.

— На стременах! — крикнул мне Сербин.

Хоть я и испугался и растерялся немного в первое мгновение, все-таки мне было досадно, что не умел сразу поехать рысью, и я кое-как привстал на стременах, держась рукой за седло.

Полк стал приближаться к нам, особенно ехавшие в хвосте обозные повозки и фургоны. Я крепко держался за седло и чувствовал, как подо мной быстро

и легко бежал Калмычок. Я еще издали заметил наш фургон. И когда мы нагнали и поравнялись с ним, нянька, маленький брат, Нефед и Тимофей-кучер смотрели, как я вместе с офицерами быстро ехал мимо них. Матери не было видно, она сидела в глубине фургона. Нефед что-то говорил мне и указывал, но из-за шума колес и топота я не мог разобрать. Мне вспомнилось, как он утром говорил, чтобы я показал, как ездят донцы, и я, подтолкнув коленями Калмычка, молодцевато раза два шлепнул его по шее концами поводьев.

Когда проехали обоз и нагнали полк, ехавший впереди хорунжий Богучаров стал кричать строгим и резким голосом, каким обыкновенно отдают команду:

— Право-лево, право-лево...

И казаки, теснясь и отводя лошадей, расступились на обе стороны, оставляя проход, и сейчас же опять смыкались. Я чувствовал, что на меня все смотрят.

Все время, пока мы ехали рысью, горячий ветер жег мне колени, но я не обращал внимания; когда же мы были уже в голове полка, случайно наклонившись, я с изумлением и ужасом увидел, что штаны мои от тряски и быстрой езды выдернулись из сапог и сбились вверх по ноге, а из-за коротеньких рыжих голенищ сиротливо выглядывали покрасневшие голые колени. Я употреблял все усилия спустить штаны, но на ходу ничего не мог сделать. Я теперь только сообразил, что Нефед на это мне и указывал, когда мы ехали мимо фургона. Только когда офицеры, выехав вперед полка, спешились и меня ссадил с седла денщик, я оправился и заткнул штаны в сапоги.

Эти проклятые штаны испортили все мое расположение духа. Очевидно, я с голыми коленями проехал через весь полк. Кроме того, я таки устал и разбился от быстрой езды и теперь уныло шел, ведя в поводу Калмычка.

Солнце перевалило уже за полдень; было душно и жарко. В горле у меня пересохло, лицо горело, мы все шли и шли. Иногда кто-нибудь из офицеров говорил: «Костя, ты бы сел, устал ведь?» И я каждый раз быстро и весело отвечал: «Нет, я ничуть не устал», тащился дальше и думал с тоской: «Господи, да когда же это сядут?»

Калмычок шел позади, мотая головой и дергая за повод, который я держал в руках.

Наконец в одну из минут, когда я меньше всего ожидал, чтобы кончились мои страдания, и, ничего не видя, не слыша и ни о чем не думая, совершенно автоматически передвигал ноги, полк остановили и стали садиться.

И опять по каменистому шоссе звонко застучали подковы, и по обеим сторонам медленно отходили назад поля, засеянные картофелем, и перелески кончавшегося леса.

Солнце стало уже жечь косыми лучами, когда вдали показалась деревня, где полк должен был остановиться, и через полчаса мы входили в нее.

Знамя снова внесли в помещение полковника, поставили часовых и разместили по местам сотни.

Меня встретил отец. Я стал торопливо рассказывать ему, как ехал всю дорогу верхом, как мы скакали почти во весь карьер и что я ничуть не устал.

— Ну, молодец, молодец,— говорил он, трепля меня по щеке, и, взяв за руку, повел в хату, которую нам отвели под квартиру. Возле стоял наш фургон, денщики выгружали его, а кучер выпрягал лошадей.

Нефед с маленьким хозяйским сыном гонялись по всему двору за хохлатой курицей. Она отчаянно кричала и, распустив крылья, бегала по двору, взлетая на телеги, на навозные кучи, на огорожу.

Мы вошли в хату. Крошечная комнатка с низким потолком и подслеповатыми окнами вся была заставлена и завалена подушками, узлами, чемоданами. Мы кое-как пробрались между ними. Маленькая сестренка отчаянно кричала на руках у матери. Мать качала ее, прижав к груди и наклоняясь взад и вперед:

— Да не плачь же, детка моя, что ты, что ты, моя дорогая. Анисья, давай же сюда скорей!

— Сичас, барыня.— И нянька продолжала торопливо рыться в узлах, доставая пеленки и детское белье.

Сусанна сидела возле нее на чемодане и, копаясь в носу, тоже хныкала с таким выражением, как будто все ее забыли и покинули, а Алеша, взобравшись на сложенные в кучу подушки, съезжал оттуда на спине.

— Что она у тебя кричит? — проговорил отец, подходя к матери.

— Я сама не знаю. Всю дорогу спала, а приехали, как закатилась да закатилась, ничего не сделаю.

— Может быть, Ивана Ивановича прислать?

— Ах, оставь, пожалуйста, с своим Иваном Ивановичем,— проговорила раздраженно мать,— ничего он не знает, у ребенка просто желудок.— И она вместе с нянькой стала пеленать сестренку, а та на минуту замолкала и потом опять начинала необыкновенно пронзительно кричать, как будто нарочно хотела досадить кому-то.

Сусанна тоже все хныкала, с усилием выдавливая слезы. Отец взял ее на руки и велел позвать Нефеда. Через минуту он стоял, вытянувшись у дверей своей огромной фигурой.

— Чего изволите, вашблагородие?

— Ты что делаешь?

— Обед готовлю, вашблагородие.

— Там успеешь, разбери-ка тут.

— Слушаю.— И он, ловко и быстро вскидывая набитые чемоданы и огромные узлы, стал расставлять их вдоль стены.

Комната приняла несколько более уютный вид.

Я чувствовал себя нехорошо, стучало в висках, и голова слегка кружилась. Мне хотелось сказать об этом матери, но почему-то, подойдя к ней, я вместо этого сказал:

— Мама, я есть хочу.

Сусанна, как только услышала это, сейчас же слезла с колен отца, ковыляя, подошла к матери и стала хныкать, теребя ее за платье:

— И я хочу.

Мать велела няньке налить нам по стакану молока, но оно, оказалось, прокисло. Сусанна стала плакать и капризничать, я тоже сделал кислую физиономию: «Чего же это такое, я есть хочу».

В сущности, я не был голоден, но начинающееся недомогание и болезненное ощущение усталости порождали какую-то неудовлетворенность и неопределенные желания. Я и сам не знал, чего мне нужно.

Нянька побежала доставать молока, а отец взял Сусанну на руки и, уговаривая, стал ходить по комнате, разыскивая затерявшийся свой любимый камышовый мундштук, из которого он постоянно курил. Маленькая

кая сестренка успокоилась, мать кормила ее грудью, и она громко чмокала губками. Алеша, притаившийся в уголке, подозрительно хрустел чем-то на зубах. Отец подошел к нему:

— Ах ты поганец! Это ты что наделал?

Оказалось, он подобрал где-то оброненный мундштук и преспокойно разгрыз его. Отец вспылил:

— Ты что это наделал? Как ты смел! — И, наклонившись, он взял его за ухо.

Тот заревел благим матом и, пробравшись на четвереньках под рукой отца, пустился к матери.

— Черт знает что такое, положить ничего нельзя. А все ты,— разгорячившись, говорил отец, обращаясь к матери,— ну как ты за ними смотришь, какие они у тебя выйдут?

Алеша, спрятавшись за стулом матери, выглядывал оттуда и продолжал плакать. Сусанна присмирела и испуганно смотрела на Алешу своими большими глазками.

Нянька принесла молока и налила нам по стакану.

— Я не хочу,— проговорил я усталым и упавшим голосом.

Отец опять рассердился:

— Это что? То есть ему давай, то не хочет.

Дорожная сутолока, теснота и капризничавшие дети — все это раздражало его. Большую часть времени он проводил у полковника и с офицерами и, когда бывал в семье, любил, чтобы все было в порядке, чисто и дети вели себя скромно, и все это знали и старались, чтоб это так было.

— Ну, я к полковнику на минутку,— сказал он, беря фуражку.

— Только, пожалуйста, никого не приводи,— проговорила мать с таким выражением, как будто знала, что он непременно приведет кого-нибудь.

Отец ушел. Лицо у меня горело. Я подошел к матери и положил голову ей на колени.

— Ты что, Костя? Тебе нехорошо? — Она положила руку мне на лоб.— Голова горячая. Анисья, раздень его и уложи на подушки на лавке!

Нянька торопливо раздела меня и уложила. Некоторое время я слышал, как она суетилась, отпирала чемоданы и что-то доставала, возилась в углу с походной

люлькой, как потом они с матерью стали говорить шепотом, чтоб не разбудить заснувшую сестренку, как Сусанна громко заплакала и сейчас же опять замолчала, когда мать ей дала что-то. Потом мне стали представляться общипанные гуси, но не такие, каких я видел, а какие-то особенные. Понемногу я терял ясность представления того, что совершалось кругом, и наконец совсем забылся.

Когда я проснулся, потухающая заря слабо светилась в окнах. Я долго не мог разобрать, где я и что со мною. Некоторое время даже казалось, что это начинается утро; неужели же я проспал вечер и всю ночь?

В комнате было накурено и громко разговаривали. Я прислушался и узнал голос Сербина и еще нескольких офицеров. Сербин что-то рассказывал и смеялся, отец тоже смеялся. И мне припомнился весь сегодняшний день, спешившийся полк, офицеры, шоссе, корчма. Мать разливала чай, позванивая ложечками о стаканы, и, заметив, что я проснулся, подошла ко мне.

— Ну, ты что, Костя? Голова не болит?

— Нет, мама, ничуть не болит,— проговорил я, слезая с лавки, и при этом у меня тревожно мелькнуло, что мне могут не позволить ехать больше верхом на Калмычке.

Прерванный разговор между старшими снова возобновился. Мать накормила меня и послала играть на двор. Нянька ходила возле хаты с сестренкой на руках, Сусанна и Алеша тут же играли возле нее. Недалеко под навесом стояли наши казачьи лошади и громко жевали сено.

Я побегал немного с детьми, но скоро мне показалось скучным играть, и я незаметно убежал от них под навес. Тут в углу возле крытого соломой сарая, прямо на земле, расположились ужинать Нефед, Тимофей и денщик. Они молча и сосредоточенно ели горячую кашу, и каждый осторожно проносил свою огромную деревянную ложку, держа под ней по кусочку хлеба.

Я подошел к ним и постоял немного.

— Костенька, садись с нами вечерять,— проговорил Нефед.

— Да я сейчас пил чай, и мама закусывать давала.

— Это ничего, энто, значит, у мамаши, а энто вы нашего попробуйте.

— Да мне чего-то не хочется.

Нефед между тем достал из кармана деревянную ложку, вытер ее большим пальцем и подал мне. Я уселся с ними.

Ужин на открытом воздухе прямо на земле, слегка дымившаяся каша, черный хлеб и здоровый аппетит поработавших в течение дня людей соблазнили меня, и я в свою очередь с таким аппетитом стал убирать кашу и ржаной хлеб, с каким никогда не ел у себя за столом.

— Оно, конешно, у вас пишша легкая, белая,— не спеша заговорил Тимофей, кладя свою ложку на край деревянной чашки,— а наша чижолая.

Он взял хлеб, разломил над чашкой и отряхнул крошки в кашу.

— Она хучь чижолая, да здоровая человеку,— заметил денщик.— Посади теперича нашего брата на ихнее пропитание, зараз обессилишь. Нет здоровей хлеба, как аржаной.

— Кому как,— заговорил Нефед, вытирая ладонью на обе стороны усы,— кто к чему привычен. Ихнее вот дело — на нашем хлебе извелись бы.

Некоторое время продолжали есть молча.

— А что, Костенька, о чем я вас попросить хотел,— заговорил опять Нефед.

— Чего?

— Давно вас хочу все попросить. Теперича, видите ли, какое дело: кабы вы, значит, попросили мамашу, а мамаша пусть папаше скажут, как я состою в денщиках и за повара, то моего коня нельзя ли продать.

— Хорошо, Нефед, я непременно попрошу маму.

— Ну и парень золотой! Чего ни попросишь — как пойдет, скажет, так и будет,— проговорил он, обращаясь к Тимофею.

Положим, до этого времени Нефед еще ни о чем меня не просил, но теперь я чувствовал, что непременно должен выхлопотать продажу коня. Нефеду же попросту хотелось получать фуражные на лошадь деньги, и он захотел позондировать через меня почву.

Уже смеркалось. Кое-где зажглись звезды. Слышно было, как на другом конце деревни трубач играл зорю.

Кончили ужинать. Нефед тщательно вытер губами ложку, захватывая ее в рот, подобрал в чашку крошки

хлеба, потом стал на восток и несколько раз широко перекрестился, торопливо кланяясь.

— Слава те господи! А вы же, Костенька, не забудьте, чего я вас просил.

— Нет, не забуду.

Тимофей пошел к лошадям, а Нефед понес в хату посуду. Я тоже хотел было идти в комнату и теперь же попросить мать за Нефеда, да потом раздумал: «Наверное, меня начнут сейчас же укладывать спать», а мне не хотелось. Ночь была тихая, теплая, и мне захотелось посидеть с казаками где-нибудь на сене и послушать, что они говорят. Я прошел дальше под навес. Лошади по-прежнему жевали сено; тут было совсем темно, и мне их не было видно. Они на минутку приостановились, прислушиваясь к моим шагам, и потом опять стали звучно жевать.

— Тимофей, ты тут? — несмело позвал я.

Никто не откликался. Я поскорее выбежал из-под навеса. «Может, в фургоне кто-нибудь есть»,— подумал я и побежал к нему. Он виднелся недалеко, выступая в сумраке преувеличенно большими размерами. Возле что-то чернело. Когда я подошел, это оказались хомуты и шлеи, сложенные на земле.

Я пошел в комнату.

— Ты это где пропадал? — недовольно спросила мать.— Садись ужинай.

— Я, мама, уже поужинал с Нефедом.

— Ну вот еще, наешься чего-нибудь там, а потом живот разболится. Ложись спать.

Я разделся и лег.

Я стал думать про Нефеда, про наш фургон, о том, что там теперь спит кто-нибудь из казаков и что там жутко одному в темноте, и я опять на мгновение испытал мимолетное ощущение невольного страха, который мною овладел, когда я выбежал из-под навеса, не найдя там Тимофея.

Понемногу в комнате угомонились и улеглись.

Когда на другой день нянька разбудила меня, снова началась обычная возня выступления, и через час полк выходил из деревни. Я опять ехал на Калмычке, с офицерами. Переход был назначен небольшой, и к обеду вдали забелелись постройки Стопницы.

Когда приободрившийся и подтянувшийся полк входил в местечко, по улицам стояли толпы любопытных.

Грязные, оборванные еврейские мальчишки бежали у самых лошадиных ног.

Песенники дружно грянули. Полк прошел по узким, кривым улицам и выстроился на площади перед домом, отведенным под квартиру полковнику, а через час сотни уже были расставлены по квартирам.

ТЕРМОМЕТР

Кровати мальчиков разделял только коврик.

Первым проснулся Толя. Он торопливо сел и торопливо, как лапками, протер согнутыми ручонками глазки, потом глянул. Его глаза были веселые и плутоватые, они дрожали смехом, искрились таким неисчерпаемым запасом выдумок и шалостей, что в комнате посветлело.

Сквозь подернутое морозом окно пробивалось солнце.

Толя оперся о решетку кровати, весь вытянулся и воззрился на брата, как лисица на куропатку. Кожа у него беленькая и прозрачная и вся исчерчена синими жилками, а глазки и ноздри дрожат неудержимым смехом.

Шепчет:

— Игрушка.

Но Игорь солидно спит. Оттопырил круглые, полные щеки, и на переносице морщинка от чуть сдвинутых бровей. Он и во сне серьезный, положительный и не улыбается.

Толя торопливо перекидывает ногу через решетку, слезает на коврик и бежит в одной рубашонке босиком к старому буфету в углу, схватывается за полуотворенную дверцу, и начинается борьба.

Трудно. Острые ребра дверец упираются в колено, шкаф шатается, наклоняясь, того и гляди рухнет и тогда задавит — давно надо бы вынести из детской, да все не соберутся.

Старый шкаф, огромный, потемнелый, много видавший на своем веку, с потрескавшейся фанерой, качается, тяжело и испуганно кряхтя, отваливается к стене и говорит хрипло:

«Дурачок! Куда лезешь?.. Мне трудно, я, брат, стар... деда твоего, деда знал... ежели навалюсь, запищать не успеешь...» — и старается ребром дверцы придавить колено, чтоб заставить слезть плута.

Но маленький, напрягая все силенки и показывая из-под рубашонки белое тельце, весь изогнулся, впился в старика и, тоже кряхтя и отдуваясь и цапаясь, ползет все выше, выше.

«Ой, накрою... Ой, упаду...» — качается старик, то приподымаясь, то становясь ножкой на пол, и посуда внутри жалобно позванивает.

Но мальчик стал на выступ, грудкой и раскрасневшейся щекой прилип к верхней дверце и, не глядя, нашаривал ручонкой вверху карниз. Нашарил, уцепился и опять полез, кряхтя. Старик опять зашатался и закряхтел, подымая и опуская на пол ножку.

Мальчик влез наверх, свернулся в пыли и паутине белым комочком, и из-за карниза выглядывал лишь веселый заячий глазок.

В комнате все успокоилось. Старик перестал качаться, кряхтеть и позванивать посудой. Только спящий Игрушка, с серьезным личиком, высоко и неподвижно поднятыми черными тонкими азиатскими бровями, оттопырив губки, тихонько посвистывал носом.

По комнате пронесся не то птичий, не то мышиный писк, и опять смолкло, опять тишина, опять тихонько посвистывает носиком Игрушка.

Игрушка открыл черные без зрачков глаза и, как лежал на спине, не шевелясь, стал смотреть в белый потолок.

За дверью зашлепали мягкие старушечьи шаги.

— Господи Исусе...

Нянька, с обвисшим от старого жира телом и постоянной заботой на лице, как будто думала всегда о чем-то беспокойном, испытующе оглядела комнату и, глянув на пустую кроватку, ахнула:

— А где Толя?

Игрушка, не шевелясь и лежа на спинке, невозмутимо смотрел на потолок.

Нянька, с усилием нагибаясь, заглянула под кроватки, под стол.

— Да где же Толя? Ай ты мне не скажешь?..

Игорь, все такой же серьезный, скупясь на лишнее движение, скосил большие, влажные, с синими белками, глаза и сказал медлительно и серьезно:

— На аэлоплане улетел.

Кто-то фыркнул под потолком и стал давиться тоненьким смехом, должно быть рот затыкал кулаком.

Нянька стала на цыпочки и подняла белобрысые брови:

— Ах ты разбойник!.. Ах ты фортунат ты этакий! Зараз слезай, а то маме расскажу все без всякой жалости!

Из-за карниза, блестя лисьим блеском, выглядывали два шельмоватые глаза.

Нянька поставила стул, с усилием взобралась дрожащими ногами и стала стаскивать разбойника с закачавшегося шкафа.

— Господи, да что это за наказание! Шкаф повалится, сплющит, мокро только будет. Чистое наказание! А выпатрался-то! Весь в пыли да в паутине, хоть в корыто его сейчас сажай. Снимай рубашонку, бесстыдник! Вчерась только рубашонку надела, на́, как заделал.

Нянька с трудом оттащила разбойника к кровати, он юркнул и стал взбивать над собой ножонками одеяло.

— Ну, вот постой, мать придет, она тебе заглянет хворостинкой под рубашонку.

— Откуда ноги растут,— сказал важно, все так же лежа на спине, Игрушка таким басом, что странно было, как помещается он в таком маленьком горлышке.

Нянька угрожающе ушла, а разбойник вскочил, огляделся, хотел было бежать к шкафу, да раздумал.

— Игрушка,— заговорил он, блестя глазами, такими живыми, что нельзя было разобрать, какие они,— не то синие, не то зеленые, не то серые,— давай термометр поставим.

— Давай телмометл поставим.

Оба вытянулись под одеялом и, глядя в потолок, упорно в унисон, стали кричать, сколько хватило легких:

— Ма-ма, ня-а-ня... Ма-ма-ма, ня-аня. Ма-ама, ня-аня!..

Толя то верещал козленком, то кричал бабьим, нянькиным голосом, то на особый манер трещал, как трещотка, точно горошинка у него заскакивала в горле. Игорь кричал ровно, упорно, одинаково, неизменным басом, лежа на спине и глядя в потолок.

Прибежала нянька, красная от раздраженья.

— Ну, чего разорались?! Зараз одеваться... У других дети как дети, а с этими ни сладу ни ладу.

— Нянька, термометр!

— Нянька, телмометл!

— Еще чего?

— У меня голова болит и живот.

Толя скорчился, скривил рот к самому уху, притянул колени к подбородку и стал, извиваясь от боли, тереть руками живот.

Игорь с таким же неподвижным лицом и поднятыми тонкими бровями, лежа на спине,— лень переваливаться на бок,— серьезно, без улыбки, слегка потер себе под одеялом живот.

— Замучили вы нас... Не любите вы мать свою,— с отчаянием сказала нянька и, махнув рукой, ушла.

Они не любят маму... Странно! Но как же ее любить? Странный вопрос. Это все равно: «Любишь ты свой пальчик, или глазик, или носик?»

Их нельзя ни любить, ни не любить,— это просто пальчик, носик, глазик. И маму нельзя ни любить, ни не любить, она — пальчик, глазик, носик. Мама — просто мама, и все. Мама — всегда.

Вот папа — другое дело. Когда просыпаешься, никогда папы нет, и когда засыпаешь, папы нет. Только по воскресеньям и по праздникам бывал папа. Да еще когда у кого-нибудь из них жар и мама ставит термометр, папа тоже приходит, и тогда начинается самое интересное: папа садится на стул возле больного и начинает рассказывать. Он рассказывает, пока тот держит термометр. А как вынет термометр, папа перестает рассказывать.

Обыкновенно из-за термометра целое сражение,— мальчики не хотят держать его, так скучно, да еще целых двенадцать минут. А когда папа рассказывает, так готовы держать и по два часа.

Так как папины рассказы — награда за держание термометра, то и здоровый требует, чтобы ему поставили. Оттого завели два термометра и ставят сразу обоим, хотя болен один.

Но тут опять затруднение. Толя требует, чтобы папа на него смотрел и ему рассказывал за термометр, а Игорь требует, чтобы папа на него смотрел и ему рассказывал за термометр. Никто не уступал, а если папа был к одному из них несправедлив, поднимался ожесточенный рев.

Папа хитрый и ловкий. Он приказывал принести кровать, ставил ее между кроватками мальчиков, ложился на спину лицом кверху и одним глазом смотрел на

Толю, другим глазом на Игоря, а губами рассказывал «пополам». Иногда Толька глянет на папины глаза, как они врозь смотрят, и покатится от хохоту.

— Папа, у тебя глаза раскорячились.

А иногда Игорь строго скажет:

— Не мешай слушать!

У папы обыкновенная голова, как у всех людей, а сколько там сидит историй. О чем только не рассказывал: как через Африку на воздушном шаре путешествовали, как под водой в морях путешествовали, как нарвалы рвут китов, как в шахтах добывают уголь, как из глубины океана достают круглых, как большой мяч, рыб, которые на поверхности выворачиваются через рот наизнанку, как образуются горы на земле.

Не удивительно, что, когда приходил папа, оба мальчика шлепали в ладоши и кричали радостно:

— Папа!.. Папа!.. Папа!..

А теперь вошла мама и сказала:

— Что такое?

— Да вот, требуют термометров,— сказала нянька, поджав губы.

— Тлебуем телмометлов,— строго сказал Игорь.

Мама подержалась за железный прут кровати, чтобы охладить руку, потом приложила на минуту ладонь ко лбу одного и другого.

— Лоб холодный у обоих.

— Тлебуем телмометлов.

Мама постояла, глядя перед собой и забыв детей. Толя вдруг отчаянно забрыкался:

— Ой-ой... живот... живот...

— Дайте, няня, термометры, пусть поставят.

Нянька принесла термометры и сердито сунула каждому под мышку.

— А ты рассказывай, а то держать не будем. Как папа рассказывал.

Мама растерянно и умоляюще посмотрела на детей и сказала упавшим голосом:

— Что же я вам расскажу?

— Что хочешь... Папа никогда не спрашивал, а сразу рассказывал... Ну, расскажи, как горы образуются...

— Как голы облазуются...

— Папа рассказывал, вот как нянька хочет чихнуть, вся-а сморщится, как печеное яблоко... так и земля...

— Как печеная нянька смолщится,— угрюмо говорит Игорь.

У него всегда свои собственные мысли,— трудно представить человека более самостоятельного, и Толины мысли случайно, думает он, совпадают с его.

— Папа успел бы и про горы рассказать и еще бы про что-нибудь... Мама, ты плачешь...

Толя тревожно вскочил на колени, выронив термометр.

— Нет, деточка...— улыбается, а у самой капают на платье слезы.

Толя бросается к ней, губки у него трепещут, охватывает ее шею, душит.

— Мамуля, мамуля... мамочка... Я твой сын... я... я... а то я... зареву...

Игорь молча становится на четвереньки, потом — на колени, тянется к матери, обвивает ее шею ручонками и некоторое время прижимается к ней щекой. Потом, полагая, что для матери этого довольно, снова молча забирается под одеяло, кверху ногами ставит выпавший термометр и спокойно лежит, глядя в потолок.

— Ну?

— Ну, мама,— говорит сразу повеселевший Толя.

Мама вытерла глаза и силится улыбнуться.

— Горы... горы образуются, когда... кора земная... по ней мы ходим...

— А папа не так...

Толя торопливо подымается на локоток.

— Ты говорила, папа приедет с войны через две недели, а вот уже два месяца...

Кто-то сморкается в комнате и всхлипывает,— это нянька вытирает набрякшие глаза. А мама, сдерживаясь, уронила голову на кроватку, и плечи ее вздрагивают,— она знает, что папы уже нет на свете.

ВСТРЕЧА

Весь день, сколько я ни ехал, весь день погромыхивали орудия. Кучевые облака лежали на краю взбаламученной грядой, и, казалось, оттуда, из-за них доноси-

лись напоминания о смерти, похожие на весенний далекий гром.

Стоял последний летний зной над давно скошенными полями, по которым разгуливали грачи.

Наша гнедая пара бежала споро, подгоняемая тучей мух, и медленно тянулось наискось из-под колес белесое облако пыли. Проехали мимо сожженной деревни. У дальнего синевшего леса показались казаки, простояли с минуту и пропали в лесу.

Мой возница, бородатый солдат, равнодушно подгонял лошадей, точно эти далекие погромыхивания, и разгуливавшие грачи, и торчавшие из развалин почерневшие трубы его не касались. Он так же деловито-спокойно отсиживался в окопах, ходил, когда приказывали, в атаку, как деловито-спокойно копался у себя в Новгородской губернии на земле или правил лошадьми теперь в тылу, где его оставили после раны.

— А что, не попить ли нам чайку? И лошадям пора передохнуть.

— Что ж, можно,— согласился солдатик, как соглашался он на все, что бы ему ни предложили.

Привернули с шоссе к группе деревьев над одиноким колодцем. Распрягли лошадей, навесили на закурившийся костерчик чайник.

По шоссе бурей, оставившей облако пыли, пронесся серо-зеленый автомобиль, и опять тишь, грачи по жнивью, синеющий лес, гряды изрытых облаков, а за ними — погромыхивания, похожие на весенний гром.

Далеко с шоссе доносилось характерное татакание мотоциклета. В самом конце шоссе, тонко вонзившегося белой полоской в синюю даль, катился к нам клубочек пыли, и оттуда несся знакомый звук торопливой работы поршней.

Облачко докатилось до нас, мелькнула согнувшаяся, запыленная фигура мотоциклиста, потом и облачко и мотоциклист стали меньше, и все дальше и слабее слышался частый звук машины.

Я отвел глаза — в ту же секунду стук оборвался. Глянул: возле развалин деревни, которую мы недавно проехали, лежал на боку мотоциклет, и глухо работала неостановленная машина. Саженях в двух впереди лежал неподвижно, странно подогнув под себя голову, мотоциклист; шапка отлетела к канаве.

Меня тревожно кольнула мысль: не австрийцы ли в засаде из развалин сняли его пулей, но выстрела ведь я не слыхал.

Мы побежали с солдатом.

Мотоциклист лежал на боку, машина остановилась, только из бака лился густо в пыль бензин. Солдат по-хозяйски, чтобы не дать вылиться всему бензину, стал ставить скособочившуюся на поломанной вилке машину, а я приподнял упавшему голову. Загорелое до черноты лицо и волосы с одной стороны были густо забиты пылью.

Он открыл непонимающие глаза, встал, поднял и надел шапку, пристально вгляделся в меня, радостно улыбнулся, показывая на черном лице белые, как кипень, молодые зубы, и сказал:

— Здравствуйте!

С трудом ловя в памяти знакомые черты, я вдруг узнал.

— Миша, вы! Какими судьбами?..

— Да вот,— сделал он широкий жест, как будто эти сжатые поля, синеющие на краю леса, давали объяснение,— это от усталости дух вышибло. Возил в штаб пакет, да вот лопнула проклятая вилка. Машину-то у товарища взял, а в него как-то стреляли; видно, задели вилку — теперь и сказалось. У вас повозка; вы довезете меня до деревни, я машину оставлю, а оттуда верхом. Вот хорошо — на вас наткнулся. Я слышал, что вы тут.

Через пять минут мы сидели, поджав по-турецки ноги, на траве и пили чай.

Мишу я давно знал. Он учился в гимназии большого провинциального города и из седьмого класса пошел добровольцем. Поступил в автомобильную роту, ездил шофером, теперь доставлял донесения на мотоциклете.

В гимназии постоянно чем-нибудь увлекался: столярным ремеслом, фотографией, футболом, мотоциклетным спортом; сделался йогом, одно время пил. Но все это как-то не держалось долго, и одно шло на смену другому. Временами много и разнообразно читал. Мне приходилось наезжать в город, где учился Миша, и мы виделись.

— Миша, что вас потянуло сюда?

— Как вам сказать? Я и сам себя спрашиваю. Сложная эта штука, сразу и не разберешься.

Он улыбнулся, и в его улыбке, в очень похудевшем

крепком загорелом лице не грусть сквозила, даже не усталость, а что-то, чего я прежде не замечал.

— Знаете ли, если бы сейчас мне сказали: «Свободен, поезжай домой», я бы не уехал и не уеду до конца, если останусь жив. Сюда попал, отсюда не уйдешь — нельзя уйти,— и это не я один. Но если бы я сейчас был в гимназии и мне бы сказали: «Поезжай на фронт», не поехал бы. Если бы знали, как хочется учиться.

Он посмотрел на меня голубыми глазами не то грустно, не то застенчиво.

— Когда ехал сюда, все представлялось иным, совсем иначе, чем на самом деле. Ну, вот, знаете, гимназисты в Америку прежде бегали. Выйдут за город и уж думают: тут и Америка, саванны, мустанги, индейцы. Но, оказывается, ни индейцев, ни мустангов, а просто мужички везут сено на базар либо бабы тяпают на огородах. Так и я.

Он помолчал, прихлебывая из стакана чуть дымившийся чай.

— И все-таки ребятишки, которые бегут в Америку, драгоценные вещи для себя узнают. Вы знаете, я как-то произвел анкету, там, в третьем классе: из тридцати четырех учеников только пятеро в своей жизни видели восход солнца. Поверите!.. Я тут узнал, чего бы не узнать ни в какой гимназии: узнал, как люди смотрят в лицо смерти, узнал страдание людское, узнал товарищескую жизнь, настоящую.

— Ну, а учителя как относились к вашему добровольчеству?

— Да никак. Им что? У них — свое; их дело — сторона.

— Ну, о войне, о событиях какие-нибудь разговоры были?

— Никаких. Говорю, у них — свое: служит, жалованье получает, семья. Да и как им иначе? Тоже и их положение. Я вот теперь от гимназии оторвался; со стороны как-то смотрю — странная жизнь там идет. Пока там был, не замечал, а теперь странно. Состав у нас ничего преподавательский, есть положительно славные, а непрерывно воюем с ними, не можем не воевать, и они не могут нас не жать, не давить двойками и всякими штрафами. Не сладко и им и нам. У нас тут, кроме меня, еще три ученика из нашей гимназии: двое — в автомобильной роте, один — в разведчиках. Вот интересный

парень! В нашу гимназию попал в четвертую — отовсюду гнали. И ведь славное сердце, способный, не упрямый, гордый — там, где нашему брату надо перемолчать перед педагогом, похлопать глазами,— знаете, какие они себялюбивые,— он вспылит, режет правду-матку,— ну, и гонят. Воспитывает брата, сам чахоточный, зарабатывает гроши — ну, от этого еще тяжелее. Как только начались военные действия, сейчас же ушел добровольцем. И что он там выделывает! Два раза из плена бежал, убил часового; раненный, три версты полз. Как-то пять дней жил у немцев в сене — поджег и бежал. Сведения, которые доставляет,— драгоценны. На руках его носят. И куда делись строптивость, неуступчивость! Чудесный товарищ, спокойный, хладнокровный и где-то глубоко чуть-чуть печальный. Конечно, не вернется живой. Так о нем и говорят: «Три серебряных креста заслужил, четвертый деревянный получит».

Вспомнили знакомых в городе, где он учился, попили чайку; я довез его в деревню, и мы расстались.

Это было летом.

Недавно я попал в провинциальный театр. В фойе гуляли барышни, осторожно неся на голове замысловатые прически. Кавалеры шли рядом, натянуто и значительно улыбаясь. Все проходили по одному и тому же кругу, вполглаза оглядывая друг друга.

Кто-то окликнул меня в пестро движущейся мимо толпе. Я обернулся. Высокий, худощавый гимназист в серой блузе протягивал руку, другой рукав пусто свешивался с плеча.

— Миша!

Я покосился на рукав.

— Да, оставил там,— проговорил он, чуть печально улыбаясь,— ну, да это пустяки... Пойдемте сядем, не стоит в зал идти. Я очень рад вас видеть. Помните, как мы встретились летом? Руку-то мне недели через три разрывной пулей хватило; всю у локтя разворотило. Доктора живо оттяпали. Ну, безрукий, кому я там нужен? Вот приехал сюда.

Он как-то печально улыбнулся.

— Вы не можете представить, как хочется учиться. Прежде и не думал. Ведь ненавидел гимназию, ну как все — знаете.

Мы сидели в фойе одни. И в коридорах никого не было. Стояла та театральная тишина, когда за закрытыми дверями разворачивается драма или смешит фарс.

— Как же вы теперь?

— Выучился левой, все — и пишу и делаю. Никогда не думал, что так можно заменить. Многое, впрочем, иначе представлял себе. Ведь вот верно, гимназия калечит, уродует нас — и неврастеники, слюнтяи, близорукие, узкогрудые,— верно, но ведь все-таки есть же люди, выходят же. Ведь как-никак Россия живет. Если бы одни слюнтяи, как же бы она жила? Вот тут как будто глаза раскрылись за этот год, как будто со стороны поглядел. Верно, и формалисты среди педагогов есть, и жестокие, и мелочные, мстительные, но за всем тем в эту подлую гимназию ползут же и мысли, и знания, и жажда борьбы, жажда разрушить все, что калечит страну.

Он говорил с блеском глаз, и на худых щеках выступил румянец.

— Помните библейское: «Господи, а если найдется хотя один праведник, ужели не пощадишь города ради него?» Так и тут. И может быть,— он искоса глянул на пустой рукав,— может, надо потерять правую руку, чтобы узнать, чтобы почувствовать зерно истины.

Мы тепло простились. Я шел среди спящих улиц, и в мутном мелком дожде холодно и одиноко горели огни фонарей. Тускло блестели мокрые тротуары, пронизывала сырость, и стояло то молчание, за которым чувствуется, что совершается драма.

И не прав ли он, безрукий мальчик? Как ни калечит, как ни убивает, как ни терзает нас русская страшная действительность, как ни мечутся искалеченные, а есть жизнь, бьются сердца, и кто знает, как потрясающе будет нарушено тягостное молчание, с каким страшным грохотом рухнет строй.

СЛЕДОПЫТЫ

Шоссе бесконечно теряется позади, напоминая о пройденном. Кругом волнуются выколосившиеся хлеба, темнеют рощицы. Вдоль речушек, которые поблескивают по лощинам, белеют хаты. К этапу по шоссе длинной теряющейся серо-синей колонной тянутся пленные.

Австрийцы в башмаках идут равнодушно и устало с черными от загара и пыли лицами. Два австрийских офицера-летчика, один — молоденький, безусый, другой — с рогатыми рыжими усами, качаются на повозке. По бокам шагают наши солдатики в мешковатых гимнастерках с винтовками на плечах. Человек пять казаков лениво покачиваются на седлах.

Жара, мухи, пыль...

— Подтяни-ись! — зычно кричит унтер, но колонна так же медленно, лениво и устало тянется, окутанная пылью, и последние ряды теряются за увалом.

До этапа верст десять. Солнце клонится к дальнему лесу, но еще печет. В низине важно шагает, подымая лапу, аист и хватает лягушек. По обочинам краснеют яркие маки.

Два ополченца с запыленными бородами идут, покачивая винтовками на плечах.

— Микит, а Микит, как их добыли? — говорит один из ополченцев, мотнув головой на летчиков.

— Вишь, над позициями они летали, а после залетели в тыл. Да, видно, бензин-то весь вышел, стали спущаться. Увидели казаки, марш-маршем за ними, думали, у леска спустятся, лесок впереди был. Ан лесок-то они перелетели. Ну, казаки поскакали лесом, нагнали их, бегут по хлебу что есть духу. Взяли обоих, они и не оборонялись. Стали казаки искать аэроплан, всю округу изъездили — нет, хоть што хошь, скрозь землю провалился, упрятали, и, скажи на милость, как упрятали!..

— Сказано, немец и есть.

— Найдут,— уверенно говорит другой.

— Цельная сотня искала, не нашла.

— Найду-ут!..

Уже померкли позолотившиеся было зубцы дальнего леса. Стали густеть сумерки. Хлеба кругом посерели и казались гуще. Ни головы, ни хвоста колонны не было видно, они тонули в пыли и в сумерках. Тишина наполнилась ровным топотом множества ног, да поскрипывали повозки.

Немец с рогатыми усами, сидевший на повозке и делавший вид, что дремлет, сказал негромко:

— Rechts... links [1].

---

[1] Направо... налево *(нем.)*.

В ту же секунду оба сорвались и метнулись на обочины шоссе.

Ополченец разинул рот:

— А!..

Потом вскинул винтовку, грянул выстрел, осветив колеса повозки, стоптанные башмаки, загорелые лица, синие штаны и куртки. Вдоль шоссе загремели выстрелы по хлебу с обеих сторон. Шарахнулись лошади. Казаки вытянули их плетьми; они перелетели канаву, и слышно было, как из хлеба несся мягкий заглушенный лошадиный скок. Несколько солдат со штыками наперевес тоже кинулись за канаву. Потом все смолкло.

— Сто-ой... Сто-ой!..— раздалась команда.

Подходившие пленные остановились, сгрудившись около повозки.

— Ежель кто вздумает, уложу на месте! — кричал охрипшим голосом унтер.— Стрелять при малейшем движении!

Колонна замерла.

— Эти не побегут, энто офицеры, а эти рады, что в плену.

Конвойные стояли настороже с винтовками на изготовку. Звук шагов и крики скакавших казаков смолкли, и стало слышно, какая ненарушимая тишина стоит над сумеречными хлебами.

Долго стояли, пока черной стеной не опустилась кругом ночь.

Двинулись опять, и темнота заполнилась шорохом множества шагов, поскрипыванием телег да окриками совсем охрипшего унтера. Сбоку в невидимом болоте кричали жабы. Высыпали звезды.

Этап огромно раскинулся в имении графа Потоцкого. Громадный, как широкое поле, двор, в одном конце застроенный длинными узкими строениями,— графские скаковые конюшни. Имение специально назначалось для скаковых лошадей, которыми граф щеголял на скачках в Вене. За двором тянулся сад с озерами, с прудами, а в них лебеди,— впрочем, лебедей поели.

Ни лошадей, ни многочисленных служащих теперь здесь, конечно, не было, а белели разбитые всюду палатки, стояли винтовки в козлах, у коновязей мотали головами казачьи лошади.

В другом конце стояли груженные хлебом, сухарями, консервами фуры; высилось прессованное кубами сено. Солдатики сидели кучками, кто переобувался, кто зашивал рубаху, желтея голой спиной. Синевато дымились костры, и поплескивали чайники.

Этапный комендант, с невыспавшимся лицом, охрипшим голосом кричал на обозного, что загородил подъезд к конюшням. Потом пошел распорядиться насчет больных, арестованных, по канцелярии. С шести утра до двенадцати, до часу ночи комендант не знает покоя: надо принять и отправить маршевые команды, выздоровевших раненых, возвращающихся в строй, пленных, проезжающих офицеров, и всех накормить, дать ночлег.

Когда длинные конюшни и старый сад потонули в густой черной ночи, всюду багрово засветились красные костры, бросая длинные шевелящиеся тени. Во двор карьером влетел казак и осадил перед комендантским крыльцом тяжело поводившую боками лошадь.

— Что такое? — сказал комендант, выходя.

— Так что, вашскблагородие, двое пленных убегли, ахвицера.

Комендант сердито надвинул фуражку на самые уши.

— Бабы, расстегнули рот...— и прибавил крепкое слово.— Иван, сказать Алексею Алексеевичу, чтобы весь казачий разъезд отправил на поиски.

Было за полночь, когда дотянулась колонна до этапа. Темный двор наполнился говором, сморканьем, шарканьем ног, а костры заслонились множеством темных фигур.

Пошла перекличка, потом, где кто стоял, повалились спать, так все были утомлены. Казачий разъезд выезжал рысью, звонко отбивая подковами, из широких ворот на шоссе.

К коменданту подошли два бородатых ополченца, держа под козырек.

— Что надо?

— Так что, вашскблагородие, дозвольте на поиск идтить.

— Упустил, а потом на поиск. Вам бабьим делом заниматься, а не в солдатах быть. Где же вы их по ночам будете искать? Куда же вам за конными поспеть?

— Вашскблагородие, у нас по лесам зверя следить чижалей. Он, зверь, путает, путает след, покеда призначишь, одначе добиваемся. Сохатый ли, песец ли, уж не сам будешь, коли не добудешь.

— Эх ты, кувалда сибирская! Что же ты по немцу, как по зверю, собираешься?

— Он теперь, немец, как отбился от своих, так будет накидывать петлю, как заяц. Ему тут, вашскблагородие, податься некуда, а по деревням, которые русины, их не принимают, дюже не любят... Дозвольте, вашскблагородие, беспременно приведем.

Комендант подумал:

— Ладно, только без немцев не являйтесь.

— Слушаем, вашскблагородие.

Ополченцы прошли по темному двору, черневшему спавшими, к себе под навес. Слабо краснели потухающие костры.

Лошади мирно жевали. Никита достал вещевой мешок и стал класть туда хлебы.

— Слышь, Серега, никак, сало у тебя осталось?

— Есть.

Положили в мешок сало, закатав в траву, налили в манерки воды, покрестились и, взяв винтовки, пошли с крепко спящего двора. У ворот окликнул часовой.

Над шоссе мерцали звезды, и оно выделялось неясной белесой полосой. Пахло наливавшими колос хлебами, необозримо раскинувшимися в темноте. Шли молча.

Когда подошли к месту побега, остановились и долго стояли, как легавые, принюхивающиеся к следу.

— Пойдем,— сказал Серега, мотнув в темноту головой.

— Не, туда не побегли, там — лес, знают, что казаки перво-наперво кинутся в лес обыскивать. Они хлебами побегли.

Оба перешли канаву и, шурша ложившимся хлебом, пошли от шоссе, поглядывая на звезды. Долго шли.

Стало светать, зазвенели жаворонки. Стало далеко видно. И куда ни глянешь, желтеют хлеба либо зеленеет клевер.

— Ну, земля тут — прямо масло. Сторонушка тароватая.

Они долго шли. Уже солнце поднялось, стало припекать.

— Надоть перекусить.

Залегли в хлеб, поели, отдохнули и опять пошли. Шли и сами не могли сказать, почему держатся направления, которое взяли. Вел привычный лесной полузвериный инстинкт.

В балке заблестела в осоке речка. Спустились, умылись и опять пошли. К вечеру, усталые, разморенные, пришли к деревне.

Она тянулась по речушке. Между вербами белели хаты.

Никита сказал:

— Беспременно округ этой деревни бродят, больше им некуда. Впереди и назади — наши. В энтих лесах, что за шашой, знают — ищут их. А тут небось высматривают своего, может, из немцев который, чтоб одел вольное, провианту дал. Давай тут засядем.

Серега почесал за ухом:

— Чего же мы тут будем делать? Ежели не приведем да проболтаемся тут, взбанит нас комендант.

Никита крякнул:

— Не родить же нам их, как их нету! Вишь, ночь находит.

Внимательно осмотрели, чтобы не спугнуть, деревню — народу почти не было, изредка пройдет баба либо мужик в белой свитке.

Опять пришла ночь, сверху зажглись звезды, кругом стала темь. Никита с Сергеем положили возле себя винтовки и прилегли. Сначала сквозь кустарник мелькали огоньки деревни, потом потухли. Стояла ненарушимая тишина, такая спокойная, мирная, будто кругом родные поля, родная темная ночка.

И Никита, лежа на спине, заложив руки под голову, медленно рассказывал, глядя на звезды:

— Ну хорошо, я и говорю: «Марья, побойся бога, али ты белены объелась?» А она хвать горшок, али кочергу, али ведро, ды в меня! Дым коромыслом!

— Ну! Я такую-то вожжами.

— Учил, слов нет,— как чугун, бывало, ходит, а сама опять за свое. Склока была непроходимая.

— Я — вожжами.

— А как объявили войну, что сделалось с ней: пала

в ноги, слезами сапоги мыла, вот, братец. Я будто впервой ее увидал.

Никита долго и мерно рассказывает, а Серега слушает, тоже лежа на спине и глядя в звездное небо.

Когда рассвело, оба приятеля решили осмотреть все места вокруг деревни.

— Надо поесть,— сказал Никита, доставая провиант из мешка.

Деревня легонько задымилась по-утреннему.

— Сало доброе,— сказал Серега, уминая хлеб с салом,— дух от него добрый.

Хрустнули веточки. Солдаты замерли: сквозь кустарник на них смотрели четыре горячечно блестевших глаза. Серега схватился за винтовку.

— Не трожь, спокойно сказал Никита,— ну, вылазьте.

Из-за кустов, шатаясь, поднялись двое: один — безусый, а другой — с рыжими обвисшими усами. У обоих были бледно-зеленые лица и провалившиеся глаза, которые они не спускали с хлеба.

Никита спокойно отломил по большому куску, положил сало и подал немцам. Те жадно, давясь, стали рвать зубами.

Когда съели, Никита вскинул винтовку и сказал, махнув рукой:

— Ну, айда!

Немцы понуро поплелись вперед, а солдаты пошли сзади, тихо разговаривая про домашность.

На этапе ахнули, когда увидели, что ведут беглецов.

Комендант позвал, расспросил, сказал: «Молодцы!» — и подарил по целковому.

— Рады стараться, ваше благородие!

Казаки ругались:

— Лошадей замылили ни к чему, полтора суток скакали по лесам да по балкам, а они, дьяволы, завалились где-нибудь спать, а потом привели. Выпадет же счастье дуракам!

— Дураки по лесам скакали. А мы их, немцев, на приманку, на сало вызволили: как почуяли сальный дух, так и выползли на карячках и за куском шли до самого до этапа.

А этап жил своей обычной жизнью — подходила новая партия.

НА ПОБЫВКЕ

Деревня протянулась одной улицей. Концом уперлась в неподвижно синевшую навороченными льдинами реку, другим вышла в поле, а за полем темнел занесенный снегом лес.

С тех пор как проводили солдата, у Ненашевых точно мгла осела на двор.

Изба стояла против училища, белевшего через улицу новым срубом, с большими окнами и с большим крыльцом, с которого каждый день в первом часу вываливалась шумливая, гомонившая толпа ребятишек. Позади избы — сараи, хлев, сбоку — маленький садик с вечно объеденными летом червивыми яблонями.

День начинается и наполняется всегдашним деревенским: обряжают скотину, возят дрова, рубят лес.

Вечером при коптящей лампочке ребятишки нудятся за столом уроками; маленькие спят, посвистывая носом, вповалку поперек огромной кровати; старик, нагнувшись и показывая залохмаченную кругом седеющими косицами лысину, починяет отдающий крепким лошадиным потом и дегтем хомут. Старая, с иконописным, потемневшим строгим лицом, приглядываясь в железных очках, шьет.

Шьет возле и невестка, молодая, вся круглая, нагнувшись низко, точно давит ее к шитву, всегда воскрешая неугасающее больное воспоминание. Зять, рыжий растрепанный мужик, с бельмом на глазу, тачает передки к сапогам, разводя руками и протаскивая свистящие, липкие от вару дратвы. На лавке, у печки, под тулупом, должно быть в горячке, лежит баба с кумачовым лицом и выбившимися из-под повязки косами. Она молча протягивает из-под тулупа исхудавшую, дрожащую руку, берет с остывшей уже печки кружку и, не попадая, жадно ловя иссохшими, потрескавшимися губами, постукивая о липкие зубы, пьет, на секунду задерживая свистящее, обжигающее дыхание.

И снова в избе стоит дремотный шорох — не то тараканы шепчутся, не то от шороха шитва; с легоньким свистом протаскивают дратвы, да ребятишки нудятся, да по темным стенам бродят тени.

Собаки давно отлаялись, и за промерзшими окнами — ничем не нарушаемая ночная деревенская тишина.

Еще больше наклоняется молодайка, и слезинки, догоняя друг дружку, часто кап, кап, кап... на белую, в горошинках, рубашонку, которую шьет, а игла во взмахивающей руке по-прежнему посверкивает на лампочке.

Старуха говорит строго:

— Ну, уж... чего там...

А сама стаскивает железные очки и протирает уголками платка затуманившиеся глаза.

Так день за днем, ночь за ночью.

Раз, еще ребятишки не успели полечь, забрехали в темноте собаки, сквозь замороженные окна послышались смутные голоса, заскрипели сани, и лошадь с морозу, слышно, фыркает.

— Никак, к нам? — сказала старуха, поднимая голову.

— Не, мимо,— отозвался рыжий,— лавочник, должно, с чугунки, у город ездил, ждали нонче.

— К нам...— сказала молодуха и подняла начавшее смертельно бледнеть лицо; одни глаза на нем, остановившиеся, блестели неизъяснимым страхом.

Все прислушались.

— К нам и есть.

А уж на крылечке скрипят снегом, обивают валенки, слышны голоса, и собаки не брешут. Застучали кольцом.

Старуха перекрестилась.

— Спаси, господи, и помилуй!

Молодайка откинулась и все так же глядела блестящими приостановившимися глазами.

В сенцах, куда вышел, отложив натянутые на колодку сапоги, рыжий, заговорили странно и беспокойно, потом в клубившемся из отворенной двери морозном тумане проступила заиндевелая солдатская шинель, стоймя обернутый вокруг низко стриженной головы тоже побелевший башлык и запущенные, смерзшиеся глаза.

А старуха уже повисла, обнимая холодный мороженый башлык, и заголосила неожиданно высоким покрывающим голосом:

— Да родимый ты мой! Да соколик ты мой ясный. Сенюшка!.. Ай ты?! Ай не ты?.. И откеда ты к нам прилетел...

— Постой, матка, поперед попа в алтарь не ходят. Держи равнение направо...

Он размотал башлык, расстегнул шинель, широко, наотмашь, покрестился на образа, так же широко, наотмашь, поклонился в ноги отцу, матери, со всеми перецеловался, и молодайка, стоявшая в стороне как оглушенная, вдруг кинулась и, охватив шею, заголосила. Заголосила старуха; заплакали дети; только больная торопливо, со свистом дышала и равнодушно глядела кумачовым лицом в темный низкий потолок.

— Эх, ну, бабы!.. До чего слабое войско. Кричи не кричи, а как полагается, так и будет... Митрич, ты чего же? Распрег мерина-то? Сенца там в сарае кинь ему. Сундучок тут... Ну, ну, садись, садись, погрейся. Это каким оборотом... Выхожу со станции, метет стыть. Эх, думаю, мать честна! Сотни верст проехал, а тут каких-нибудь десять шагов надо; да сундучок,— главное, неловко взяться за него. Делать нечего, солдатское такое положение: ни от чего не отказывайся — ни от штыка, ни от пули, ни от каравая, ни от теплого угла. Вскинул сундучок и замаршировал, а сам насвистываю марш наш полковой — трубачи наши до чего чисто его выделывают. Капельмейстер у нас в полку — чех, злой, как на цепе, а насобачил их здорово. Ну, шагаю, глядь — Митрич. «Ты чего?» — «Пассажира привез».— «Тебя-то мне и надо». Зараз сундучок к ему, сам — в сани, таким оборотом и доставился. А где сестрица наша богоданная? Чегой-то я их не вижу.

— Занедужила, вишь, вся сгорела. Кабы не померла.

— Вы что же это, сестрица, по неуказуемому? Али жить надоело?

Та равнодушно, не поворачивая головы, смотрела темно-красным лицом в потолок. И потом сказала, передыхая на каждом слове:

— Со...млела... банила... на ре-чке... в грудях... теснит... не взды-шишь...

— Эх, нехорошо, сестрица, не по уставу...

А в избе шел большой переполох — на загнетке весело трещал огонек, ребятишки вздували самовар, старуха чистила дрожащими руками картошку, а молодая металась, накрывала на стол, все делала одной рукой: другой поддерживала перегнувшегося спинкой, жмурив-

шегося на огонь и плакавшего ребенка. Подняли его сонного, тепленького из люльки показать отцу. Солдат взял с неуклюжей лаской, а тот все отворачивался, тянулся к матери и ревел.

Старик, давно сунувший свой хомут в угол, за столом, который обсела вся семья, все спрашивал, стараясь откусить старыми зубами огрызок сахару:

— Объясни ты нам, сынок, объясни всю тахтику. Бывалыча, молодой я был, служил, так у нас больше все правым плечом заходили.

— Э, папаша, об этом позабыли и думать. Теперь главное — артиллерия, опять же пулеметы, окопы; также сапа тихая...

— Змея, что ли? — сказала старуха, любовно глядя на сына.

— Какая змея! Просто сказать, мину друг под дружку подкладывают.

— А у нас сапов развелось по мокрым местам страсть! Ты ушел, двух коров покусали в лесу.

— Да ты надолго ль к нам, касатик? Хочь бы наглядеться на тебя.

Солдат весело втянул воздух — он немного заикался.

— До самого до понедельника, акурат неделя.

Старуха всхлипнула, и у молодайки закапали слезы.

— Ну, чего! Вот уж сказано — бабы, бабы и есть. Тужи не тужи, слезьми крышу не выстроишь.

Он говорил весело, весело блестя глазами на продолговато-круглом, немного одутловатом лице.

— И каким манером все вышло... Вашскблагородие, ротному нашему говорю, дозвольте их взять, немцев. Так что из окопов их выбили, они к лесу подались, а трое остались. Бризантным снарядом вырыло яму, ни мало, ни много, на сажень места. Трое-то туда и забрались, не схотели бежать. И стреляют. А потом подняли руки,— дескать, сдаемся. «Ну-к что ж,— ротный-то говорит,— поди возьми». Я зараз винтовку наперевес, выскочил и побежал к ним. Нашему брату, военному, лестно взять — к отличию представят. А они сразу — чик меня! Как подкосили, упал и пополз назад. Влез в окоп, наши стянули сапог, разорвали штанину, акурат повыше колена, навылет. Перетянули бинтом, повели на перевязку.

Бабы опять заплакали. А он почти уже злобно:

— Тю!.. Ну чего завыли?! Главное — не бояться, а оно уж само — чему быть, то и будет. И что не боишься — то и лучше, целей в ыйдешь. Я-то вот ушел раненый, а которые меня разув али, целые... акурат где я сидел, прилетел снаряд, всех до одного побило.

— Вот так в японскую кампа анию глаз мне выхлестнуло,—говорит рыжий, держа у заросшего рта дымящееся чаем блюдце,— в обозе был; сижу на фуре, а так он сидит, и хлестнуло по коню и по глазу меня чик! И зараз бельмо.

И он опять принимается пить ь до поту обжигающий кипяток.

— А у нас в лесу барсук — мы боимся ходить; во-о когти,— говорит мальчик, сын р ыжего, испуганно глядя на солдата.

Солдату бесконечно подают яичницу, курицу, которую уже успели сварить, молок горячее и бесчисленно наливают чаю, как будто он дол жен пить и есть за десятерых.

— Уж и не чаяли — писал ты, «не пущают».

— Каким оборотом вышло... Рана зажила, в легких нашли хрипы, стали мышьяку под кожу заваливать — вот ел, страсть! И поправляешься, как мерин на овсе.

Старуха опять всхлипнула.

— Хочь толстый, а квелый ты, сынок, нет в тебе крепости настоящей, не жилец ты...

Солдат злобно покрутил голо овой, но удержался.

— Ну, слоняешься цельный день. Эх, побывать бы дома, сколько бы делов передел ал!.. Подъехал я к ротному, ну, на недельку отпустили.

Все переменилось в ненашев вском дворе, не угадать, закипела работа. Только и с лышно: стучит топором солдат. И солдатского уж в нем ничего нет — надел старый тулупишко, перетянулся кушаком, и нет щелки хозяйской, куда бы не загляну л. Вырубил пару отличных оглобель; поправил санки г ородские, чтобы рыжий, коли случится, мог повезти на станцию пассажира. Ездил делить общественный лес на рубку. Понедельник отодвинулся куда-то в неопреде еленную даль — не было ни окопов, ни артиллерии, ни жидущего смертного часа.

Вспомнили было бабы обо всем, попробовали завыть, да солдат так прицыкнул, языки прикусили.

— Эх, бабы, одно слово — бабы! И где ни возьми, как баба была, так баба и есть. Был я в одном лазарете. Попечительша в нем. В карете приезжает, в ушах бриллиантовые сережки, тысячи по полторы, аж больно смотреть, все шелк да бархат, и по сие место голая — а как баба, баба и есть. Дает мне билет к воинскому, десять выздоровевших на осмотр весть, так чтобы на трамвае с нас не брали. И ничего не объяснила — баба! Хотела даже заклеить в конверт, да раздумала. Ну, конечно, садимся в трамвай, на площадку, разумеется; кондуктор: «Пожалуйте». Даю ему билет. «Это вы чего же, говорит, порядку не знаете, а солдат. С этим билетом на станцию, там вам и выдадут проездные» — и попер нас. Ну, пошли на станцию, а холод, продрогли, часа три потеряли. Вот она, баба.

Он втянул воздух и, слегка заикаясь, продолжал:

— Вот вы воете, а посмотрели бы, как *там!* У вас все, чего душа просит, все есть. И одежа есть, и хлеб есть, и сено, и скотинка, и птица, и в избе тепло, а глянули бы *там:* от избов трубы одни, ни хлеба, ни помету, ни птичьего пера, только на себе худая одежонка — хоть свисти. Вот он, страх, где.

И бабы сразу присмирели, а понедельник отодвинулся еще дальше.

Солдат рвался, как привязанный, вставал ни свет ни заря, жадно выискивал нужное и ненужное дело и кидался на всякую работу как оглашенный.

Теплая была изба, крепко рубленная, а солдат навозил соломы и стал укутывать. Укутал: стоит она, как в шубе, и окна маленькие смотрят сквозь лохмы.

— Все дров меньше пойдет.

Старуха смотрит, смотрит на сына — да и заголосит:

— Родной ты мой, и чего ты бьешься, натружаешься, глаза у те провалились, ровно почернел весь. Тебе гулять да радоваться, без тебе сделают.

Он только отмахивается, да желваки на скулах заиграют; возьмет топор и, уж слышно, тюкает на дворе.

Зайдут соседи, посидят, покалякают:

— Ишь ты! Это он рад — домой попал.

— Глаза ровно мутные.

— Либо к смерти.

Ездили за реку к родне, целую ночь прогуляли. Когда солдат, сидевший под образами, молодецки откинувшись, положив кулаки на стол, запел высоким голосом:

По-осле-ед-ний но-не-е-шний де-е-не-чек
Гу-ля-ю с ва-ми я, дру-у-зья...

поднялся такой бабий вой, что пришлось перестать петь.

Пришел понедельник, и все ахнули — уже? Казалось, конца-краю не будет этой жадной лихорадочной работе.

Опять закурило, и смутно проступали избы в белом мелькании. У ворот — Митричев мерин и розвальни, белые от снега... Провожали только до околицы — померла сестра солдатова, надо было обряжать — и долго стояли и глядели опухшими глазами в мелькающую муть, где никого не было видно.

Митрич ехал, подергивая вожжами, а солдат неподвижно привалился к задку саней, и снег набивался за башлык и вокруг ног.

За версту до станции, когда проезжали смутно черневший лесок, он поднялся, стряхивая снег.

— Стой, Митрич, равнение направо!

Лошадь стала. Ненашев вылез из саней.

— Ты куда жа? Али смерз? Белый весь.

Солдат обернулся назад и долго стоял и жадно смотрел на сизо подернувшийся лесок, за которым потерялась деревня. Потом зашагал к леску, проваливаясь в сугробах, и потерялся за деревьями.

Долго ждал Митрич, подставив ветру спину и нахлобучив овчинный воротник.

Наконец не вытерпел, вылез из саней и, проваливаясь, пошел по следу.

— И куды он провалился?!

Долго шел и ахнул: на согнувшейся молодой березе висел солдат.

ДВОЕ

В темноте влажный ветер стряхивал с деревьев крупные капли, а на мокрых тротуарах и мостовой всюду трепетали отблески. Ночное небо было смутно озарено, и гул дальних улиц постепенно замирал.

Никифор Васильевич Малоруков, с падающими из-под фуражки министерства юстиции белокурыми волнистыми волосами, торопливо шел мимо освещенных окон домов, мимо ярко горевших фонарей. Пальто у него расстегнуто, голова поднята, и весенний ветер забирается за туго крахмальный воротничок свежей сорочки и ласково холодит и щекочет кожу.

Все дома были одинаковы, и все освещенные окна смотрели одинаково, но, когда он переходил угол, один дом выделялся изо всех, потому что был единственный, и пять его освещенных окон смотрели говорящими глазами. Нежно сквозили тюлевые занавеси.

Малоруков остановился, глядя на окна, вынул в десятый раз часы — без четверти девять.

— Нет, еще погожу, сказала — к девяти, ну, в девять и надо.

И он опять торопливо идет мимо одинаковых домов и наступает на влажно играющие отблески на мокрых тротуарах.

Надо чем-нибудь заполнить нетерпеливое время, и он думает об ее отце, высоком согнутом полковнике в отставке, который раз в месяц бреется, всегда сам ходит на базар и водит у себя во дворе кур. Думает об ее маленьких братишках и сестренке, курносой и вихрастой. Думает о гирлянде цветов, спускающихся с потолка, о пышной араукарии в углу,— обо всем думает, не думает только о ней, не думает потому, что перед глазами всегда, ни на минуту не померкая, стоит милое, обрамленное кудрями личико, смотрят чуть-чуть наивные глазки, и ротик полуоткрыт.

И что бы он ни делал, куда бы ни шел, с кем бы ни встречался, что бы ни говорил, перед глазами — это никогда не меркнущее личико.

А он внутренне смотрит на него и беспричинно радостно смеется, хотя для прохожих лицо его серьезно и строго.

И эта радость, этот внутренний непрерывный беззвучный смех счастья временами становится таким невыносимо острым, не помещающимся в груди, что подымается протест:

«Но ведь кудри-то она делает щипцами...»

«Да».

«Зубы она старательно каждое утро чистит щеткой,

и оттого они такие беленькие, прелестные, а если бы не чистила, были бы желтые, и нехорошо бы пахло изо рта».

«Да».

«И выражение лица часто наивное, с этими открытыми глазами и полуоткрытым ротиком».

«Да».

«Ну?»

Но тут, опрокидывая логику и доводы, несокрушимые для всего остального, глядит личико, не то чуть печальное, не то смеющееся. И опять тот же безудержный, нестерпимо острый смех внутри, наполняющий все сердце, всю грудь.

Девять!

Он уже у подъезда. Справа светят окна, сквозят занавеси, цветы.

Мальчишка, сын кухарки, с бельмом на глазу, отворяет и, подшмурыгнув носом, говорит детским басом:

— Пожалуйте.

Все ласково, все уютно, все родное и встречает, как родного: и небольшая лестница с потертой дорожкой, и старая знакомая вешалка, на которую он вешает волглое пальто, и старенькое в пятнах трюмо в передней, которое говорит ему: «У тебя хорошее молодое лицо, и идут к нему светлые, как лен, небрежные волосы».

Потом он идет в небольшую гостиную: араукария и гирлянда цветов с потолка над столом, пианино, старинная мебель и серый, с черной полосой по спине кот — все уютно, тихо, радостно встречает. Кот трется об его ногу.

Оборачивается, в дверях, как в раме,— она, и милое, чуть бледное личико в раме кудрей.

Потом она протягивает ему маленькую ручку, смеется и говорит:

— Здравствуйте,— как будто они в первый раз видятся.

Они в первый раз видятся. Это ничего не значит, что он каждый вечер бывает; ее движения, улыбка, выражение глаз — все каждый раз ново, все каждый раз впервые.

Она берет его за руку, опускает на низенькое кресло, а сама, подняв маленькие руки, поправляет прическу.

— Дождь?

— Нет... да... дождь... то есть нет дождя, влажно...

Она смеется, и он смеется. Надо произносить обыкновенные слова обыкновенным голосом, а на самом деле ведется свой разговор, весь пронизанный радостным неслышным смехом, который бьется где-то в груди.

— Чет или нечет?

— Чет.

— У-у, какой! Никогда не скажет как надо, а я загадала...

И вдруг, он не успел моргнуть, взъерошила ему дыбом волосы.

— Как кудель!.. Ну, идемте же, идемте...— и тянет за пуговицу, отступая перед ним, в столовую.

В столовой уже бунтует на своем месте самовар, белая скатерть, блестят стаканы, и полковник на своем месте — у самовара.

Он — высокий, плечистый, слегка ссутулившийся, горбоносый,— должно быть, красивый был, а теперь шестьдесят два года. Несвежую рубашку накрест прижимают старые подтяжки. Жена умерла, и он эти четыре года сам хозяйничает.

— А-а, милости просим, просим милости, садитесь, садитесь... чайку, чайку...— торопливо пожимает руку и хватается за чайник.

— Папочка, опять ты... Ну, надень же тужурку, сколько раз я говорила... Хоть бы при людях, наконец!..

— Свои люди, свои люди, сочтемся... Чайку, чайку шалабанчик...

Из чайника густой струей льется черный, как деготь, чай.

— Опять?! Дай сюда, дай!

Она у него вырывает чайник, он не дает и начинает лить, расплескивая, себе в стакан, чтобы не пропадало, и стакан делается черным, как чернила.

— Экая ты, Милка, егоза! Ну, представьте себе, Никифор Васильевич, экономия, это — в каждом хозяйстве необходимая вещь. Не велит соды класть, а от соды настой и вреда никакого. Чаю пол-ложки насыпешь да соды, можно целый полк напоить, а так и ложки мало. Вот у меня куры во дворе. Пошел да высыпал им дохлых мух, это от листов, отнесешь которые, чтоб

не пропадали мухи-то даром, в хозяйстве везде должна быть экономия, а куры наклевались и тоже подохли — оказывается, вредно. Мне уже потом объяснил знакомый аптекарь, в листах-то мышьяк, от этого и мухи дохнут. Вот видите, как в хозяйстве. А она говорит, не надо соды, сколько же чаю понапрасну пойдет.

Миля, молча и сдвинув тоненькие брови, отчего у нее стало новое на лице, вытряхнула в полоскательницу чайник и заварила свежего чаю, а у Малорукова сжалось сердце — хотелось что-нибудь придумать ласковое для нее, чтоб повеселела.

Пришел кадет третьего класса — почти с отца ростом, грудь колесом, неуклюжий мундир с длинными рукавами — поздоровался по-военному, сел к отцу на колени, одной рукой обнял его за шею, другой достал яблоко и стал есть, показывая белые крепкие зубы, и рассказывать:

— Сегодня мы перед законом все парты выволокли на перемене и свалили в гардеробную. Выходит батюшка, ничего не заметил: «Садитесь, дети!» Мы все по команде сели на пол. Батюшка вскочил с кафедры, глаза у него вылезли.

Кадет заразительно хохочет, показывая откушенное яблоко во рту. Ноги у него с отцовских колен протянулись на полу.

Полковник неодобрительно качает головой, а лицо у него блаженное.

За дверями драка и детский визг. Полковник делает попытку подняться, но не может — кадет его придавливает, обняв одной рукой за шею.

— Куня... Лизочка... чего вы!.. Разве можно... Идите сюда... Чайку, чайку скорее...

Миля вытаскивает детей в столовую — их никак не расцепить: пятилетний Куня впился зубами в платьице сестры, а семилетняя Лизочка вцепилась ему в ворот и душит, и оба отчаянно ревут.

Миля их расцепливает, вытирает глаза, оправляет платье, волосы.

— Как не стыдно... Садитесь чай пить.

Лиза идет к отцу и лезет к нему на колени.

— Лиза, куда ты! — испуганно говорит полковник.

— А-а Во... во-оля си-си-дит, и я хо-хо-чу сидеть...— заикаясь говорит Лиза.

Полковник, кряхтя, отставляет другое колено. Лиза забирается, обнимает отца за шею, и с минуту стоят пререкания с кадетом.

— Пусти руку!..

— Пусти сама...

— Пусти, а то укушу.

— Я первый влез.

Маленький, кругленький, толстощекий Куня, пыхтя, старается молча взгромоздиться к отцу на колени.

— Да куда ты! — взмолился полковник.

Куня, серьезно отдув щеки, втискивается между братом и сестрой и, работая локтями, усаживается.

Лысая голова и горбоносое лицо полковника едва видны из-за детей, которых он с трудом держит обеими руками.

У Мили все пахмуренные тоненькие брови, она молча разливает чай, и Никифору Васильевичу опять хочется сделать что-нибудь ласковое, и он говорит, обращаясь к детям:

— Ну, слушайте сказочку.

Подымает глаза к потолку и некоторое время что-то ищет там.

— Ну, так вот. Жил-был один дом, а в этом доме жили-были папаша, мамаша, дедушка, бабушка, детки и кот, большой серый кот. Ну, хорошо. Вот раз сели обедать за длинным столом, все сели: и дедушка, и бабушка, и папаша, и мамаша, и детки, и кот сел...

— И кот сел!..— сказал Куня, радостно блестя глазками.

— Да, сел торжественно на стул и хвост спустил со стула. Ну, хорошо. Все едят, а кот смотрит, повиливает хвостом и думает: «Все едят, а я не ем». Вот он и говорит: «Мяу! я тоже хочу кушать». А ему говорят: «После обеда Маланья тебе даст покушать».

— Наса Маланья! — радостно говорит Куня.

— Да, да, ваша Маланья. А кот подумал: «Отчего же они кушают, а мне ждать Маланьи?» Протянул лапку, зацепил когтями котлетку и поднес ко рту.

Куня захлопал в ладоши.

— Тут все закричали, заохали, вскочили и бросились к коту. Кот видит — дело дрянь, спрыгнул со стула и пустился на улицу удирать. Оглянулся, а за ним

бежит дедушка, а за дедушкой бабушка, а за бабушкой папа, а за папой мама, а за мамой...

— А у меня нет мамы...— сказал Куня, глядя на него большими спрашивающими глазами.

Никифор Васильевич поперхнулся:

— Да, да... а за ними детки, а за ними Маланья с метлой, а за нею Полкан...

Лиза и Куня захлопали в ладоши:

— Наш Полкан...

— ...кричат: «Держи его, держи!» И полицейский стал давать свисток и побежал за ними. Видит кот — плохо дело, вскочил в магазин, схватил пару ботинок, натянул на одну лапу, на другую, встал на задние ноги и важно пошел по улице — не узнают, мол.

Малоруков замолчал и потер лоб. Дети готовились проглотить его глазами. Миля, опустив кудрявую головку, тихо мешала чай. Полковника едва видно было из-за ребят.

— Ну?

— ...тут все закричали: «Смотрите, смотрите — в сапогах, а сам — кот» — и погнались за ним, впереди дедушка, а за ним бабушка, а за бабушкой папа, а за папой мм... а за детками Малаша, а за Малашей полицейский, а за ним приказчик.

— Нет, а за ним Полкан.

— ...а за полицейским Полкан, а за Полканом приказчик. Видит кот, плохо дело, и пустился во все четыре ноги. Видит магазин платья, вскочил, схватил с прилавка брюки, пиджак напялил, схватил котелок на голову, стал на задние ноги и пошел по улице, важно оглядываясь и помахивая тросточкой, которую тоже утащил. Все закричали: «Смотрите, какой идет важный господин, а где же кот?» — и стали оглядываться, но кота нигде нет. И все кланялись важному господину. В это время маленькая девочка закричала тоненьким, как соломинка, голоском:

— Да это не господин, а кот: сзади у него хвост висит.

Тут все закричали:

— Лови его, держи его!

— Видит кот, дело плохо, стал на все четыре ноги и пустился что есть духу удирать, а дедушка, бабушка, папа, детишки, полицейский, два приказчика, Полкан и

маленькая девочка изо всех сил побежали за ним. Кот по дороге все растерял: ботинки, брюки, пиджак, шляпу и прибежал домой, голый, каким прежде был. Прибежал домой, забрался на печку, свернулся клубком и как ни в чем не бывало стал засыпать, мурлыкая. Прибежали все запыхавшиеся, разыскали кота, вытащили. Маланья принесла тоненькую хворостинку, и его немножко посекли.

— Ну, это так не бывает,— сказал кадет и стал есть второе яблоко.

— Нет, бывает,— оживленно сказал Куня, делая большие глаза,— я сам видел, как Маланья длала нашего кота, что он плохо себя ведет.

— И я читала «Кот в сапогах»,— подтвердила Лиза.

Малоруков украдкой поднял глаза: у Мили разгладились морщинки между бровей, и на лице бродила милая улыбка. Малоруков готов был придумывать и рассказывать сто сказок.

Полковник тихонько подсвистывал носом, задремал, привалившись к детям головой.

— Спать, спать, дети!..— сказала Миля, хлопнув в ладоши.— Пейте чай — и спать.

Кадет долговязо встал с колен отца, вытянулся, выпятил грудь, сделал под козырек и сказал казарменным голосом:

— Здравия желаю! Кадет второй сотни первого отделения. По отделению все обстоит благополучно. Больных двое, в карцере один. Рад стараться.

Щелкнул каблуками, засмеялся и запустил в яблоко зубы.

— Пойдемте в гостиную. Малаша, убирайте со стола.

Полковник потащил детей в спальню.

А в гостиной началось то, что бывало каждый вечер вот уже четвертый месяц. Миля звонко смеялась, шалила, надевала на него венок из нарезанных бумажек или садилась к пианино и играла. Он не знал, очень ли хорошо она играет или так себе,— только бежало из-под ее маленьких живых рук грустное, и он готов был слушать не отрываясь.

Или вдруг встанет она, подумает, принесет альбом, и они, усевшись близко, наклонившись и слыша сдержан-

ное дыхание друг друга, рассматривают новые снимки картин заграничных выставок.

— Отчего вы не поступили после гимназии на курсы?

— Много будете знать, скоро состаритесь...

И, немного помолчав, спросила:

— Я для вас — невежественная, провинциальная барышня? Кисейная... да? да?..— заглядывала она ему в глаза, и искорки смеха дрожали в ее глазах.— Подвивает себе волосы, бренчит на пианино, ничего не делает...

— Ну, вот еще...

— Ага, покраснел, покраснел!! Ура!.. Покраснел...

— Да нет же, чего мне краснеть.

А она закружилась посреди гостиной и сделала ему реверанс.

Небо очистилось, когда он шел домой, и над крышами высыпали звезды. У фонарей, озаренные, дремали извозчики. Улицы были пусты. Только с бульваров, где темнели купами деревья, со скамей слышался смех, сдержанный говорок. С окраин доносились томные собачьи голоса, и те устало замирали.

Малоруков пошел мимо дома, глянув на него как на чужой. Долго ходил по улицам, пока собор, дома, деревья не стали выступать в зачинающемся утре.

А когда засыпал, думал: «Так вот оно счастье какое! Как оно пришло? Почему? Почему именно мне такое огромное, а сколько с разбитым, больным сердцем?..» Да не додумал, уснул.

Раз зашел за ней, пошли гулять в сад городской. Она взяла его под руку и, доверчиво взглядывая в глаза, говорила:

— Мама умерла четыре года назад. Я кончала гимназию. Очень хотелось на медицинские, только не могла папу бросить. Надо ему растить детей, так трудно с ребятишками мужчине.

У него стеснило дыхание. Так захотелось сделать ей что-нибудь ласковое, проявить как-нибудь нежность и... и, может быть, приоткрыть уголок своего счастья перед другим. И сказал:

— У вас никто не бывает? Вам, наверное, скучно. Позвольте привести моего товарища — славный малый, веселый, остроумный. А то, я думаю, я вам надоел.

— Не ломайтесь, пожалуйста. Знаете, мне никого не надо. Впрочем, приведите. Я приглашу подруг, будем петь, устроим литературный вечер.

В следующую субботу он привел товарища.

— Ферзенко,— отрекомендовал его.

Собралась молодежь. Было весело, пели, читали, декламировали. У Ферзенко оказался славный баритон, которым он умело владел. Ферзенко действительно оказался остроумным, находчивым, с заразительной молодой беспечностью.

С Мили, оживленной и раскрасневшейся, Малоруков не сводил восхищенных глаз.

Провожая его, она пожала крепко руку, блеснув благодарно глазами:

— Спасибо, спасибо вам, милый! Как сегодня удачно и оживленно прошел вечер!

Малоруков был на седьмом небе, а через месяц, осунувшийся и с горькой чертой у губ, стоял у круглого столика, положив руку на альбом, стоял, высокий, строгий и сухой, только волнистые светлые волосы придавали ему юношеский вид.

Она беспокойно молчала, пощипывая мизинец. Молчание томительно тянулось.

— Ну, хорошо... Я знаю, я виновата... Я гадкая... Я вам столько... столько...

У нее задрожали губы и блеснули слезы в глазах. И вдруг блеснул гнев в них:

— За что вы меня мучаете?

И убежала.

Малоруков постоял.

«Вот и все».

И как не было логики в его любви, а на все молча и неопровержимо отвечала только своим видом прелестная головка в рамке кудрей, так не было логики ни в ее словах, ни в слезах, ни в гневе. Но и за слезами и за гневом блестело неподавимое счастье, которое дал ей другой.

Малоруков вышел и пошел по улице, опустив голову, а когда поднял ее, удивился: над головой стояло солнце, шептались деревья в садах и белели маленькие домики окраины, а с обрыва виднелся луг и на нем петлями блестела речка.

Тогда он повернулся и пошел назад домой, все время не в силах поднять голову, и думал. Мучительность бы-

Малоруков прибежал к знакомому дому, долго не попадал в пуговку, наконец позвонил. Мальчик с бельмом отворил. Все было то же: и потертая дорожка, и круглый стол в гостиной, и спускающаяся гирлянда цветов, и араукария в углу.

Вошел полковник, и тут Малоруков увидел — жизнь надломилась: старик согнулся, виски ввалились. Полковник долго ловил воздух неслушающимися губами. Потом взял его руку обеими руками и сказал:

— Рад, рад... Чайку, чайку... шалабанчик с нами...

Да вдруг привалился старой головой к его груди и засопел, с трудом выговаривая:

— У...мер...ла!..

— Умерла? — шепотом спросил Малоруков, боясь разбудить кого-то.

— ...Провожал, поплакала только. Ну, что ж, думаю, едет... в первый раз из дому-то уезжает, дорожка без слез не дорожка. А потом сквозь слезы смеется. «Экая я»,— говорит. «Ну, прощай, папочка»,— говорит. Да все оборачивалась, платком махала — прощай, мол. А потом извещают: умерла... Не болела, не горела.

Комната, стены, свесившаяся гирлянда, араукария — все наполнилось особенным содержанием, как будто здесь кругом таилось давнишнее сдержанное ожидание того, что случилось.

Вышел от полковника Малоруков спокойный, сосредоточенный и пошел спокойной и деловитой походкой, поглядывая на прохожих, здороваясь со знакомыми.

Зашел к нотариусу и составил духовное завещание: «Я, нижеподписавшийся, в здравом уме и твердой памяти...»

Потом пошел домой, велел всем отказывать и заперся в кабинете. Отпер ящики стола, выбрал бумаги, письма и тут же рассматривал — одни сжег, другие разложил по пакетам и надписал.

В открытое окно заглядывала весенняя ласковая влажная ночь, озаренные деревья, а дома на противоположной стороне были темные, спящие — пробило два.

Малоруков постоял у окна, прислушался, потом закрыл и достал из ящика браунинг, плоский, темно-вороненый.

Внимательно осмотрел, зарядил. Посмотрел на часы, подумал: «До завтра...»

И пошел спать.

Спал без сновидений, темным сн[ак будто только что закрыл глаза, сразу погрузивш[темноту, а кто-то уже сказал: «Пора!»

И он сразу открыл веки.

Поднялся, умылся и оделся, как [а это делал, собираясь в суд. Выпил кофе, отдал р[яжения прислуге и вышел.

И как вчера весенняя ночь, так с[и весеннее, свежее, омытое утро встретило его. На [ях радужно переливались капли ночного дождя. [и шныряли в ветвях, безудержно на все лады выс[вали и стрекотали. Весело катились извозчичьи [ки. Из-за заборов доносился запах зацветающей [.

Малоруков остановился у подъез[хэтажного дома, почудилось, что остановился у [много замка: всюду железные решетки, только н[ые, запоры, только невидимые. Загремели тяже[к окованные, двери, и хорошенькая горничная с [и крылышками на голове и в белом переднике (а [ом деле надзирательница) спросила:

— Кого угодно?

— Господин Ферзенко дома?

— Дома-с. Пожалуйте.

Его провели в кабинет, веселый, [ый, весь из светлого дуба.

Ферзенко в крахмальной рубашке [тке завязывал галстук перед зеркалом:

— Ба-а! Никиша. Сколько лет, с[им! Ну, садись, садись, рассказывай,— говорил [ной рукой придерживая галстук, другую протя[варищу.

Малоруков хмуро смотрел в уго[лиотечный шкап, не подавая руки. Потом по[кресло и сказал:

— Садитесь!

И сам опустился в кресло. Ферзе[плечом и, продолжая завязывать галстук, сел:

— Чего ты так окарнал голову-то[

Малоруков глухо сказал:

— Я вас убью.

Вынул браунинг и положил во[тол.

Ферзенко на секунду перестал [, остро вглядываясь в Малорукова. Потом, [ерживая

развязавшуюся петлю галстука, одну руку сунул в ящик стола, достал револьвер, положил перед собою на стол и, ловко опять прихватив концы, завязал галстук.

— Стрелять и я, брат, умею.

— Я вас убью! — спокойно сказал Малоруков, не спуская с него отяжелевших от полуопущенных век глаз.

— Ну, вот что, ты или стреляй, или уходи к чертовой матери.

И Ферзенко спрятал в стол свой револьвер и стал ходить из угла в угол по кабинету, все больше раздражаясь.

— Я понимаю, тебя это смерть Мили так взбудоражила. Да. Но я прямо и честно говорю.— Я не виноват перед тобой, я не виноват тогда был перед тобой. Она сделала свободный выбор. Неужели тебе бы хотелось насильно сделать ее своею женою? Подумай — против ее воли!

Он постоял, посмотрел в окно и опять стал ходить.

— Я не виноват и в ее смерти. Разве она могла при ее гордости жить с кем-нибудь, быть чьей-нибудь женой, когда у обоих наступило охлаждение? Ну, подумай, что бы мог ты сделать на моем месте? Я предложил жениться на ней, она мне плюнула в лицо. Что же я мог другое предложить? Ведь сердцу не прикажешь.

— Я ва-ас уб-бью! — все так же глядя из-под полуопущенных век, спокойно и ясно отчеканил Малоруков.

— Тебя в сумасшедший дом нужно отправить, в отделение для буйных. И башку обрил, приготовился.

Малоруков поднялся, не спуская тяжелого взгляда и держа в опущенной руке револьвер.

— Я ва-с у-бью! Но... не сейчас. Вы поживете. Когда? Не знаю,— может быть, через час, может быть, вечером, может быть, завтра...

И, опустив голову и подумав, сказал медленно:

— Что толку, для вас — мгновение и все, а мне носить муку, всегда, всю жизнь.

Ферзенко внимательно смотрел на него и вдруг побледнел — да, этот человек, упорно и ни перед чем не отступая, носит его смерть.

— Послушайте, Никифор Васильевич, я... я не смею с вами на «ты»... Поверьте, я бы полжизни отдал, чтобы не случилось того... Я не подлец, как вам представляется. Вы можете меня убить, конечно, но во имя нашей преж-

ней дружбы, во имя памяти умершей, которая вам так же дорога, как и мне, прошу вас, очень прошу вас: сходите к врачу, прежде чем убивать меня, сходите к врачу.

— Я вас убью! — сказал Малоруков и так же медленно, так же спокойно вышел.

С этих пор для Ферзенко начался ад: где бы он ни был, куда бы ни шел, он постоянно либо встречал, либо ждал встречи с Малоруковым.

В театре он чувствовал, что Малоруков где-то сзади, и, когда оборачивался, действительно встречал его тяжелый медленный взгляд из-под полуопущенных век. И тогда на сцене для него все пропадало, он все время ждал: раздастся выстрел, и в спину вопьется горячая пуля.

Когда утром шел на службу, из-за угла навстречу выходил Малоруков и медленно, не спуская глаз, проходил.

Если уезжал, чтобы забыться, куда-нибудь за город на пикник и располагался с веселой компанией на поляне в лесу, следом появлялся на лихаче Малоруков и спокойно гулял поодаль.

Ни одной минуты, ни одного часа не был уверен, что не раздастся выстрел неожиданно, без всяких приготовлений и предупреждений, и он будет убит бессмысленно и нелепо.

Уверенность Ферзенко, что он будет убит, тем более возрастала, чем более он убеждался, что имеет дело с маниаком. Наконец он не выдержал и сделал заявление прокуратуре.

У следователя Малоруков так же спокойно, не спеша сказал:

— Ведь я же не делал попыток убить. А убью — арестуете.

В городе все стали бояться Ферзенко, боялись ходить и встречаться с ним на улице, боялись сидеть рядом в театре, избегали сталкиваться на гуляньях, в саду, в клубе, в общественных местах.

Где бы он ни присоединялся к компании, понемногу, незаметно и под разными предлогами все расходились, Ферзенко оставался один, а поодаль где-нибудь бродил Малоруков.

Ферзенко похудел, осунулся. Куда девался его жизнерадостный, беспечный вид... Около него раздвинулся круг пустоты и одиночества.

Тогда он решился: скрывая от всех, подал рапорт о переводе и, когда перевод получился, тайно уехал и наконец свободно вздохнул в другом городе. Снова зажил беспечной, веселой, молодой жизнью, наверстывая потерянное в прежнем кошмаре. Снова завелся обширный круг знакомых, снова стал кружить головы барышням, молодым женщинам.

Через три месяца он встретил выходящего из-за угла Малорукова. Малоруков так же спокойно, медленно и молча проводил его тяжелыми глазами, и Ферзенко показалось, точно над ним захлопнулась крышка.

В первую минуту Ферзенко пришел в неописуемую ярость. Сейчас же воротился домой, достал, зарядил и положил в карман револьвер. При малейшем движении Малорукова твердо решил тут же положить его наповал. Но дни шли за днями, и раздраженное возбуждение стало спадать. Убить Малорукова недолго, но убивать больного — это невыносимо.

Ведь возможно, что Малоруков не сделает попытки стрелять в него, как он не сделал ее до сих пор. Тогда какое же основание убить Малорукова?

Правда, он отлично знает, глубоко чувствует, что в конце концов Малоруков убьет, убьет внезапно, неожиданно, слишком глубокая, незаживающая рана нанесена ему, но, когда убьет, стрелять в него будет поздно, а теперь стрелять не имеет права.

И потянулась постылая, унизительная жизнь.

А Малоруков, который перевелся сюда в окружной суд, так же пунктуально работал, был аккуратен, молчалив, угрюм и ни с кем не сходился и, казалось, ни на минуту не спускал глаз с Ферзенко, даже когда его не видел.

Когда Ферзенко призвали, он с восторгом поехал прапорщиком в действующую армию. Здесь, в дыму, среди разрывающихся снарядов, в окопной жизни, среди лишений и ласковой сердечности товарищеских отношений, с него, точно скорлупа, свалилось все прежнее. Теперь ему не страшно было ожидание выстрела Малорукова, потому что смерть непрерывно подкарауливала кругом, и к ней так привыкли, что о ней не думали.

Ферзенко любили товарищи и солдаты: товарищи — за веселый, беспечный, общительный нрав, солдаты — за бесстрашие и за заботливость о них. Он всегда шел с

охотниками на самые рискованные предприятия. И когда товарищи удерживали, говоря, что надо же по очереди, он говорил:

— Если надо кому-нибудь идти, то почему же не мне?

Подошла глухая, непогожая осень. Шли холодные дожди, мешаясь с мокрым снегом; то подмораживало, и белели длинные лужи, садилась изморозь или сыпалась колючая крупа.

Томительные, бесконечные дни, полные усталого напряжения, потянулись, не разрешаясь грозовыми боями.

В осенней мути, за мертвым полем, слабо вырисовывались, как паутина, вражеские заграждения, за которыми тянулись в обе стороны окопы. Боев не было, но перестрелка почти не прекращалась — с обеих сторон постоянно подкарауливали друг друга.

В затишье офицеры забирались в землянку к ротному, вырытую в окопе. Солдатики ухитрялись согреть чайник, и офицеры отводили душу за чаем.

— Вашскблагородие,— проговорил денщик ротного, с лицом в саже, вытягиваясь,— так что их благородие земский прапорщик просются до вас войти.

— Какой земский прапорщик?

— Которые земского креста.

— Ну, пусть входит, милости просим.

Шевельнулась рогожа, закрывавшая входную дыру, и в землянку влез высокий человек, с бритой головой и красным крестом на рукаве. Он обежал всех глазами и уставился на Ферзенко. Ферзенко побледнел и нахмурился. Он отрекомендовал Малорукова. Потеснились.

— Чайку, пожалуйста, с нами. Собачья погода. Случайно изволили сюда попасть?

Раздался сухой кашель Малорукова; все невольно на него обернулись и только сейчас заметили страшную худобу этого человека и блеск ввалившихся глаз.

— Я в летучке. Она в лесу. Просил разрешения у дивизионного идти в передовую линию. Предстоит ночной бой. У меня шесть санитаров.

— Да, у него пошевеливаться стали.

В землянке было тесно, мокро, но тепло. Офицеры сидели в рубахах, и шевелившиеся от огарков тени то покрывали, то открывали обветренные, худые, но крепкие лица с серьезными глазами.

А под утро Ферзенко, сменившись с дежурства, привалился на соломе, набитой в углу у бруствера, засунул захолодалые руки в рукава и рассказывал товарищу:

— Да, это тяжелая история. Я если и виноват, так без вины. Сердцу не прикажешь. Самое тяжкое — это жизнь друг с другом, когда нет любви,— ну, нет ее, не родишь же ее. А этот — однолюб. Он любит тяжело, неизменно, навсегда. Она перед смертью прислала ему какое-то письмо, и он на стену полез. Там, дома, так и ходил за мною с револьвером, и я каждую минуту ждал — выстрелит. Он мне сказал: «Убью!» И я знаю — убьет, рано или поздно, но убьет. Что это?

Где-то справа бухнуло орудие, другое и смолкло. В окопах было тихо и мертво. Смутно белея в темноте, садилась изморозь.

— Что убьет, я в этом твердо убежден, у него это — мания. Пока не убивает, просто насладиться хочет этим особенным томительным ожиданием, которое я ношу с собой постоянно. Ты же меня знаешь, я умею смотреть смерти в лицо, но когда увидел Малорукова — задрожал. Свернуться под пулеметом с перебегающей цепью, исчезнуть в воронке взорвавшегося чемодана — это одно, а получить пулю за здорово живешь от спятившего дурака — нелепее этого трудно себе что-нибудь представить. Смысла никакого, уж очень бессмысленно. А что убьет, убьет внезапно, под впечатлением вспыхнувших болезненных воспоминаний — убежден. Вот и поди. Эх-ма!

А ночь все тянулась, и чуть начинавшее брезжить утро все не могло разогнать тьму. Стукнул вязкий в сырой мгле винтовочный выстрел, и по всей линии стали вспыхивать длинные острые язычки выстрелов. Потом все смолкло, опять чуть брезжит над краем земли светлая полоска, и все никак не может родиться утро.

Малоруков работал в тылу уже месяца два. Работал не покладая рук, но угрюмо, одиноко, сторонясь от всех, и если слышали от него слово, так это когда расспрашивал о местопребывании Ферзенко.

Он среди ночи просыпался в холодном поту при мысли, что Ферзенко могут убить прежде, чем он найдет его.

А когда нашел здоровым и крепким, буйная радость охватила его, как будто встретил дорогое, близкое суще-

ство после того, как потерял надежду увидеть его. С этих пор он не спускал с него глаз. И что бы ни делал, как бы ни проводил время, он все время как бы прислушивался, что делается *там*, в окопе, в той землянке, в которой он в первый раз встретил Ферзенко.

Бой разыгрался.

Раз в потеплевшую, темную, обложенную тучами ночь бухнуло глухо, но потрясающе орудие; потом, то надваиваясь, то сливаясь, забухали ближние и дальние орудия, а в промежутках трещали без передышки ружейные выстрелы и пулеметы, одни где-то дальше и слабее, другие недалеко впереди и влево отчетливо и ясно — в наших окопах. И разрывы снарядов тоже сотрясающе наполнили темноту за опушкой леса. А между ветвями, на секунду озаряя голые стволы и ветви, вспыхивали отсветы далеких огней.

В этой черноте, на мгновение раздираемой светом, шел неслыханный, потрясающий бой звуков и огневых вспышек. Казалось, люди, не принимая участия, забились где-то в щелях, и грохот гулял.

Но скоро оказалось, что и люди принимают участие в этой потрясающей игре: на поляну, где были раскинуты длинные, смутно выступавшие при вспыхивавших отсветах палатки, приносили носилки с неподвижными фигурами.

В одной из этих палаток принимал Малоруков. Он подходил к носилкам и с замиранием сердца при тусклом свете фонаря заглядывал: «Нет, не он!» Потом бережно, осторожно и умело начинал хлопотать около раненого. Сестры, в белых, запятнанных кровью халатах, бесшумно, торопливо и быстро снимали первую повязку, промывали рану; доктор, в таком же белом, кровавом халате, наклонялся, осматривал, если нужно, перехватывал бившие кровью артерии, вынимал осколки; сестры быстро бинтовали, и Малоруков с другими санитарами относил и клал длинные ряды на соломе. Потом поил горячим чаем, кормил, давал лекарства.

Палатки все больше и больше наполнялись, негде было ступать; в шевелящейся от меркнувших свечей темноте стоял сладкий запах крови, человеческого тела и стоны, незамирающие стоны, то тихие и слабые, по-детски беспомощные, то громко протестующие:

— О-ох!..

— По-мо-ги-те!..
— Людэ! Людэ!..
— По-гиб на-род!..

Стали класть уже смутно белеющими рядами за палатками.

А ночь медленно текла, все раздираемая грохотом. Догорели свечи, зажгли вторые, все не было рассвета.

От усталости Малоруков стал шататься; звенело в ушах, в глазах выступали радужные пятна. Он вышел, прислонился к дереву, на минуту завел глаза и услышал то, что в напряжении работы и в усталости не слышал,— стоны, эти детски беспомощные стоны бородатых людей.

К горлу подкатился ком, а в глазах выплыло бледное, обрамленное кудрями личико с чертой детской беспомощности около крохотного рта. Он застонал, широко открыл глаза, как будто впервые увидел то, что было кругом, и, шатаясь, принялся снова за работу.

Пришел бледный, серый день, орудия смолкли. Раненых перестали подвозить, но не потому, что их не было.

— Не дают подбирать, анафемы! — говорил, размахивая руками, санитар с перевязанной окровавленной тряпкой щекой — пулей выбило зуб.— Только выйдешь, а они залп. Стервецы!.. Так и лежат наши.

Малоруков судорожно схватил его за руку:

— Прапорщик третьей роты Ферзенко цел?

— Их не то убили, не то лежат раненые, аж под самыми *ихними* заграждениями.

Малоруков побелел. Потом, не говоря ни слова, пошел в окопы.

— Прапорщик Ферзенко цел?

— Не то убили, не то поранен, остался под проволокой у *них*.

— Я иду за ним.

Как офицеры и солдаты ни отговаривали, он молча, не отвечая на уговоры, выбрался из окопа и побежал через черное поле, изрытое ямками, с разбросанными всюду в неестественных позах серыми фигурами; некоторые шевелились, доносился стон.

Целый рой пуль засвистел около Малорукова. Одна зацепила фуражку, другая обожгла левую руку — пробило мякоть. От боли потерял сознание и упал. Когда очнулся, вынул пакет, зубами разорвал рукав и перетянул рану. Поднялся и побежал. Снова, певуче свистя, по-

неслись пули, взрывая перед ним черную землю, задевая лежащие трупы. Малоруков опять упал, долго лежал неподвижно, потом осторожно стал передвигаться. Было сыро и холодно; кругом стонали и мучились раненые, и все так же неподвижно лежали убитые, то раскинувшиеся, то с подвернутыми головами. Если делал заметное движение, пули снова начинали петь над ним.

Проходили часы, а он передвигался по вершкам. Ныла рука, и от сырости душил кашель.

Когда стало смеркаться, он и половину поля не одолел. Ночь пришла холодная, туманная, и в двух шагах ничего не было видно. То и дело бродили полосы ярко-фосфорического дымного света, и тогда выступали в уродливо скорченных позах убитые. Малоруков лежал неподвижно, а когда голубовато-дымчатая полоса скользила дальше по полю или, перекидываясь на другой конец, взметывалась к небу, он опять что есть силы бежал.

Вот и заграждения. Он их узнал по темневшим пятнам убитых, которые обвисли на проволоке. Было тихо, и никто не стонал. Невыносимо ломило руку, которая висела как плеть.

Малоруков полэал вдоль заграждений, прислушиваясь к дыханию, но никто не дышал, не было признака жизни. Ночь, все такая же холодная, туманная, протекала, и ее черноту от времени до времени бороздили дымные голубовато-фосфорические полосы света от прожекторов, и опять тьма.

Как едва заметный шелест сухих листьев, донеслось:

— Пи-ить...

Малоруков замер и, затаив дыхание, слушал. Нет, это у него в мозгу — ему мучительно пить хотелось. Он перестал вслушиваться, и опять едва уловимый шелест:

— ...Пи-ить...

Тогда он пополз наверняка и нащупал лежащего человека. Он хрипло и слабо дышал и временами шелестел:

— Пи-ить...

И Малоруков, трясясь всем телом, знал, что это Ферзенко. Торопливо пробежал по нем пальцами: ноги лежали странно изогнувшись,— обе перебиты, и слабо теплела сочащаяся кровь.

Малоруков достал бинт зубами и правой рукой перетянул ему ноги повыше колена. Попробовал одной ру-

кой поднять, не мог. Тогда взял раненого здоровой рукой за шиворот, как берет сука щенка, и поволок по земле, упираясь коленями. А тот, хрипло дыша, стоная, шелестел:

— Пи-ить...

Так он тащил его шаг за шагом, перетаскивая через мертвецов.

А когда на них легла полоса света, Малоруков, затаившись, увидел у своего лица оскаленные зубы и два огромных полных ужаса глаза.

— Ты... кто ты?! Ты — убийца...

Подобрали их под утро возле окопов санитары, подбиравшие уцелевших раненых. Ехали они в одном санитарном поезде, лежали в одном и том же госпитале, и одни и те же врачи отрезали одному ноги повыше колена, другому руку выше локтя.

Потом их эвакуировали к теплому морю — у обоих начался легочный процесс.

Они оба лежали на одной веранде рядом. Ферзенко говорит:

— Ну да, я знаю, ты ждешь только минуты... Выпьешь из меня все, потом убьешь.

А Малоруков строго говорит:

— Молчи. Слышал, что доктор сказал? Два часа не разговаривать после еды.

Ферзенко покорно молчит, потом говорит:

— Не могу, я думаю о ней.

— Молчи!

А когда Малоруков спустится в парк пройтись, Ферзенко беспокойно начинает ворочаться в своей коляске и спрашивает сестру:

— Где же Никиша?

ДВЕ СМЕРТИ

В Московский Совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

— Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже — никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

— Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

— Знаю.

— Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

— Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я — офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы— налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

— А черт ее знает... Справки навел, да что справки,— говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ,— конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадется — пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

— Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы — дочь офицера. Пожалуйте!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:

— Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди — только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

— Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.

— Где она сейчас?

— Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва... А вам зачем она?

— Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.

— Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий — сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.

— Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взглянув.— Поймали.

Девушка целый день работала в лазарете, мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые темно-запушенные глаза.

— Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

— Я им документы покажу, я — мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает, что с ней. Душа изболелась...

— Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

— Нет, нет, нет...— испуганно протянула руки,— я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

— Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы — ни черточки, ни намека, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напрягалось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потренькивать струною, и все подтягивает колышек — и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое — сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так ведь это ж начало конца... Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки — столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот — шепот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами — исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности — молчание, и в молчании — затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании — ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

— Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив... На

корявой ладони лежал юнкерский пропуск... кверху ногами...

«Уфф, т-ты... неграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку.

— Куда идешь? — вдогонку ей.

— В штаб... в Совет.

— Переулками ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.

— Ну, молодец, девка! Смотри только не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита; они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.

Он подскочил к девушке:

— Вот... эта... потаскуха... продала...

Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

— Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опушенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

ТОЛЬКО УСНУТЬ

Три ночи и три дня я сидел, зажатый в углу вагона. Невозможно было спать, и теперь голова плохо держится на шее. Так бы и заснул сладко, ни о чем не думая, но надо добраться до гостиницы... Постель, чистое белье — никогда не думал, что это такое блаженство.

Поток людей подхватывает меня и выносит из вокзала. Все в голубоватом весеннем тумане: и уходящие улицы, и лошадиные морды, и торговки вдоль влажного тротуара.

Подхожу к извозчику:

— Знаешь, где Совет рабочих депутатов?

— Знаю.

— Сколько?

Он глядит в уходящую, по-весеннему задымленную улицу.

— Пятнадцать карбованцев...

Я плохо знаю харьковские улицы — сажусь.

Весенний голубоватый воздух, хлынувшее солнце, по-весеннему звучащие голоса, стук подков, гудки паровозов отогнали сон.

Совет — в громадном здании судебных установлений. Вхожу в дежурную. Эх, жалко — на старое похоже: накурено до одури, наплевано, окурки, шелуха от семечек. Сидят с винтовками. Какие-то люди дожидаются. Звонят по телефону.

— Что? Говорите яснее. Стреляют?.. Троих пошлю...

Трое с винтовками подымаются и уходят, и один, улыбаясь, говорит:

— Ноне шапку на мне прострелили.

Я смотрю им вслед:

«Вздор какой, тут не до чистоты — каждую секунду под смертью ходят. Придет время, будет чисто, уютно, культурно, и не надо будет бежать каждую минуту и стрелять в кого-то... и в тебя не будут стрелять...»

Обращаюсь к дежурному.

— Товарищ, мне нужно устроиться в гостинице на несколько дней. Не поможете ли мне? Гостиницы переполнены. У вас, вероятно, помещения на учете. Страшно устал.

— Пожалуйста.

Дежурный берет листок и пишет: «Отпустить номер», прикладывает советскую печать и подает.

— Вот, пожалуйста. В любой гостинице. Они у нас шелковые теперь, эти господа.

Я беру ордер. Наконец-то! Покосился на скамейку: разве присесть на минуточку и чуточку закрыть глаза. Подавляя искушение, беру саквояж и выхожу.

— Извозчик, до ближайшей гостиницы...

— Десять карбованцев.

— Много, голубчик. Говорят, тут близко.

— А овес почем?

Сажусь, заворачиваем за угол, останавливаемся.

— Эх, товарищ, как ты с меня взял.

— А овес почем?

Вхожу в гостиницу, протягиваю ордер...

— Пожалуйста, номер мне.

— Ага, от Совета — ну, это мы обязаны. Сейчас. Пожалуйте.

Я иду по длинному коридору, несколько раз сворачиваем. Натертые полы блестят.

Заведующий останавливается перед закрытой дверью.

— Вот этот номер вам можно. Тут старик, больной ногами, мы его сейчас выдворим... Антон,— обратился заведующий к проходившему официанту,— кликни извозчика, да вынеси вещи из этого номера, положишь на извозчика — номерок вот для господина нужен.

— Что вы делаете? Кто вас просит выбрасывать больного старика?.. Я вас прошу дать мне свободный номер.

Заведующий прижимает обе ладони к груди, подымает бороду, сладко закатывает глаза и с наслаждением, приятнейше улыбаясь, говорит:

— Нет ни одного свободного.

— Слушайте, может быть, какой-нибудь, хоть маленький, хоть темный, я страшно устал.

Заведующий засуетился.

— Ах, боже мой, да как же так... Да мы его сейчас... Послушайте, господин, отпирайте двери! — он стал стучать в двери.— Нужно номерок освободить. Антон, зови же извозчика!..

— Да что вы с ума сходите! Я за этим, что ль, пришел — стариков больных выкидывать!..

Он всплескивает руками.

— Да ведь от Совета...

— Что же, от Совета. Совет разве требует, чтоб выкидывали жильцов?

Я поворачиваюсь и ухожу и в последний момент вижу радостно торжествующую, злорадную усмешку.

— Извозчик, до ближайшей гостиницы.

— Семь карбованцев...

— Да ведь тут близко где-нибудь.

— А овес почем?

Мы переезжаем площадь и останавливаемся. Я вхожу и предъявляю ордер.

— Номер, пожалуйста.

Заведующий, с отвислыми собачьими баками, искоса одним глазом поглядывает в ордер и говорит мрачно:

— Пожалуйте.

Я иду за ним. У одной из дверей мы останавливаемся. Оттуда слышен детский плач. Заведующий стучит.

— Сударыня, позвольте войти.

— Что такое? — раздается болезненный, надтреснутый голос.

— Вам нужно очистить этот номер.

Я отступаю.

— Что вы городите! С больными детьми выбрасываете!..

— Давно живет. Ничего — устроится.

— Вы мне дайте хоть какой-нибудь номеришко, только свободный.

Тот мрачно встряхивает обвислыми баками.

— Свободного ни одного...

Я выхожу и бесконечно начинается все то же: «шесть карбованцев», «а овес почем», «сейчас выселим» — раненого или вдову, или ребятишек с больной матерью, или кого-нибудь, но непременно больного, искалеченного, раненого, беспомощного.

Я говорю:

— Дайте мне какое-нибудь помещение, хоть чулан, хоть без окон, хоть под лестницей,— мне бы только уснуть.

Передо мной рассыпаются, до тошноты любезны, срываются повыгонять всех жильцов, но номера свободного ни у кого нет.

Похоже на саботаж.

Извозчик говорит:

— Вы ордера им не показывайте, а дайте швейцару в зубы десять рублей — и номер будет.

Но я объездил уже все гостиницы, не хочется снова идти в Совет — люди разрываются от работы, посетителей — толпа непротолченная, неловко отрывать. Я бе-

ру свой сак и иду по улице, без толку, без цели... Меня толкают во все стороны... Или я качаюсь?..

Отчего так черно? Разве ночь?.. Кричали и прыгали воробьи, блестело солнце, а теперь это все провалилось.

Я подымаю веки... Стоят освещенные дома, в стеклах блестит солнце, а я иду куда-то наискось, через сухую теплую улицу. Мимо катятся пролетки извозчиков, прогремел трамвай.

Куда же я?

Впрочем, все равно. Стук кованых копыт, звук шагов на панели, голоса, смех, освещенные дома — все ровно тонет молча в наплывающей черноте, за которой тревога — что-то надо перестать... Не надо... постой...

Я делаю усилие. На секунду, как в далекой панораме, светлеют дома, выступают крыши, засинеет конец улицы, всплывает говор, смех, стук копыт... И снова все ровно тонет в черный провал, а за ним тревога...

— Стой!.. Куда?..

Мне в ухо дышит горячим дыханием лошадиная морда. Оглобля в плечо.

И разом накатился грохот, звонки, стук... А сверху голубое, темнеющее небо. Карнизы и верхушки труб позолотились.

Где я?..

Площадь... Какое-то большое здание раскинулось направо, налево; огромный подъезд. А, знакомо — не то на картине видал, не то рассказывал кто-то о нем.

Я стою. Загудел паровозный гудок и грубо сдернул тонкую вуаль неведомого и таинственного — просто вокзал.

Ну, что же? Вхожу. Он громаден, но еще громаднее громада людей, его наполняющая. На полу, на скамьях, на стульях, на столах, в проходах, на подоконниках, привалившись к дверям — всюду люди и всё серые шинели. Есть и вольные. У киоска плачут дети; баба сморкается в уголок красного платка.

— Какие газеты продают?

— Только социалистические.

Невыносимым пронзительным сиянием вспыхнули электрические лампочки.

Разве вечер?

Иду к коменданту. Он — безусый, на шинели револь-

вер. В маленькой комнате много людей. Поминутно звонит телефон.

— Я бы просил разрешить мне переночевать в одном из отапливаемых вагонов.

Объясняю ему, в чем дело. Он слушает внимательно и сочувственно. Подаю ему свои бумаги.

Он, нахмурившись, начинает писать: «Ничего не могу сделать для вас».

На платформе в полупотемках такая же людская каша.

Влажный, холодный асфальт. Темнеют пятна лежащих вповалку. Ночь сырая. Скупы и редки тусклые лампочки. Уехать куда-нибудь. Ехать и спать, спать.

Поезд стоит. Я иду к нему — все равно. Перед каждой площадкой толпа; на спинах мешки, корзинки, сундуки; давят друг друга; хватаются за ступени, за ручки, за двери. За вагонами сырая черная ночь.

Нет, тут безнадежно: весь поезд набит. На подножках, на буферах — гроздья.

Я ухожу в вокзал. И в третьем классе, и во втором, и в первом — людей груды. Пол — заплеванный, усеянный белеющей шелухой от семечек, окурками; весь завален неподвижными в разнообразных позах людьми.

О поле, поле, кто тебя усеял...

Осторожно шагаю через головы, руки, ноги. Если б кусочек свободного места.

Иной раз неловко: наступишь на руку, на ногу или заденешь голову. Замычит, поворочается...

Если б кусочек свободного, загаженного, заплеванного пола!..

Стоит на все лады храп, свист носом, тяжелое прерывчатое дыхание, и клокочет в горле, в груди. Напряженно сияют электрические лампочки.

Торопливо, испуганно подымается солдат с не проснувшимся еще, словно незрячим лицом, на котором клейкий, остывший пот. Отчаянно стал чесаться и пошел целиком, шагая по ком попало, бормоча: «Заели проклятые...»

Я торопливо опускаюсь на освободившийся кусочек еще теплого пола, кладу саквояж под голову, и все мгновенно и сладко проваливается в мертвую черноту.

Это продолжается всего лишь одну секунду. Потом неуловимо тонкий повышающийся звук впивается, становясь нестерпимее.

«Постой... не нужно.. не хочу... мучительно...» Я бы отвернул голову, но нет сил. Впивается, все утончаясь. Я приподнимаю веко — это не звук, и не в ухо впивается — тонкое сияние лампочки мучает глаза.

Я переворачиваюсь на другой бок, стараясь избавиться. Перед лицом неподвижная серая спина. Я не знаю, какой он, какое у него лицо, только, должно быть, намучился — такое оно усталое. По необъяснимому побуждению мне хочется заглянуть в лицо — не могу.

Все неподвижно.

А вместо спины, не спуская с меня горячечных глаз, смотрит воспаленное молодое, с только что пробивающимися усиками лицо. Полопавшиеся губы полуоткрыты, и зубы обсохли клейкой слюной.

Я не могу освободиться от этого неотрывающегося, налитого жаром взгляда. И уж ничего нет — ни наваленных всюду солдат, ни остро сияющих лампочек, ни тяжкого с синевой туманного воздуха, который всех придавил,— одни только воспаленные глаза.

Мне хочется сказать:

— Послушайте, перестаньте... я три ночи... не спал...

Он говорит:

— У меня жар... сыпной тиф... мутно в голове... вши кругом — они сыпной тиф переносят... накусают больного, потом на здорового переползут... и...

У меня все леденеет внутри.

«Как мне избавиться от него?..»

Но он так же упорно не спускает с меня блестящих глаз, и горячечное лицо пылает.

— Помните, как солдат поднялся и шагал, по ком попало... вам место оставил?..

Я стискиваю зубы. Если это сон, отчего же я так отчетливо вижу и слышу его? И отчего такая мертвенная тишина?

— Я офицер,— говорит он.— А теперь во вшах, в грязи, среди плевков, окурков, пакости, заразы... Да ведь я же привык к чистому белью, постели, чтоб воздух был не этот, отравленный... А-а, и вам не сладко. Что рот-то

разинули, как рыба на берегу... Или у вас две мерки: одна для себя, другая для офицера? Как же вы хотите, чтобы мы жили в этих страшных условиях? Вы теперь лежите во вшах, слышите, как они жгут вас... Не хочется... оледенело все... Нет, покушайте, а тогда уж нас запихивайте в эту страшную дыру. Поймите, ведь мы же живые люди. Ведь не проклятые же мы от века.

Из его потрескавшегося рта вырывается обжигающее дыхание, жжет мне лицо. Глаза заволакиваются горячечным зноем. Минутами сознание изменяет — он делает усилие, ловит слова.

— Да... так это... я хотел... вы плохо меня понимаете... Я сейчас справлюсь... вот... Разве это преступно — хотелось жить культурной жизнью, в чистоте, с книгой, в театр пойти, быть одетым по-человечески, разве желать этого преступно?.. Так зачем же разогнали офицеров из чистых комнат, пихают их в мусорную яму, во вши?.. Ну, вот вам, давитесь...

Он ловит синеватый приторный воздух и быстро облизывает белым языком истрескавшиеся губы...

— Мутно кругом... я не разберу,— говорит он, со страхом озираясь.

И я не разберу — во сне или на самом деле. Но ведь я же вижу его горячечные глаза, пылающее лицо. Вот он, и обжигающее дыхание касается моего лица. Наяву.

Всматриваюсь, да это — не он. Это — совсем другое лицо, тоже измученное, с злыми огоньками в усталых глазах. Должно быть, перевернулся тот, который лежал ко мне спиной.

— А наш брат во вшах,— это так и следует... Ага... ваша благородия... Так ему чистоту подать, кусок повкусней, да чтоб чистая комната, а мы на собачьем положении, не люди. В зубы, в морду... Разве мы люди были? Мы животные были... Нет, буде, прошло их царство... Пущай нашего попробуют. Пущай наши вши их поедят... Пущай вместе с нами в пакости поваляются... А-га-а, не сладко!

Я взглянул в его лицо: ни глаз, ни лба, ни подбородка — неподвижная спина в серой шинели, должно быть, голова завалилась и тяжело спит.

Я хочу сказать тому — другому хочу сказать, что... А он уже близко, близко придвинул горячечные глаза и шепчет, обжигая ухо горячим дыханием:

— Понимаю, понимаю вас: систему надо было разбить, ту систему, которая из армии, из офицерского корпуса делала угнетателей трудящихся и прислужников имущих. А когда разбивали систему, удары падали на каждого отдельного представителя офицерства, может быть, и невиноватого. Ну, хорошо. Это неизбежно... Постойте, что я хотел сказать?.. Отчего так мучительно светят лампочки?..

Он на секунду завел воспаленные веки, потом опять поднял и заговорил, все так же обжигая:

— Самое страшное — разделение. Офицер был в чистоте, солдат — во вшах. Офицер вкусно и чисто ел, солдат — с червями. Для офицера — книга, клуб, театр; для солдата — постоянная казарма. Офицер оберегал свое достоинство, если не по отношению к своему начальству, так по отношению к штатским; для солдата — унижения, подлые, собачьи; для офицера — безнаказанность, для солдата — бесчеловечные наказания.

Он близко, зрачок в зрачок, придвинул свои горячечные глаза:

— Так что же вы хотите — офицера во вши, в черви, в грязь, в казармы?.. Это же невозможно. Но и солдата оставить во вшах невозможно; мы-то, прежние офицеры, теперь это понимаем, по крайней мере, многие из нас. Один выход: выравнять положение, чтобы никто во вшах не был, чтобы казармы не было. Чтобы всем одинаково была доступна книга, музыка, благородные развлечения. Чтобы человеческое достоинство каждый мог блюсти как зеницу ока...

Он стал бледнеть, таять, стерлись щеки, нос, подбородок, наконец растаяли долго дергавшиеся, глядевшие на меня глаза.

Я приподнялся на локте: возле — серая спина. А по всему полу, как взбаламученное море, неподвижные серые фигуры, с отогнутыми головами, руками. Стоит тяжелый храп. Окна черны.

Исступленно сияют лампочки.

Я ежусь — покусывают. Кто-то давит коленом в плечо. Нет сил отодвинуться, да и некуда.

«Сыпной»,— вонзается тонким холодком. «Все равно»,— закрываю веки, и все проваливается — я один.

Нет, не один: он опять смотрит воспаленными глазами и... смеется...

— А-а, невкусно?.. По книжкам, по газетам знали только солдатское житье... Жалели... Нет, на своей коже испытайте, а то языком да пером легко было жалеть... Покусывают... Вон их сколько лежит... Грудой завалили вокзал... Ну, в прошлое уходит... Это от прошлого кусок остался — от подлого, проклятого прошлого. Знаете, вокзалы ведь придется переделывать, чтоб — только первый класс... в чистоте, чтобы все, понимаете, все вокзалы... по крайней мере втрое надо расширить.

И вдруг черты его исказились:

— А он будет семечки лузгать, плевать, харкать повсюду. Значит... На стол влезет, растянется. В чистую скатерть начнет сморкаться. Все в конюшню. Ну, то-то и есть... Ну, знаю, знаю, что скажете: дескать, его тоже надо обчистить, привести в культурный вид... Чтобы не только для него обстановка не отличалась, но чтобы и сам он внутренне и внешне не отличался. Да, трудно. Вой-то какой стоит. На него только цыкают. А ведь если бы все поголовно принялись за работу — непочатый край... А сколько адвокатов, которые остались на улице без куска, судей, писателей, которые оторвались от прежнего и не умеют еще втянуться в новое. Педагоги, перед которыми колоссальная ломка школы, и они боятся ее; врачи, профессора, инженеры, у которых крайняя озлобленность и ожесточение переходит в растерянность. И медленно, и тяжко, и трудно, но все по-прежнему становится на свое надлежащее место. Трещины в старом так глубоко проникли, что возврата нет. И это начинают понимать, и к строительству жизни, озираясь, подавляя остатки ожесточений в сердце, подходят все новые... Видите.

Покачнулся и стал таять и растаял...

Меня толкнули. Поднялся, озираясь. Окна были не черные, а серые — утро. В вокзале смутно; тяжко дышать. Среди моря серых фигур некоторые сидели и чесались, с помятыми измученными лицами.

Все тело у меня ныло и жгло. Голова тяжелая, как пивной котел, лицо пылает, глаза заволакивает зноем.

«А что, если сыпной?..»

И, делая чрезвычайное усилие, я подымаюсь.

Как масло с водой, сколько их ни взбаламучивай, упрямо расслаиваются,— так враги революции угрюмо уходят с улиц, с площадей, давая место рабочим, когда начинают широко взмывать праздничные революционные флаги.

Автомобиль неустанно несется вперед, холодный осенний ветер режет глаза, выжигая слезы. Мимо с обоих боков проносятся серые колонны революционной армии и без конца черные фигуры рабочих.

Отчего лица спокойные?

Нет, не весело-праздничные, не смеющиеся, а спокойные спокойствием решимости, спокойствием пережитых побед, пережитых и переживаемых боли и горечи. Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.

Красные полотнища полыхают на улицах. Под серым холодным октябрьским небом красный город.

Ни одного «благородного, чистого господина», ни одной «благородной дамы». Ветер свистит и нижет насквозь. Не зазнобило ли их?

Чьи же это злые глаза блестят за стеклами домов?

Вот голова нескончаемой детской колонны. У этих лица веселые. Еще не пришло время положить на них печать спокойной решимости, сосредоточенной серьезности. Они улыбаются, смеются, поворачиваются друг к другу, машут нам. И вдруг вспыхивает детское «ура», внезапное и радостное, и катится с нами вдоль их нескончаемой колонны.

Ну, просто оттого, что автомобиль быстро несется, захлебываясь, треплются на нем красные флажки, и мы сидим, мы, давно знакомые, даром что никогда не видались,— ведь это пролетарские дети, а в красном автомобиле могут ехать только их друзья.

Чьи же глазенки, съедаемые любопытством, блестят за стеклами домов?

Мальчуган стянутыми от холода ручонками несет знамя — красное знамя, а ветер валит его, а он борется, и от этого еще ярче катится, обгоняя нас, чудесное детское «ура».

Автомобиль передохнул и пошел шагом.

Ну, что бы им еще сделать? Ну, подпрыгнуть, шлепнуть ручонкой по кузову или пуститься с нами в обгон-

ки? Да колонна не пускает, да детская дисциплина уже ложится на веселое своеволие.

Автомобиль напрягся, забормотал, и пошли мелькать дома, а за стеклами то сверкающие злобой глаза взрослых, то милые, полные любопытства глазенки детей. И далеко уже теряющимися пятнами чуть краснелись знамена и потухли, и погасло далекое детское «ура».

Вот Введенский театр Лефортовского района вспыхнул красным заревом революционного убранства, и, как черное ожерелье, рабочий народ вдоль полукруглого парапета. Красная трибуна.

Срываемая и уносимая ветром, звучит музыка.

Ближе и ближе. Стройно, молодо идут ряды революционной армии мимо рабочих, ее создавших.

Нужды нет, что не все в форме,— некоторые в шляпах, иные в пиджаках — ничего, когда понадобится, будут отважно драться вот за тех, кто теперь на них смотрит.

Не мимо генералитета, не мимо князей и сановников — мимо братьев, мимо революционного пролетариата идут красные боевые ряды, и широко реют красные революционные знамена — за социализм.

Автомобиль, напружившись, вырывается с площади, и опять бегут краснеющие гирлянды, остро подымаются красные, только что выросшие башни.

И каждый район, мимо которого пробегает автомобиль, вспыхивает красным заревом убранства, вспыхивают красные трибуны.

Да, праздник!

И всюду торжественно звучит он, звучит могучим аккордом красного зарева, величавого спокойствия, и в молчании тех, глаза которых с немой ненавистью блестят за стеклами домов, ни одного предательского выстрела.

Величаво и торжественно над красным городом в гуле холодного, волнующего флаги и знамена ветра звучит красный пролетарский праздник.

Красная площадь.

Снимите шапки: могилы тех, кто до дна испил красную чашу страдания за братьев своих!

Василий Блаженный, старенький и седенький, смотрит, не понимая, на проходящие ряды рабочей трудовой и боевой армии — идут мимо высокой красной трибуны. Громыхают орудия, приземисто ползут автомобили, бро-

невики, плотным шагом идет пехота, сдерживая горячащихся лошадей, проходит кавалерия.

А за цепью, где серые зрители,— ни одного котелка, ни одной шляпы с перьями и... ни одного выстрела.

На Ходынке снова проходят войска. На трибуне комиссар, несколько бывших генералов, полковников.

Солдатик в толпе зрителей говорит:

— Это что же, тетку их за ногу! Что же опять у нас генералы да полковники, по-прежнему?

И сказал рабочий, оборачиваясь к нему:

— Товарищ, они нужны нам, только не по-прежнему: нужны просто как специалисты. А в случае чего справиться с ними мы всегда сумеем: ведь перед ними не прежняя святая серая скотина, а мы.

И, быть может, в раскатистом аккорде великого пролетарского праздника это прозвучало наиболее внушительно — спокойный учет совершающегося кругом.

ДОН

На Южный фронт я попал в одну из самых тревожных минут. В окраинных углах Воронежской губернии пылали дезертирские восстания. Казаки разливались по южным, самым хлебородным уездам губернии. Красная Армия все пятилась. Наконец опасность стала угрожать самому Воронежу. Началась эвакуация учреждений. На север сплошь потянулись бесконечные поезда. Пассажирское движение приостановилось.

Черная туча нависла над Воронежем и Воронежской губернией.

Но постепенно стало проясняться. Казаков оттеснили. Восстания потухали. Население уездов, куда ворвались казаки, поднялось на защиту родных деревень.

Я вглядывался в совершавшееся и задавал вопрос, который тысячу раз все задавали себе: как могло случиться, что наше почти триумфальное шествие через Донскую область, наше блестящее положение вдруг сменилось почти катастрофическим положением, почти разгромом, и враг ворвался в Воронежскую и другие губернии?

Это очень сложно и распутается медленно и трудно.

Я хочу обрисовать только кусочек той борьбы, которую вела Красная Армия на Дону.

Чем объяснялось победоносное, почти триумфальное шествие по Донской области Красной Армии, остановившейся местами лишь в двадцати верстах от Новочеркасска?

Красная Армия дралась великолепно в Воронежской и Тамбовской губерниях и в северной части Донской области — она сломила стойкого врага. А потом в громадной степени оглушительный успех объяснялся разложением в рядах армии противника. Это разложение целиком зависело от настроения населения.

Донское казачество измучилось, истомилось за годы кровопролитной царской войны, а потом гражданской. Ведь это же без передышки.

А тут при всех трудностях в трудовое казачество просачивалось представление о советском строе как о справедливом строе трудящихся, без генералов, без офицерства, которое так осточертело казачеству.

И вот лопнула внутренняя скрепа в армии противника, и полки за полками стали переходить на нашу сторону или просто расходиться по домам.

Вот с этого момента и кладется начало нашим блестящим победам и нашему поражению: внешне мы победоносно шли все дальше и дальше, внутренне мы все ближе и ближе подвигались к поражению.

Что парализовало наши победы?

Прежде всего самоослепление, самоослепление и в военной области и в области гражданского строительства.

На огромное пространство тоненькой ниточкой протянулся тогда Южный фронт. Сзади не было резервов, в полках не было пополнения, и, усталые, они часто сводились до минимума штыков. Политически армия обескровливалась — в нее перестали вливать коммунистов. Санитарная обстановка — убийственная, иногда целую дивизию приходилось отводить в тыл — ее пожирал тиф. И тело и душа армии слабели.

А красные ряды все шли и шли вперед, почти не встречая сопротивления, и победы заслоняли всем глаза.

А население?

Его не видели. Мимо него шли к Новочеркасску. Победы заслонили и население, его чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожидания нового, его огромную по-

требность узнать, что же ему несут за красными рядами, его особенный экономический и бытовой уклад.

И никто-никто не крикнул:

— Товарищи, бейте тревогу, нас одолевают победы!.. Давайте пополнений, а на нас идет гроза: мы побеждаем! Шлите коммунистов, объявите партийную мобилизацию в двадцать, тридцать, сорок процентов, или нас задушат победы!..

Никто в страшной тревоге не крикнул этого.

Скажут: как же кричать, когда и без того все напряжено до последней степени, все вычерпано до дна?

Но разве перед Колчаком не было такого же положения?

Все было напряжено до последней степени, все было вычерпано. И, однако, когда Колчак очутился у Волги, явились и пополнения и мобилизованные коммунисты.

И неужели надо было ждать, чтоб грянул Деникин, чтоб оказались и пополнения и возможность партийной мобилизации для юга. Теперь все это есть.

Одно необходимо усвоить: при победах не кричать до самозабвения «ура», тогда и поражений не будет.

Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо порожнего места, жестоко отомстило.

Нужно знать казаков, чтобы расценивать в полную меру. Южане — подвижные, впечатлительные, способные заразиться дико вспыхивающей ненавистью и враждою, иногда упорные и настойчивые.

И вероломства у многих достаточно. С врагом заключит перемирие, целуется, обнимается, а сам втихомолочку сзади и рубанет шашкой, ибо по отношению к врагу все дозволено: так учили атаманы.

И тут же рядом — преданность делу, которое считают справедливым, и в этом случае настойчивость и упорство.

Веками воспитаны в национализме, обособленности, особенно поддерживаемых при царизме: казак — это высшая порода, а спокон веков поселившийся на Дону великоросс или украинец — это низшая людская порода, к которой казак относится свысока.

Казаки ведут экстенсивное хозяйство. Чтоб добыть количество продуктов, необходимое для жизни, казаку нужно много скота, земли, орудий. Казак-середняк, пе-

ренесенный в центральную Россию, конечно, попадает в слой кулаков.

Казак-бедняк — это совсем не то, что безлошадный бедняк в России. У него и лошадь, и корова, и землю пашет, и в то же время это действительно бедняк, кровавым потом отстаивающий жизнь. Бывало, как ни надрывается, не сдюжает справить сыновей на службу, у него продают последнюю коровенку и отнимают земельный пай, который сдают в аренду, чтоб покрыть справу сыновей.

Казачество, несомненно, экономически расслаивается, и расслаивается быстро. Но в сознании этот процесс не отпечатывается так отчетливо, как в России. Деревенский бедняк издалека видит мироеда, боится его и ненавидит. Слабеющий экономически казак не видит так отчетливо своего кулака.

Он враждебен своему офицерству, генералитету, давление которых он ощущает главным образом как давление представителей сословия, касты, военщины. Он высокомерно враждебен ко всем иногородним, которые в огромном большинстве сами эксплуатируются казачеством.

Победители прошли мимо всего этого с задернутыми победой глазами. Видели только один Новочеркасск, который надо было взять.

Если прибавить необъясненные населению возложенные на него тяготы, если прибавить ужасающее отсутствие литературы, элементарного живого человеческого слова, то станут понятны густые потемки, зловеще окутавшие казачество,— потемки, в которых и Советская власть, и, главным образом, Коммунистическая партия вставали в дико извращенном виде.

И казаки пришли к выводу: ошиблись, ошиблись и надо исправлять.

И потянулись на веревках опущенные по рекам пулеметы, стали подымать зарытые в землю орудия, вытаскивать из стогов ящики с патронами.

Кто припрятал оружие?

Конечно, в первую очередь, отступающие красновские части. Затем богатеи казаки, офицерство, которое оставалось по местам, затаив ненависть к надвигающемуся новому строю, несшему смерть их беспечальному житью. Наконец, и рядовое трудовое казачество не без

греха. Дух азиатчины сказался. Хотя совершенно искренне, доброжелательно, с хлебом-солью встречали Советскую власть, а патроны и винтовки все-таки припрятали на всякий случай:

— Хто ево знает, как оно дальше будет...

Представители партийных и советских организаций вскинулись: началась чистка властей по станицам и хуторам. Пришлось местами расстрелять примазавшихся к коммунистам и даже коммунистов, опозоривших себя злоупотреблениями и насилиями, с широким оповещением населения о принятых мерах, но было поздно.

Огненная река восстания зловеще запылала в тылу армии, ослабляя ее, внося расстройство.

Был организован специальный экспедиционный корпус для подавления во что бы то ни стало.

Но как при гражданском устройстве не считались с особенным экономическим, бытовым и психологическим укладом казачества, не считались с живыми условиями действительности, так и при подавлении восстания, ослепленные представлением собственной силы, не учли фактической силы восставших, силы казачества. Лезли напролом, лишенные творчества и комбинации. Бросали единицы по частям, а их били. Снабжение было представлено отвратительно, части стонали от острого недостатка снарядов и продовольствия. Не хватало специалистов — в роте связи вместо шестнадцати процентов телеграфистов только три. Курсанты, будущие красные офицеры, сводились в боевые единицы, бросались по частям, и их истребляли. Коммунистов, вместо того чтоб вкрапливать по войсковым частям, тоже сводили в боевые единицы и посылали в бой; они несли чудовищные потери, в конечном счете без пользы для дела.

А между тем некоторые части, не одухотворенные коммунистами, оставляли позиции, открывая дорогу врагу.

Здоровые же части дрались беззаветно, но в общем ходе не могли ни потушить восстания, ни предупредить соединения восставших с деникинцами.

Вот несколько отрывков из донесений и докладов:

«Высшее командование по-прежнему отдавало приказы о наступлении, говоря, что справа и слева также наступают, чего не было. Казаки быстро ориентировались, ударили с флангов — поражение, паника».

«Задаются невыполнимые задачи, не считаясь с фактическим количеством бойцов. Это вызывает недоверие к высшему командному составу: подозревают или в незнании истинного положения вещей, или в предательстве. Полное отсутствие снабжения создает неблагоприятные условия боя, вызывая бездеятельность и безрассудность жертв, уменьшая количество сознательных, преданных коммунизму борцов».

«В бригаде нет роты связи, нет саперной роты. Десятки миллионов ежемесячного содержания бригады не окупаются. Информация сверху отсутствует. Литература, газеты задерживаются. Финансы задерживаются, создавая невозможные условия работы политотдела. Отсутствие связи сотрудников с домом (почта отвратительно работает), неизвестность положения их семей уменьшает продуктивность работы, учащаются просьбы об отпусках».

С участков фронта поступали сведения:

«Разница обмундировки в тыловых и фронтовых частях ставит политработников в фальшивое положение — постоянно приходится выслушивать жалобы красноармейцев».

«Литературы мало. Газеты страшно опаздывают. Снабжение и санитарная часть отвратительны. Красноармейцы ходят во многих частях голодные, босые. Медицинской помощи никакой. Несмотря на все это, красноармейцы настроены хорошо, дерутся прекрасно. Коммунисты умирают героями».

«В коммунистическом полку 1000 чел. После боя 7 июня осталось 400 штыков. Снабжение неправильно и несвоевременно. Газеты нерегулярны. Горячей пищи люди не получают. Мобилизованные двадцатки приходят без одежды. К командному составу отношение благоприятное, но к высшему, начиная с бригадного, недоверчивое».

«N-ский полк был окружен противником силою в 2000 кавалерии и 1000 пехоты и артиллерии. Воодушевленные командиром, красноармейцы дрались отчаянно, прорвали ряды врага, не оставив ему ни одной винтовки, ни одного пулемета, унося с собой 150 убитых и раненых, в то же время нанеся противнику огромные потери. 1-я батарея N-ского артиллерийского дивизиона участвовала в бою вместе с N-ским полком, своими дей-

ствиями создавая панику среди казаков, соперничая с их 10 орудиями тяжелой артиллерии».

Вот при каких условиях специальный экспедиционный корпус подавлял восстание на Дону. В конце концов через восставшие в тылу корпуса прорвались деникинцы, и Красная Армия вынуждена была очистить область.

Какие же выводы?

Опасные моменты — не только тогда, когда мы терпим поражение, но и когда побеждаем. И воинские мобилизации и мобилизации коммунистов в высшем размере, и усиление снабжения надо производить во время побед, иначе гражданская война будет у нас тянуться бесконечно.

Нужно целесообразно использовать людской материал. Нельзя, при огромном недостатке красных офицеров, курсантов бросать в бой как рядовых, кладя их чуть не поголовно. Нельзя коммунистов, этот драгоценный одухотворяющий материал, сбивать вместе в отряды и посылать в бой как рядовые штыки, где они тоже ложатся чуть не поголовно, а армия остается без одухотворяющего авангарда и разлагается.

Необходимо считаться с реальной обстановкой: нельзя закрывать ослепленных победами глаз на фактическое соотношение сил. Казачество по своему экономическому и бытовому укладу совершенно своеобразно, оно представляет огромную боевую силу, и с этим необходимо считаться.

По мере занятия области необходимо наводнить ее коммунистами для постройки Советской власти, для разъяснения основ ее населению и углубления в сознании казачества классового расслоения,— чего совершенно не было сделано в предыдущую кампанию. Но посылать туда коммунистов прямо, без подготовки, нельзя. Рабочий городской быстро находит общий язык с крестьянином в деревне. Казак в таких своеобразных условиях, что к нему подойдешь только с большим трудом, и все же черта недоверия будет долго лежать, не стираясь. Необходимо организовать хотя коротенькие курсы, чтоб ознакомить отсылаемых с тем, куда и к кому они едут, каковы там условия, что и как надо делать. Только чтобы это не были избитые митинговые речи.

Нужно просто, спокойно говорить разговорной речью и как огня бояться «идеологий» и прочего.

При занятии области и при устроении Советской власти необходима реальная сила в виде гарнизонов.

Деникин будет сломлен, область будет занята, но если сейчас же не будет начата подготовка кадров коммунистов, которые должны будут заполнить ее работой, не придется ли очищать ее еще раз или по крайней мере изнурительно долго тушить загорающиеся то там, то здесь восстания.

Надо помнить, что в последнее восстание вместе с боевыми казаками у пулеметов с диким воем ненависти черной тучей шли женщины и дети из зажиточных семей казачества.

НА РОДИНЕ

В Ростове-на-Дону влезаю в поезд, набитый солдатами, и еду в Новочеркасск. Всего сорок две версты — полтора часа езды. Я выехал в двенадцать дня и приехал... в десять ночи.

На вокзале строжайший досмотр документов.

Вот и родные места. Пирамидальные тополи, мягкое звездное небо. Небольшие неосвещенные молчаливые домики. Извозчиков нет, подымаюсь в гору пешком.

Как все изменилось! Или все то же, а в сердце все изменилось.

На горе с мутно-голубоватой мглой подымается громада собора. Золотые точки куполов играют, мешаясь со звездами.

Выстрел, другой, третий — я прислушиваюсь: не слышно ли где свиста пуль в ночной тишине.

Этот собор строили сорок лет, и трижды, когда сводили купол, он обваливался до основания с грохотом, окутывая всю округу дымной пылью. Зато красиво и крепко по всему городу вырастали многочисленные дома строителей собора. Едва ли где-либо так весело, так беззаботно, грациозно умели воровать, как на Дону...

Похрустывает на панели ледок по белеющим лужицам. Здесь весна пахнет иначе, чем на севере.

В гостинице у входа меня встретил казак со штыком.

Утром солнце все залило, петухи поют, почки надулись, голоса у всех звонкие.

Встречаю знакомого.

— Откуда?.. Как?.. Ведь к нам никого... мы никуда... отрезаны были два с половиной месяца — ни писем, ни телеграмм, ни почты. Совершенно ничего не знали, что делается на свете. «Ленин убит... Дарданеллы прорваны англичанами. Немцы дошли до Урала». Правда ли это?

Начинаю расспрашивать о знакомых.

— Доктор Брыкин убит перед вступлением советских войск. Приехали два офицера на извозчике, попросили одеться, увезли, убили, бросили в колодец. Убили и извозчика, чтоб не выдал. Убивали рабочих. Приговорили к смерти целый ряд лиц. Из офицерства организовалось тайное террористическое общество, которое и выносило смертные приговоры. Завели охранки с жандармами, со шпиками, честь честью. Генерал Жерве завел систему «троек» для агитации. Ввели статистику, дневник, дела заподозренных, характеристики; чертили кривые неблагонадежности, ну, департамент полиции! Больнее всего, что ребятишек — учащуюся молодежь — втягивали в это; сыск, взаимные подозрения, тлетворная атмосфера.

Ребятишек всячески и по-иному втягивали в борьбу. Начиная с третьего, четвертого класса, их тянули в отряды. Весь город пестрел плакатами, на которых всячески увещевали поступать в добровольцы. Вот образчик.

«У вас две руки, две ноги, неужели вы до сих пор не отдали их на служение отечеству? Позор! Идите же запишитесь в добровольческий отряд».

Дамы, барышни, гимназистки все свое обаяние пускали в ход. На улицах, на вечерах, в театре, на гуляньях подходили ко всем молодым людям, к мальчикам, стыдили, уговаривали, кокетничали. Родители тоже уговаривали детей идти в добровольцы — слишком были уверены в торжестве Каледина, Алексеева, Корнилова. И учащаяся молодежь ринулась записываться. Целыми классами, целыми курсами. Ведь тут ветеринарный политехникум, учительская семинария, гимназия, реальное и другие училища. Уверенности в победе тем больше

было, что подлые услужающие газеты «Вольный Дон» в Новочеркасске и «Приазовский край» в Ростове врали не покладаючи рук. С их страниц сыпались победы алексеевцев и поражения советских войск.

Любопытно, что Корнилова, который командовал отрядом, всячески прятали, говорили, что его нет на Дону,— видно, прославился своим предательством. Всем орудовал Алексеев. Он требовал осадного положения, смертной казни, самых жестоких мер, всеобщей мобилизации. Каледина оттерли.

Насчет жестокости алексеевцы охулку на руку не клали — за городом найден ряд тел красногвардейцев. Они были взяты в плен, их гнали и рубили им уши, руки, пока не падали; тогда разрубали головы.

Новочеркассцы, отуманенные реляциями о победах, и не подозревали о катастрофе; она разразилась как гром.

Целую ночь добровольцы под страшной тайной возили что-то. На улицах были расставлены часовые. Показывавшихся убивали. Утром добровольцы со штабом, с генералами исчезли. К ужасу чистой публики, и особенно родителей, отдавших своих сынов в добровольческую армию, вступили советские войска.

Нашли семнадцать трупов дрогалей, которых ночью, оказывается, добровольцы заставляли перевозить захваченное в банках золото. Когда они перевезли, их убили, чтобы они не выдали тайны. Думают, что всего золота добровольцы не могли с собой увезти; часть зарыли и скрыли в Новочеркасске, а возчики были убиты.

Отчаяние и ужас охватили родителей, дети которых ушли в придонские степи, расположились в зимовниках и ждут, чтоб прорваться в Екатеринодар, или к горцам на Кавказ, или в глубь степей к калмыкам. Против них послано несколько сотен казаков.

Закипела организационная работа. Уж такая моя участь. Всюду, куда ни попадаю на юге, люди среди страшной разрухи подготовляются только к творческой жизни. И в Новочеркасске среди полной разрухи, оставленной генералами, в огромном здании бывших судебных установлений организуются отделы, подбираются люди, налаживается работа.

Кадеты — адвокаты, судьи, журналисты, крупные капиталисты, вроде Парамонова, известного когда-то издателя «Донской речи», —разбежались, как крысы.

Людей нет, работники задыхаются: двадцати четырех часов не хватает. А генералы постарались все разрушить: продовольственное дело разбито до основания — в Новочеркасске четверть фунта хлеба на человека; народное просвещение, все учебные заведения стали; транспорт почти погиб.

Теперь все это налаживается неимоверными усилиями.

А тут голод в северных округах. С областью сношения оборваны; Новочеркасск как остров. Отовсюду требуют семян на посев.

Молодой Новочеркасский Совет рабочих и казачьих депутатов изо всех сил работает. Крестьяне пока в нем не представлены — не сорганизовались. Как только сорганизуются, пришлют своих представителей.

Выходят «Известия» Совета. Принимаются меры к проведению всех декретов народных комиссаров.

ПОДАРКИ

Казалось бы, чего проще: рабочие хотят сделать своим братьям-красноармейцам подарки. Оторвали из своего заработка, собрали немалые суммы. Поручено было, я уж не знаю кому, закупить. Все по-хорошему, а вышло навыворот.

Получают красноармейцы ящики с подарками. Столпились радостные. Стоит смех, шутки. Ведь это оттуда, из милого мира, из милой жизни, от которой они так бесконечно отрезаны.

Вспомнили о них. Как же не радоваться?

И вот начинается распечатывание. Достается первый подарок и вручается красноармейцу. Он с удивлением получает с серебряной монограммой кольцо... для салфетки.

Гм! Кольцо для салфетки... Это на передовой линии, где иногда по нескольку дней не умываются, не до умывания, когда перебегаешь в цепи или лежишь на холодной мерзлой земле, где сморкаешься пальцами — платков нет, где вши!

Достают второй подарок и подают. У красноармейца растерянно разлезается физиономия.

— Матеря твоя веселая!..

Он осторожно вертит в руках маленькую, из чудесного зеленоватого граненого хрусталя бонбоньерку, крохотную шкатулочку. Дно у нее выложено шелком. Дамы в такие кладут свои драгоценности — серьги, брошки, бриллиантовые кольца.

Третьему подают нечто вроде дамского ридикюля. Раскрывают заинтригованно: там зубочистки, приборы для чистки ногтей, кривые ножнички для обрезывания.

Красноармеец, так же конфузливо ухмыляясь, как и первые двое, сразу всеми зубочистками чистит зубы и выкидывает. Рассматривает крохотные напильнички для ногтей.

— Это хорошо крючки затачивать на рыбу.

А изогнутые для обрезывания ногтей ножнички стараются выпрямить.

А где-то в глубине печаль, точно обошли его.

Разве для этого рабочие собирали деньги?

Но этого мало. Даже вещи, казалось бы, нужные, практичные, оказываются тут ненужными, лишними.

Присылают фуфайки, теплые кальсоны, кожаные куртки. И в девяноста случаях из ста начинается торговля: и куртки, и фуфайки, и теплые кальсоны — все это продается либо штабным, либо окружающему населению.

Но почему же это? Ведь все эти вещи так нужны на фронте!

Это лишний раз подтверждает, как тыл оторван от фронта, как он совершенно ничего не знает о жизни и быте на фронте.

И куртки и теплое белье страшно нужны на фронте, но они выдаются интендантством. Стало быть, то, что пришлют как подарки, окажется вторыми экземплярами.

Стало быть, их где-то нужно хранить, о них надо заботиться, возить с собой. А это такая канитель, которую трудно себе в тылу представить.

Обозники не берут, а возьмут —пропадет. Стоит ругань, пререкания. При постоянном передвижении лишний узел — му́ка.

Курток кожаных отдел снабжения не выдает, но выдает ватники, такие куртки, подбитые ватой, и кожаная куртка является вторым экземпляром и, как более ценное, идет в продажу.

Эта же торговля, кроме развращения, ничего не приносит.

Но тогда что же посылать на фронт?

Этот вопрос надо бы задать давно, перед организацией покупки подарков. И надо бы его задать не дома, не в тылу, а на фронте, задать тем, кому подарки предназначаются.

Вот какие вещи с радостью принимаются красноармейцами и страшно здесь нужны: теплые шарфы и теплые носки.

Ворот у шинели, у ватников страшно широк. Надо испытать дикие уфимские ветры со снегом, с морозом, которые бешено рвутся во всякую складку и смертельно знобят тело.

Если будет прислано достаточное количество теплых шарфов, много красноармейцев вы спасете от госпиталей, а еще больше не будут дрожать по-собачьи, на позиции, не попадая зуб на зуб.

Теплые портянки выдаются, но они хороши для сапог, для валенок лучше теплые носки.

Драгоценность для красноармейцев — электрические фонарики. В кромешную тьму ночей в деревнях, где ни одного огонька, они незаменимы. На позициях караулы сигнализируют друг другу фонариками.

Но и тут надо присылать с умом, а не зря.

Пришлют десять фонариков и десять, а иной раз и меньше батареек. Через четыре-пять дней их приходится выбрасывать —батарейки израсходовались.

А надо присылать в такой пропорции: на один фонарик — шесть, семь, восемь батареек, и чем больше, тем лучше, так как остаются фонарики от предыдущих присылок, а батареек к ним нет. Необходимо присылать письменные принадлежности—бумагу, конверты и карандаши, но непременно химические, простых не присылать.

Присылайте иголок, ниток —нужда,—и побольше.

Все шитые предметы, доставляемые интендантством, отвратительно шиты—порются, завязки отрываются, пуговицы отваливаются, и красноармейцы то и дело сидят и зашивают, и иголки с ниткой —на вес золота. Нужны бритвы, бритвенные принадлежности. Складные ножи.

Из инструментов лучше всего присылать гармоники и балалайки. На гитаре, цитре, мандолине, скрипке редко кто умеет играть, и все это идет в штаб.

Когда присылают губные гармоники, красноармейцы сердятся:

— Дети мы, что ли?

Но в том виде, в котором присылают музыкальные инструменты, лучше их не присылать. Ото всех этих балалаек, гитар, мандолин остались одни щепки с мотающимися струнами.

Объявляется передвижение отряда. Суматоха, спешка. Торопливо грузят обоз. Кидают на повозки мешки с овсом, ящики с патронами, балалайки, гитары.

Торопливо сами вскакивают, кто садится на мандолину, кто на цитру, и когда приезжают на место, вытаскивают щепочки с мотающимися струнами.

Необходимо присылать все инструменты либо в прочных футлярах, либо в хорошо сколоченных ящиках. Иначе нет смысла присылать.

Присылайте книжки и особенно беллетристику — огромная нужда, все красноармейцы жалуются.

Нужны сборники революционных песен — слов не знают. Нужны зажигалки, только не бензиновые, бензину негде добывать, а кремневые с трутовым шнурком.

Памятные книжки, записные. Блокноты.

Очень нужны общие карты, хоть из старых календарей. Их нужно возможно больше. Красноармейцы страшно интересуются событиями и на других фронтах и в других странах. Им хочется иметь представление о расположении местностей. И когда показываешь им, жадно кидаются:

— Эх, кабы и нам такую карточку!

Нужны шахматные доски, шахматы и шашки — здесь лепят из хлеба.

То, что я увидел и услышал на фронте о подарках, меня поразило.

— Что же это: отзвонил и с колокольни долой. Собрали деньги, накупили чего попало, запаковали в ящики, отослали на фронт и успокоились.

Такая организация посылки подарков не только бесполезна — вредна.

Лучше совсем отказаться от них.

Мало послать подарки, надо еще проследить, куда и

как они попали, какой смысл в них, какое удовлетворение принесли они красноармейцам.

Помимо денег на подарки, много поступает жертвованных вещей. Их нельзя валить в одну кучу, а надо разобраться: что подходяще — посылать, а что не подходит — продавать, а на вырученные суммы покупать то, что надо.

ПО УСАМ ТЕКЛО

Ждут командующего, ждут комиссаров.

Среди ноябрьских снегов, среди похолодевших лесов, среди пустынной мути туманов сыны Красной Армии чувствуют себя оторванными, одинокими — редкие газеты, ни одного журнала, нет полевой почты, и от этого нет возможности снестись с отцом, с матерью, с невестой, с другом.

Часами лежать в секретах на холодной молчаливой земле, сжимать холодную сталь винтовки и все смотреть, все смотреть, не сморгнув, не спуская глаз, в мутно колышущийся туман, где мучительно никого не видно. И каждую минуту быть готовым услышать свист пуль. Пусть приедет командующий, комиссары.

Они не скажут им:

— Здорово, ребята!

И они не гаркнут в ответ:

— Здравия желаем!

Нет! Пусть они расскажут им, что делается на белом свете.

Но ведь у них есть свои комиссары? Да, есть! И они любят своих комиссаров, доверяют им, делят с ними опасности и труды, и комиссары великолепно им рассказывают о всех событиях.

Но они привыкли к ним, привыкли к их лицам, глазам, голосу, речи. А им хочется, чтоб кто-то новый, со своим лицом, со своей речью пришел к ним оттуда, из того мира, который кипит и от которого они так бесконечно отделены.

И это вовсе не смешно.

В двадцати пяти верстах от железной дороги, в трехстах верстах от губернского города, а как будто тысяч за пять, за семь.

Все, что делается для Красной Армии, идет, ослабевая по мере приближения к фронту, к линии позиций. Чем дальше от фронта, тем штабы и резервные войска лучше обслуживаются.

Штабы и окрестное население завалены литературой. На фронт приходят огрызки.

В Симбирск из Москвы почта доставляет газеты на пятый-шестой день, а контрагентство ЦИКа организовало прекрасную доставку газет на четвертый день.

На фронте же, в двадцати верстах от железной дороги, газеты получаются тюками р а з а т р и в м е с я ц.

— Слыхали мы, есть поезд товарища Ленина,— говорят красноармейцы,— будто везде ездит, литературу раздает, газеты, агитаторов привозит. Почему же до нас никогда не доедет? Ай мы уж неприкаянные? Хоть бы одним глазком на него глянуть...

Для фронта в Симбирск со специальным поездом доставлены были целых две труппы: драматическая и оперная.

Театр был битком набит — красноармейцы, штабные, советские работники. Слушают хорошее пение, смотрят пьесы.

Чудесно!

Но вот как говорят о себе красноармейцы на фронте:

— Какая наша жизнь! Пришел с линии, поел, лег, отогрелся, поспал, поднялся — в заставу, в секрет. Вернулся, поел, отоспался — в заставу, в секрет, в патрули. Вернулся, пожрал, завалился — опять в заставу, в секрет, в патрули. Так и идет круговорот. Слов нет, на то война, а все же хочется хоть немножко продрать глаза, глянуть на свет белый. Оно, конечно, газеты приходят, да ведь придет недели в полторы, в две номера два, ну, накинешься, обсосешь всю, а там жди опять полторы-две недели. В месяц-то и выходит: пять-шесть газет, не больше, прочтешь. Оно уж не гонишься за тем, чтобы каждый день газеты, хочь два раза в неделю, и то бы наблагодарились, а главное, чтоб без пропусков. А то два номера получишь, а номеров семь-восемь не дошлют, так и не знаешь, чего там на белом свете делается. Слыхали мы, в город актеры приехали играть красноармейцам. Вот хорошо, и об нас подумали. Ждем-пождем, все то же у нас: жрем, спим, да в заставе, в

секрете сидим, а про актеров не слыхать. Наконец прослыхали: в городе играют, а к нам и не думают. Та-ак, у Красной Армии по усам текло, в рот не попало.

Пролетариат Москвы, Петрограда искренне, любовно, по-братски заботится о Красной Армии. Заботятся и центральные учреждения. Заботятся и комиссары и штабы — все заботятся. Но странное дело: чем ближе к фронту, тем дальше заботы от фронта.

Словом «фронт» иногда обозначают и тонкую черту позиции, где люди умирают, и штабы за четыреста — шестьсот верст от позиций.

Так вот там, где люди умирают, они не видят развлечения, скудно видят литературу и читают в большие промежутки по два, по три номера. Совсем не видят беллетристики, которую жаждут.

А фронт за шестьсот верст аккуратно получает раньше почты газеты, которые доставляют ежедневно специальные курьеры издательства ЦИКа.

На фронт за шестьсот верст от позиции приезжают артисты, музыканты. Там — концерты, пение, музыка, здесь — одинокий свист ветра, заметающий снегом в пустынном поле людей с застывшими винтовками в стынущих руках.

Что за нелепость!

Я спрашиваю: почему же артисты не едут туда, где они действительно нужны?

Отвечают: там небезопасно.

Так на какой же леший тогда они нужны! Возиться с ними для тыла, тратить на них народные деньги, чтобы Красная Армия облизывалась, ведь это же вздор!

В моменты боевых операций никто их не приглашает. В моменты затишья для них риску не больше, чем сломать головы на железной дороге при обычно возможной катастрофе.

Надо иметь в виду, что на позицию лучше всего присылать не труппу, а труппки в четыре-пять человек музыкантов, певцов, драматических артистов. Они дадут концерт, споют, сыграют, поставят пьесу вроде «Медведя» Чехова. Пианино почти в каждой большой деревне найдется: либо в помещичьем доме, либо у попа. А если нет, обойдутся и без пианино.

Придется ходить не по паркету, не по коврам, придется переночевать не в отеле, а в крестьянской избе

или поповском доме; придется верст двадцать проехать не в вагоне первого класса, а на санях. Придется выступать не на оборудованной сцене, а в помещичьем или поповском доме или в деревенской школе.

Но пусть же помнят, что они сделают громадное дело. Пусть помнят, что они будут идти рядом с усталыми бойцами, вливая в них новые силы, тем покупая новые победы, а стало быть, сохраняя сотни и тысячи драгоценных молодых жизней.

Там, в центрах России, не могут себе и представить, какую огромную, ни с чем не сравнимую роль сыграют здесь артисты.

Красная Армия самыми суровыми мерами борется с пьянством, с самогонкой. Помогите же бороться искусством, благородными развлечениями.

ПОЛИТКОМ

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются, и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара N-ской бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых, радостных глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист — крепкий партийный работник из Петрограда. И, радостно смеясь лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

— Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь, в сущности, среди массы красноармейцев. Все вооружены, ча-

сто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, помимо боязни: признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко надо держать в руках. Тут уж не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосягаемой высоте стоять, и — твердость! ни малейшей уступки! Уступил — все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них — бог, на высоте. И чтоб ни одного пятнышка! Другой может устать, политком — нет. Другой захочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком — нет. Другой поухаживает за женщиной, политком — нет. Другой должен поспать шесть-семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах — признание правоты всего этого. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий и все с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно заныло сердце.

«Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть всегда в первых рядах, а пулеметы косят».

— А иногда жуткие бывают минуты,— сказал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами,— жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону. «Вторая рота отказывается выступать на позицию». Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну, а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно, под шумок и шепнул: «Товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то все вы да вы. Небось заморились». Ну, рота обрадовалась и уперлась. «Не пойдем, замучились, посылайте соседнюю роту». Ну, тут, знаете, одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: «Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреля-

ны», и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, и кажется, будто бегу. С четверть версты идти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу — никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается — на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нельзя. И вот это напряжение постоянно.

— Устали?

— Да нет,— заговорил он радостно,— чего уставать-то? Некогда уставать-то — день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена клочьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу. Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша, с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что теперь, и что грядет огромное *мировое* счастье человечества.

Маленький городишко, заброшенный и скучный — в снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо.

За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой мещанской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну, и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то и дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим.

Ведь я же свежий человек для него — *оттуда*, где он так давно-давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полу-

слове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо — все занесено обмерзлым снегом.

— Я — литвин,— говорит он, глядя на меня серо-голубыми глазами,— мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно — крестьянский сын, но речь, но движения руки — интеллигента.

— Я ведь художник. А как это вышло? Вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит: «Тебе учиться надо». Я к отцу. А он сурово: «Мы — мужики, жили в лесу да в поле, тут нам и назначено, тут и делай вовсю свое дело». Но ведь я — литвин, и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги — вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я их потихоньку отнес и незаметно поставил у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел полуодетый, разутый, через леса и поля в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где и чем только я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца. И всюду пил кровавую горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и вырвал у матери-земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. «Живи, сын»,— сказал отец. Это было его благословение.

В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковываться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового

вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе; я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие краски, на плохие кисти, полотно; у баронов было всего вдоволь, и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их — за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть не чем иным, как большевиком. И я — литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом — свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматриваю альбом и говорю:

— Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласковостью голубые глаза.

— Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я...— он опустил потемневшие глаза,— я... комиссар.

— Что же такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то, что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов, бытописателей, беллетристов. Ведь тогда всё, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

— Я — комиссар.

— Ну, так что же из того? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

— Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей,— у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома ча-

сти. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набросок, этюд без ущерба для дела, но, вы понимаете, сейчас же подымется кругом: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Репине.

Он так и вскинулся:

— Да ведь это же гениальный художник. Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою высказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, который по-цыплячьи пищал; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домике, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбе России и Литвы.

Стояли и слушали молчаливое, на котором никогда не играют, пианино, печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

— Отчего вы не закончили вашего художественного образования?

— На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был. И... и вам только, по секрету — устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку, или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнущий огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задавил в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

— Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно, есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малейшая ошибка, пятно — и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции,— все это идет на служение ей.

НА ПОЗИЦИИ

В Москве все иначе кажется, чем на самом деле.

Вот я подъезжаю к передовым позициям. Глаз ищет окопов, ищет какой-то черты, которая отделяет нас от врага. Ухо напряженно старается поймать короткие и тупые в морозе выстрелы винтовок.

Но стоит зимняя тишина, и белый снег не зачернен ни одним пятнышком.

Деревня. Ребятишки катаются на салазках. Баба с ведром. Медлительно идет с водопоя корова, и у губ ее намерзли сосульки. Предвечерний дым медленно тянется из деревенских труб над соломенными крышами.

Это — передовые позиции.

Странно.

Над деревней вправо и влево тянутся горы. Высотой — примерно в три раза выше Воробьевых гор.

Они молча голо белеют снегами. Только влево по бокам чернеет мертвый зимний лес.

И мне чуется таящаяся угроза в их тяжелом белом перевале — там начинается враждебная сторона.

Штаб бригады приютился около церкви в поповском доме. Попу отвели комнату, а сами заняли две.

Вхожу. Прихожая вся набита красноармейцами: ждут поручений.

Крохотная комнатка почти вся занята поставленным посредине кухонным просаленным столом. На нем самовар, валяются яичная скорлупа, куски хлеба, сахара, зачитанная книжка. На маленьком столе, в углу, телефонные аппараты.

В другой комнате, чуть побольше, на столе карты, бумаги, пакеты, а на полу юзжит щенок, оставляя после себя следы.

И, странно все это освещая и придавая гробовой вид, мерцают приклеенные по три к столам тоненькие желтеющие восковые свечи.

Нет керосина, у попа набрали церковных свечей.

Присматриваюсь: на кровати сидит командир бригады, о чем-то резонится с политическим комиссаром.

У политического комиссара серьезное молодое исхудалое рабочее лицо. Он в первых рядах, с винтовкой в руке дрался во всех боях. Судьба и карьера бригадного в его руках, и комиссар своим спокойным лицом как бы говорит: «Ну, побалуйся, побалуйся, молод еще».

Бригадный еще совсем мальчуган с детскими глазами; чуть закудрявилась черная бородка. Это он, когда в страшной панике бежала соседняя дивизия, со своей бригадой все время давал отпор изо всех сил наседавшему врагу, вывел из-под удара обозы, артиллерию.

Он — из аристократической семьи, бывший офицер.

Садимся вокруг стола за самовар.

Меня забрасывают вопросами:

— Ну что, как в Москве? Каково настроение? Как идет работа? Чего ждут?

Я рассказываю, и меня жадно, не сморгнув, слушают. Все сердца, все помыслы тянутся к красной Москве, к красному Петрограду.

Кто-то тянет тоненьким цыплячьим голосом: «Пи-и-и... пи-пи-пи... пи-и-и...»

Начальник связи подымается, берет трубку — это телефон пищит. У полевых телефонов нет звонков, а пищики, чтоб не слышно было в поле, например.

— Штаб бригады. Хорошо, пришлем.

И опять садится к нам.

Мы настойчиво опустошаем самовар.

У зазевавшихся из-под носу утаскивают чашки, кружки: не хватает посуды.

Сыплются шутки, остроты, взрывами смех.

И поминутно входят красноармейцы, с красными морозными лицами; не снимая пушисто занесенной снегом папахи, подают пакеты ординарцы.

Тогда кто-нибудь встает из-за стола, берет пакет. Лицо делается крепким, замкнутым. Читает. Подает другой пакет или отдает словесное распоряжение.

Входит красноармеец с милым юношеским лицом, а глаза с промерзшими ресницами отяжелели и померкли — печать усталости.

Ординарец.

Он говорит, по-детски улыбаясь:

— Устал, очень устал, и лошадь заморилась — целый день не слезаю. Ежели пакет не срочный, нельзя ли до завтра, утром отвезу?

Бригадный держит пакет.

— Не срочный.

Потом опускает глаза и секунду взвешивает. И, подняв, твердо говорит:

— Нет, надо доставить сейчас. Черт его знает, что за ночь произойдет,— к утру, может, и не доберешься до деревни.— И добавляет ласково: — Завтра отоспишься.

Юноша сразу меняется, лицо становится крепким, берет пакет, и за черным окном я слышу морозно-скрипучий, удаляющийся лошадиный скок.

А у меня легко и радостно на сердце. Встает далекая Галиция. Приходилось бывать в штабах. Да ведь там — боги. Смел ли подумать усталый ординарец войти к бригадному и сказать: «Я устал».

А этот сказал. Но когда ответили: «Надо доставить», он доставит, хоть мертвый.

А меня по-прежнему всё тормошат насчет Москвы, но я даром не даюсь и сам стараюсь выудить из них все об их жизни.

— Да что, у нас дело ладится, хоть сейчас в наступление. Потрепали наш левый фланг, но теперь эта дивизия окрепла, опять будет драться, как и прежде. Вот горе только, обижают нас газетами. Редко получаем, и разрозненные номера. Почему на наладят, не знаем. Художественной литературы нету совсем; не томами, их некогда читать, а маленькими книжками — огромная нужда, все красноармейцы спрашивают — нет, не присылают, забыли нас. А еще вот у нас самое главное: нету почты и табаку. За щепотку махорки жизнь готовы отдать. А вот полевой почты нет, это очень тяжело и развращающе действует на красноармейцев.

— Как так?

— А так. Красноармейцы говорят: жалованье получаем, тратить некуда, накопишь, вот бы послал домой, знаешь — нужда там, а без почты как пошлешь? Ну, носишь, носишь с собой. Иные просто говорят, невмоготу делается, не могут с собой постоянно деньги но-

сить, свербит у них — ну, и начнут в карты, все и продуют, азарт идет. За самогонкой начинают охотиться. А будь почта, отослал бы, и хорошо. Наконец, тоскуют без писем, ведь тоже люди: у кого жена, у кого невеста, сестра, мать, брат, отец — не звери. Ни они об нас ничего не знают, ни мы об них ничего не знаем. Красноармейцы говорят: «Убавьте у нас половину хлеба, совсем не давайте мяса, только дайте полевую почту да табак». Знаете, тут такое огромное душевное напряжение, так все натянуто внутри, что покурить — единственное средство хоть немножко ослабить эту напряженность, хоть немного отвлечься.

Я достаю захваченные два последних номера журнала «Творчество». Как же все кинулись! С какой ласковой нежностью стали рассматривать рисунки, заглавия статей.

Комнатушка набилась полным-полна красноармейцами, которые немилосердно жали друг друга, вытягивая шеи. Штаб вытеснили в соседнюю комнату.

Я прочел из журнала стихотворение:

Не верь тишине, второй роты дозор,
Здесь все начеку: пуля, ухо и взор.

Все были в восторге. Вся комнатка наполнилась гомоном:

— Это про нас.

— Ловко!

— Здорово!

— «Все начеку: пуля, ухо, глаза...»

— Чего ж нам не присылают журналов?

— Забытый мы народ...

Сюда совершенно не шлют журналов: нет ни «Пламени», ни петроградских, ни провинциальных.

Кто-то не позаботился об этом.

Журнал пошел по рукам. Мы снова садимся за самовар.

И опять смех, шутки, остроты.

Поет поминутно телефон. Юзжит щенок. Тесно, накурено, и сквозь махорочный дым по-погребальному тускло светят по три желтые церковные свечи.

Кажется, будто легко, весело и беззаботно в этой низенькой, тесненькой комнатке, и то и дело вырывается молодой смех, и не заметно особой важности и тяжести

работы. А на самом деле здесь сосредоточена жизнь целого боевого участка, и малейшая ошибка, промедление или промах грозят всей армии.

И у этой внешне беззаботной и смеющейся молодежи постоянно напряженно в душе, как натянутая тетива. Тут нет восьмичасового и шестнадцатичасового рабочего дня. Тут все двадцать четыре часа наполняют душу непрерывным напряжением, все двадцать четыре часа работа.

Ложатся спать одетыми, с револьверами в головах. И поминутно поющие день и ночь телефоны подымают то одного, то другого.

— Одиночный пушечный выстрел? Хорошо. С которой стороны? Хорошо. Сейчас пошлем разъезд.

— Тревога? Кто бегает? Какие солдаты? Это — провокаторы. Непременно арестовать.

— Показались подозрительные? Послать разъезды в тыл, чтоб захватить. Я сам сейчас буду.

Телефон без умолку пищит, то из штаба, то в штаб из самых разнообразных концов. Поминутно из штаба бригады вызывают штабы полков, рот, мелких частей, просто чтоб проверить, работает ли телефон.

И самое грозное, самая большая тревога в тесной дымной комнатке, когда телефон в каком-нибудь направлении молчит. Значит, оборван провод, значит, часть изолирована, предоставлена самой себе, и врагу ее легко расстрелять.

Сейчас же туда посылаются конные и посылается отряд телефонистов, ночью ли, днем ли, в бурю, в снег, в мороз, для восстановления сети.

А сеть, как паутина, протянувшаяся по всему фронту и в тыл по всем направлениям, постоянно разрывается.

То крестьянин срежет аршина полтора кабеля «на кнутик», то едет, зацепит колесом обвисший с ветвей кабель и начнет наворачивать. Навертит огромный ком, с полверсты, провода, добросовестно заедет в штаб и скажет, показывая на колесо:

— А который у вас тут ниточками заведует? Вишь, навернуло на колесо. Чать, нужно вам! Еще пригодится.

Его готовы убить, да что возьмешь с дурака!

Но чаще всего режут кабель кулаки. Эти режут неуловимо, осторожно, на большом расстоянии, а концы

далеко заносят в лес, и трудно отыскивать для восстановления.

Оттого-то поминутно пищит телефон, и, когда замолчит, воцаряется в тесной комнатке тревога.

Утром мы идем на позицию.

Где же она? Да вот это же и есть позиция. Деревня, где мы спали с револьверами под головами, и эта молчаливая снежная гора, и морозная степь, что протянулась до самого края, где синеет мутный морозный туман.

Где же враг?

Нигде и везде.

Степь безлюдна и пустынна, и нигде не чернеется ничего живого.

Не верь тишине, второй роты дозор...

Каждую минуту может пропищать в штабе телефон:

— Налево против урочища показался конный отряд.

И сейчас же по всей сети, по всем частям, по всем штабам запищат телефоны:

— В ружье! Приготовить орудия! Полуэскадроны, в обход!..

Или зловещим цыплячьим голосом пропищит ночью телефон:

— В двух верстах в деревню врубилась полусотня казаков.

И опять все на ногах.

Снова смотрю на пустынную, крепко схваченную синеющим морозом степь: где же позиция?

Бригадный с красным полудетским лицом объясняет, показывая замерзшей рукой:

— Позиция — в деревне и вот тут, где мы стоим. Днем здесь оставляются только наблюдатели. Они сидят на колокольнях, на мечетях или на верхушке горы и зорко смотрят. От них телефон. Ночью же в крайних избах по деревне и в соседних деревнях располагаются заставы. Человек тридцать, сорок, пятьдесят, смотря по обстановке. Они спят не раздеваясь, с винтовками в руках. Как только караул впереди по телефону даст знать тревогу и начнет отходить, они выбегают, вступают в бой. Их назначение — сколько возможно задержать неприятеля, пока подтянутся главные силы. Впереди заставы ночью ставится полевой караул, это уже в степи.

От полевого караула, дальше, вилкой, саженях в ста,— два секрета по два, по три человека, и от всех тянется назад телефон. Между караулами вдоль линии поставлены патрули и разъезды. Эта система тянется по всему фронту. Получается живая, подвижная, чуткая, непрерывная завеса. Вы видите, это совсем не то, что позиционная война.

Да, я в Москве представлял себе все иначе.

— Особенно тяжело в караулах и секретах. Приходится менять людей через каждые полчаса, двадцать минут. Здесь такие лютые ветры с морозом, что люди больше не выдерживают. Стоит, обняв заколелыми руками винтовку, и стрелять не в состоянии — пальцы не разгибаются. А какое огромное напряжение! Солдаты понимают — чуть тут недосмотрел, сзади все погибнет. А ведь в морозный ветер, в студеную ночную темь, в метель враг может подобраться, перерезать кабель, снять караул и ринуться на деревню. Поэтому все душевные силы напряжены до крайности, до предела. Ничто живое тут не пропустится. Послали ночью телефонистов восстановить телефон. Как только их фигуры смутно замаячили в темноте, караул крикнул:

— Отзыв?

Они крикнули:

— Граната.

И сейчас же загремели выстрелы — отзыв был «ударник». Перепутали.

Телефонисты бежать, бросили кабель, аппараты. Один был ранен. Прибежали в штаб, а в штабе им сурово:

— Немедленно восстановить телефон!

Взяли настоящий отзыв и опять пошли в морозную, грозную темноту, быть может, опять на расстрел, если крикнут недостаточно громко отзыв или там недослышат.

Я ложусь в крепко натопленной крестьянской избе на скрипучую кровать с клопами. В соседней комнате детишки посвистывают носиками. Шуршат тараканы. Рядом со мной храпит на кровати командир.

На полу в разных направлениях спят работники политического отдела.

Каждый из них, ложась, клал под голову револьвер. Кладу и я.

Погас огонь. В темноте лицо начинают щекотно покусывать тараканы.

Как бы еще в ухо не забрались. Я мну бумажку и затыкаю оба уха.

И сейчас же, как ключ ко дну, опускаюсь в черный, все забывающий сон.

НИ ТО НИ СЕ

Оружие, численность, дух. Что еще надо для победы?

Благожелательный ближайший тыл, население, кровно связанное с армией. Ведь армия дышит, живет, борется среди него.

Как же обстоит дело на польском фронте? На позиции у Гомеля мне рассказывали: белорусы тихи, смирны, покорливы.

Придет Красная Армия, ну-к что ж! Они не оказывают ни сопротивления, ни помощи по своей инициативе.

Придут поляки, ну-к что ж! Им не оказывается ни сопротивления, ни помощи по своему почину. Они сами по себе, а армия — та или другая — сама по себе.

Почему же так? Разве крестьяне не связаны кровно с Советской властью? Разве они не дорожат ею?

Нет.

Отчего?

Да просто потому, что Советская власть не почувствовалась населением как его собственная власть. Мало того. На исполнение обязанностей власти крестьяне тут смотрят как на подводную повинность. Это — тягость. И, как всякую тягость, они стараются разложить равномерно, чтоб никому обидно не было.

Каждый мужик ходит в Советской власти по пяти дней. Так все по очереди, пока исполнение Советской власти не обойдет всю деревню,— и опять сначала. Точь-в-точь как выполнение нарядов подводной повинности.

Почему же это так?

Крестьянство темно, инертно, и, главное, хождение во власти не оплачивается, должностным лицам ничего

не платят. И крестьянин каждый рабочий день, обращенный на исполнение власти, считает за чистую потерю.

Разумеется, таким положением с величайшим наслаждением пользуются кулаки-богатеи. Они освобождают крестьян от тяготы власти, забирают ее безраздельно в свои руки и устраивают свои дела.

Вот пример.

За Могилевом, недалеко от Березины, в ближайшем тылу есть местечко Шипелевичи. Кулаки и богатеи забрали совет в свои руки, очень выгодно поделили между собой помещичью землю, скот, лошадей, мертвый инвентарь, а беднота ходит да облизывается. Совет держит ее в ежовых рукавицах.

— Отчего же вы не переизберете совет?

— Да хто же его знает... Как его! Вон выборы были, так они так все отделали, что мы ничего и не знали,— глядь, а они уже на нас верхи сидят, так и везем.

— Почему же вы не обратитесь в уездный, губернский исполком?

— Да ведь на выезд они же и не дают разрешения. Так и сидим.

— Бумагу послали бы.

— А на почте дураки, што ль? Нет, никак не выходит. И в губернии они сумеют так дело представить — мы же и виноваты окажемся. Сказывают все — Советская власть, а оно — вон оно што.

— Под лежачий камень вода не течет. Вот что: пошлите человека в Москву, уж как-нибудь всеми правдами и неправдами проберется.

— Да это што, это можно.

— Ну вот. Это ведь не для одного местечка, а для всей округи. А в Москве все вам по-настоящему устроят. Есть такой отдел Советской власти: отдел по работе в деревне. Мужиков страсть там толпится, и всех устраивают.

Мужичок торопливо зачесал брюхо, потом спину, поскреб затылок и стал прыток.

— Ах ты, прости господи! А мы и не знали. Беспременно надо достукаться.

В тылу нашей армии иногда появляются шайки, очевидно организуемые польскими агентами. Они пытаются нападать на обозы, портить железные дороги. Устро-

или два взрыва; один прошел благополучно, а в другой раз пострадал поезд.

Если население будет помогать бандитам, они неискоренимы и произведут колоссальные разрушения.

Если население будет безразлично, шайки с трудом будут существовать.

Если население поможет Красной Армии ловить эти шайки, существование их абсолютно невозможно.

Отсюда вывод один: ближайший тыл армии, безусловно, под страхом самых тяжелых последствий должен быть обслужен коммунистами.

Но где же их взять?

Добыть их во что бы то ни стало нужно и послать на эту неотложную работу.

Конечно, для всего тыла, даже в узкой его полосе, работников не хватит. Тут выход один: создать *летучие отряды коммунистов*, которые обслуживали бы узкую прифронтовую полосу.

В отряде достаточно двух человек. Они поделят между собой деревни данного района и объедут их. Это будет иметь громадное значение.

Но это должны быть надежные, опытные коммунисты и, главное, молчальники, чтобы поменьше говорили. Чтоб ни под каким видом не начинали, как обычно, придет и заведет: «Советская власть есть власть...» и т. д.

А чтоб приехал и прямо в совет: богатеев разогнал, кулаков по шее, мошенников в тюрьму. Потом перевыборы, чтоб беднота и середняк их сделали, потом перераспределить землю, инвентарь живой и мертвый, который загребли кулаки, обратить в общественное пользование.

И только после этого можно заговорить, сколько душе угодно: «Советская власть — рабоче-крестьянская власть трудящихся...» Впрочем, чего же говорить. Мужики, почесываясь, сами заговорят:

— Ишь ты, а!.. А мы и не знали... а оно вон оно...

И армия может чувствовать себя как дома.

Во время наступления Юденича в приозерных районах крестьянство, в массе зажиточное, с нескрываемой враждой относилось к Красной Армии и ждало Юденича.

Пришел Юденич, обобрал, поиздевался, был прогнан. Крестьянство возненавидело его, но не стало относиться лучше и к Красной Армии. Им и митинги, и

собрания, и речи — ничем не проймешь, волками смотрят, и шабаш! И на митинги не загонишь.

В расположенных в приозерье частях оказался прекрасный подбор комиссаров. Они взялись с другого конца: вошли в местную жизнь, устроили неделю чистоты: красноармейцы вычистили веками накопленную грязь во дворах, на улицах, в избах, в сараях; все деревни вычистили. А комиссары вычистили все советы от кулаков, мироедов, мошенников, а особенно подлых и расстреляли.

Крестьяне остолбенели. И тут все повалили, и стар и мал, на собрания, на митинги, в читальни, в кинематограф, и нужно было видеть, как все, не отрываясь, затаив дыхание, слушали речи о Советской власти, о ее структуре.

Красная Армия, до того голодавшая, стала купаться, как сыр в масле,— крестьяне тащили и вареным, и пареным, и жареным. Красноармеец стал как бы членом семьи: садятся за стол и его сажают, а он потюкает по двору топором, вытешет ось, поправит плетень.

И если бы после этого надвинулся Юденич, он бы издох в непрерывной борьбе с населением.

Вот такую атмосферу действенной любви и расположения к Красной Армии необходимо создать и на польском фронте, но создать не языком, не митинговыми речами, а делом.

Повторяю, это дело надо сделать сию минуту.

НЕСИТЕ ИМ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Устали люди, стали слабеть. И немудрено: три года бьются, три года непогода, жизнь на лошадях, в холод, в дождь, в жару, три года сеча, кровь, раны, смерть!

А какие бойцы! Какие рубаки! Это они отступали с знаменитой Таманской армией, они дрались на Кавказе, когда он был отрезан от Советской России; они, охваченные тифом, вырвались из рук белых, отступая в пустыне на Астрахань.

И вот теперь эти железные люди погнулись, и дивизию отвели в тыл.

Влили коммунистов, закипела политическая работа.

Прошла неделя. Мне предложили поехать из штаба в дивизию. Поехали.

Отдано было распоряжение: привести красноармейцев.

Закрывая деревенскую улицу пылью, по четыре в ряд, на мотающих головами лошадях, надвигалась бригада.

Что за молодцы! Из бронзы отлитые плечи, руки, лица; солнцем закалены, ветром обожжены, от горячей пыли почернели.

Кто в запыленной, без пояса, гимнастерке, кто в домотканой рубахе, кто в чекмене, и в разорванные дыры иной раз сквозит черное, прокаленной бронзы, тело.

В папахе, в фуражке блином, или выглядывает суровое загорелое лицо из-под нависших полей белой татарской шляпы.

Мне рассказывали: в бою свалится с плеч изхохматившаяся рубаха, боец перетянет поясом свое загорелое тело, заткнет наган и ринется в бой, странно выделяясь голым бронзовым торсом.

И за каждым из них «по пять, по шесть котелков»,— по пять, по шесть срубленных голов.

Спешились, густо расположились в саду, кто на деревьях, остальные прямо на земле. Принесли скамью. Один из товарищей взобрался и сказал:

— Товарищи, у вас тут трудно, головы кладете, страдания, но послушайте, что в тылу у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию. Вас тут может сразу положить пуля, а там и день и ночь чахнут люди, клонятся в неустанной, надрывающей работе, в недоедании, в холоде, в лишениях, пока не свалятся. На Брянском заводе, при наступлении Деникина, рабочие, голодные, без пайков, не отрывались от станка, падали у станка; их выносили на носилках, и было, что умирали в амбулатории. Зато изумительно быстро отремонтированные бронепоезда громили Деникина. Рабочие в тылу не отрываются от станков. Что же, товарищи, им сказать от вас,— сломите вы хребет Врангелю?

И грянуло по всему саду, лист посыпался:

— Сломим!.. Не жить ему!.. Скажите там нашим!..

Сделали обзор текущих событий. Потом было прочитано два рассказа: один — из солдатский жизни до революции, другой — из красноармейской жизни.

И как же слушали! Какой здоровенный хохот прокатывался по рядам! Или какими широко, по-детски разинутыми глазами смотрели эти бронзовые люди на читающего в драматических местах!

Потом повели их на спектакль. Труппа тамбовского Пролеткульта поставила в школе «Марата» и «Мстителя».

И с какой голодной жадностью смотрели! Да ведь из чужой жизни. А если бы из своей, из родной!

— Ноне у нас праздник,— говорили бойцы, радостно блестя глазами.

Приехал в дивизию представитель украинского Центрального исполнительного комитета, и стал говорить, что там, в России, жены, матери, дети, сестры, братья ждут, измучились, когда же, наконец, бойцы задушат крымскую змею, исстрадалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни, и не выдержал, заплакал. По бронзовым щекам бойцов, размазывая грязь, странно, по-детски, поползли слезы,— у каждого из них по пять-шесть «котелков» сзади,— и они хмуро вытирали слезы кулаками. Полезли за платками комиссары, командиры с покрасневшими глазами.

— Теперь я знаю, поведу их на самого дьявола, они ему череп сломят,— говорит командир, вытирая глаза.

«Да,— думал я,— митинговые речи притупились, потеряли свою остроту, убедительность».

— Просто уже не слушают обычные митинговые речи,— говорит мне начальник политического отдела,— им надо образы. Как ведь слушали рассказы, как смотрели спектакль! Посмотрите, какое настроение! Никто и не ожидал. И они себя покажут.

И они себя показали всего через три дня.

БЕЛОПАНСКАЯ АРМИЯ

Знание врага — это половина победы.

Что же такое белая панская армия?

Это регулярная армия, хорошо организованная и снабженная,— опытный командный состав из польских

офицеров русской царской армии, французские инструктора.

И если у Юденича, у Деникина, у Колчака в известной мере были банды, то ни в каком случае нельзя назвать бандами польское войско. Это в полном смысле регулярная европейская армия.

Поляки в армии разделяются на легионеров, или варшавян, и на познанцев. Особенно хороши в военном отношении познанские полки. Крепкие, стойкие, отличные стрелки. В атаку идут сомкнутыми колоннами, как ходили немцы. Пулеметы их косят, а они неудержимо продвигаются через трупы и в конце концов доходят, ибо их много.

Один из начальников дивизии сказал мне:

— Познанцы тупы, индивидуально тупы.

Я думаю, это не тупость, а тяжеловесность, свойственная немцам. В немецкой армии познанские полки были лучшими.

Легионеры, или варшавяне, полегче.

Хотя и они отлично дерутся, но нет у них той тупой стихийной силы, которая делает столь тяжелыми в бою познанцев.

Между познанскими поляками и варшавянами, как это ни странно, вражда. По данным разведки, за Березиной однажды произошло целое ожесточенное побоище между эшелонами познанцев и легионеров. Пущены были в ход ручные гранаты, винтовки, пулеметы. Чтоб утихомирить, польское командование вынуждено было двинуть на них другие части.

Материальная часть — это только пятьдесят процентов возможной победы, другие пятьдесят процентов падают на духовную крепость и силу борющихся, на тот внутренний подъем, который бросает в огонь воинов. Какова эта сторона в польском войске?

В штаб приводят пленного легионера, начинается допрос.

— Чем занимался до призыва?

— Батрак, у пана в имении работал.

— Земля есть?

— Нима.

— Семья есть?

— Е.

— Сколько получал в день?
— Четыре марки.
— Сколько стоит фунт хлеба?
— Четыре марки.
— Чем же семью кормишь?
— Панечку дае трошки хлеба.
— Безвозвратно? В пособие?
— Ни, буду отрабатывать после войны.
— За что же ты воюешь?
— За отчизну.
— Да эта отчизна только дерет с тебя.
— Панечку обещал дать трошки земли, как война кончится, и лошадь.

Он стоял, тяжело потупившись, ожидая, что сейчас поведут на расстрел. И был страшно изумлен, когда повели не на расстрел, а в питательный пункт, накормили, напоили.

Вводят второго легионера.
— Кто по национальности?
— Еврей.
— Чем занимался?
— Слесарь из варшавского железнодорожного депо.
— За что воюешь?
— За отчизну.

Допрашивающий товарищ даже подскочил.
— Рабочий и еврей, над которым паны не переставали изощряться в издевательствах, идет класть голову за эту подлую панскую отчизну!..

Легионера передернуло: сейчас на расстрел.

Товарищ успокоил.
— Не бойтесь, худого вам ничего здесь не будет сделано. Мы — ваши друзья. Только не укладывается в голове, что вы, именно вы, идете драться за панскую отчизну.
— Большевики — разрушители, они все грабят, убивают, мучают, камня на камне от них не останется.
— Да откуда вы это знаете?
— Вся Варшава полна этим.

И опять был поражен, что повели не на расстрел, а накормить.

Панская армия будет наголову разбита.
Есть ли к тому основания?
Есть.

«ПОХОД»

«НА ПОБЫВКЕ»

Знойное небо, чудесное расплавленное солнце, от которого давно у всех загорели лица; ласковый горячий ветерок струится все в одну сторону, раскачивая березы; а под ними на песке судорожно играют живые тени и трепетные золотистые пятна. Пахнет до одури насыщенным смолистым запахом, голова кружится. Чайку бы попить в этой благодати да с книгой завалиться вон в той сосновой роще.

А вместо этого головы всех подняты вверх, и глаза напряженно следят. В голубой высоте то сверкнет, как длинная спица, то погаснет, и снова знойная голубизна, и опять сверкнет.

— Каждый день бомбы кидает. Летает вот рукой подать, за лес крыльями цепляется, а ничего не поделаешь: пулеметы не берут, снизу блиндированы, а пропеллер — туда не попасть.

— Погоди,— говорит другой красноармеец,— вот привезут наши, перестанет зря мотаться над нами.

Длинная игла в небе совсем погасла.

— В тыл полетел, эшелоны все ищет.

Стоит красавец, сажень косая росту, плечистый, стройный, пышет алая фуражка; до самой земли кривая кавказская, похожая на ятаган, шашка, вся в серебре, с чернью. Весь он затянут, все в нем кокетливо-воинственно и отважно. Чувствуется лихой кавалерист.

— Вот приходится со своими же поляками воевать. Да, я — поляк из Вильны.

— Как они дерутся, поляки-то?

— Да как вам сказать, есть пехотные части стойко бьются, а кавалеристы наших атак не принимают. Два раза водил свой конный отряд в атаку, оба раза не приняли, показали тыл. А одеты — один шик. Тут,— он провел пальцем вокруг горла,— оторочено черным барашком; в таких коротких затянутых мундирчиках — загляденье. Конечно, в общем, сейчас дерутся хорошо, но как только нас подопрут резервами, разобьем, у меня нет сомнений. Только вот, злодеи, мучают наших пленных, такие пакости делают. Я сам видел трупы наших пленных красноармейцев; знаете, не хочется и рассказывать, что проделывают! Что турки когда-то.

Толпа красноармейцев, сгрудившаяся вокруг, тяжело молчала, не глядя друг на друга.

— А по-моему, так,— заговорил кавалерист,— пленных брать, кормить-поить, хорошо обходиться, а сколько наших изуродуют, столько ихних, так же с этими сделать и положить в халупе, а самим уйти и записку оставить. «Смотрите, мол: вы наших — и мы ваших, как раз столько же, не больше, не меньше».

— Верно. Так...— загудели кругом голоса, и красноармейцы оживились.

— А у нас, на Восточном фронте я был,— заговорил небольшого роста красноармеец, с большими ушами и хитроватыми на несмеющемся лице глазами, сухопарый и подвижной, должно быть, из рабочих,— так что делалось? Казаки резали из спины наших пленных ремни, выжигали на груди звезду, закапывали живыми. Ну, мы в долгу не оставались. Так и шло. А потом додумались: взяли в плен целый полк — бородачи, зверье. Грязные, обовшивели, оборванные. По-волчьи глядят из-под насупленных бровей, ждут расправы. Ну, комиссар послал их перво-наперво в бани. Вымылись, дали им чистое белье, одежду, а когда вышли из бани, встретили оркестром; как грянули, они обалдели: стоят, разинули глаза, ничего не понимают. А вечером устроили им митинг, рассказали, что они нам братья — только глаза им заволокло. Повели в театр кинематограф, концерт устроили. Так сами, когда пришли в себя от изумления, все встали, как один человек, в Красную Армию и, как звери, дрались со своими, с белыми.

Красноармейцы молчали, вопросительно поглядывая друг на друга, не умея определить своего отношения к рассказанному.

— То есть,— сказал кавалерист,— они наших будут уродовать, а мы их будем угощать?

— Товарищ,— сказал со смеющимися глазами,— чего ты, десять лет хочешь воевать?

— Как!

— Да ежели мы им носы и все прочее начнем резать, так ведь они, как звери, будут драться до самой Варшавы: сколько нашего брата поляжет! А если по-братски с пленными, после первого хорошего нашего удара рассеется вся армия, вот посмотрите.

И странно, по толпе пробежало оживление, засверкали улыбки, и дружно загудело:

— Ясное дело.

— Отдан приказ не трогать, ну и не трожь...

— Верное дело. Кто сам себе враг?.. Кому охота затягивать войну?..

А на песке все так же трепетно играли ежеминутно меняющиеся золотистые пятна.

КРАСНАЯ АРМИЯ

Конечно, обман, густо обволакивающий польский трудящийся народ, польского солдата, в конце концов рассеется, но ведь пока медленно рассеется этот туман, Советская республика может задохнуться.

Кто же ускорит это рассеяние? Кто разобьет эти цепи?

Красная Армия.

Что же такое Красная Армия?

Я был поражен разницей того, что я увидел теперь в армии, с тем, что наблюдал в позапрошлом году на Восточном фронте. Иные лица, иные глаза, иной ход мысли. Надо было оторваться от Красной Армии на полтора года, чтобы так ярко почувствовать эту перемену.

Какая же колоссальная работа произведена за этот промежуток! И это при страшной разрухе, при недостатке бумаги, при гибельном недостатке людей. Очевидно, не прямая только агитационная работа — ее, несомненно, недостаточно было,— а вся обстановка жизни в Советской России, самый воздух, которым в ней приходится дышать, делает людей такими, а не иными.

В массе нынешние красноармейцы отчетливо понимают, что у них сзади, за что они бьются, кто их враг, чего он хочет. Даже деревня, с ее упрямством, медленностью, узеньким кругом интересов только своей избы,— даже она в армии быстро выравнивается по остальным.

Это, конечно, не значит, что красноармейцы ведут чистые, благородные, интеллигентские разговоры об империализме, о классовой эксплуататорской природе польских панов и прочем. Нет. Иногда по целым дням не услышишь слово «пан», или «Советская власть», или «польский рабочий», «крестьянин», но среди обыден-

ных разговоров об амуниции, приварке, потертых ногах, о молоке, добытом в деревне, какое-нибудь оброненное слово о польском пане, смех, замечание или крепкая неудобосказуемая характеристика вдруг осветит красноармейскую душу до дна. Инстинкт вражды к барину уже шагает через национальные перегородки. И польский пан такой же лютый враг, как и русский барин.

Смотры и парады с незапамятных времен носили всегда лицевой характер; изнанки там не увидишь. В значительной степени такой характер они носят и теперь,— это неизбежно, да, пожалуй, и законно. Но прежде видел однообразные каменные лица солдат, у которых все глубоко запрятано, а снаружи лишь одно — дружно пройти, гаркнуть и заслужить генеральское «Молодцы, ребята!».

И вот я видел теперь. Широкое-широкое поле. По краям голубеют леса. Походным порядком идет отряд за отрядом, часть за частью. Кого тут только нет: и пехота щетинится темными штыками, и артиллерия тяжело громыхает, и кавалеристы, и разведчики, и пулеметные роты.

Неожиданно приехал представитель центральной власти. Войска развернулись длинными шеренгами, стройно, уверенно прошли и построились покоем. Внимательно слушали краткий, чрезвычайно сжатый отчет о деятельности центральной власти. Полякам предлагали мир; шли на самые громадные уступки, быть может переходившие даже границы, лишь бы избежать кровопролития. Польские помещики ответили наступлением, взятием Киева. Теперь надо биться, биться вовсю. Но надо помнить — польский рабочий и крестьянин — не враг, а друг наш.

И какое грянуло «ура» польскому рабочему и крестьянину!

Да, так не говорили царские генералы, и оттого лица у царских солдат были каменные.

И я всматриваюсь в эти лица и неупускающие глаза со своей мыслью, со своей остротой. Сотни лет вбивали царя в голову народа, а вот в этих Советская власть внедрилась в два года, и уж не отдерешь. Да, это армия победы.

Да ведь все это, скажут, субъективно: одному кажутся лица сознательными, бодрыми, другому — не

очень. Наконец, если даже и сознательные лица и глаза, да ведь неизвестно, как в деле-то будут эти сознательные воины?

Правильно.

Встретил под Киевом высокого, с желтым, осунувшимся, в щетине, лицом, человека. Одет в потертый подпоясанный пиджачок, глаза ушли вглубь, лихорадочно блестят, и он жадно, не отрываясь, курит махорку.

Я обрадованно узнал знакомого начдива. Этот лихорадочный блеск глаз, осунувшееся лицо, небрежность в одежде, жадность, с которой он затягивался, говорили о страшном нервном напряжении, нечеловеческой работе, без перерыва, целыми месяцами.

Он рассказывает:

— Ведь вот и побурчишь на красноармейцев и иной раз с упреками к ним, а как попадешь в переделку, в самую крутую, тут вдруг во все глаза увидишь, какая это изумительная армия, железные люди. При отступлении от Бердичева одна из наших дивизий совершенно была окружена неприятелем в огромно превосходных силах. Железное кольцо сомкнулось. Положение было совершенно безвыходное. Дивизия была зажата в круге диаметром в семь-восемь верст. На этом сдавленном пространстве паны без перерыва со всех сторон палили по дивизии из орудий, пулеметов, винтовок. Все засыпалось снарядами; в дыму, закопченные, в изорванной, обожженной одежде, отбивались красные воины. Мало этого. Поперек пути, куда надо было пробиваться, тянулись тройные окопы, старые царские окопы, сооруженные еще на случай наступления немцев на Киев. Эти окопы паны подновили и засели. Пришлось нам пробиваться сквозь тройную линию, брать укрепленные позиции. Дивизия дралась отчаянно, выбила панов из окопов... Познанцы шли стеной, добыча, казалось, была в их руках. На дивизию кинули кавалерию. Кавалерию не только отбили, но ухитрились отрезать и окружить эскадрон и истребили подавляющую силу врага.

Да, познанцы ходили в атаку густыми сомкнутыми колоннами, ходили в упоении первых побед, чувствуя свое огромное численное превосходство, обнадеженные своим начальством, что Красная Армия разложилась, что от нее остались только банды. Но самое главное —

все были уверены — один громовой удар, взятие Киева, и война кончена. Оттого поляки так бешено рвались.

В совершенно другом положении была Красная Армия. Подавляемые громадным перевесом сил, захваченные вероломством польских панов врасплох, без подкреплений, без ближайших надежд на них, красные воины дрались по-львиному. И смутная тревога закралась в черную душу панов. Кто сказал: это — Верден?

Вы видите теперь: то, что написано на лицах наших боевых товарищей, то есть и на деле.

Два процесса параллельно нарастают.

Паны все больше и больше обжигаются, и скоро познанцы перестанут ходить в атаку сомкнутыми колоннами, если уже не перестали.

Красные воины крепнут числом и духом, ибо им недоставало только числа.

У польских рабочих и крестьян в американских мундирах все больше и больше открываются глаза на Советскую Россию, на своих братьев — рабочих и крестьян российских, и клонятся долу и замирают в руках французские штыки.

У красных воинов твердо подымается в руках винтовка на польского пана.

И польские паны, и познанцы, и легионеры идут все время под гору. Красные воины все время подымаются в гору.

И тем не менее ни на секунду нельзя ослаблять страшного напряжения: надо не только победить, надо победить в кратчайший срок.

А мы все, кто остается в тылу, ни на секунду не должны забывать о наших боевых товарищах — ведь головы кладут.

Мало кричать: «Да здравствует Красная Армия!» — и со слезами принимать резолюции, надо на деле любовно помочь и облегчить участь наших братьев.

МОКРЫЙ ВЕТЕР

Не странно ли: империалистическая царская война ярко освещалась всеми доступными средствами. Сотни журналистов, художников, фотографов, литераторов,

беллетристов, поэтов запечатлевали каждый шаг борьбы помещиков и капиталистов, подлой борьбы чужими руками за их барыши, за их доходы.

А величайшая борьба рабочих и крестьян за жизнь, за счастье всего человечества проходит молча.

Знаю, в сече, в пулеметном огне, в грохоте разваливающейся старой жизни не до писания. Это так. Но если б у всех, соприкасающихся с борьбой, жило сознание необходимости и важности запечатления этой борьбы, всегда выпала б минутка, чтоб пером, кистью, аппаратом схватить убегающие события.

А сколько удивительных лиц проходит! Сколько рабочий класс, сколько Коммунистическая партия дала поражающих типов, невиданных организаторских сил, невиданной энергии, невиданной способности угадывать и использовать события!

Неужели все это уйдет и потухнет с уходящим днем?

Поколениям один маленький рассказ, маленькое воспоминание, один небольшой рисунок даст неизмеримо больше, чем сотня ученых изысканий в архивах. А живущим даст больше, чем два-три разъясняющих митинга.

Хлещут мокрые холодные березки, гнутся черные елочки, пронизывает такой же мокрый ветер, заворачивая хвост нашему бегущему коню. Мокрый снег тяжело расступается под санями.

Шум стоит в лесу, и весь он желтеет от сложенных в кубы дров.

Сквозь лесной шум стучат топоры. Между деревьями мелькают серые фигуры красноармейцев. Мы едем, и без конца желтеют сложенные дрова.

— Ежели б поднять все это, Петроград и ухом не повел бы насчет топлива,— говорит мой спутник и, обернувшись и закрывая от рвущего ветра рот, кричит:

— Какой части?

Едва ли там слышно, да догадались, и в шуме доходит разорванно:

— За... пас... но-го пол-ка...

Вот и кладбище...

Два длинных свеженасыпанных вала параллельно тянутся сажен на сорок; людей не видать, только видно, вылетает снизу мокрая глинистая земля и вскидывается на валы.

Подходим. В глубокой, больше чем на сажень, траншее вода уже стала выступать — торопливо работает, выбрасывая лопатами, партия трудармейцев.

— Здравствуйте, товарищи!

Часть поставила лопаты, другие молча продолжали выкидывать, не прерывая работы.

— Доброго здоровья...

— Ну-ка,— говорит мой спутник,— теперь дело на лад идет.

— Помирать не поспевают,— весело доносится снизу, и они поднимают к нам оживленные лица, худые, истомленные недоеданием.— Триста человек в этой траншее захоронили, и в этой триста лягут, лишь подвози.

И опять рыхло-мокрая земля замелькала снизу, вскидываясь на вал.

— Видите, как работают,— говорит мой спутник, помощник комиссара Карельского участка, металлист-путиловец со славными ласково-задумчивыми глазами,— как шибко дело идет; вот и производительность труда высокая. Их надо поставить в такие условия, чтоб ни одной минуты зря не терять. А то, когда пришли сюда сначала, стали верхний мерзлый пласт снимать, ломы легкие, не берут, земля смерзлась почти на аршин, как камень. Тюкают, тюкают, ничего не поделаешь. А остальные стоят с лопатами, покуривают да болтаются. А уж это самое последнее дело, когда во время работы да без дела приходится стоять,— разложение сейчас же начинается, а там и недоразумения всякие. Да и дело не делается: мертвецов все везут да везут. Ну, догадались, вместо того чтобы мерзлоту колупать, два колодца и взорвали порохом, а там лопатами и заработали; видите, как дружно пошло. И сразу повеселели ребята, и производительность поднялась.

Я много расспрашивал знающих людей, а теперь и сам вижу — производительность труда трудармейцев можно свободно довести до нормальной производительности, если только их поставить в нормальные условия, чтоб были сыты, имели отдых, не теряли времени на большие переходы, а главное, чтобы все приготовлено было заранее — место работы, инструменты, технические руководители, чтоб не приходилось разыскивать, дожидаться, что ядовито разлагает...

Мокрые, иззябшие, исхлестанные злым ветром, мы едем с комиссаром артиллерийского дивизиона — здесь артиллеристы работают. Тоже металлист, перебывал чуть ли не на всех металлических заводах Петрограда, с молодым безусым лицом.

В теплой дачке, которая показалась раем после дьявольского ветра, комиссар угостил нас горячим супом, который сам варился, пока мы ездили на работы.

Я смотрю на них, на обоих, слушаю, как они вспоминают и рассказывают случаи из своей заводской жизни, из красноармейской. Славные ребята. Ведь они занимают, если по-прежнему сказать, места генералов. А для красноармейцев это — свой брат, с полуслова друг друга понимают. Оттого так легко, так свободно в девяноста случаях словом убеждения они умеют поддержать в Красной Армии железную дисциплину.

БОРЬБА

Только что народилась трудовая армия, и уже зажглась вокруг нее борьба.

Страшная нужда в квалифицированных рабочих, особенно в металлистах. Петрограду их нужно было более 10 000. И отдельные предприятия и целые учреждения в один голос требуют:

— Трудовая армия, отдай нам квалифицированных рабочих!

— У нас станки стоят,— кричат рабочие-металлисты,— вон паровоз не можем выпустить, ведь это же зарез!

— У нас и сырье есть, и топливом кое-как обойдемся, и рабочие есть,— стараются перекричать табачники,— а дело становится: нет механика-специалиста на станках! Что же вы режете производство!

— Послушайте,— рвутся просветительные, профессиональные, партийные организации,— помимо всего, что предприятия технически замирают от отсутствия квалифицированных рабочих, вы лишаете нас цемента, который связывает всю пролетарскую массу, который

одухотворяет, вливает в нас общественно-политическое сознание. Чего же вы хотите? Духовного обнищания пролетариата? Политического и культурного его распада? Послушайте, вы сделали свое дело, штыком вы пригвоздили врага к земле; во время страшной борьбы мы ничего вам не говорили, ничего не требовали. А теперь дайте же нам дышать.

— Как, мы сделали свое дело?! Разве мы его кончили? Разве нам не грозит еще горшая смерть от другого врага? Мы только переложили штык в левую руку, а в правую взяли топор, молот, пилу, железнодорожный ключ. Вам нужен цемент для городского пролетариата, а нам нужен для армии, которая почти сплошь крестьянская и по уровню, конечно, ниже пролетарской массы. Вы что же — хотите ее полного распада? Так говорите прямо. Наконец, нам для производительных работ квалифицированные рабочие так же нужны, как вам. Если мы их вам отдадим, армия потеряет свою трудовую стройность, организацию и ценность, просто превратится в толпу чернорабочих и начнет разлагаться. Какой же тогда смысл содержать трудовую армию?

Так борются: «То сей, то оный набок гнется...»

И те и другие правы. Армия возвратила Петрограду 300 квалифицированных рабочих. Заводские комитеты устраивают им экзамен, верно, что квалифицированные, и берут. Возвращают квалифицированных железнодорожников, но это капля в море.

Какой же вывод?

Армия — живой организм и гибко приспосабливается к реальным условиям жизни. Будет найдено положение равновесия для обеих сторон.

Сейчас идет анкетный поголовный подсчет в армии специалистов, квалифицированных рабочих, механиков, слесарей, токарей, столяров и прочих.

Все рабочие высокой квалификации, как модельщики, отливщики, будут немедленно возвращены предприятию.

Из оставшихся квалифицированных рабочих будут организованы ударные бригады слесарей, плотников, столяров, монтеров, водопроводчиков и прочих, человек по 100—150, и будут направляться на заводы и в учреждения по требованиям.

ДВА ТЕЧЕНИЯ

Мокрое небо низко, а под ним ветер по лесу разбушевался. Скрипят сосны, кланяются елочки все в одну сторону, как растрепавшиеся волосы, мотаются березы.

По самые по колена в снегу ворочаются трудармейцы и широкими лопатами скидают тяжелый мокрый снег со штабелей торфа. Вяло работают.

— Что ж, товарищи, веселости нет в работе?

Тот, что возле меня, ставит лопату, достает табак, крутит и долго закуривает, всячески укрываясь от ветра.

— Да как вам сказать, не соврать,— говорит он, поймав наконец папироской огонь,— кабы положение было, а то видимость одна. Приехали утром, заместь на работу прямо идти, нас погнали спервоначалу к конторе, построили и повели, чтоб походным порядком, в строю. Ну, пришли. Работать бы, лопат нету. Опять построились, повели нас за лопатами. Покеда инструмент приносили, ноги отходили, верст шесть туды-сюды отмахали. Ну, уж тут не работа — все думаешь, как бы присесть да покурить. А там на обед за две с половиной версты идти.

В трудармии борются два течения. Одно, необыкновенно яростное, говорит: нет трудармии, есть только армия, и все до последнего движения должно определяться в ней воинским уставом, воинской дисциплиной, всем, чем живет, дышит, чем сильна и крепка армия.

На работу идет не трудармеец, а красноармеец, и потому он должен на работу идти в строю и уходить с работы в строю. Он должен терпеть голод, холод, неустройства точно так, как он их терпит в бою, в походе, на позиции, и не смеет ими отговариваться. Для него одно свято: долг и дисциплина. Никаких наград, никаких поощрений, никаких премий. Как в бою не из-за наград, а из чувства долга и под давлением дисциплины люди кладут головы, так и здесь, во имя долга и железной дисциплины люди должны отдавать свой труд, свои силы, здоровье, должны мириться со всякими переустройствами, с голодом, с холодом, с промахами и ошибками окружающих учреждений.

Только тогда это армия. Иначе, это только сброд бывшей разложившейся армии, которую выгодней со-

всем распустить, чем заражать кругом этим разложением, ибо ведь это страшная штука.

— Видите ли,— говорил мне рабочий, бывший комиссар трудовой армии, и во время наступления Юденича и после делавший огромную работу в армии,— конечно, армия есть армия, а стало быть, и дисциплина, и дисциплина железная, должна быть, и строй всей жизни должен быть военный, и трудовые задания должны исполняться, как боевые. Все это так. Но жизнь есть жизнь: у ней тоже свое, и ее кулаками не перешибешь. С ней приходится считаться, хочешь не хочешь. Одно дело, когда люди на смерть идут, тут деваться некуда, и все покрывает страшное напряжение; другое дело изо дня в день спокойно работать работу. Вот они говорят: никаких наград, никаких поощрений, никаких премий, никакой оплаты сверх трудармейского пайка и жалованья. А я сделал такие наблюдения:

«Шесть трудармейцев в обычном порядке, то есть не получая никаких добавочных, грузили вагон дров в четыре часа, то есть на погрузку дров одного вагона нужно было двадцать четыре рабочих часа. Работали за совесть. Вагон берет три куба дров».

«Три женщины-работницы грузили вагон в семь часов. То есть вагон требовал двадцати одного рабочего часа. Получали они за это пятьсот рублей, обед бесплатный, по восьмушке табаку и по восьмушке сахару».

«Четыре трудармейца, взятые одним учреждением, нагрузили вагон в два часа, то есть на вагон потребовалось восемь рабочих часов. Им заплатили пятьсот рублей, дали бесплатный обед и по четверке табаку».

«Ничего не поделаешь, приходится считаться с реальными условиями. И как-никак, в бою — одно, в мирной жизни — другое. Да и в боевой обстановке разве нет наград, поощрений, премий, отличий? И ордена дают за боевые заслуги, и денежные награды, и благодарят в приказах, и не разлагается от этого армия. И не только не разлагается, а это подстегивает, побуждает к большему рвению, к соревнованию. Нет, такая военная прямолинейная политика в мирной обстановке труда не годится. Она даже сорвать может все дело. Дело новое, на каждом шагу надо применяться к окружающим условиям. На каждом шагу надо прикидывать и так и этак: ошибся — по-иному, опять ошибся — опять по-иному.

А не то что оседлал, сел да поехал напролом, не оглядываясь».

«А ведь, пожалуй, он прав»,— думал я, глядя на его крепкое, энергичное рабочее лицо.

— А тут опять же тыл,— продолжал он,— ни одна боевая армия не вросла так в тыл, как трудовая армия. Все ее движения, вся ее работа, производительность труда — все зависит от тыла, от тех учреждений, с которыми армия соприкасается. А надо прямо сказать, тыл не пришлифовался еще к армии. Учреждения вызывают пятьсот трудармейцев, а дают работу четыремстам, а сто болтаются без дела, это — гибель, нет ничего более разлагающего, как оставить хоть на минуту людей без дела,— сейчас же разложение начнется. Вызовут на работу — смотрим: то инструмента не приготовили, то гонят зря людей; ну, тут уж о производительности труда не спрашивай. А между тем ведь в сущности тыл у нашей армии великолепный — революционный рабочий город. Нужно только, чтоб учреждения подтянулись. Чтоб они не смотрели на трудармию спустя рукава, как на что-то постороннее, их не касающееся. Тогда дело на лад пойдет.

ТИФ

Когда в прошлом году пришли башкиры, их платье и белье сняли для дезинфекции. Когда камеру открыли, на полу ее лежал серый песок в два вершка толщиной. Присмотрелись, а это не песок, а вши.

Вши в два вершка толщиной! И тиф ворвался в армию.

Кое-как справились.

Пришел и ушел Юденич, и на Красную Армию неожиданно хлынули полчища перебежчиков. Они шли голодные, холодные, оборванные, босые, изнуренные и несли поголовно тиф. Шли качающимися толпами по льду через Чудское озеро, а это сорок верст. Морозы, ветры, метели — и озеро запестрело мертвецами.

Сколько глаз хватал, они чернели по снегу, пропадая за горизонтом. А теперь озеро по-прежнему чисто и бело: всех мертвецов заровняла метелица.

Прибрежные леса Эстонии оглашались безумными криками — шли тифозные в бреду. Кормить их было некому, смотреть некому, лечить некому — эстонцы, спасая себя и свои семьи, гнали их от себя, как чуму, и некому было хоронить.

Весной из-под осевших сугробов вырастут груды человеческих тел, и истлеют безыменные кости.

В Красную Армию хлынул тиф, а через нее — в город.

Город не мог справиться с обрушившимся бедствием. Тиф расползался. Тифозные селились по частным квартирам. Санитарные поезда стояли по семь, по восемь суток неразгруженными. Надо знать весь ужас, когда неделями тифозные валяются по теплушкам. Что же делать? Да в трудовую армию. Начальник Петроградского укрепленного района был назначен чрезвычайным уполномоченным по борьбе с эпидемиями. Работа закипела. Трудармия выделила из себя квалифицированные группы — плотников, столяров, слесарей, водопроводчиков, электромонтеров, и они быстро, без переписки, без волокиты стали оборудовать вновь развертываемые госпитали. Надо знать, в каком состоянии дома, чтобы представить себе всю груду необходимой работы. Команды трудармейцев подвозили кровати, столы, умывальники. Сейчас идет сбор среди населения одеял, белья, устраиваются бани, прачечные.

Результат. Шесть тысяч кроватей развернуто, семь тысяч будет развернуто в ближайшее время. Санитарные поезда, набитые тифозными, разгружены. Организовано погребение трупов, а то они валялись непогребенные. В гарнизоне тиф загнан в госпитали, а это больше половины дела. Организовано чтение лекций, беседы. Во всякой борьбе необходима концентрация сил. Под давлением необходимости гражданские учреждения, поскольку дело касается борьбы с тифом, сосредоточиваются в руках трудармии.

Волокита, распускание слюней и ушей пресекается. Военный механизм действует строго, точно, порой жестоко.

Мне рассказывают: послана телеграмма одному из представителей гражданского учреждения с настоятельным приглашением явиться на чрезвычайно важное заседание в шесть часов вечера. Телеграмма в девять часов

утра. Не явился. Почему? Да извольте видеть, он живет в пятом этаже, а телеграмма попала в третий этаж учреждения и оттуда шла в пятый целый день, и представитель учреждения на заседание не попал.

— Да разве это мыслимо! Да разве это возможно!..— кипятился представитель трудармии.— Мы работаем двадцать четыре часа, нет мертвого пробела в сутках; в гражданских учреждениях посидят от девяти до четырех, а там хоть трава не расти, а ведь тиф не от девяти до четырех работает.

Нигде, может быть, так выпукло не вырисовывается концентрированность учреждения, как в этой обстановке борьбы с эпидемиями.

Не знаем, как в других местах, но в Петрограде трудармия нашла широчайшее и плодотворнейшее поле для приложения своих сил.

В ШТАБЕ

Автомобиль быстро идет мимо однообразно скучных петербургских дач; в лицо лепит мокрый снег, холодный мокрый ветер.

Начальник укрепленного Петроградского района показывает на бесконечно тянущиеся между березами направо и налево желтые полосы.

— Вот все окопы, и все оплетено проволокой. Они тянутся бесконечными рядами. Юденич тут запутался бы, как в тенетах.

У моего спутника простое крепкое лицо, а за этой крепостью печать усталости. Едва ли он когда-нибудь спит. Боевое управление, работа в трудармии, напряженная борьба с эпидемиями — разве передохнешь? А позади два года пестрой революционными событиями жизни, борьба, чехословацкий плен, побег, десятки назначений на разные посты, надрыв, болезнь, и вот опять в красно-кипящем котле революционного города. Только революция умеет ковать такую разнообразно нарастающую судьбу.

Я спрашиваю о том, что меня постоянно занимает и мучает:

— Скажите, производительность труда трудармии какова?

Я спрашиваю, а сам заранее знаю истертый ответ: «О, великолепно! Чрезвычайно высока!..» И слышу коротко и резко:

— Низкая!

— Почему?

Он сосредоточенно молчит. Потом говорит с затаенным раздражением:

— А потому, видите ли, у нас, у трудармейцев, рабочий день двадцать четыре часа; каждую минуту дня и ночи мы готовы выполнить боевое или трудовое задание. А в гражданских учреждениях от десяти до четырех. Допустимо ли у нас что-нибудь подобное? Нет, их нужно милитаризировать, иначе толку не будет.

Он опять сосредоточенно помолчал, обдумывая.

— А тут и наши. Приходится перевоспитывать. Многие из командного состава просятся: переведите на боевой фронт, мне нужны боевые задания, что я тут дроворубом буду! Извольте видеть, это для него унизительно. Вести роту под пулеметным огнем, это геройство, вести ее на заготовку дров, на стройку моста — это обывательщина, мещанство. Вот с чем приходится бороться. Да это командный состав! Есть комиссары-коммунисты, которые придерживаются тех же взглядов. Вот тут и поди. Приходится перевоспитывать сверху донизу. Но это все обойдется, это, в конце концов, не страшно. А вот гражданские учреждения подтянуть надо, милитаризировать их надо.

Человек, который никогда не спит, железной рукой умеет заставить всех вокруг себя работать.

Вот и штаб. К крыльцу подходит молоденький артиллерист. Мой спутник обращается к нему:

— Который час, товарищ?

— Половина одиннадцатого.

— Под арест за опоздание на службу. Это не первый раз.

В штабе обычно, как во всяком полевом штабе, рапорты, донесения, телефонограммы. Дачка натоплена. Достаем карту, смотрим расположение работ, куда мне ехать. Входит помощник комиссара Карельского участка, славные глаза. Ну, конечно, рабочий, конечно, металлист, путиловец. Садимся с ним в санки и едем мимо

хлещущих березок, томно гнущихся елочек. Ветер, как дьявол, старается нас опрокинуть с санями и с конем — с моря рвется, должно быть, от англичан.

Вот батарея. При малейшей тревоге все номера на месте, и орудие откроет губительный огонь. Тут все начеку.

У ручья притянутая к земле «колбаса» под брезентом; ветер волнуется и переливается в ней, как в огромном брюхе. Немало послужил аэростат, зорко наблюдая за врагами.

Тянется необозримое Шуваловское болото с громадными пластами великолепнейшего торфа. Доставлены торфяные машины, проводится узкоколейка (почему не ширококолейная, не было бы перегрузки).

Инженер торфяного комитета объясняет расположение и характер работ. Идет расчистка из-под леса торфяных болот, работы торфяные начнутся весной.

Я спрашиваю инженера:

— Какова производительность труда трудармейца?

Он осторожно, косо посматривает на комиссара — не хочет ссориться — и говорит:

— О-о, прекрасно работают! Мы с ними отлично работаем, спелись.

— Ну, как в цифрах? — настаиваю я.

Он полуотворачивается и, понизив голос, говорит:

— Да... хорошо: шестьдесят процентов нормы.

«Ну, шестьдесят процентов нормы не так уж хорошо»,— думаю я.

— Почему это так?

Инженер пожимает плечами.

В затоны, между которыми со свистом все так же бешено рвется ветер, трудармейцы кидают лопатами почвенный торф.

Мы подходим, все окружают нас, вкладывая лопаты. Немало желтых, истощенных лиц.

— Ну, что, кончили? — спрашивает комиссар.

— Обедать идем,— послышались голоса, уносимые рвущимся ветром.— Опять такой же обед: без хлеба.

— Разве не привезли?

— Да привозят когда? В четыре, в пять вечера. А за обедом без хлеба. А вечером привезут, тут же весь его и слопаешь, жрать-то ведь хочется. А кабы привезли к обеду, за обедом его весь не съешь, на утро бы оста-

вил, перед работой и закусил бы, ан работа совсем другая. А то руку с лопатой не подымешь.

— Опять же без толку,— послышались возбужденные голоса, которые трудно было разобрать в свисте ветра,— обедать иттить три версты, назад три версты, когда же работать? Придешь на работу, инструментов нет, иди за инструментами. Покеда сходишь, а дню уж сколько осталось? А то торфу не подвозят, стой тут, болтайся, жди. Разве это работа?

Так вот почему шестьдесят процентов! Напрасно инженер пожимал плечами. И не пришло ли время подтянуть отдел снабжения?

Я слежу за устало удаляющейся командой трудармейцев со своим молоденьким инструктором. И мне радостно: люди честно относятся к работе, не хотят воспользоваться неустройством тыла, чтобы побаклушничать.

У нас с комиссаром совпадают мысли, и он говорит, угадывая:

— Сознательно ребята относятся к делу, а то что бы им: инструментов нет у них, привалились бы в затишке и курили бы себе спокойно. Торф не подвозят — опять бы курили, благо табачок выдали. Далеко обедать ходить — так ведь ходить за разговорами и за цигаркой легче, чем работать, и лоботрясы рады бы этому были, а эти сердятся. Ну, да и то сказать: какая огромная работа среди них ведется — собрания, митинги, доклады. В отдельности с каждым говоришь, так они уже пропитались сознанием, что, если разруху не сбыть,— смерть.

Мы садимся в санки и едем дальше. В лесу легче: бешеный ветер запутывается в деревьях и не так пронизывает.

II

НАКАЗАНИЕ

(Эпизод из детской жизни)

Сегодня должны были наказывать одного из двух бежавших за границу казаков. Я слышал, как об этом говорил заходивший к нам утром наш новый полковой адъютант.

— Удивительный это народ,— говорил он, придвигая к себе стул,— остается человеку шесть месяцев до отправления со сменной командой домой, там дома ждут, семья есть, зажиточно живут, детишки, так нет, в одну прекрасную ночь бежит. И бежит-то самым глупейшим образом. Понесло его зачем-то в Австрию, пошатался неделю и вернулся. Ну тот-то, другой, тот еще понятно,— каналья, и служить нужно было еще три года, кажется. А ведь этот казак-то тихий и ни в чем замечен никогда не был. «Зачем ты бегал?» — спрашивают. «Затмение, ваше благородие, нашло»,— и больше ничего добиться не могут.

Адъютант был молод, красив, в новеньком с иголочки мундире, он поминутно двигался, закладывал ногу на ногу, говорил быстро и развязно и тем особенным тоном, каким, как я привык, офицеры говорят о казаках, называя их просто «люди». Каждый раз, как я видел адъютанта, мне почему-то приходили на память подробности смерти прежнего адъютанта и еще то, что я улавливал порой мимолетные взгляды, которые бросали иногда друг на друга адъютант и m-lle Софи.

Когда же адъютант стал рассказывать про бегство двух казаков, впечатление и воспоминания смерти Исакова оттеснились другими представлениями.

Мне вспомнились те неуловимые очертания не то гор, не то лесов, которые виднелись в ясный солнечный день сквозь синеватую дымку на самом краю горизонта с того возвышения, где стоит кладбищенская церковь.

Казаки говорили, что там Австрия. Я иногда взбирался на церковную сторожку и подолгу стоял и смотрел туда, где синела таинственная даль. Когда к нам приходили темные тучи летних гроз, они шли *оттуда*, искрещиваясь далекой молнией. Города, люди, горы, деревья, мальчики, трава на лугах, реки — все мне казалось *там* совсем иным, особенным и значительным, непохожим на то, что окружало меня здесь, невольно привлекая к себе воображение и мысль.

И сегодня, когда адъютант стал рассказывать о побеге и наказании, мне страшно захотелось самому поглядеть на казака, который был *там*, посмотреть, что с ним будут делать, какой он, как его будут вести, и почему-то казалось, что там, как я увижу его, отчасти разрешится таинственность и неизвестность, облекавшая тот далекий, неведомый край.

Я подошел к матери и, невинно глядя ей в глаза, попросил позволения пойти к детям доктора. Мать позволила, и через пять минут я уже осторожно, на цыпочках прокрадывался по полутемному коридору докторского дома, прислушиваясь к шагам и говору за стеной и одного только опасаясь, чтоб меня тут не увидел кто-нибудь. Забравшись в темный угол за старый шкаф и торопливо смахнув с лица и шеи насевшую паутину, я присел на корточки, стараясь успокоиться и обсудить положение. Войти в комнаты значило остаться тут — и тогда все пропало; прямо же идти за город не хватило духу ввиду того, что я отпросился у матери сюда. И вот теперь я сидел в полутемноте, ощущая сырость и затхлость угла, куда не заглядывают, поминутно опасаясь, что по мне побежит паук, и напряженно вслушиваясь во все, что глухо доносилось из-за стены и дверей. Первое время ощущение непосредственно избегнутой опасности, что не попался докторским детям, и мысль, что я все-таки не окончательно ослушался матери и сижу у доктора, не давали сосредоточиться на своем положении.

В доме ходили, хлопали дверьми, о чем-то говорили; порой доносился голосок Вани или слышался плач маленькой, еще грудной Машеньки; жизнь шла своим чередом, как и всегда, и я наблюдал и прислушивался из своего темного угла к знакомым голосам и той особенной хлопотливости, которая всегда бывает в доме,

где есть дети, и все для меня казалось давно знакомым, обыкновенным, и странно становилось, что я сижу тут в сору за шкафом на корточках и прислушиваюсь; но тут сейчас же приходил на память бежавший казак, что его, может быть, уже ведут и я опоздаю, подымалась тревога и мысль, что надо сейчас же выбраться отсюда, но я боялся вылезть. Мне представлялось, что, как стану вылезать, дверь как раз откроется и меня увидят.

Время уходило. Я пересидел себе ногу и болезненно чувствовал, как по икрам точно муравьи бегали и покалывало кожу. Надо было выбраться во что бы то ни стало. Я высунулся и, с напряжением вслушиваясь в доносившиеся звуки, каждую минуту готов был вылезть и пробраться по коридору, и каждый раз точно кто-то дергал меня: «А что, как кто-нибудь как раз откроет дверь?» — и опять оставался и дожидался какой-то более благоприятной минуты, и наконец-таки дождался того, что кто-то действительно вышел из комнаты и прошел на улицу. Я спрятался опять. Зуд все усиливался в отсиженной ноге, становилось трудно сидеть в одном положении, тревога росла, сердце до боли билось. Теперь *там* уже, может быть, собрались и я не попаду вовремя.

Я опять высунулся. В комнате снова послышались шаги. Кто-то взялся за дверную ручку. Надо было переждать; но в этот самый момент я вдруг по совершенно необъяснимому побуждению внезапно выскочил из-за шкафа, ударился о растворенные двери и пустился бежать по коридору. «Ай, кто тут?» — вскрикнула перепуганная горничная, захлопывая двери. Я слышал, как она подняла тревогу. «Все пропало!» — пронеслось у меня, и я, как буря, вылетел на тротуар и понесся по улице весь красный и в паутине. От волнения перехватывало дыхание и пот градом катился по разгоряченному лицу.

Вид запыхавшегося мальчика, бегущего что есть духу по улице, несомненно обращал на себя внимание, и я чувствовал, что надо остановиться и пойти спокойнее, чтобы не обращать на себя внимания, и все-таки бежал, спотыкаясь и размахивая руками, точно за мной гнались все докторские домочадцы, пока, наконец, не очутился за городом.

Я остановился перевести дух. Возле были казармы. От них в гору рядами тянулись коновязи, а дальше из-

за ограды с горы глядела знакомая кладбищенская церковь и сторожка. Кругом никого не было. Мною овладело отчаяние, что я пропустил момент наказания.

Я поднялся на гору, похлопывая мимоходом рукой по перекладинам коновязей, и взлез на сторожку. Все местечко открылось как на ладони. Внизу за казармами, которые отсюда казались маленькими игрушечными домиками, на той площадке, где казаки обыкновенно производили учения, виднелась кучка людей. Точно что-то подсказывало мне, что здесь будут наказывать, и я торопливо слез и, припрыгивая, пустился бежать к казармам.

На утрамбованной площадке стояло человек пятьдесят казаков. Они перекидывались остротами и балагурили, видимо дожидаясь чего-то. Тут же лежала большая, перехваченная жгутом вязанка тальнику. Эта вязанка по странной ассоциации напомнила мне почему-то, как я сидел в темном углу в сору и паутине.

Вдали от казармы показались два офицера. У одного из них белела в руках свернутая трубкой бумага, и он на ходу слегка помахивал ею. За ними в ногу шли четыре казака с ружьями на плечах. Между ними я и стоявшие возле казаки увидели то, что придавало особенное значение всей этой обстановке и сегодняшнему дню. Высокая серая фигура в длинной накинутой на плечи шинели производила впечатление больного в халате, как они ходят в госпиталях.

Говор стих. Казаки стали в две шеренги. Урядник, выступив немного, сделал сердитое лицо и скомандовал, резко отчеканивая каждый слог: «Смиррно!»

Подошли офицеры и о чем-то стали говорить между собою. Эти офицеры часто бывали у нас и постоянно шалили со мной, но теперь они, серьезные и сосредоточенные, не замечали меня, и мне было неловко и стыдно, что они не обращают на меня никакого внимания, и я стоял надутый и обиженный. Один из них развернул бумагу и стал читать, но я ничего не понимал.

Человек в накинутой шинели стоял молча, не двигаясь, с осунувшимся, слегка прищуренным лицом, неопределенно глядя куда-то в поле, как будто все, что происходило кругом, его не касалось. И он мне казался больным и занятым только своей болью.

— Ну, сымай,— проговорил, подходя к нему, урядник.

И тот медленно спустил с плеч шинель, стал снимать мундир и вдруг, обернувшись к офицеру, проговорил дрогнувшим голосом:

— Вашскблагородие, помилуйте!..

— Пускай тебя бог милует. Ну, выходи, которые? — повернулся офицер к казакам.

Но казаки неподвижно стояли, упорно глядя перед собой.

— Ну ты... ты,— говорил он, показывая на одного, на другого.

— Вашскблагородие, ослобоните.

— Ну, ты.

Казаки не трогались. Офицер проговорил что-то сердито и повысил голос. Несколько человек, расстраивая ряды, вышли вперед.

— Суды становись. Ложись, што ли, не невеста,— говорил урядник, распоряжаясь и указывая, куда надо лечь.

Наказываемый повозился руками у пояса, распустил его; я отвернулся в сторону. Когда я снова посмотрел, между ногами казаков белело тело распростертого на земле человека.

Я не ощущал жалости или чувства боли за наказываемого, но мне странно было это положение, обстановка: большой, взрослый человек лежал на животе лицом вниз, и из-за отвернутой на спину рубашки, спущенных к самым коленам штанов всем было видно голое тело, и никому не было стыдно, или, как мне казалось, все делали вид, что им не стыдно глядеть на голого человека. Два казака торопливо развязывали вязанку красного тальнику, раскладывая его по два пучка и стараясь, чтоб в обеих кучках было поровну, а два здоровенных других казака в поношенных порыжелых мундирах примащивались на ногах и на плечах наказываемого, как будто они собирались починять седло или тачать сапоги, и старались только, чтобы поудобнее усесться.

Что-то странное пробежало по рядам и лицам казаков, из той кучки, что стояла отдельно, донесся крик: «Ой, батюшки!..» Я придвинулся. Распростертый на земле человек ворочался и судорожно дергался, и злоба и ожесточение были на лицах с напряжением удерживавших его казаков.

Красный пучок тальнику мелькал в воздухе, раздавался крик лежавшего, кто-то отсчитывал удары, на секунду наступало молчание, и опять мелькал красный тальник, и вскрикивал наказываемый, и чей-то голос аккуратно выговаривал число, и все это шло ровно и, казалось, в том именно порядке, как это было нужно в таких случаях. И мне начинало казаться, что *ему* совсем не больно и он кричит только потому, что вообще в таких случаях нужно кричать.

— Тридцать четыре.

— Ба-атюшки!..

— Тридцать пять.

— Ой!..

Возле обеих вязанок стояло по казаку, они нагибались, подбирали по пучку, аккуратно равняя концы, и дожидались с выражением готовности на лицах сейчас же подать их, как только те, которыми секли, совсем измочаливались и крошились.

На пятидесятом ударе офицер крикнул:

— Стой, передышку дать.

Оба секшие казака осторожно, чтобы не сделать резкого движения в виду начальства, положили свои истрепавшиеся розги и стали к сторонке, вытянув руки по швам. Два казака, сидевшие на плечах и на ногах наказываемого, поднялись, переступая и оправляясь, и выражение напряженности и озлобленности сейчас же пропало с их лиц. Полковой фельдшер подошел к наказываемому и дал понюхать спирту и потер виски.

Лицо у него было мокрое от слез и жалкое. И когда я глянул и увидел, как у этого большого бородатого человека вздрагивал от всхлипываний подбородок и подергивались, как у ребенка, губы, что-то больно кольнуло меня. Я совершенно незаметно для себя придвинулся к нему самому и, вытянув шею, не сводил глаз с его судорожно-искривленного лица. А он всхлипывал, не обращая никакого внимания, и делал судорожные глотательные движения.

Фельдшер побрызгал на него чем-то, дал ему еще несколько раз понюхать, потер виски, потом его опять положили, казаки снова уселись на плечи и на ноги, и выражение ожесточенности и напряжения сейчас же появилось на их лицах, как только он заворочался под ними, и опять два казака с обеих сторон стали сечь его

пучками красного тальнику и урядник стал считать, а наказываемый с первого же удара стал кричать:

— Ой, ба-атюшки... отцы родные... пожалейте... братцы!..

Потом крик его перешел в звериный рев, который вырвался, очевидно, от нестерпимых физических страданий и без всякой уже мысли о впечатлении, какое он производит на всех. И опять необыкновенно дико было, что все стоят кругом не двигаясь, как будто это так и надо было.

И мне стало отчего-то трудно дышать, и начало сжиматься горло, а к глазам подступало что-то необыкновенно едкое и злое, и я щипал себе пальцы и надувался, чтобы освободиться от давившего меня ощущения.

Казаки с побледневшими лицами неподвижно и упорно, не будучи в состоянии оторваться, глядели на *него*. Концы лоз, со свистом перегибаясь через тело, хватали до земли, и она вся была иссечена и взрыхлена.

— О господи!..

Казалось, этому не будет конца...

— Сто! — раздалось среди томительного напряжения, и все зашевелились.

Его подняли. Голова свислась; с смертельно-бледного лица, из-под полуопущенных век тускло глядели потухшие глаза с расширенными зрачками; колени подогнулись, он пошатнулся; казаки поддержали его, и фельдшер засуетился около.

Офицеры ушли. Увели и наказанного. Казаки стали расходиться.

— Портки-то целы остались, снял, а то бы задарма иссекли.

— Как Филюгин вдарит, он не дюже кричит, а как Фанагенов — так аж казаков подымает: ба-атюшки.

— Вдарит, да потя-анет — самое больно.

— Дурак!.. Посулил бы, и шабаш.

— Пойдем, угости: до тебя очередь дойдет, вызовусь, запорю.

Казаки засмеялись. Они балагурили и говорили между собою просто, обыкновенно, как всегда, а передо мною все неотступно стояло что-то, что я никак не мог припомнить, что-то такое, что не должно было сделать-

ся и уже сделалось, или кто-то должен был сказать что-то, да не сказал, и я не знал, кто это, не то наказанный должен был убежать в Австрию и его не должны были поймать, а его поймали, и, томимый этим неопределенным и тоскливым ощущением, я пошел домой, растерянно озираясь по сторонам на прохожих, на лошадей, которых вели на водопой казаки. Я вспомнил сегодняшнее утро и настроение, и, боже мой, каким далеким оно мне показалось, как будто прошло уже несколько лет.

Дома я пробрался в детскую. Бонна шила. Мне хотелось о чем-то расспросить ее, о чем-то важном и большом, но я не умел формулировать мне самому неясные вопросы; я постоял около бонны, послушал, как гремит машина; когда бонна начинает вертеть ручку, челнок бегает и щелкает под доской, а игла ходит вверх и вниз так быстро, что глазом не уследишь, и все-таки не сбивается, и когда она перестала вертеть, передвигая дальше шитье, я чуть было не спросил ее про казака, да вспомнил, что она будет браниться, что я туда без позволения бегал, промолчал и пошел в зал, потом в столовую и как-то нечаянно очутился в кухне.

Нефед мыл тарелки.

— Нефед, за что *его* секли?

Я хотел спросить о чем-то совершенно другом, совсем не об этом.

— Да, а то как же, присяге изменил, свой полк, стало быть, опорочил, царю, отечеству верой-правдой не выслужил.

— Нефед, а ему больно было?

— А то не больно.

— Он кричал.

— Закричишь.

Я замолчал. Нефед все гремел тарелками в тазу, расплескивая и взмучивая воду.

Я опять отправился в зал, залез с ногами на диван, посидел там немного, потом слез и пошел к матери, в спальню. Она работала, сосредоточенно думая о чем-то.

— Мама, а сегодня адъютант рассказывал, что казак убежал, а его поймали.

Мать, занятая работой, не слушала меня. Иссеченная земля, обнаженное тело, всхлипывавшее, мокрое, как у ребенка, бородатое лицо взрослого человека, вы-

ражение суровости на лицах офицеров, не замечавших меня, неподвижно стоявшие шеренгой казаки — все это болезненно ярко, торопливо меняясь, вставало перед глазами, не давая покою.

Я посидел еще немного.

— Мама, а *он* голый был.

— Кто там голый? Чего это ты говоришь?

Она с недоумением посмотрела на меня. Я покраснел и замялся.

— Это мне Нефед рассказывал, а он, верно, *там* был... ему, верно, рассказали в казармах, там мно-ого казаков было.

— Да ты это где же был?

Мать с тревогой и пытливо поглядела мне в глаза.

— Я... я, мама, пошел, а доктор был... а доктора не было, я опять пошел, потом пришел... и... и...

Я до того покраснел, что на глазах выступили слезы.

— Фу, боже мой, что же это за несносный, отвратительный мальчишка. Да как же ты смел!.. Это ты опять в казармы бегал?

Я боялся досказать правду, и в то же время хотелось, чтоб само собой скорей как-нибудь обнаружилось и меня бы простили.

Мать велела мне идти в детскую и сама пошла за мной.

— Mademoiselle Софи, он опять бегал в казармы.

M-lle сделала знакомое мне лицо, полуудивленно, полувопросительно подняв брови, которое как бы говорило: «Да неужели, неужели же он опять провинился, этот неисправимый мальчик»,— но сквозь выражение которого я читал тревогу, не виновата ли она сама, и как бы m-me не осталась ею недовольной.

Самый страшный момент,— это когда мать рассердится и начнет бранить и ждешь наказания,— прошел. Меня заставили во искупление своей вины сверх обычных уроков написать еще три страницы, выучить стихотворение и две молитвы. В другое время я бы отбивался и протестовал, теперь же молча покорился. Началась обыкновенная, приевшаяся уже история: бонна сейчас же, как только вышла мать, начала бурчать, что я буду землю пахать, буду простым казаком и уже добром не кончу.

— Верую во единого бога отца... верую во единого... верую во единого бога... бога отца... верую во единого бога отца...— однозвучным детским голосом твердил я, и картины и впечатления сегодняшнего дня все носились сквозь медленно укладывавшиеся в памяти слова молитвы.

РАНЕНЫЕ

Раненые шли в одиночку и кучками, поддерживая друг друга, и повязки белели на головах, на руках, на ногах. Тех, что не могли идти, и тяжелых везли на фурах, подвозили автомобили.

Я вошел внутрь помещения. Это был большой светлый чистый барак, построенный австрийцами, которых от станции оттеснили. Вдоль стен и посредине рядами стояли нары, а на них и возле них раненые в разных положениях.

Из середины пола подымался огромный в несколько обхватов ствол векового дерева и сквозь прорезанные потолок и крышу выходил на вольный свет, раскинув над всем бараком могучие ветви,— жалко австрийцам было рубить, и они оставили расти.

Стоял терпкий запах крови, человеческого дыхания, пота, долго не сменяемого белья.

В перевязочной уже работали в белых халатах.

Доктор-студент, которого мы разбудили вчера ночью, умытый и свежий, с молодым лицом и красными губами, нагнувшись копался в раздробленном кровавом плече полуголого человека, лежавшего на покрытом кровавой простыней столе. Раненый моляще переводил глаза, всматриваясь.

— О-о-х... моченьки моей... моченьки нету...

Сестра, хрупкая и тоненькая, вся белая, с прозрачным лицом нестеровской Христовой невесты стояла у стола с материалом и бесстрастно подавала бинт, марлю, вату, которые коротко, отрывисто, не оборачиваясь, просил доктор.

Другая сестра, такая же белая, такая же бледная и хрупкая, с круглым личиком, только в глазах задорные огоньки, помогала доктору перевязывать, обмывала раны.

У другого стола работал наш отряд: женщина-врач с выразительно тонким польским лицом и лучистыми глазами, которым было мучительно больно при всяком движении, стоне раненого, а тонкие пальцы умело и твердо делали свое дело.

Студентка-медичка с черными, всегда смеющимися, а теперь строгими глазами и сестра в апостольнике помогали. У обеих были близкие люди на позициях — где? они не знали и, словно зажав сердце, подавив всегда готовый стон боли и отчаяния, нежно, едва касаясь, уговаривая ласковыми словами, стараясь причинить возможно меньше боли, перевязывали — быть может, дорогие им люди как раз нуждались в этой ласке, и в этой заботе, и в этой нежности.

Два санитара без устали вносили раненых, клали их на нары, потом между нарами.

Сдержанно стонали, вздыхали, а легко раненные в руки, в пальцы, в ноги ходили между нарами.

— Ребята, сегодня ели что-нибудь?

— Третий день ничего не ели, во как ослабли, все время пролежал, где был ранен — австрияк, дуй его горой, не дает подбирать раненых. Только санитары покажутся, он зараз пулеметами. Так они, голубчики, до нас ползком добирались, так по́ земе и волокут — нельзя подняться, зараз свалит. Меня ночью подобрали. Сам себе перевязку сделал, а как вынесли, на позиции дохтур перевязал. Слава те господи, хочь до своих добрались.

Я вышел и пошел к «питательному» вагону в. кн. Ксении Александровны, прекрасно оборудованному — кипятильники, котлы, ледник и огромный запас провизии. Вагон еще не отвороляи, начинает функционировать с семи часов.

Солнце чуть показалось над леском; над ним таяли шаровидные легкие дымки. Орудия вперебивку, догоняя, покрывая друг друга, то дальние, то близкие, то легкие, то тяжелые, сотрясающие всю землю, громыхали. Опять начал свою работу железный паук с заиканием, от которого стыло сердце; и снова все налито: и деревья, и вагоны, и длинные утренние тени — напряженным ожиданием: еще не кончилось.

Вернулся в барак.

— Санитар, санитар!..— неслось со всех сторон,—

меня за крест на рукаве и на фуражке звали то санитаром, то доктором, то просто благородием.

— Испить!..

— Подыми мне ногу, никак ее не прилажу. Ой-ой, больно...

Я бегал от одной нары к другой, давая пить, поправляя, водя в уборную, крепко охватив за шею. Те, что могли передвигаться, прыгали, как зайцы, на одной ноге, ползали на коленях или перекатывались, задирая больные ноги.

Два санитара с потными липкими лицами от времени до времени вносили с прибывающих телег новых раненых, которых успели подобрать на позиции за ночь.

Возле телег стояли русины в длинных белых домотканых рубахах с длинными красными галстуками, перехваченные поясами, в шляпах, бабы в обвязанных вокруг головы цветных платках и жалостливо, пригорюнившись, смотрели.

— Господи Исусе, и когда воно кончится!

Молодая русинка обходила телеги с длинным узким кувшином и внимательно поила раненых. Бабы высматривали своих среди раненых пленных австрийцев.

В семь открыли вагон. Я набрал целую кучу жестяных чайников и, гремя, пошел за кипятком. В вагоне клокотали два котла с чаем, от них несло зноем, а на табуретке, расставив по полу ноги в начищенных сапогах, добродушно сидел человек в черной рубахе с круглым животом, круглым лицом и круглыми глазами.

— Чайку, папаша? Ну-ну, нацеди, нацеди.

Он всех называл папашей, дядей, генералом.

Отнес кипяток в барак, и отовсюду неслось:

— Мне чайку.

— Кружечку.

— Дозвольте хочь горло промочить.

Круглый человек выдал на каждых трех раненых по куску сахару. Я достал из своего вагона несколько пакетов сахару для раздачи по два куска на человека. Стал распечатывать пакет, выпала записка. Раненый поднял и спрятал под шапку.

— Яке-то письмецо, ваше благородие, прочтите.

Я развернул серую бумажку и прочел громко:

— «Киевской губернии Звенигородского уезду Виноградской волости села Павловки. Собрались один па-

рень и шесть девочек и говорят: Карпуша, поведи нас щедрувать, а то уж поздно, мы боимся. Карпуша берет шесть девочек и пошли щедрувать. Вищедрували они 63 к. и потом советувают, что мы за них купим. А Карпуша говорить: купим сахару та пошлем своим воинам, которые за нас так прескорбно страдают. А девочки его питають: сколько ж буде фунтов сахару? А он им говорить: доложим еще 17 к. та купим 5 фунт[ов] сахару. И так они порешили и купили 5 ф[унтов] сахару и принесли в попечительство. Попечительство приняло, и посылаем вместе все и просим, кто бы ни получил, уведомить Карпушу Гарачуку».

Раненые слушали, даже тяжелые перестали стонать. Лица посветлели.

— Спасибо им, не забывают нас тут.

Я не успевал наливать чай в жестяные кружки, разрываясь на все стороны.

— Санитар, мне чаю.

— Санитар, отведи до места.

— Поправь меня, санитар, бо не можу лежать.

— Сейчас, сейчас!..

— Да сейчас, а сам ни с места.

Пот лил с меня в три ручья. Кто-то тонким детским голосом тянул тонко и жалобно:

— Сестрица-а!.. Сестрица-а!..

Я бросился в тот угол, наклонился — на меня, не видя, смотрели молочно-мутные глаза, а сосед отмахнул рукой.

— Не в себе.

Должно быть, солнце высоко поднялось — в приподнятые окна струился зной, душно.

В перевязочной так же белеют халаты, так же методически перевязывают полуголых окровавленных людей, так же бесстрастно бледные сестры подают марлю, бинты, вату, так же нежно наклоняется выразительно тонкое лицо женщины-врача, и так же заботливо уговаривают фельдшерица и сестра стонущих раненых.

— Санитар!.. санитар!.. санитар!..— со всех сторон.

Я не знаю, который час,— некогда полезть за часами.

Торопливо приношу кружки с чаем, вытаскивая на ходу сахар из набитых карманов. На полу на коленях стоит раненый, положив руки на нары, а на руки голову, стоит неподвижно.

Я бросаюсь к нему.

— Что с тобой?

Ничего, просто ранен в поясницу, не может лежать.

— Санитар!.. санитар!..

Меня манит с простым круглым оземлившимся лицом парень; лежит на спине.

Наклоняюсь. Он смотрит внимательно, шевелит пересохшими губами, потом говорит, переводя дух:

— Ваше благородие, дозвольте мне... в Полтавскую... губернию... у нашем городе... гошпиталь... хорошо лечат... в наши места... мать велит ехать... старая... говорит, землю отпишу тебе, мне то есть, землю...

— Голубчик, во Львове вас распределять будут, кого куда, там просись.

— Главное, землю... отпишет на меня... Чайку, ваше благородие, кружечку.

— Ты пил?

— Пил.

— Ну, милый: рана в живот, надо поголодать.

— Слушаю, ваше благородие. Запеклось дюже...— Он смотрит на меня покорными глазами.

Два усталых солдата вводят, крепко держа за руки, третьего, с затравленными бегающими глазами. Он рванулся, на него навалились, посадили на нары. Он покорно и так же испуганно бегает глазами, в которых нет света, и тяжело дышит.

Вызвали доктора. Доктор погладил его по голове.

— Что, голубчик, болит у тебя что-нибудь?

Больной стал дрожать, как лист, и задышал торопливо и быстро.

— Ваше благородие, прикажите германам отпустить меня. Я только из окопа выглянул, а они меня ухватили и поволокли. Прикажите отпустить из плену к своим, я желаю биться.

— Ну, ну, успокойся, успокойся. Чаю хочешь?

— Никак нет, они, германы, зараз насыпали туда, нельзя пить.

— Ну, хорошо, полежи, успокойся, а я тебе своего, настоящего чаю привезу.

— Покорно благодарим.

Он лег, прикорнул. Да вдруг вскочил и с пронзительным криком бросился бежать к дверям.

— Ребятушки, спасайте, германы берут...

«ДВЕ СМЕРТИ»

«РАНЕНЫЕ»

Солдаты кинулись за ним. Доктор приказал держать и впрыснул морфию.

Приготовили обед в вагоне. Санитар принес горячие мясные щи в чане. Я стал разливать по мискам и с ковригой хлеба разносить.

— Что ж ты мне суешь, коли я не вижу,— говорил пожилой казак с завязанными глазами.

Я сел и стал кормить из рук.

— Выведи меня.

Я вывел наружу.

— Это что же печка, что ли, печет в шею?

— Солнце. Жарко.

— А-а... без глаз остался... солнушко родимое!..

Он постоял, вздохнул, и я отвел его назад.

Я без конца таскаю миску. В голове шумит от духоты, хотя зной уже не льется в окна — должно быть, солнце перевалило к вечеру.

В сумерки, когда дальние нары стали смутными, врачебный персонал минут на двадцать оторвался пообедать.

И опять в перевязочной белеют халаты и, наклоняясь, работают над ранеными и врачи и сестры.

Мигают несколько обрезков свечей, и по серым шинелям, по серым лицам, поднятым коленям сумрачно снуют тени, все шевеля и сгущаясь в черноту за краснова-тым кругом.

Уж все поели горячего, но надо без устали разносить кипяток,— пересохшие губы жадно просили пить.

Раненые, которые могли передвигаться, собирались кучками на нарах, и шли рассказы о бое. Ни у одного не было общего представления того дела, в котором они участвовали. Каждый видел только тот кусочек, что был перед глазами — неприятельский окоп, заграждение, яму.

— Я бежу, а они из пулеметов чисто подметают. Добежали до заграждений, трое нас — я и два товарища — перерезали проволоку всю, тут меня черк! Упал и пополз назад, а энти двое на проволоке так и остались.

Это «на проволоке остались», очевидно, преследует его, и он раз двадцать рассказывает всякому, кто около.

— А мы это пошли в атаку вброд, а австрияки и пусти воду. Гать у них есть, так они копят воду, а как мы

в атаку, они и спущают, много наших смыло, покеда его выбили с того берега.

— Санита-ар!

Я иду.

— Посади меня... ой-ей-ей... тяни за голову, за голову тяни меня, как собаку! — раздраженно кричит он.

Он контужен в спину и должен лежать и двигаться вытянувшись как палка. Я хватаю за голову и тяну.

Вносят немца с разорванным шрапнелью животом. Он все время отбивается и выкрикивает, должно быть ругательства и проклятья по-немецки.

Его кладут на нары. Я приношу сахару, хлеба, чаю. Он швыряет сахар и хлеб на пол, кружку разливает и продолжает проклинать, брызжа слюной и временами тяжело стоная.

— Я бы такого приколол...— говорит возле раненый, с трудом поворачивая голову и блестя глазами,— к нему с добром, а он с...

Немец стонет, закрыв глаза. Губы у него прилипли к липким деснам. Я зову сестру. Она подходит с смертельно-бледным от усталости лицом, смотрит на измученного, ругающегося, с ввалившимися глазами немца, садится возле него и начинает гладить его по голове нежно, нежно, как ребенка.

Немец вздрагивает, точно его кусает змея, а сестра гладит ласково. Она не знает немецкого языка и начинает говорить ему ласково и нежно — какие-то обрывки, где-то когда-то слышанные:

— O mein lieber... o mein Gott... o mein lieber Gott... o mein lieber Augustin... mein lieber Augustin...

Немец изумленно слушает, смотрит, потом схватывает ее руку, прижимает к груди и начинает говорить быстро, страстно говорить по-немецки. А она гладит и повторяет нежно:

— Mein lieber Augustin... mein lieber Augustin...

Немец продолжает так же страстно рассказывать ей, непонимающей, не отрывая от нее воспаленных глаз, на минуту смолкает, и по его бородатому лицу медленно ползет слеза. У сестры дрожат губы. Он ее уже не отпускает.

Когда стал умирать, костенеющей рукой достал портабак, подарил сестре. Челюсть отвалилась, глаза остановились.

— Санитар!..
— Санит-ар!..
— Подыми меня...
— Кипяточку дай...
— О людэ, людэ!..
— Погиб народ...

Я стал качаться. Раза два стукнулся о притолоку. Огарки догорают и, дымя, гаснут. Ночь глухая и черная все больше наползает в барак. Тогда я начинаю слышать то, что днем за дневной суетой и за дневным светом не слышал — как стонут. Стонут на разные лады — хрипло и коротко, или тонко по-детски, жалобно, или вздыхает человек тяжко и одиноко.

Странно, я когда-то жил в Москве... Мясницкая, Лубянка, Кремль... Все это не то в детстве, не то снилось. А тут в черноте белеют халаты врачей и сестер, и стоят стоны, и меня зовут:

— Санитар!..
— Что, голубчик?
— Ваше благородие, похлопочите, мать обещала землю на меня отписать... поехать к ней... сделайте ми...

В горле у него начинает клокотать. Я думаю, что рвота, боюсь, что задушит его, если ее не вывести из горла. Я переваливаю его на бок, наклоняю голову, но в горле у него по-прежнему клокочет, а сосед раненый машет рукой.

— Не тревожь.

Я кладу опять на спину. Он затихает, глаза останавливаются, рот чернеет, лоб, как лед, пульса нет, а руки скрючены, как у утопленника. Так он лежит, касаясь холодным локтем живого.

— Санитар!..
— Что ж ты не идешь...
— Испить.

Нет, рассвета уж не будет. И все белеют белые халаты в перевязочной.

. . . . . .

Ясное утро. Как и вчера, погромыхивают орудия, но того напряжения торжественного ожидания, что было разлито кругом, теперь нет.

Пришел поезд с врачами, с сестрами, с санитарами забирать раненых.

Мы опять трясемся в своем пропахшем капустой вагоне. Все спят в самых неудобных позах с зелеными полумертвыми лицами. Неодолимый сон клонит и смыкает веки, я едва борюсь и прислушиваюсь к орудийным выстрелам, которые отходят назад, слабея.

Одно вижу: там, в Москве, все это, все, что прошло тут перед глазами, все — старо, уже от него устали; душа, сердце, ум, нервы измызгались на одном и том же, здесь это — ново, как в первую минуту, ново новизной смерти, которая глядит в глаза.

НЕНАВИСТЬ

Москва живет болезненно-чуткой напряженностью. Как будто ободрали с нее всю кожу, и малейшая рябь мировых событий хлещет в открытые нервы.

Неизбежно это, необходимо, но... устаешь. И я был очень рад, когда наш прокуренный, заплеванный, черный — свечей нет — вагон остановился и я вылез в кромешную тьму самой непролазной провинции.

Вдали дымит туманом одинокий фонарь.

Где станция, куда идти, никто ничего не знает. Из вагонов вываливаются черной гущей люди и в гомоне и давке текут вдоль вагонов то навстречу друг другу, громоздясь в заторы, полные крика, воплей, брани, то в одном направлении.

Для удобства под ногами навалены шпалы, камни, доски.

Баба кричит как резаная:

— Рабеночка уронила!.. Рабеночка раздавите, анахвемы!..

И среди этой черно ворочающейся каши зловеще жуткий молодой голос:

— Которые контуженные прожектором, суды!

— Слепые, что ль?

Я выбираюсь из неразберихи по откосу.

В слабом освещении у станции две лошадиные морды в оглоблях. Но на пролетках уже куча ребятишек, больше извозчиков нет; хлопочут женщины. До города версты две. Куда идти, решительно не знаю.

В мутной полосе из окна, тускло ложащейся по жидкой грязи, стоит высокий старик в шинели; в руках белеет чемодан.

Я вхожу в полосу, и он, оглядев меня выспрашивающе, говорит:

— Пойдем до города вместе, а то темь, кругом овраги.

— Отлично, только вы идите вперед, я за вами — я близорук.

Он разом становится сторожким:

— Почему же я?! Иди ты вперед — у меня тоже глаза плохие... Он у меня, чемодан-то,— пустой. Вот,— он подымает его легко.

— Да я дороги не знаю, я в первый раз... заведу вас.

Я ужасно рад, что не взял с собою ни чемодана, ни портпледа. Вскидываю за спину свой горный мешок с переменой белья да с письменными принадлежностями и шагаю, разбрызгивая грязь, за мутным, едва уловимым пятном старикова чемодана.

Кромешная ночь идет с нами, молчаливая и пустая.

А старик все спешит, стараясь подальше от меня держаться. Вдруг мутное пятно исчезает. Я останавливаюсь. Куда же теперь!

У самых моих ног из-под земли голос:

— Стой, товарищ, ни шагу — я в яме сижу.

Я щупаю ногой край обрыва. Потом ложусь грудью на него:

— Давай руку, товарищ.

Старик вылезает. Теперь мы дружелюбно идем след в след.

Осторожно разговариваем, придерживая язык, чтоб не прикусить, оступившись.

— Знаете, мне уж шесть десятков, а я добровольцем служу. Старей меня в армии нет. А почему? Потому, что черное пятно души моей не дает мне покою. Я у них под Симбирском в плену был; я да еще восемь человек. Ну, энтим восьмерым велели лечь лицом к земле, а руки на спине накрест. Легли они лицом к земле, а руки выпростали на спину. Подошли восемь беляков, винтовками в затылок — рраз! — только вздрогнули.

Спрашивают меня:

— Чем был?

— В железнодорожном батальоне.

— Подрывное дело знаешь?

— Знаю.

— Ну, отставьте его к сторонке. Ежели вздумаешь бежать, ремни из тебя будем резать.

Стою. А тут наши как раз шрапнель пустили, так и осыпали кругом. Начальник ихний упал. Все бросились к нему, а я за дерево встал, перебежал за другое и побежал лесом. Стали стрелять... ушел. Ну, я что? — ничего, я ничего — они с нами так, и мы с ними, зуб за зуб, тут обижаться не будешь. А вот чернота... Верите ли, я цыпленка зарезать не могу, никогда во всю жизнь не резал, а их, ну — кишки бы выпустил. Трех провокаторов попов зарезал, в брюхо — рраз! — готов. Мужики доказали: провокаторы. Один и посейчас в деревне, непричинен, ну что ж, оставайся... Я ведь сын крепостных. Вот мамаша рассказывала. Гоняли людей глину месить. Так по кругу гоняют, как лошадей, они ногами и месют. А мамаша тяжелая была старшим братом. Да и опоздай — и опоздала, может, на четверть часа. Зараз бурмистр: «А-а, такая-сякая!..» Выкопали в глине ямку для живота, положили животом в ямку и стали пороть.

Он остановился.

— А?.. Ямку выкопали! Да я им теперь горлы перегрызаю!.. Там с ямкой и в могилу пойду...

Голос его сорвался. И столько в стоявшей темноте прозвучало ненависти, жутко стало. Казалось, невидимое лицо его дергалось судорогой.

Так вот почему с такой невиданной в мировой истории непреоборимостью ломаются незыблемые тысячелетние, неподвижные устои. Проломалась отдушина, и туда хлынул океан классовой ненависти...

...Дежурный помощник коменданта отвел мне ночлег, и я повалился как убитый.

ФАБРИКА

Иду в штаб.

Было невытравимое ожидание встретить военщину, не военную обстановку, это естественно, а именно военщину. Как бы ни изменились времена, вытравить сложившееся веками невозможно.

Мне приходилось бывать в штабах в Галиции. И с тоской, бывало, вглядываешься в офицерские лица: ведь и у них же бьется сердце человеческое, и ищешь человека, и не находишь — все мертво, задавлено писаной и неписаной субординацией. И дело, разумеется, не во внешних только признаках подчинения, не в эполетах, не в знаках отличия, а в страшном, мертвящем отсутствии человеческого достоинства, снизу доверху. И оттуда — в страшном отсутствии чувства ответственности. И когда я, бывало, входил в блестящий штаб, я будто входил в гробовое помещение, обитое золотом и серебром и переполненное гнилью и мертвечиной.

И как же радостно было теперь, когда я пришел... домой! Это мой дом. Кругом милые лица товарищей. Ни угодливости, ни заискивания, ни высокомерия — свое.

Штаб — это огромная фабрика, где командный состав — искусные инженеры, а товарищи коммунисты — сердце, горячие биения которого отдаются в самых дальних уголках огромной фабрики.

И инженеры, и сердце гонят по фронту пролетарскую кровь, пролетарские дымящиеся мысли, волю, настойчивость — *они спелись, работают дружно.* Саботажники изгоняются и караются нещадно. Наверно, все-таки они есть, но все по-собачьи поджали хвосты и работают не оглядываясь.

Теперь одно можно сказать: партия сумела взять командование в свои руки.

Работу коммунисты несут колоссальную. В данный момент ее даже не учтешь. Они дают Красной Армии газеты, библиотечки, литературу; они агитируют, они охраняют армию от саботажников, от измены.

Днем и ночью, не смыкая глаз, они берегут как зеницу ока рабоче-крестьянскую силу.

Воистину, Коммунистическая партия несет армии жизнь. Без партии здесь воцарилось бы разложение и смерть.

В группах коммунистов, разбросанных по штабам, есть и неровности. Всякая партия включает в себя работников различной партийной напряженности, различной внутренней значительности. Есть закаленные бойцы, есть побледнее.

Это естественно и неизбежно, и нет в этом ничего ни худого, ни опасного.

А вот что худо и опасно: нет внутри партийных групп взаимной связи, внутренней групповой жизни. Тут каждый за себя. Не собираются, не живут партийной жизнью. А когда делаются попытки созвать собрание, приходит еле седьмая часть.

Это уж опасно.

Надо принять во внимание: работы у коммунистов подавляюще много, отдыха никакого; здесь нет ни воскресений, ни праздников, ни перерывов — изо дня в день все та же напряженность.

И все-таки партийная жизнь должна быть. Она всех объединит, подтянет слабеющих, осмыслит всю работу.

Наиболее энергичными товарищами уже делаются в этом направлении усилия.

Великой мукой, великой ценой идет невиданное строительство Красной Армии.

САМОИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА

Чем больше я присматриваюсь к строю и жизни нашей армии, тем радостнее становится на душе.

И не то чтоб не было тут ошибок, промахов, упущений. Есть и ошибки, и промахи, и упущения, и злоупотребления, и иногда в достаточном количестве. Но драгоценна та изумительная гибкость, с которой армия, обернувшись, тут же сама зализывает свои раны, выправляет свои упущения, вытравляет злоупотребления, вытравляет каленым железом.

И не потому, что на это строжайшие распоряжения, приказы и декреты из центра.

Нет, тут не в центре дело, а в том громадном чувстве самоохранения, которое пронизывает армию.

И оттого так быстро очищается всякий гнойник, затягивается всякая рана.

Вот я сижу в комнате политического комиссара и всматриваюсь в тысячи дел, которые обрушиваются сюда, вслушиваюсь в торопливый говор сотен людей, из которых каждый несет свое неотступное.

Прежде в Москве издали мне казалось, что комиссары несут только одну работу — контролируют командный состав.

Ничуть.

Они несут колоссальную повседневную работу, на которой держится вся жизнь армии, ежеминутно, тут же на месте, не канцелярски, не бумагой, а живым распоряжением решая самые разнообразные дела.

Великолепный волжский мост от Симбирска рухнул последним пролетом на левом берегу. Уже когда Симбирск был взят и белые отброшены от Волги, небольшая банда их пробралась и взорвала пролет — губы-то мы умеем распускать.

Инженер долго возился, тянул, а когда дальше тянуть с восстановлением моста стало нельзя, темной ночкой бежал. Отдан приказ об аресте: поймают — расстреляют.

Поручили другому. У этого дело пошло скоро, на днях мост будет готов. Но идут бои, нужны переброски сию же минуту; по Волге идет сало, нельзя перевозить пароходами, нужен временный настил на мосту.

И уже комиссар — инженер; уже он втянулся в механизм мостовых построек, он все время напряженно учится в деле. И инженер говорит:

— Хорошо. Как только понадобится, позвоните по телефону, через три часа настил будет готов.

Он знает, что говорит: или настил будет готов, или надо будет бежать.

Но комиссар не только инженер, он — седельник, когда приходят кавалеристы и начинают толковать о седлах; он — санитар и врач, когда решаются вопросы об устройстве раненых; он — специалист всюду, где требует дело.

И это не с кондачка, не с налету, он напряженно учится все время в деле, а если не одолеет, зовет специалиста. Но не спихивает ему на руки дело, нет, он видит в нем только эксперта, он высосет из него все, что нужно.

Санитарное дело, нужно сознаться, поставлено плохо — ни санитарных поездов, ни оборудования, ни врачей.

Кстати, куда же подевались великолепные поезда земского и городского союзов?

Их с аптеками, с операционными, с сестрами милосердия, с врачами отправляли за... хлебом. Хлеб возили в санитарных поездах. Теперь раненых возить не в чем.

С великими усилиями оборудовали в Симбирске госпитали. Но стояло затишье, и все это оборудование, руководствуясь совершенно неправильной системой, забрали на другие фронты. Симбирск остался голый.

И вдруг грянули бои, жестокие бои. Разом прислали с фронта, и — это было огромным упущением — не предупредив, четыреста раненых.

А для них ни кроватей, ни белья, ни тюфяков, ни места. Хоть на снег клади. Было от чего в отчаяние прийти.

Но в отчаяние не приходили, раненых не бросали в теплушки, не сбыли с рук куда-нибудь в тыл, не написали рапорта: «Выполнить нет возможности, ибо ничего нет» — и формально были бы правы.

Нет, все поставили на ноги, перерыли весь город. Комендант сказал монахиням: «Вы спите на мягких пуховиках; кельи у вас теплые, положите пуховики на пол, а кровати — раненым». Обошли буквально все квартиры и, где нашлись излишки белья, взяли, не обижая жителей. Одеял совершенно нельзя было достать — у всех в обрез. Нашли солдатское сукно, пригласили безработных, нарезали из сукна одеял.

Через четыре часа четыреста раненых, накормленные, перевязанные, обогретые, лежали на кроватях, с тюфяками, подушками, чистым бельем, под теплыми одеялами, а не тряслись по рапорту в теплушках в дальний тыл.

Это — эпизод. Да, эпизод, но из таких эпизодов строится вся жизнь армии.

Велика творящая и самоисцеляющая сила армии. Ибо армия эта оплодотворена великой силой, великой волей, великой действенностью коммуниста — коммуниста как представителя пролетариата.

БОЙ

То там, то здесь, вспыхивая белыми клубочками, стукнули винтовочные выстрелы. Зататакали пулеметы. И, наполняя осенний воздух тяжелым, значительным и угрожающим, стали бухать невидимые орудия. Неприятель перешел в наступление.

Земля холодная, чуть запорошенная снежком. Ходили туманы, и в цепи, когда лежали, было мучительно холодно.

До этого же три недели стояли красные войска на реке Ик.

Позади лежало до Симбирска четыреста с лишним верст, которые они в сентябре — октябре прошли с боем, взяли Мелекес, Бугульму, а потом гнали белогвардейцев, не успевая прийти с ними в соприкосновение: те рвали мосты, полотно, водонапорные башни, а сами в поездах торопливо уезжали по направлению к Уфе.

Но на реке Ик, верстах в семидесяти от Бугульмы, красные войска замедлили движение: надо было подтянуть правый фланг. Армия отдала несколько боевых единиц на другие фронты. Сказалась и усталость непрерывных боевых маршей.

Враг воспользовался передышкой и стал копить кулак. Стянул отборные войска: чешские полки, польский легион, офицерский студенческий отряд в пятьсот человек. И, что очень важно для гибкости движения, много кавалерии — казачьи полки.

Командование было вручено маленькому Макензену, полковнику Каппелю, специалисту по окружению и прорывам. Это он, когда Красная Армия дралась под Казанью, сделал знаменитый стовосьмидесятиверстный обход под Свияжском и стал рвать мосты в тылу нашей армии, грозя ей полным поражением. Но слишком оторвался от своей базы и был отбит.

Девятого ноября Каппель превосходными силами обрушился на наш левый фланг по реке Ик.

Красноармейцы дрались ожесточенно. По восьми раз ходили в атаку. Тыл разом переполнился ранеными. Снарядов неприятель не жалел.

К сожалению, без указаний центра часть боевых единиц перед сражением была передвинута с левого фланга к Белебею, чтобы взять его. Победителей ведь не судят. Обошедшее перед тем все газеты известие, что Белебей взят советскими войсками, было тогда ложно — он взят был позже.

Ослабленный левый фланг стал подаваться.

Неприятель тогда кинул полки на правый фланг и центр — и прорвал. Под густым артиллерийским огнем

делались все усилия, чтоб отступление шло планомерно и не обратилось в бегство.

На реке Ик рухнул мост. Артиллерия неминуемо должна была попасть в руки врагу.

Холодной ночью столпились на берегу, чуть белевшем снежком, артиллеристы, орудия, красноармейцы, зарядные ящики. Неприятель нещадно наседал. Тогда политком и несколько человек из командного состава кинулись в реку; за ними бросились красноармейцы, подхватывая орудия и перетаскивая на руках.

В ледяной воде, судорожно замирая, останавливалось сердце. Глубина была неровная — то не выше колен, а то с головой. Брод некогда было разыскивать. Кто попадал в ледяную глубину, тонул на глазах товарищей. Кто удержался на более мелком месте, с нечеловеческими усилиями, борясь, чтобы не застыть, вытаскивал орудия.

Артиллерия была спасена.

Между тем на левом фланге наступление противника развивалось.

Измученные — не спали по нескольку дней подряд, голодные — кухни отбились, иззябшие от лежания день и ночь в цепи, на застывшей земле, еще в летней одежде,— красноармейцы не выдерживали, и полки стали таять.

Продолжая громить с фронта, неприятель бросил массу конницы в глубокий обход теснимого левого фланга.

Казаки лавиной обрушились на глубокий тыл, врубились в обоз и беспощадно стали рубить безоружных обозников. Они заставляли предварительно раздеваться, чтоб не окровавить и не испортить одежды, забирали сапоги, шинели, куртки, штаны, гимнастерки, а потом шашками разваливали головы.

Произошло что-то неописуемое.

Повозки, двуколки, люди, лошади — все кинулись беспощадным потоком, давя, ломая, сокрушая друг друга и все на пути.

Пронеслись страшные слова: «Обошли!», «Продали!», «Измена!».

Весь левый фланг побежал к Бугульме. Нависла катастрофа страшного разгрома.

На правый фланг и в центр, в дыру прорыва, была двинута 26-я дивизия.

Под страшной угрозой заразиться разливающейся паникой, под напором превосходных сил противника ринулась дивизия на белогвардейцев.

Снова перетащили в ледяной воде артиллерию и дали удивленному врагу жестокий отпор: отняли орудие, несколько пулеметов и погнали. Но чтоб сохранить остатки бегущих полков на левом фланге, чтоб отвести обозы и выровнять фронт, по распоряжению штаба медленно стали отходить, удерживая противника на почтительном расстоянии. И закрепились верстах в двадцати — тридцати от Бугульмы.

Левый наш фланг не существовал — весь был разбит и рассеян. Неприятелю открывался широкий простор, совершенно не защищенный, чтоб ударить на Бугульму, перерезать дорогу и отрезать всю армию от Симбирска.

Он это и сделал.

Он пустил великолепный легион испытанных польских солдат и чехов — отборные полки.

Легионеры и чехи шли железной стеной, полторы тысячи штыков, все кося пулеметным огнем и громя артиллерией, даже тяжелой.

Красноармейское командование двинуло навстречу особый социалистический отряд «ЦИКа», как его здесь зовут. В отряде большое число коммунистов. Он нес всего триста штыков. Предстоящий результат сражения для белогвардейцев был ясен; они приготовили донесение в Уфу о взятии Бугульмы и церемониальном марше на Симбирск.

Насколько во вражьем лагере были уверены в предстоящем полном разгроме Красной Армии и восстановлении фронта по Волге — показывает их радиотелеграмма «в Совдепию, всем, всем, всем».

В этой радиотелеграмме они говорят о поражении, которое нанесли нам, перечисляют разбитые полки, и, надо отдать справедливость, с большой точностью, и говорят о необходимости сложить оружие, так как сопротивление бесполезно.

И вот триста красных штыков, осененных волнующимся социалистическим знаменем, сошлись с полуторатысячью черных от народной крови штыков наймитов.

Закипел бой.

Уверенные в победе, которая, как спелый плод, сама падала в протянутые руки, упоенные катастрофическим разгромом нашего левого фланга, чувствуя громадный численный перевес, легионеры и чехи ринулись на горсть красноармейцев.

Но «ЦИК» ощетинился.

Его пулеметы строчили страшную строчку смерти. Его орудия методически, не спеша, били врага наверняка.

Люди падали с обеих сторон.

Чтобы раздавить эту горсть, легионеры развернулись цепью и пошли в штыки. Со стороны белогвардейцев это невиданная вещь, они сами здесь никогда не шли в штыки и никогда не принимали штыкового удара.

«ЦИК» тоже развернул цепь и тоже пошел в штыки. Сошлись, на секунду скрестившись, блеснули, и полуторатысячная масса отборнейших польских и чешских бойцов отхлынула и побежала.

Их преследовали, били, кололи и гнали.

Сражение не кончилось, а пулеметы и винтовки «ЦИКа» замолчали: израсходованы все патроны и пулеметные ленты.

Легион закрепился в деревне Байряки и стал расстреливать поредевшую горсть социалистического отряда.

Это был критический момент: поляки и чехи готовились, оправившись, снова ринуться и раздавить храбрецов. Предстояло или медленно отходить, отбиваясь только штыками и кроваво устилая поле своими телами, или брать деревню без единого патрона, без единой ленты.

Командиры скомандовали, и «ЦИК», опустив штыки, кинулся развернутой цепью на деревню.

Не дожидаясь, легионеры и чехи кинулись бежать. Они пускали в ход нагайки, вырывая у крестьян подводы, толпами кидались на них и нещадно гнали лошадей, только бы ускакать от страшных, молчащих красных штыков. Десятки возов с мертвецами и сотни с ранеными вскачь неслись из сражения, и все поле и деревня были залиты кровью и забросаны бинтами.

Треть красных храбрецов — восемьдесят раненых и одиннадцать убитых — лежала на кровавом поле.

Неприятель был наголову разбит и бежал так стремительно, что по всему нашему фронту с ним потеряли всякое соприкосновение,— на всей полосе до реки Ик не было врага.

Но наш фронт не продвинули вперед. Чтобы дать передышку и приготовиться, «ЦИКу» отдали приказание оттянуться назад на двадцать верст и таким образом выровнять фронт.

Красноармейцы со слезами покидали деревню — им казалось преступлением отходить с места, где легли товарищи, которое они так блестяще взяли.

Фронт выровнялся, закрепился верстах в двадцати—двадцати пяти от Бугульмы. Стали приводить в порядок полки левой группы. Они понесли огромные потери среди командного состава и политических комиссаров, и те и другие все время шли в первых рядах, беспощадно дрались и гибли. Солдаты, которые во время паники разбежались по деревням, понемногу воротились в свои полки, и части левой группы восстановились.

Производится расследование причины поражения левой группы.

Встречаются красноармейцы:

— Товарищ, дай закурить.

Другой, сбросив мизинцем пепел, благодушно протягивает папиросу.

— Ты, товарищ, какой части?

Тот, наклоняясь и приготовляясь прикурить, роняет:

— Я, товарищ, такого-то полка левой группы...

Первый разом отдергивает руку с папиросой.

— Пшел к черту!.. Еще бегунам всяким прикуривать давать. На-кась пососи... резвой!

И это — отношение всей Красной Армии к беглецам.

— Всю армию запакостили. Скидывай штаны, надевай юбку!

Удар для неприятеля был громовой.

Пленные поляки говорят, что ни разу белогвардейские войска не бежали в таком паническом ужасе, как в этот раз.

Взят был в плен денщик одного из белогвардейских офицеров. Денщику приходилось часто вертеться в офицерском собрании. Он слышал, как офицеры говорили,

что это их наступление — последняя карта, которая или должна все вернуть — или, если будет бита, с ней все рухнет.

Я ехал на фронт с легким жалом не то что недоверия к тому, что постоянно говорится о внутреннем росте, стройности, крепости и дисциплине Красной Армии,— нет; но я в известной пропорции всегда уменьшал размеры и роста, и дисциплины, и внутренней спайки и теперь с радостью убедился, что дисциплина на фронте растет и что мои «размеры» были приуменьшены.

Теперь, когда доверился своему собственному глазу, скажу: да! У русского пролетариата, у русского беднейшего крестьянства есть армия, есть своя собственная армия!

И есть в этой армии сознание, за что она борется, есть пролетарская дисциплина и, главное, есть животворящая сила внутреннего роста, внутреннего живого развития, сила воссоздания разрушенного.

Не количеством поражений, не числом побед измеряется это животворящее начало, а великой силой самоисцеления.

Разбитая, потрясенная на всем своем протяжении, Красная Армия, судорожно изогнувшись, без помощи извне, откусывает больное место и, выпрямившись, загрызает почти до смерти впившегося в болячку врага.

Одно: есть у пролетариата пролетарская армия!

ЛЬВИНЫЙ ВЫВОДОК

— Так идем?

Жутко.

Из Москвы я выехал — было тепло, и я очутился тут в одной шинели. А теперь воет в трубе, на полатях тяжелый морозный ветер. И когда отдирает поповскую железную крышу, похоже, будто ухают отдаленные орудия.

Ребятишки забрались на печку и гомозятся, как цыплята.

Делать нечего. Выходим, садимся в сани.

С наветренной стороны у саней и у ног лошади уже горы снега.

Деревенская улица и все избы курятся белым куревом несущегося снега. Все бело, холодно, неуютно.

Мой спутник — председатель коллектива коммунистов бригады. Я вспоминаю, какое лицо у него было в избе. Совсем молодой, чуть пробиваются усики, круглолицый, волосы в кружок и одутловатая бледность; хоть и крепыш по виду, а нездоровье.

А тут не узнаешь: нахлобучил папаху, втянул голову в шинель, сколько мог, всунул руки в рукава, весь белый, и, всячески изощряясь, сечет его злой ветер.

Но он жадно говорит, и я с трудом улавливаю слова, срываемые несущимся морозом:

— Я из Сормова. Там моя родина, там и работать стал. В паровозных мастерских. Мать у меня, брат был. Я учиться хотел, до чего хотел учиться! Так и стоит перед глазами: учусь. Книжки читал, учебники были, да это все не то. Вот сбил всеми правдами и неправдами шестьдесят рублей, написал в Москву, в университет Шанявского. Да не вытерпел, не дождался ответа, взял да уехал. Приезжаю в Москву, прихожу в университет, а там говорят: «Да мы вам отказ послали — требуется среднее образование. Значит, разминулся с бумагой». Я так и обомлел. Видно, очень изменился в лице. Мне говорят: «Ну, постойте. Посоветуемся». Пошли, долго совещались. Выходят. «Ну, ладно, примем в виде исключения, можете внести пятьдесят рублей». Я и не знал, что можно в рассрочку. Отдал пятьдесят рублей, пошел комнату искать. Нашел. Давайте, говорят, четырнадцать рублей за месяц вперед. А у меня десятка на руках. Иду по улице. Что же это? Счастье было вот в руках, теперь куда же мне?.. А? Вы чего?

А я говорю: «Бу... бу... бу...» — стянутыми губами, да вижу, что не слушаются, рукой махнул.

Кругом только дымящийся снег — ни деревца, ни черточки. Где же дорога?

Лошадь с трудом вытаскивает ноги, и скрипят полозья. Из-за этого снежного дыма могут показаться казаки или чехи. Впрочем, теперь не до них — вот запрятать бы руки поглубже в шинель.

А он говорит, говорит... Спешит излить свежему человеку из другого мира, поделиться, чтоб не теснило грудь накопившееся одиночество.

«И как его губы слушаются!» — думаю я, изо всех сил подавляя незатихающую внутреннюю дрожь.

— ...Ну, ходил, решил. Пошел в Сокольнические мастерские. Говорю: «Так и так, братцы, вот что вышло». А они: «Фу-у! Да оставайся у нас. Мы тебя кормить-поить будем, а ты учись. Учись и учись, товарищ, не думай ни о чем». Ну, бегаю к Шанявскому. Записался на одно отделение, а сам на все хожу, жадность одолела — ну, конечно, зайцем, воровски. А в конце концов бросил Шанявского, стал работать в мастерских. Потом в районе стал работать, в Сокольническом же. Оттуда и в Красную Армию пошел. На военную службу в начале войны меня забраковали по здоровью, а в Красную Армию волей пошел — надо. Брат у меня был строгий, суровый, не сдвинешь, настоящий коммунист. Он разбудил у меня душу. Бывало, где он, там сейчас же организация коммунистов. И уж требовательный был! Вместе в армии были. Вместе в цепи ходили, стреляли. Я только на него и глядел... Убили...

Наконец-то мы въехали в лес. Между деревьями несется, меняя очертания, метель. Отчаянно треплется, как черная струна, кабель полевого телефона, протянутого по качающимся веткам.

Гул стоит.

Я делаю попытку разжать губы и издаю нечленораздельные звуки.

Но он понял меня.

— Как убили-то?.. Под Казанью в цепи шли. Белые засыпают. Залегли. Стали окопики рыть. Молоденький красноармеец не так, плохо роет. Брат взял у него лопатку, стал показывать, а пуля — ему в живот. Все время молчал, два дня мучился, помер. А мне все равно стало: хожу как во сне, ружье таскаю, не стреляю, иду на пули, да и все. Три дня так тянулось. Хотелось бросить ружье и идтить, идтить. Ну, потом пришел в себя. Что ж, думаю, брат бы видал — не похвалил. «Надо дело делать, надо работу работать»,— только, бывало, от него и слышишь. Ну, тут я взял себя в руки, и теперь одно — работа, работа коммуниста, не покладаючи рук...

Потом мы ехали молча. Потом приехали.

Приехали в особый социалистический отряд ЦИКа, или, коротко, приехали в «ЦИК».

Насилу из саней вылезли — примерзли. И долго не могли расправить рук, ног, губ и начать говорить в поповском доме, где поместился штаб.

Комнаты пустые, неуютные. Холодно. А по стенам картины и открытки. Поп сбежал.

На голом столе остывший самовар, кусок хлеба и протоколы коллектива коммунистов: в «ЦИКе» много коммунистов, остальные — сочувствующие.

Председатель коллектива — петроградский рабочий, с неуклюжим, но необыкновенно привлекательным и милым лицом, и секретарь рассказывают нам:

— Бумаги у нас нет. Ну, верите ли, протокола заседания записать не на чем.

А я с товарищем в пол-уха слушаем — нос щекочет запах свинины. Молоденький красноармеец на корточках перед печкой что-то жарит, шипит на сковородке сало.

Мучительно хочется жирного. Недаром самоеды в морозы просто пьют тюлений жир.

— ...Так мы что сделали: забрали церковные книги, выдрали кто там родился, кто замуж вышел, а на чистом свои протоколы пишем. Вот.

Они показывают. На переплете: «Церковная книга», а внутри — протоколы Коммунистической партии.

Мы смеемся.

— У нас тут работа идет вовсю. Мы, коммунисты, держим в руках весь отряд. Вот протокол: двоих исключили из партии. Один выпил самогонки, а другой пожалел, что если коммунист — из Красной Армии уйти нельзя. Сейчас же долой его из партии. Несладко с клеймом ходить.

Жареная свинина возвращает нам способность и слушать и говорить. И я с удивлением вслушиваюсь, с какой восторженностью говорят они о партии, о своем коллективе, о партийной работе. Как будто это не старые, годы положившие на свою работу партийные работники, которых ничем не удивишь, а молоденькие, только что вступившие в партию, которые горячо принимают к сердцу всякую мелочь. А у моего товарища глаза разгорелись, глядя на них.

Так вот в чем сила истинного коммуниста: в неувядаемости, в том, что для него нет будней, все — револю-

ционный праздник, нет партийной усталости. Вот почему коммунисты — совесть в отрядах.

— А знаете,— говорит председатель, ласково улыбаясь всем своим неуклюже-милым лицом, и морщинки побежали от глаз,— просачиваются в ряды коммунистов и прохвосты форменные. Только не выловишь, хитрые.

— А это вот протокол незаконченный,— говорит секретарь.— На половине заседания — вдруг: «В ружье!» Все повскакали, похватали винтовки — и в бой. Я схватил в одну руку винтовку, в другую — церковную книгу, выскочил к обозникам. Взмолился им: «Товарищи, возьмите! Ведь это партийные протоколы наши». А они ругаются: «Куда нам вожжаться с ними! В этакой суматохе пропадет, вы нам голову проедите». Бегал я, бегал — ну, что тут делать? Так и побежал в цепь — в руке винтовка, а под мышкой церковная книга. Так и перебежки делал, и ложился, и стрелял... Ну, как в Москве? Расскажите нам про Москву. Как там? Как настроение?..

Понемногу комната наполняется. Пьем чай. Сахар пованивает керосином, но вкусно. Реквизировали у спекулянта,— должно быть, со зла облил.

Кто сидит на табуретке, кто на ящике, кто на связке старых газет, кто на доске, ребром поставил.

— Одно горе — газеты нам плохо доставляют. За полторы-две недели пришлют два-три номера, и опять жди полмесяца. Опять же рассказов хотелось бы почитать — ни одного!.. И тяжко: почты нету, полевой почты до сих пор нету.

Я всматриваюсь. Любопытный народ!..

Вот командир отряда. И не подумаешь: в шапчонке, в замызганной гимнастерке. Юное матовое лицо. Грек. Совсем молодой. Он с железной волей водит в бой своих железных коммунистов.

А вот сидит, тяжело согнувшись, крупный, плечистый, и очень похоже — из купеческого звания. Молодой, безусое лицо, волосы вьются. В поддевке. Точь-в-точь купеческий сынок. Командир отдельной конной сотни, а эта сотня чудеса делает.

Нахмурил белобрысые брови командир роты. Юное голое лицо — что-то в нем мальчишеское — бронзовое, выдубленное ветрами, морозами, солнцем и дождем, а лоб весь изрыт глубокими, старческими морщинами.

Шея мускулистая, низко открытая, как у матроса, даром что холодно в комнате.

Он водит свою роту, как будто перед ним не неприятель, засыпающий пулями, а заросли кустарника, которые просто надо раздвинуть плечами — и все.

И все они смотрят немножко исподлобья, кряжистые, крепкие и юные.

У этих мертвая хватка: как вцепятся, хоть за ноги тащи — не оторвешь.

Я гляжу на них: львиный выводок, да и всё. Крепкошеие, будто неловкие, а чувствуешь затаенность огромной быстроты движения, поворотливости, волчьей цепкости, и клыки свешиваются.

Сегодня они взволнованы. Жестикулируют, говорят тяжело и страстно, и ложатся на стол бронзовые кулаки.

— Нам отдан был приказ отбить наседавшего неприятеля. Хорошо! Мы вышли. У нас триста штыков, на нас двинулись полторы тысячи отборных чешских и польских солдат. Мы опрокинули и гнали их двадцать верст. А когда вышли все патроны и ленты, молча пошли в штыки, выбили и заняли деревню Байряки. Неприятель бежал, и мы потеряли с ним соприкосновение. Расположились в Байряках. Вдруг приказ: оттянуть отряд на двадцать верст назад, чтобы выровнять фронт. Да пусть по нас равняются, а не мы по ним! Восемьдесят товарищей раненых, одиннадцать убитых. Понимаете, это — наши товарищи, коммунисты! Их головами мы взяли Байряки. И бросать? Что?! Окружение? Мы не боимся окружения!

Командир роты, с бронзовым юным лицом и со старческими морщинами на лбу, говорит сердито, изламывая морщины:

— Под Казанью мы шли цепью на впятеро сильнейшего неприятеля. Нас засыпали. Мы вплотную подошли. Глядь, а неприятель не впереди, а справа густая его колонна и слева колонна. Мы думали — нас окружили. Ну, что ж! Мы сломали свою цепь, правая часть пошла против правой колонны, левая — против левой, и разбили, разогнали, рассеяли. Оказалось, не нас окружили, а мы прорвали неприятельский фронт, разрезали его на две части, а мы этого не знали. А нам толкуют об окружении.

Они в страстном негодовании мечутся, как львята в клетке. Я смотрю, любуюсь ими и думаю: мужественность, не знающая удержу, страстная храбрость и стратегия должны быть в сцеплении, и первая — в подчинении второй. Но к ним и на козе не подъедешь.

А они все рассказывают о своих сражениях.

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

И когда я уезжал, я уносил впечатление как от огромной книги — имя ей «Революция»,— книги, брызжущей борьбой, кровью, слезами, невиданным героизмом, самопожертвованием и наряду с этим — смехом, предательством, фанатизмом.

И этот героический отряд ЦИКа, и эти председатель и секретарь коллектива коммунистов, которые совершают свою партийную работу с величайшей серьезностью и напряженностью и в бой идут прямо с собраний с протоколами под мышкой, и мой молодой товарищ, у которого глаза и лицо загораются при одном слове «коммунист»,— все это только переворачиваемая страница великой книги «Революция»,— страница, края которой озарены ослепительным светом: человеческое счастье.

В ТЕПЛУШКЕ

Надо уезжать, и — странно — не хочется. Что-то завязалось с этими людьми, такими различными по развитию, по характеру, по внутренней значительности, и такими одинаковыми перед этим холодным пустынным гребнем (а за ним — враг), перед пулей и шрапнелью, перед молчаливой могилой, которая, быть может, ждет.

Мне ласково улыбаются, жмут руку — и все потому, что я для них просто свежий человек. Свежий, еще не примелькавшийся человек взял да к ним приехал. Рассказал, что делается на белом свете, побыл с ними, и они рады.

— Ну, что передать от вас красной Москве?

— Скажите там, что дело мы свое крепко делаем, кладем головы. Скажите, что шлем мы им, всем нашим братьям, сердечное, горячее братское спасибо, что помнят об нас, не забывают нас. Если можно, скажите там

кому надо, чтоб прислали нам рассказов почитать,— очень хочется душу отвести, только листовками, такими тоненькими книжечками, а то с большими книгами куда тут, на походе. Да скажите, что партийная работа ладится у нас, ничего идет дело. Работы — необъятная громада, ну, ничего... Не сидим сложа руки.

Пара добрых деревенских маштаков, заиндевевших с той стороны, откуда упорный снежный ветер, уносит меня и старика, который правит и рассказывает свою жизнь.

У него дочь, красивая, ладная. Мужа убили на войне. Ребенок. Жила в своей избе. Корова была. Изба сгорела. Пришла с коровой и ребенком к нему жить. Ну-к что ж, пускай живет.

Красная Армия определила корову на реквизицию, на зарез себе. Вымолили — али сиротам помирать?

У него еще две девчонки, пятнадцати-шестнадцати лет. Все трое пашут. Сдюжают. Только старик налаживает; сам-то пахать немощный, а они не могут наладить — умом легкое сословие, а пахать — пашут не хуже мужиков, ядреные девки.

Много рассказывает старик — вся жизнь старикова встает. А я весь оброс сосульками; ежусь от нижущего меня уфимского ветра, который, сколько глаз охватит, бело дымится поземкой. Много народу от нее пропадает.

Суровый край. Пустынно. И леса стоят черные, сквозные, стоят по обрывам гор с круглыми головами.

В Бугульме — на поезд. Отходит в два часа дня. А мы в нетопленном, задымленном махоркой, переполненном красноармейцами и крестьянами вокзале уныло стукаем, голодные — ничего негде купить,— заколелыми ногами и час, и два, и три.

Бьет пять, семь, девять. В десять нам отводят в длинном чернеющем холодном поезде теплушку — классных вагонов на дороге нет; угнали белогвардейцы, а доставить из-за Волги нельзя было вследствие взрыва симбирского моста.

Теплушка вся побелела от морозов, и пол неровный от смерзшегося навоза.

Приносят и ставят посредине железную печь. Мы покупаем дрова, задвигаем двери и, столпившись в темноте вокруг печки и постукивая и попрыгивая по замерзшему навозу, разжигаем дрова. Красное пятно ту-

скло шевелится на наших ногах. Бьет одиннадцать, а мы все постукиваем да попрыгиваем вокруг печки — дрова сырые, не разгораются.

Бьет двенадцать. Поезд со скрипом, скрежетом и стоном, точно его разнимают по косточкам, потянулся и стал греметь и неимоверно трясти нас в темноте.

А мы все постукиваем да попрыгиваем, жадно приглядываясь к все холодно-тусклому, вздрагивающему отсвету печки.

И слышно, как по другим вагонам постукивают и попрыгивают, вероятно так же жадно присматриваясь в темноте к мертвому, неразгорающемуся отсвету холодных печек.

Зубы стучат от неодолимой внутренней дрожи. Мутно белеет по углам прокаленное морозом железо.

«Ведь не животные же».

Вон помощник командира бригады, молоденький, и перескакивает с ноги на ногу, в такт качая головой.

Вот начальник телефонной связи. Красноармейцы — кто в командировку по санитарному делу, кто по хозяйственной части, кто по приемке снарядов.

Заранее поставили бы печи, прогрели бы, да не сырыми дровами, вычистили бы отмякший навоз и пустили бы нас в теплый сухой вагон.

Да разве саботажников убедишь!

В прыгающей от грохота и тряски темноте с мертвеющими по углам пятнами прокаленного мороза — голос:

— Да ну их к черту! Бери, товарищи, руби!..

Засветили спичку и при неверном, мигающем свете выдернули из нар доску и шашкой стали рубить ее на куски.

Слышен был сквозь гул стук шашек и в других вагонах. В сущности, рубили вагоны и принадлежности к ним, достояние Российской социалистической республики. Но вина падала не на красноармейцев, издрогших, измученных невыносимым холодом и неуютом, а на тех подлых саботажников, которые загоняли людей в скотские вагоны, не обогрев их предварительно, не вычистив.

О чем думал начальник станции Бугульмы?

Комендант?

Начальник передвижения войск?

Меньше всего — о своей обязанности дать людям минимум удобств.

Сухие доски разом и ярко загорелись. В вагоне потеплело. Навоз под ногами размяк, и стало пахнуть конюшней.

С оттаивающего потолка часто капало на голову, на лицо, на руки.

Лица, на секунду выхватываемые из темноты красным колеблющимся отблеском, потеплели и оживились.

В непрерывный гул качающегося вагона влился оживленный говор. И в этом говоре отвратительно и подло резали ухо грязные и мерзкие ругательства. Люди дышали ими, не думая о них. Просто это был способ образно выражать свои мысли.

И отвратительно и жалко.

Кто ж виноват?

Когда вспыхивающее пламя бросало красный отсвет, я всматривался: какие все милые, молодые лица! Ведь не хулиганы же. Ведь не циники же изъеденные, для которых весь свет залит навозной жижей...

Виноваты, кто не заполнил пустоту этих людей, кладущих свою жизнь.

Виноваты, кто не принес им творений искусства. Кто не дает им вовремя и в должном количестве газет.

Кто не дает им художественной литературы, когда так мучительно хочется отвести душу.

Кто не приносит им музыки, пения, кто не дает им возможности письмом отвести душу.

Виноваты все, кто не хочет или не умеет сделать жизнь их разумной, наполненной красотой и творчеством.

Я примостился на нарах, на которых вповалку лежали красноармейцы, сунув под голову вещевые мешки.

Спереди от раскалившейся докрасна печки нестерпимо несло жаром; сзади из сквозивших щелей вагона нестерпимо несло морозным холодом. Я всячески изворачивался, стараясь найти среднее положение, чтобы не так жгло и морозило.

Внизу, вокруг печки,— распаренные лица, скинутые шинели. Семнадцатилетний мальчик в папахе, с остронаглым лицом, пересыпая руганью, рассказывает:

— Надоело служить, вот и уехал. Жалко, леворверт комендант отобрал, а то бы здорово продал на толкуч-

ке... А у нас что было в Ярославле, это как белогвардейцев побили... Стали мы лазить по магазинам. Кто чего успел — в карманы. Ей-богу! На лошадях мы. Двенадцать человек нас. Хотели в банке поживиться, только с лошадей слезли, а нас, голубчиков, и накрыли. Восьмерых тут же расстреляли, а меня да троих комендант взял. Ну, отпорол нагайкой, пустил, щенком обозвал. А я думал — расстреляют...

Он рассказывал о своих приключениях весело и задорно, на каждом шагу пересыпая мерзкой руганью. Ждал одобрительного хохота от сидевшей вокруг раскрасневшейся печки компании.

Красноармейцы, тоже пересыпая руганью, к его удивлению, заговорили:

— Да ты в каком полку служил?

— В казанском.

— Служил?! Мародерничал!

— Такие Красную Армию пакостят!

— Один заведется, а всех конфузит.

— Ему на Горячее поле в Питере или на Хитров рынок в Москве.

— К стенке его! Не гадь!..

— Кидайте его, ребята, из вагона на рельсы!

Мальчишка стушевался...

Гремит вагон, качается. Печка темнеет, и тогда во мраке наливается холод, белеющий по углам.

Дежурные начинают кидать дрова.

Печка больше и больше краснеет. Рождаются тени, снуют и судорожно двигаются по стенам, по лицам.

Но иногда тени лежат неподвижно долго-долго, и не слышно гула и качающегося скрипа и грохота,— это мы стоим на станции. Стоим час, стоим два, три, четыре...

Кто-нибудь отодвинет дверь. В пролет глянет синяя морозная ночь. Искрится снег, звездное небо.

Сердитый голос:

— Затворяй, слышь... Холод!

Дверь, скрежеща, задвинется, поглотив прекрасную синюю ночь, и опять неподвижно изломанные по стенам тени, храп и густой, тяжелый махорочный дым.

— Ну, какого черта мы стоим?!

Морозно проскрипят снаружи шаги — и опять молчание. Тоска.

От Бугульмы до Симбирска триста двадцать пять верст. Поезд в пути между станциями делает верст двадцать пять. Значит, сплошного пробега — тринадцать часов. Кладя на остановки даже по полчаса, что слишком много, получим пять часов на простой. Итого — восемнадцать часов. А мы вот уже вторые сутки едем, и конца-края не видно нашей езде.

На станции стоим шесть часов.

Зачем?

А ни за чем. Так!

— Да что за дьявол! Что мы стоим?..

Молчаливому долготерпению вдруг приходит конец. С руганью подымаются красноармейцы, со скрипом отодвигают дверь, и вываливаются в морозную ночь человек десять, пристегивая на ходу револьверы.

Гурьбой идут к машинисту и приступают:

— Ты чего же, кобелевый сын, так везешь? Этак будешь везть, все стариками сделаемся, покеда доедем. Что вы, шутки, что ли, шутить с нами? Каждый за делом, каждый в командировку едет...

— Я — за снарядами.

— Я — в санитарный отдел.

— Я — в отдел снабжения.

— Ну, вот! И каждому срок дан — кому три дня, кому четыре, много-много неделя, а вы, ишаки, трое суток нас везть будете триста верст! Товарищи, кидайте его, азията, в топку! Становись сами, которые могут, на паровоз! Сами доведем поезд!

— Есть! Я ездил помощником.

— Да вы чего, товарищи, на меня-то наседаете? Мне дадут путевую — еду, а не дадут приказу,— хоть год будем стоять — не поеду. Не от меня зависит. Артельщик тут везет деньги, раздает по станциям, он и задерживает.

Бурным потоком кинулись красноармейцы разыскивать артельщика. В вагонах со скрипом отворялись двери, и выскакивали на мороз красноармейцы. Собралась их внушительная толпа.

Разыскали артельщика. У него в хвосте поезда был прицеплен свой вагон.

Артельщик устроил ужин и чаепитие и изволил кушать с железнодорожниками.

Он нагло заявил:

— Не ваше дело вмешиваться в железнодорожные порядки.

— Ах ты, материн сын! Ребята, выворачивай его наизнанку!

Артельщик стал сдавать и сказал:

— Товарищи, я ни при чем — разгрузка держала.

— Брешешь! Мы все время смотрели, не было разгрузки. Да ежели бы и была, двадцать минут на нее, от силы полчаса, а мы шесть стоим.

— Паровоз воду брал...

— Это на каждой станции брал воду? Обопьешься.

— Опять же дрова паровоз брал...

— Бреши — да умеючи. Это как на каждой станции по три, по шесть часов будет брать дрова, весь состав загрузишь... Да что с ним разговаривать, так и вон как! Ломается, как коза на веревке... Кидай его на рельсы! Отцепляй его вагон, без него поедем!

Толпа стиснула. Артельщик струсил.

— Товарищи, ведь я по долгу службы... По линии три месяца не получали жалованья, вот и развожу.

— А-а, собака! Забрехала... Почему срочные дела Красной Армии должны из-за вас задерживаться? Ведь вот я задержусь на два, на три лишних дня, не привезу пулеметных лент, а там тысячи наших могут погибнуть из-за этой задержки. А ты бы взял паровоз да отдельный вагон и развез, армию не подводил бы. А то ужинать сел, а мы и стоим по шесть часов.

— И какая стерва его родила?!

— Волоки его, ребята!..

Кругом озлобленные красные лица, сверкают глаза.

— Товарищи, не буду задерживать, не буду больше выдавать... Ей-богу, сейчас поедем.

Поезд тронулся и несколько станций действительно шел без задержек. В вагонах, озаренных раскрасневшимися печками, полных всюду сновавших теней, было шумно и весело.

— Ловко!

— Выздоровел!

В Мелекесе часов в десять остановились. Осталось до Симбирска восемьдесят шесть верст. Часов за пять доедем.

— Тут пойдет хорошо, тут нормально ходит,— говорили.

Стоим час, два, три, четыре, пять... Черный неподвижный поезд снова наливается тоской. Все тянется бесконечно застывшая ночь над примолкшей станцией. В вагонах тяжело и безнадежно спят, стоят или понуро сидят вокруг печки.

К коменданту станции идет один из едущих в поезде.

— Товарищ комендант, почему нас здесь так долго держат? Ведь все сплошь едут командированные, которым дорога каждая минута.

«Товарищ» комендант грубо поворачивается спиной, он даже разговаривать не желает.

Тогда обратившийся к нему вынимает и подает мандат от Революционного военного совета армии с очень широкими полномочиями.

Комендант сразу становится бархатным.

— Видите ли, задержка из-за разгрузки.

— Таковой не было, мы видели, и, во всяком случае, не на шесть часов.

— Э-э-э... Видите ли, паровоз брал дрова.

— Шесть часов?

— Э-э-э... мм-м... Кроме того, паровоз воду брал.

— Шесть часов?

— Мм-м... э-э-э... мм... То есть, видите ли, водонапорная башня испортилась...

Ясно: человек изолгался. И так как лгать больше нечего, он пускает нас дальше.

Поезд, хрустя прокаленными морозом рельсами, трогается. И опять облегченно вздыхает вагон. Мреет красная от жара печь, качаются и снуют тени, поминутно меняя лица сидящих.

Ух ты! С души свалилось. Восемьдесят верст. Как-нибудь доберемся.

Четыре часа утра, а в вагоне все та же темень, наполненная махорочным дымом.

Где-то за качающимися стенками винтовочный выстрел, глухой и неблизкий.

Еще выстрел... третий, четвертый... Пачками.

Подымаются головы, и печка озаряет их.

Что это? Чехи? В тыл зашли?

В вагоне, полном мерцающих теней, поползла тревога.

Гудки торопливые, придушенные.

Да что же это, наконец?!

Гудки не нашего паровоза, а где-то впереди.

Разом, с треском наваливаясь друг на друга, остановились вагоны, и водворилось молчание.

С грохотом откатывают примерзшие двери. В пролет глянула все та же синяя безначальная ночь.

Соскакиваем на хрустящий снег.

Впереди бегают с огнями. Наш поезд стоит мрачный, черный, без паровозных фонарей.

Оказывается.

Со станции Мелекес был пущен наш поезд, а со станции Бряндино по тому же пути, нам навстречу, был пущен боевой бронированный поезд.

И среди синей морозной ночи, среди застывших белых лесов неслись навстречу два поезда. Один — черный, без огней, из бесконечного числа товарных вагонов, набитых людьми, лошадьми. Другой — низкий, огромной тяжестью брони вдавил рельсы, и длинные хоботы тяжелых орудий уносились на платформах, прожорливо глядя в мелькающую морозную пыль застывшей ночи.

Так неслись они с грохотом.

А внутри изгибавшегося, как черная змея, на поворотах поезда сидели красно-озаренные люди, грелись около раскаленных печек или тяжело спали на качающихся скрипучих нарах.

Машинист бронированного поезда вдруг заметил черно несущийся на него громадный поезд и стал давать тревожные гудки, напряженно тормозя. Но черный поезд все несся на него в грохоте. Солдаты стали стрелять в воздух пачками.

Уже совсем почти накатившись, наш поезд остановился.

Мы все высыпали на скрипучее белевшее полотно. Два черных чудовища стояли друг против друга. Еще бы несколько секунд — и тяжко придавивший рельсы броневик разбил бы наш поезд, а к синему, морозно-звездному небу поднялась бы целая гора вагонной щепы. И от раскаленных печей запылала бы эта гора с мертвыми, искалеченными и живыми.

С нами возвращали почему-то вагон снарядов. В пожаре он покрыл бы все страшным взрывом.

На волоске были.

Но — странно. Близость этой смертельной опасности

подействовала на красноармейцев совсем иначе, чем бесконечные стояния на станциях. Посыпались шуточки, остроты.

— Эх, Тишка, а важное бы из тебя жаркое вышло! Одного сала натекло бы с пуд.

— А я, братцы, под Ивана подкатился. Ежели бы вагон раздавило, Иван бы целый лежал — сам раздавит кого хошь.

И это понятно: такие катастрофы редки, кричащи, ответственность за них громадная.

А вот страшно, когда изо дня в день подтачивают железнодорожное движение, когда, как черная гангрена, расползаются по железнодорожному организму саботаж, злонамеренный и ненамеренный, медлительность, халатность, постоянное изо дня в день «наплевать на все»,— вот преступление, которому нет имени.

На железной дороге Симбирск — Бугульма было мало вагонов и мало паровозов. И все же железнодорожники, коменданты со злорадством ссылались на это как на причину медленности движения.

Да разве это не должно было служить, наоборот, побудительной причиной всячески усиливать движение, делать его интенсивным, не давать ни одному вагону ни одной минуты лишнего простоя? С этим же самым количеством вагонов и паровозов можно было бы, если добросовестно и напряженно относиться к делу, вдвое больше и вдвое скорее провезти грузы.

Но когда кругом все лгут, поезда, разумеется, стоят на станциях часами без всякой надобности, вагоны используются неинтенсивно. И страдает Красная Армия, и страдает население.

Необходимо с корнем, беспощадно вырвать из тела народного эту железнодорожную гангрену.

То, что проделывается на маленьком клочке Бугульминской железной дороги, встречается во многих местах российской железнодорожной сети.

Борьба должна быть без пощады и милости. Но надо помнить: нет змеи изворотливее железнодорожного саботажника. Как только его прищемят на месте преступления, он сейчас же уползет в тысячи технических оговорок, и никакими зубами его оттуда не вытащить.

Единственное средство — время от времени пускать по участку контролера, но так, чтобы никто его не знал,

начиная от комендантов и начальников станций и кончая низшим железнодорожным персоналом.

Этот контролер должен на месте устанавливать причины простоя поездов, степень добросовестности работы железнодорожников, и уж тут не только малейший саботаж — малейшая халатность должны караться без пощады, вплоть до расстрела.

Иначе железнодорожники искровенят русскую революцию.

Теперь, когда вагон уносит меня к красной Москве, армия снова двинулась в наступление, снова труды и опасности, снова жестокая борьба, и сулит новый день неведомую долю каждому бойцу.

И мне хочется, оглянувшись, сказать: счастливых и радостных вам успехов, товарищи, и ярких побед над темным врагом, побед, которые вольют новые силы в нашу революцию!

ГНИЮЩАЯ ЯЗВА

Я в глубоком тылу. Штаб армии. Врангелевцы верст за сто сорок. Я спокойно раздеваюсь и устало засыпаю. В окно бархатно глядит чудесная южная ночь, пахнущая горячей пылью и запахами, которые медленно наплывают с остывающей степи.

Городок тоже засыпает. Лишь собаки упорно лают, прислушиваясь друг к другу.

Мне казалось, что я на одну минуту завел глаза, а уже кто-то словно выламывает простенок. Сажусь, стараясь дать себе отчет. Да, кто-то торопливо, нервно стучит в окно.

Быстро одеваюсь, выхожу. Двор, жующие лошади, домики с закрытыми ставнями; все смутно, неясно, и надо всем — скупые звезды.

— Берите шинель, оружие, пойдемте сейчас!

Он тоже смутный, неясный, как и все кругом; в кожаной куртке, молодой, и голос незнакомый.

Что за черт!

Торопливо беру шинель, запихиваю в карман револьвер. Все спят. Охватывает знакомое ощущение напряженности и вдруг родившейся опасности.

Раз... два... три!.. Еще раз, вздваиваясь... Орудийные выстрелы...

Э-э, вон оно что!.. Но откуда же, откуда это?! Ведь штаб не имеет права быть ближе шестидесяти верст от линии фронта.

— Сейчас идет бой верстах в двенадцати отсюда. Махно врасплох напал; из всех сил старается прорваться.

Мы торопливо идем по пустынной, но в молчании и тьме чутко тревожной улице.

Бах!.. Ба-ба-х!!

Шаги звонко и одиноко разносятся. Отделяясь от черноты домов, быстро подходит темная фигура; смутно чернеет винтовка на изготовке.

— Стой!!! Пропуск?

Товарищ говорит.

— Ступайте.

Когда пришли, уже все были в сборе. Сверху электрическая лампочка напряженно освещала немного усталые, помятые от бессонной ночи, но живые лица. Слышатся смех, остроты, а в окна: бах!.. ба-ба-бах!..

— Если б ворвался, всех бы перерезал...

— Да уж политотдел-то в первую голову.

Торопливо составляются воззвания к махновцам, к населению, к красноармейцам; тут же набирают, печатают. Засадили и меня писать листовку.

— Некоторые учреждения свертываются на всякий случай.

— Не мешает.

Ба-ба-бах!!

Рассвет медленно-медленно вливается в распахнутые окна, и лампочка теряет свою напряженность, бледнеет. Подвозят раненых. Они возбужденно рассказывают:

— У него орудия, а у нас нету... Он бьет, как хочет. Голыми руками его не возьмешь.

Поднялось солнце. Автомобиль выносит нас из города. В утреннем воздухе орудийные удары все отчетливее.

На позиции видны отступающие махновцы...

Нас встречают возбужденные лица с ввалившимися от усталости блестящими глазами и радостно рассказывают:

— Отбили!.. Ночью работала его артиллерия, у нас ни одного орудия не было, только сейчас подвезли, ког-

да он уже разбит. Из двух деревень мы отошли. Остановились перед этой. Понимаете, дальше нельзя было отходить. Собрали все, что было под руками. Назначили командира. Молодчина оказался. Рассыпал цепь; залег перед деревней. Махно двинул против него в пятнадцать раз больше штыков. Чуть стал брезжить рассвет. Махновцы надвигались, как черная стена. Командир пехоты молодчина: приказал не стрелять. Ближе, ближе. Мурашки поползли. В этих случаях ужасно трудно удержаться от стрельбы, но красноармейцы выдержали — ни одного выстрела не раздалось. И уже когда подошли на пятьдесят шагов — еще минута, и черная стена сомнет горсть,— раздалась команда стрельбы. Вся линия взорвалась сплошь заблестевшими выстрелами, зататакали пулеметы. Смешались махновцы. А тут во фланг им ударила наша конница. Махновцы побежали. Махно бросил семьсот сабель на нашу кавалерию. Красные эскадроны неслись на эту густую тучу коней и людей с революционными песнями. С революционным гимном они кидались в контратаки, и падали с той и этой стороны крепкие люди, а кони как бешеные носились, мотая пустыми стременами.

Уже встало солнце и смотрело на кровавую сечу, на изуродованные тела, валявшиеся по жнивью, на тающие облачка шрапнельных разрывов.

В четвертый раз сошлись бойцы, близко сошлись; кони мордами тянутся друг к другу; махновцы говорят:

— Переходить до нас, у нас свобода...

Подъезжают, узнают друг друга:

— Эй, Петро! Здорово бувал! Чи будешь мене рубать?! Як же то воно!..

— Здорово, Иван! Переходьте вы до нас, мы за правду стоим, за Советскую власть робитников тай крестьян.

Выхватил красный командир шашку:

— Бейте врагов Советской республики!

Ринулись бойцы, все смешалось, только клинки над головами блестели мгновенным блеском, а потом покраснели.

Повернули лошадей махновцы и карьером стали уходить, а поле еще гуще засеялось кровавыми телами.

Красные кавалеристы и пехотинцы взяли в плен шестьсот человек, изрубили двести пятьдесят человек; отняли пять тачанок с пулеметами. У Махно было де-

сять тысяч человек, два орудия, семьдесят тачанок с пулеметами.

Да, бронзовые бойцы, те самые, что тогда в саду слушали рассказы, смотрели «Марата» и «Мстителей» и плакали, слушая, как ждут и мучаются там, в России. Эта бригада чудеса показала. Ведь у махновцев был огромный перевес сил, и дрались махновцы как звери, в полной уверенности в победе, ибо Врангель в это же самое время начал наступление на фронте.

И... разбиты.

— Теперь на Врангеля! — заявляли бойцы, перевязывая раны, приводя в порядок оружие, коней.

Усталости как не бывало. В этих железных людей снова вдохнули дух борьбы, упорства к победе.

А Махно покатился по степи, растаял и исчез.

ЖИВОТВОРЯЩАЯ СИЛА

Нет, надо иногда оглянуться, отодвинувшись: вблизи остро и больно видишь в большинстве неудачи, промахи, не то, что ожидаешь; отдельные кусочки борьбы заслоняют целое.

Зной. Врангелевский фронт, верст шестьдесят от боевой линии. Штаб. Тихая степная жизнь маленького степного голого городка на тинистой речке.

В штабе, в политуправлении армии меня знакомят с положением — плохо: и трения, и промахи, и неумелость, и многое другое.

— Хотите посмотреть конную бригаду?

Едем. За автомобилем бежит горячее курево по степной дороге. Начпоарм, нахмурившись, глядя в даль, дрожащую от зноя, рассказывает:

— Пришлось отвести бригаду. Бегут, как зайцы. Понимаете, ничего не сделаешь, вывести нельзя: только увидят неприятеля — в панике врассыпную. Никуда часть. Пришлось отвести в тыл. А тут вдобавок голые, босые. Надо из этой орды выковывать новую бригаду. Я тут недавно.

Приехали. Глянул: орда. У одного почернелое от загара пузо наружу; у другого и того хуже, и он все поправляет, прикрывая целомудренно обрывки подштанни-

ков. Потрескавшиеся, почернелые, босые ноги. Без шапок. А сядут на лошадей — банда. И у меня щемит: нет, не справятся с ними — таких не переделаешь.

Меня просят почитать им рассказы. «Ну, этим рассказы, как пятая нога собаке»,— думаю.

Собрались в саду; легли вповалку; забрались на деревья, как тетерева, ветки трещат. Стал читать. Но откуда же такая тишина? Блестят сотни и сотни глаз, гипнотизируя. Потом им стали рассказывать о положении в России, о положении на польском фронте, об усилиях мирового буржуа задушить республику и вместе с республикой и их. И опять та же напряженная тишина, внимательный блеск глаз, затаенное дыханье...

...Мы ехали назад. Быстро курился автомобиль.

И я уже думал: «А пожалуй, и этих возьмем!»

Прошло две недели в обработке; пришел экзамен.

В глубоком тылу, где все спало, спало нетревожимым покоем, вдруг выросла грозная и неотвратимая сила: десять тысяч отборных махновцев под командой самого «батьки». Как из земли выросли. Пулеметы, орудия, конница, пехота, множество тачанок, на которых они передвигаются с огромной быстротой; сочувствие кулацкого населения. И в противовес — эта «разложившаяся» бригада. Штаб будет сметен, как солома вихрем.

На заре бешено ринулся Махно, подавляя огромной численностью и уверенностью. Завязался бой. А когда всходило солнце, сожженная степь вся завалена изрубленными; Махно быстро пылил, убегая на тачанках с остатками отряда.

Я опять их видел: босые, простоволосые, голопузые, в рваных подштанниках, а глаза горят. И как же они потом с партийными впереди рубились с врангелевцами!

Маленькая горсточка, крохотная горсточка свежих партийных дрожжей — и колоссальная скрытая энергия вздулась и вылилась через край.

Восточный фронт. Уфимский мороз. Митинг в пустом, побелевшем от инея помещичьем доме. Каменные, замкнутые, чужие, в большинстве татарские лица.

Чуть не поголовно бегут из частей, и повторно, по многу раз.

Выступают товарищи, стараясь пробиться сквозь эту каменную замкнутость. «Вот этих-то уже не прошибешь»,— невольно мелькает в голове при первом взгляде на них.

А как дрались потом эти части!

Репрессии? Да разве же самые страшные репрессии могут что-нибудь сделать с людьми, у которых и искры нет сознания необходимости борьбы, необходимости отдать свою жизнь! Только партийные дрожжи умеют возжечь эту искру, раздуть ее.

И куда ни загляни, в военный ли, в советский ли аппарат, к хозяйственникам, к профессионалистам — всюду одно и то же: будто и криво, и косо, и с промахами, и склочно,— ан глядь — громадно подымается историческая опара на партийных дрожжах.

Взгляни на всю громаду совершенного. И в больших, и в малых событиях увидишь то, что вынесло вверх революцию и оправдало все жертвы ее — увидишь созидающую, животворящую силу партии.

Ей будут петь славу века.

АДИМЕЙ

Века шло одно и то же: курились вершины дымными облаками, блестели на солнце вечные снега и, утопая в чудовищной траве, бродил у снегов скот и лошади. Далеко внизу в ущельях безумно грохотали реки. В дымных, топившихся по-черному, кошах жили на горах люди все лето семьями. В конце лета снега заваливали горы сплошь — и семьи, и стада, и лошади спускались вниз в ущелья, где в пене и грохоте гнали валуны бешеные реки.

Дымились аулы, и медленно текла в них скудная, темная, но родная жизнь. Белоголовые дремучие горы загораживали все, что делалось на свете. Да и вся жизнь, весь «свет» был здесь в этих извечных громадах, в этих дремучих лесах, в смертельных пропастях, в день и ночь грохочущих потоках.

Только немногие вырывались из заколдованного царства скал, ущелий, лесов и снегов: вырывались те,

кого помещики выписывали в Россию охранять имения. И они жестоко пороли крестьян плетьми, рубили кинжалами, стреляли из винтовок, со страстью, с презрением, потому что это был ненавистный «урус». Страж не разбирался — и драл отрепанных и босых крестьян, как врагов.

Да еще бандиты умели вырываться из заколдованного мира гор. Смело налетали в равнинах на станицы, хутора и села, а иногда нагло врывались даже в города, рубили и грабили.

Только выписываемые помещиками из ущелий стражники да бандиты знали и видели высокие здания городов, удивительные повозки, бегавшие по улицам без лошадей; видели чудесный свет, заливавший по ночам улицы. Весь же темный народ видел только солнце над зубчатыми скалами, да лунные тени, да во тьме угадываемые громады гор — и думал: здесь счастье и жизнь, здесь родиться и умереть.

Так думал и Адимей и спокойно пас огромные стада своего дяди Муссы. У Адимея ничего не было, кроме лошади, седла, уздечки, винтовки и револьвера,— даже сакли не было своей; он пас стада своего дяди и ненавидел «уруса». В горах он охотился на оленей, туров, кабанов, медведей; он — превосходный стрелок — охотился и ненавидел «уруса».

Потом пришло такое, что ничего не разберешь. Пришел «урус» и отнял у дяди овец, оставил только три. Отнял коров, оставил только одну — по едокам. Ничего не отняли у Адимея, потому что он был бедняк. А еще дали ему из дядиных три овцы и телку, потому что он был бедняк.

Опустил глаза Адимей, потому что ненавидел он «уруса». Потом вскочил на лошадь, ускакал в неприступные горы и стал бело-зеленым бандитом вместе с другими.

Смелые были, ловкие. Постоянно налетали на хутора, на села. Пощады красноармейцам не давали; всех убивали, кто попадался в руки.

Только тяжкая жизнь была, особенно зимой мучительная жизнь была: по брюхо лезли в снегу задыхающиеся лошади в пустынных горах, и молчаливая голодная смерть в белом саване угрюмо стояла кругом.

А когда растаял снег, по низу, по ущельям, по долинам рек потекли красноармейские части. Сколько их было — не счесть. Заняли аул за аулом, заняли все дороги, тропки, заняли все ущелья, все выходы.

И пришла смерть. Схватили Адимея и товарищей, затянули туго назад локти и погнали.

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове. Торопливо шагает Адимей со скрученными назад руками вместе с товарищами. Гремит под обрывом, бешено заворачиваясь пеной, Кубань; отходят горы, затягиваясь печальной синевой, и уже степь растилается кругом.

«Нет, не видать мне родных гор, не слыхать шума потоков, орлиного клекота. Прощай, родной аул!..»

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове. Шумит река в степных берегах, и привольно раскинулся вдоль нее почитай на десяток верст хлебородный город.

Привели, спустили в подвал; захлопнулась наверху дверь. Стали ждать. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к сырой стене. Кто лежал без движения на каменном полу. Тускло просвечивало сквозь толстую решетку вверху мутное окно.

Тут было много сброда разного и белогвардейские офицеры. Молчали и ждали конца.

И пришла ночь.

Оконце почернело, и в подвале перестали видеть друг друга.

Громыхнул железом затвор, разинулась наверху дверь. По лестнице, по сидевшим, стоявшим, лежавшим людям воровски скользнула, ломаясь, полоса света. Показались осторожно спускающиеся по ступенькам рваные сапоги красноармейца и винтовка. А там опять сапоги и винтовка. И еще. И еще. И лампочка спустилась жестяная — длинный траурный хвост бежит над полуразбитым закопченным стеклом.

Лампочку на гвоздик. И стало видно: все головы повернуты к красноармейцам. Все повернуты, смотрят блестящими глазами на вошедших.

— Ну, становись, что ли,— сказал один и стал по бумаге выкликать.

Красноармейцы всматривались в лица и отводили к лестнице.

Адимей, как и все, смотрел на них блестящими глазами. С ними спустилось для него все прошлое, весь ужас прежней жизни при царе. С ними встал ужас, который принесли с собой большевики: у тех, кто имел стада, кто был богат, кому помогал аллах, отняли все. Затоптали святую правду, ибо каждый бедняк хотел сделаться таким же богачом.

И Адимей, как хищная птица, издал пронзительный крик, прыгнул пантерой, вырвал лампочку, затоптал.

Хлынул густой мрак, и не было ни стен, ни людей — одна клубящаяся тьма. И вся она наполнилась безумным воем, ругательствами, стонами, хрипами.

Красноармейцев рвали, душили, топтали, выдергивали из рук оружие; рвали, топтали, душили и друг друга, потому что клубилась безумная тьма и ничего нельзя было разобрать.

И пронесся хищный крик Адимея:

— Не трогайся!

Все замерли, и стало слышно в налившейся молчанием темноте, как хрипели, стонали, харкали невидимо кровью и пеной израненные, измученные, обезоруженные красноармейцы. И поползли, щупая холодный пол, поползли к лестнице и по лестнице, не понимая, о чем крикнул голос, не зная языка.

И как только первый коснулся уцепившегося наверху Адимея, глухо раздался стук падения тела и глухо запрыгало по ступеням: Адимей, схватив за волосы с кошачьей ловкостью, обезглавил в темноте, и плюхнуло тело, и запрыгала по ступеням голова. А за ним со стоном всполз второй, третий, пятый — и все так же плюхало тело и глухо стукалась по ступеням невидимая голова.

Потом смолкло. Под босыми ногами каменный пол теплел, и остро пахло кровью.

Сверху отворилась дверь, скользнул свет, и голос:

— Ребята, выдазь! Чево такое у вас?

В ответ выстрел. Кто-то наверху застонал. Дверь захлопнулась, придавив мрак. И опять безысходное молчание, безысходная тьма.

Снова слегка разинулась светлая щель, и бабий голос:

— Это я, родненькие, не стреляйте. У меня тут муж. Спущусь, погляжу, жив аль нет. Не стреляйте...

По лестнице стала спускаться баба. Спустилась и осветила: обезглавленные трупы, немигающие головы, лужи крови, в которой отражался свет лампочки, и затихшая толпа.

Казак хрипло выкрикнул:

— Убейте ее... Ее послали высмотреть. Убейте!

Но все молча стояли, не давая винтовок.

— У нас в горах закон: кто женщину убьет, тому смерть.

Ушла. Тогда сверху:

— Эй, вы, все вылазьте поодиночке наверх!..

Постояло молчание, покрытое тьмою. Тогда опять:

— Ежели не полезете зараз, бросим бомбу.

Крик, стоны, рычание, рев взорвали подвал. Десятки рук вцепились в толстую, заделанную в кирпичи решетку, а в этих и друг в друга вцепились остальные. Со звериным ревом рванула обезумевшая, слившаяся в одно масса. Заскрипела решетка, посыпались сверху кирпичи.

С кряхтением, медленно, с нечеловеческой силой отогнулось книзу тяжелое железо решетки. Срывая друг друга, срывая мясо на руках, кинулись пролезать в окно.

Первым выскочил высокий гигант, весь белый — в одном белье. За ним Адимей схватился за решетку, гибко перегнулся. Сзади, в вое, в стонах, в ужасе, чугунной тяжестью повисли, вцепившись в его ногу,— никак не выдернет.

«Ай, прощай, аул родной!»

Снаружи нестерпимо затрещал во мраке октябрьской ночи пулемет. Белое пятно бегущего вдруг снизилось и осталось неподвижным на черноте земли.

С нечеловеческой силой, бешено ударив кого-то в лицо ногой, рванулся Адимей, вырвался из окна. В подвале — потрясающий грохот, и все смолкло. Адимей — к белому пятну — и в ту же секунду пронизало шею, руку, плечо. И закричал он, глотая кровь:

— Вставай! Бежим,— да упал.

А пулемет: раз, раз, раз...

Адимей поднялся, опять упал, по-звериному встал на четвереньки, пополз, потащил раненого по земле, за угол...

Та-та-та!..

В подвале сзади молчали.

— Вставай, князь, бежим!..

Тот поднялся, огромный, белый; шатаясь, побежал. Адимей бежал рядом, чувствуя, как густо и влажно теплеет рука, поддерживающая князя. Обрываясь, то на спине, то на животе, то боком, сползли с обрыва, и там, где сползали, земля в темноте дымилась горячим следом приторно и сладко.

А над обрывом, сзади, засверкали язычки винтовок.

Перед глазами мутно-белесой гремящей полосой неслась река, ревела валунами, рыла берега. Не то пена, не то льдины бледно возникали и гасли уносящимися пятнами. Неслась холодная река, неслась со снегов и вечных льдов стынущая река, во тьме.

Белый князь рухнул в клокочущий поток.

Адимей ринулся за ним. Обожгло смертельным холодом первозданных снегов, на секунду отняв сознание. Но недаром Адимей — сын снеговых гор: перехваченное сердце опять стало, хоть замирая, хоть останавливаясь, работать. Его бешено уносило, а он бешено бился за жизнь, за горы, за леса. Внезапно, раньше, чем ожидал, вынесло и ударило о смерзшуюся гальку, оглушив.

Поднялся, стекленея. Дул холодный октябрьский ветер. И попятился: среди тьмы немо белело не то привидение, не то высокая смерть. Белая, а во всю грудь — чернота.

И смерть сказала, расставляя слова:

— Беги... брось меня... спасайся... мне конец...

Сурово сказал, а по груди все шире расползалось черное.

Побежал Адимей, взобрался на береговой обрыв, белая полоса протянулась у воды — лег князь навеки.

В горах, в затерявшемся коше, уложили бандиты Адимея, зарезали молодого барашка, обернули в кроваво-дымящуюся кожу Адимея и стали лечить. Через три месяца затянуло раны. Сел Адимей на лошадь; вскочили товарищи на лошадей и как бешеные стали разбойничать. Не одна красноармейская голова, простреленная меткой пулей, навеки поникла. Неуловим был Адимей со своей шайкой.

В самых глухих горах скитался Адимей. Все дальше и дальше, в самые глухие места проникали красноар-

мейские отряды. И встретились: на непроходимой тропке среди скал встретились. Выстрелы, крики, ругательства — и Адимей, со скрученными руками, идет опять в город, в подвал.

Теперь конец. Уже пропала та страшная, как свернутая пружина, напряженность, с которой он боролся за жизнь.

Давно бы убили его красноармейцы — знали, какого зверя ведут, да не позволил начальник: велено живым приводить.

«Пришли и для истязаний,— думал он,— ввели не в подвал, а в комнату». Ну, что же, он ко всему готов.

В комнате сидели двое в замасленных кожанках, и щеки худые ввалились. Видал таких Адимей в городах на заводах. Серые глаза, как сталь. В бумагах возятся.

— Товарищ, во... привели... Поймали,— сказал красноармеец, не выпуская винтовки.

Вскинул серые глаза один, опустил в бумаги, буркнул:

— Развяжи.

Красноармейцы разинули рты.

— Товарищ, это — самый опасный. Сколько нашего брата перебил — ужасть!

— Из подвала убег,— добавил другой.

— Прямо зверь в горах был...

А в кожанке опять:

— Развяжите, товарищи.

Красноармейцы выпучили глаза. Развязали.

— Садись, Адимей,— сказала кожаная куртка,— на-ка!

И протянул папиросу.

«И звать как, знает...— подумал Адимей.— Сволочь!..»

Угрюмо сел и закурил.

— Так что, товарищи, окно раскрытое. Одним махом, только его и видать будет. Лови потом опять,— ничего не понимая, говорили красноармейцы.

Опять махнула рукой кожаная куртка, и, неуклюже стуча сапогами, красноармейцы вышли.

«Мучить будут...— думал Адимей,— сначала папироску дадут, чтобы выспросить».

И жадно затягивался и слушал, как кричали воробьи за окном.

— Ну, вот что, брат,— сказал в серой куртке, отодвигая бумаги,— наломали дров, и будет,— и глянул на него серыми глазами.

И Адимей, вместо того чтобы махнуть в окно, сидел, жадно курил и глядел в серые глаза.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать два.

— Стало быть, двадцать семь лет работал батраком на своего дядю. Двадцать семь лет недоедал, недосыпал, все пас стада своего дяди Муссы. Толстый дядя?

— Балшой живот.

— То-то...

И рассказала серая куртка ему всю его жизнь, всю жизнь Адимея-батрака...

— Женат?

— Где бедному жениться...

— А у дяди красивая молодая жена — большой живот и красивая молодая жена.

Жадно курил Адимей. И держал одной рукой сердце — будто кто тихонько и ласково погладил по наболевшему сердцу.

А куртка:

— Чудаки вы... Да у нас вон вся Россия полна такими Адимеями-батраками. И века работали на дядей-помещиков. И у дядей были большие животы и красивые жены, а у русских Адимеев — только бедность да нескончаемый труд.

Всю жизнь, всю жизнь Адимея-батрака рассказал Адимею-батраку.

А потом... а потом у Адимея голова пошла кругом.

Тот, в серой куртке, придвинул ему бумагу и сказал:

— Вот тебе бумага. Никто тебя не тронет. Живи. А эту ты подпиши, что больше не будешь бандитствовать. А это — деньги. Надо же тебе сбить хозяйство.

Шатаясь, вышел Адимей, и никто его не тронул. И шел он вдоль реки, и никто его не тронул. И пришел в горы, и никто его не тронул.

И стал жить Адимей, и подвал, и расстрелы, и убийства красноармейцев — все это мелькающим прошлым побежало назад, как вода в реке.

И никто его не тронул.

Сидит Адимей в черкеске в сельсовете, с трудом пишет — он член президиума. Против, на лавке,— тот, который два года назад велел развязать ему руки. И кашляет, и лицо — желтое.

И говорит ему Адимей:

— Ничего, Николай, поправишься. У нас воздух чистый, здоровье любит. Пойдем, провожу. Полежи, отдохни.

Они пошли. Адимей шел, поддерживая. И толкнул в бок локтем:

— А?! Город-то наш!..

Среди скал, ущелий, дремучих лесов, возле грохочущей реки желтели свежие срубы новых строений: больница, народный дом, школа — как из земли вырастали.

И Адимей и питерский рабочий шли мимо, поглядывая и держась друг за друга...

ГОД

Когда комсомольская братия собиралась, дым шел коромыслом. Особенно, когда девчата были. И особенно среди них Манька Лунова.

Толстая, кругленькая, краснощекая, и из глаз всегда сыпались насмешливые искорки, точно в постоянно бегущем ручейке непрестанно дрожало хитрое солнце. Того дернет за ухо,— того оттаскает за вихор или шапку швырнет в окно,— и такой галдеж подымется, такая драка, хоть беги вон. Хозяйка, заведующие спальнями, коменданты общежитий терпеть ее не могли и гнали.

— Манька, и в кого ты таким дурным дьяволом уродилась? — говорит ей плечистый, черный, как арап, комсомолец, с неправильным, приятным, запоминающимся лицом, железно держа ее руки, чтоб не вцепилась.— Али мать твоя, как носила тебя, бешихи объелась? Ну, ты смотри, а то, ей-богу, по уху дам.

А она ласкается, глаза без устали роняют смешливые искорки.

— А еще комсомолец — бога поминаешь... Ну, пусти, больно ведь. Навалился, как лошадь, рад силушке. Ты

вот чего лучше скажи,— говорила она, заглядывая ему в глаза, близко садясь,— вот Маркс... как лучше, по Марксу или... А ну скажи — что такое государство? Эх, ты! Ни тмны, ни хмны... Нет, правда, скажи: неужто Маркса непременно по Марксу надо? А?..

— Гм! Как это?

— Нет, видишь ты... Постой. Ну вот, я принялась за Маркса по самому Марксу. Ну, до того трудно... Понимаешь ты, по самой книге, по «Капиталу». И, знаешь, отчего трудно? Оттого, что уж очень просто, легко. На целых страницах он рассказывает, что один кафтан равняется двум штанам. Ну так что ж! Это я и без него знаю. А ведь не зря же он это писал. В этом какая-то заковыка. Это не простая простота.

— А чего же ты хочешь? — говорил он, даже сквозь кожанку чувствуя теплоту ее плеча.

— Ну, чего я хочу? — проговорила она раздумчиво, и лицо ее стало чужое, как будто луг, по которому бродили веселые солнечные пятна, вдруг стал однотонным и ровным, и косцы мирно и сосредоточенно рядами взмахивали косами, и ровно лежало над ними однотонное небо.— Я хочу, понимаешь ты, ну, одним словом, изучить Маркса не по Марксу, а по изложению, как другие его излагают. А то, право, голова лопается,— и придвинулась еще ближе к нему, почти прижалась.

— Ну, как это сказать... это не так. Опять же самого Маркса прочтешь — одно, а в изложении... Маркс, он, брат, самую суть... главное, у него научишься думать, как факты обхаживать, а по изложению — это своими словами рассказывают. Факты Марксовы он тебе расскажет, а как Маркс достукался до фактов — ни хрена.

Она положила руки ему на плечи и, слегка навалившись грудью, смотрела в глаза.

— Нет, брат, врешь, самого Маркса прочтешь — одно, а его словами рассказывают — другое. Опять же...

Мгновенно сорвалась, запустила ему в кудлы обе руки и с такой силой навалилась, что он сполз со стула и, чтоб не разбить лицо, уперся обеими руками в пол.

— П...пусти... с-сволочь!.. У-убью!

Она хохотала как безумная и прижала его лбом к полу.

— Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Не поминай бога, ты — комсомолец.

Ввалившаяся комсомольская орда ржала неистово.

— Так его! Так его!.. Го... го... го!..

— Черт с младенцем связался.

— Одначе младенец оседлал-таки черта... Хо-хо-хо...

— Пусти... с-стерва... ей-богу, у-убью!..

Она выпустила его и бросилась по комнате, прячась за товарищей. Он вскочил с перекошенным от бешенства лицом, кинулся за ней, как разъяренный бык, ничего не видя. С грохотом летели стулья, табуретки. Она ловко увертывалась, а ему всячески мешали, хватали за рукава, подставляли ножку и ржали на всю комнату. Он раскидывал всех, как медведь, вот-вот схватит ее...

— Манька! Манька! Беги, черт, убьет он тебя...

Она кинулась к двери, да он перехватил. Тогда она — в окно, и только ее видали. Он ринулся, высадил полрамы и исчез, топот по улице убегал. Ребята кинулись к окнам.

Она добежала до угла, запыхавшаяся и раскрасневшаяся. Громадный, обсыпанный мукой крючник стоял, засунув большие пальцы за веревочный свой кушак, спокойно смотрел на них.

— Дяденька, муж пьяный напился, бить хочет,— и прижалась к нему, вся белая от муки.

Крючник шевельнулся, точно сдерживая просившуюся во всех мускулах чудовищную силу.

— Чего бабу изводишь? Залил зеньки. Чебурыхну раз, до смерти забудешь, как халыганить. Гляди!

И стоял, как монумент. А тот уже остыл. Подбежал, подхватил под локоть Маньку,— и понеслись назад. Манька на бегу обернула на секунду раскрасневшееся, смеющееся, припудренное мукой лицо:

— Дяденька, я пока девка — не баба.

Крючник стоял, как монумент, глядел. Потом длинно сплюнул, отвернулся и стал глядеть на улицу.

Прибежали. Их встретили аплодисментами.

— Ну, окно-то кто будет расхлебывать?

Порешили в складчину. Потом расселись по табуреткам и лавкам и принялись за учебу.

Где бы и как бы ни собрались, только и слышалось:

— Манька, где ты?

— Манька, начинай!

— Манька, запевай!

Голос у нее был веселый и радостный, далеко слышный и в разговоре и в песне.

Без нее ни дело, ни веселье не спорились. Любили ее.

И она часу не могла прожить без этой шумной, неуемной комсомольской ватаги.

Не у одного комсомольца ныло сердце.

— Манька, будет тебе мещаниться. Ломаешься, как коза на веревке. Не видишь, что ль, сохну по тебе. Ну?!

Та ласково берет его за голову:

— Цыплок мой золотенький, да какой же ты славненький...

— Ну, будет, будет,— а сам норовит ее обнять.

— Постой, ты только мне ответь, а там по-твоему будет. Ты...

— Чего такое?

— Ты ответь. Какая разница — постоянный капитал и переменный капитал?

— Еще чего! Экзаменовать вздумала...

— Да нет же, ты только ответь, а там...

У комсомольца от натуги наливаются щеки, шея, уши.

— Да это что же... тут большого фокуса нету. Постоян... постоянный — это ежели у капиталиста капитал в банке или там в кассе, не тратится, значит, постоянный. А ежели тратится, ну там на производство или там еще на чего, то переменный...

Никогда комната не звенела таким нестерпимо подмывающим девичьим смехом: бес рассыпался.

Манька сделала по раскрасневшейся роже вселенскую смазь. Во-вторых, вцепилась в волосья и стала нещадно таскать.

— Будет... брось... Черт!.. Сатана!..

Он мотал, выворачивая головой, стараясь высвободиться.

— Посохни, посохни еще, миленький, да каши книжной поешь. Тогда разговаривать будем.

В районе ею дорожили: ценная работница. Фабричные, особенно работницы, души в ней не чаяли. А когда посылали в деревню, крестьянки встречали, как родную.

Все заполнено тужурками, кожанками, блузами, гимнастерками, потрепанными френчами. И цветут маки. И цветут глаза. Комсомольская поросль густо поросла по всему залу. Такой же молодой бунт голосов мечется над головами.

Среди всех, красно озаряя, цвели щеки Маньки Луновой. Звенела непотухающая улыбка. Летели к ней голоса, вскрики, смех.

— Манька, глянь сюда!

— Эй, Манька!

По смеющемуся румянцу выбивались из-под повязки непокорные русые стриженые волосы. Она встряхивала ими.

Было беспричинно весело, радостно, и хотелось через все эти молодые головы в черных фуражках, красных повязках,— через все головы крикнуть туда, к самым крайним, к самой стене:

— Эй вы, товарищи, что у вас там?

И она крикнула, слегка приподнявшись и помахав рукой:

— Ванька Лупоглазый, ты чего же книжку мою зажилил?

А оттуда донеслось так же беспричинно радостно сквозь взбаламученное море голосов:

— Не прочи-тал еще...

— Принеси вечером.

От стены протянулся задорный кукиш. И оба, через множество голов, засмеялись друг другу.

А на красном возвышении, на эстраде,— там свое, своя стройка. Колокольчик тоненько и отчаянно мотается среди невообразимой свалки голосов. Да разве его тонко звенящему язычку затоптать их, буйных, разметавшихся? Но тоненько звенящий голосок настойчив и знает свою силу. Он, крохотный, постепенно овладевает этой непокорной ордой буйных молодых голосов, загоняет их по углам, они низом ползут, смиряясь. Наконец свернулись и затихли.

Тогда державший колокольчик сказал бодрым комсомольским голосом:

— Товарищи! Объявляю общее собрание комсомола района открытым. Надо избрать президиум.

Избрали. Уселись.

— Слово — секретарю райкома.

Тот поднялся, порылся в бумагах, посмотрел на комсомольскую братию.

На него тоже смотрели, другие рылись в своих портфелях, а то потихоньку разговаривали, нагнув головы; иные лускали семечки, втихомолку выплевывая шелуху в кулак, хитро подсовывали ее друг другу в карманы. Как будто всем этим хотели сказать секретарю:

«Да знаем, все знаем, и чего говорил и чего будешь говорить».

А он сказал:

— Товарищи!

А они весело, семечками:

— Ну так что ж!..

Тогда над ними над всеми охнуло, взорвало человечьим голосом, и все головы повернулись и все глаза остановились на нем, потому что он сказал:

— Товарищи, среди вас — предатель!

Поплыло молчание, погашая малейшие движения.

Все остановилось, стало страшно прозрачно, и сквозь прозрачность отчетливо видно: сотни глаз смотрели, не мигая.

Как траурный звон, опять повторил:

— Среди вас — предатель.

И протянул руку.

Никто не шевельнулся. Только видно было: сотни глаз неотрывно смотрели на него.

Тогда он злобно сказал:

— Марья Лунова!..

Как хлынувший прибой, все повернулись и увидели: сидит, слегка подавшись полной грудью, Маня Лунова, и мгновенно поблекшие щеки по-прежнему ярко цветут, и искрами блистающие глаза неотрывно смотрят перед собой.

Мгновенно сомкнулся холодный круг отчужденности.

Все сжались, чуть сдвинулись. Она сидела, подавшись грудью, и ярко цвели потускневшие было щеки, и вглядывались во что-то блестящие глаза, и назойливо кричала красная повязка.

Резко строгий голос из дальнего угла:

— Доказательства!

Как треснувшее во все стороны стекло, полопалось оцепенение.

Зашевелились, задвигались, повернулись головы, и глянули на нее сотни прежних, любящих, близких глаз. А она сидела неподвижно, глядя перед собой, и секретарь засмеялся, и душно давивший всех потолок приподнялся,— все стали дышать. По залу поплыл шум, говор, движение.

Чахоточное лицо секретаря исказилось. Колокольчик метался. тоненько всверливаясь в раскосматившийся шум и голоса, и председатель поднялся, отчаянно мотая им:

— Тише, товарищи!

Чахоточное секретарское лицо повело злобной судорогой. Поднял бумагу:

— Вот!

И этой бумагой разом придавил шум:

— ...Вот протокол группы анархистов-индивидуалистов. Она — член группы анархистов, самый деятельный член. Она тут среди нас, среди партийцев, среди комсомольцев... мы любим ее... отличная работница... Вы понимаете, тут среди товарищей, а потом побежит к анархистам... Что же это такое?.. Ведь это же развал... Член партии, член комсомола и... продает всех...

Он захлебнулся и оглядел всех гневными косящими глазами. Опять перекосило изжелта-белое лицо, хлопнул ладонью по бумаге:

— Ее собственная рука вела протокол заседания.

Тогда взрыв повалил его голос, голос председателя, и без перерыва тонко извивавшийся голосок колокольчика.

— Долой!

— Вон!

— Пошла вон отсюда!

— Шкура продажная!

— Уходи же, сволочь!.. А то...

В нее летели вспененные злобой, презрением, отчаянием слова. Мотались кулаки. Лица у всех были пьяные, красные, распаренные.

Комсомолец от стены пустил книгой, и она пролетела над головами, торопливо перелистываясь, и упала у ее ног. Молоденькая комсомолка, еще девочка, уронив голову в колени, горько плакала.

— Манька! Манька! Чего ты наделала!..

Загремели стулья, опрокидываясь; кругом столпились, как будто не было председателя, президиума, порядка дня... И стоял рев, и мотался лес кулаков.

— Во-о-он!

Тогда Лунова поднялась и пошла к двери, не глядя, и на помертвелых щеках тлели красные пятна.

...Исключили из комсомола, из партии.

Все — как было. Из-за фабричных труб каждый день всплывало солнце, и гудели корпуса, и бежали комсомольцы — кои на учебу, кои к станкам, кои на партработу. А Маньки Луновой не было.

По вечерам, на собраниях или на демонстрациях пели комсомольские песни или революционные марши,— а голоса Маньки Луновой не слышно было.

Часто вспоминали ее, и удивлялись, и ругали, и жалели, как же это она так,— а ее не было. Никто не видел, никто не слыхал.

И бежали дни и месяцы и делали свое дело. Забвение тихонько стало затягивать, и когда обернулся год, заволокло память о ней: перестали вспоминать, перестали говорить...

...Идет черный, как арап, комсомолец, плечистый, с неправильным, приятным лицом. Шагает — портфель в руках, задумался, глядит под ноги, дорожки не видит, а видит свою работу: на фабрику перекинули.

Навстречу девушка. На щеках дотлевают пятна. Остановилась.

Тихи деревья.

— Алеша!

Остановился, глянул, нахмурился.

— Вам что угодно?

— Постой... давай сядем... ведь год...

— Не о чем нам.

— Но... подожди... что ж боишься, не укушу... не испортишься... вот тут... на лавочке.

Нехотя сел, не глядя.

Она — поодаль, обернувшись к нему. Сквозь ветви дробилось солнце.

Няни, придерживая детские колясочки, беседовали с кавалерами.

— Алеша... я не хотела... я б не должна бы этого говорить, но... не мо...гу...

Зарыдала, зарыдала рвущимися рыданиями. Зажала глаза, рот платком. Все равно рыдания, сдавленные, рвали грудь, слезы неудержимо ползли из-под платка.

Он сморщился, брезгливо поднялся. Она судорожно ухватилась...

— Н-не... мо-гу. Я ведь... Меня посла-ли, понимаешь... к анархистам... это было... задание. Это — революционное задание. Я не могла никому вам сказать... сам понимаешь, но как тяжело... как мучительно... на фронте... там смерть... но там со всеми... с братьями... с друзьями, там ведь другое... умереть радостно... а тут среди врагов... одна... брошенная... отвергнутая... своими... целый год презрения...

Она опять зарыдала, затискивая платок в рот. А он стоял перед ней, оглушенный. Плыл кругом бульвар, скамейки, деревья, прохожие.

Вдруг она отняла платок и засияла, в слезах, улыбкой, а на щеках горят влажные румянцы.

— Пойдем в партком. Меня уже восстановили в партии и комсомоле.

И засмеялась по-прежнему, сияя на него еще не просохшими слезами.

— Милый, я тебя больше не буду таскать за волосья.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ»

Тяжкая осень восемнадцатого года. На Восточном фронте Красная Армия с переменным успехом билась с Колчаком, с чехословаками.

С фронта систематических известий не было. Что доходило оттуда — было отрывочно, случайно. Не было кадров постоянных корреспондентов. Случайные же корреспонденции неизменно возглашали «гром победы»

даже и тогда, когда красные полки «с громом победы» пятились. И мало этим корреспонденциям верили.

«Правда» первая эту «линию» попыталась выправить и послала меня на Восточный фронт.

Быстроты, натиска, умения быстро освоиться с обстановкой, умения влезть куда нужно, вынюхать, выведать,— этих важных качеств корреспондента у меня не было, но был писательский глаз; уж что-нибудь, думаю, да схвачу. Да и то сказать, на безрыбье и рак рыба.

Ехать было холодно, голодно. На остановках и с деньгами сдохнешь с голоду, нигде ничего не купишь, частную торговлю-то всю прикончили. И лавки и базары стояли дохлые.

А тут на пересадках му́ка — в вагон не влезешь: всюду полно, друг на друге, всюду гонят в шею, приправляя сдобным словом. Хоть пешком иди!

Пошел к коменданту. Замученный человек, в кожанке, с серым лицом, из рабочих.

— А?

— Я писатель такой-то... Еду...

— Ну-к что ж. Чево вам нужно-то?

— Так и так... Писатель. Еду на фронт. Ни в один вагон не влезу. Посодействуйте...

Он не то равнодушно, не то замученно посмотрел в окно.

— Ну-к что ж! Я-то что же сделаю? Не рожу же нового вагона.

Я — с отчаянием:

— Я послан «Правдой»... корреспондентом на фронт...

Он разом засветился весело и радостно:

— Что ж ты не сказал, товарищ... Садись, отдохни. Вот чаю. Хлеб-то у нас — того... Эк его завернуло!.. Устрою в лучшем виде. Хочешь — подожди. Вечером штабной пойдет — как дома будешь... Ну-ну, не хочешь — зараз устрою.

Через полчаса я трясся в товарном. Спереди несло нестерпимо от печурки, растапливаемой разнесенными по дороге заборами, сзади леденил свистевший в щели ветер. Красноармейцы, матросы сидели, лежали, матерно рассказывали бывальщины, смеялись и пели.

А я понял, что я прежде всего корреспондент «Правды», маленький, крохотный кусочек, осколочек

«Правды», несущий для нее работу, а потом уж такой-то писатель.

И где бы я ни был во время этой поездки, я протягивал корреспондентский билет «Правды» — и сразу попадал в свой дом: товарищества, сердечности, близости.

За Волгой ударил крепкий мороз, понесло степной метелью. Сквозь снежное мелькание дымила студено чернеющая речка; по громадине куполообразной вершины черно щетинились иззябшие леса. В лощине верст на десять протянулась заваленная снегом деревня. К лесу выдвинуты крайние посты, дальше — враг. Он затаился, и было тихо. Только метель, неустанная, то проступала чернеющими пятнами леса, то колебалась безглазой мутью от края до края.

На передовой линии люди всегда недоверчивы и замкнуты, точно лица их немо подернуты, и официальные бумаги их трудно разогревают. Но только я протянул — «Правда», как сейчас же очутился среди друзей и товарищей. И полились рассказы о боях, о боевой жизни. За окнами все сине застыло в двадцатидвухградусном морозе.

...Да, было... Налетели белые. Обошли с тыла и налетели. Сколько обозных порубили! Все смешалось и побежало. Но часть полков уперлась: по горло в каленой ноябрьской воде на руках перетаскивали орудия. Белых отбили. Я обо всем написал корреспонденцию.

В те времена много слали подарков в армию. Специальная комиссия была. В центре решали вопрос, что посылать, и никто не удосужился на месте проверить, что наиболее нужно красноармейцу.

А получалось следующее. Присылают кожаные куртки. Красноармейцы, получившие куртки, бегают высунув язык и продают за бесценок. Дело в том, что куртки зимой — обуза: не греют, а приходится с ними возиться, беречь. А вот шарфы, самые дрянные, рвали из рук друг у друга. Дело просто: у шинелей ворот страшно выхватывается, и шарф в морозный ветер — спасение. Я написал корреспонденцию.

Как-то утром морозом дымились горы, на лошади, тоже дымившейся, к штабу подъехал красноармеец. Через плечо — набитая сумка. И по улице и по избам, как электрический толчок, пронеслось: «Правда» при-

ехала!» Бежали, как на пожар. Я тоже прибежал в избу. «Правду» рвали из рук. Два товарища стояли друг перед другом, тянули каждый к себе «Правду» и урезонивали друг друга:

— Дорогой товарищ, вы же нахал! Ведь я первый взял.

— Дорогой товарищ, вы понюхайте вот этого! — и он деликатно поднес к его носу волосатый кулак.

А третий, пока они друг с другом деликатничали, изловчился, дернул сбоку, вырвал газету, юркнул к окну и застыл глазами.

Точно потеплело по избам, где шуршали «Правдой»; точно вернулись в родные семьи; точно ласково накормили всех голодных и усталых. И уже не думали, что вон из-за того чернеющего леска каждую минуту могут выкатиться лавой казаки и с гиком начать разваливать головы, переполненные мыслями родной газеты. Целый день и другие дни товарищи ходят веселые и оживленные.

Вернулся я в Москву. «Правда» с корреспонденциями к этому времени дошла до линии фронта. Батюшки, какой содом поднялся! Командный состав, политотдельцы, командующий армией встали на дыбы: «Как, рассказывать в газете, что было поражение! Разве это допустимо?»

По армии отдан был приказ: «В армию приезжают ничего не понимающие корреспонденты, которые злостно извращают события. Таких надо гнать из рядов Красной Армии...»

В редакцию «Правды» прилетела громаднейшая телеграмма, где на все корки поносился корреспондент «Правды»,— телеграмма за подписью командующего армией и политотдельца.

Враг народа, фашистский агент Троцкий заявил тогда Марии Ильиничне (Ульяновой), что придется отдать корреспондента «Правды» под суд за дискредитацию армии.

Через два года тот же предатель Троцкий написал в «Правде» лживую статью о том, что армии нужна истина. Не фарисей ли?.. Читая эту статью, я уже тогда установил ложь и фальшивость изменника Троцкого.

Эта фальшивость подчеркивалась еще больше письмом, помещенным в «Правде» и подписанным командным и политическим составом целой бригады, о том, что корреспонденции верно рисуют события, достоинства и недостатки боевой жизни на фронте.

Шуба шубой поднялась и подарочная комиссия, и тоже письмо в редакцию — обидели и ее.

В конце концов все утихомирилось.

Так «Правда» пробила дорогу для верного освещения жизни армии и всей страны.

ТОВАРИЩКА ДОРА

Пирамидальные тополя, украинские тополя вознеслись в сверкающее небо. Догоняя, впились в синеву и белые колокольни. А домишки, свиньи, вонь дворов, тонкий запах акаций, украинский говор, визг и крики еврейской детворы — все это перепуталось, замоталось, потонуло в бесконечно мутном, горячем мареве стелющейся над городом пыли.

Сквозь далекую голубизну блестит Днепр.

На улице роются свиньи. Из-за заборов ласково пахнет сирень.

— Та цур тоби!.. От ледаща животина... Тпрусь... шоб тоби повылазило!..

— Вей мир!..

В гигантских облаках пыли степенно возвращаются домой коровы. Старый, солидный, деревянной стройки двухэтажный дом, а на парадной полинялой двери медно позеленевшая дощечка, а на ней черно-полопавшаяся надпись:

Помощник присяжного поверенного
Иосиф Моисеевич
Розельман
прием от 4 — 8 вечера.

Большая еврейская семья.

Обсядут в столовой в нижнем этаже громадный стол,— а по стенам вниз головами утки из папье-маше, раскрашенные, и во весь пролет стены — тяжелый дубовый ковчег, которому сто лет и в котором на сто

человек посуды. Обсядут стол всей семьей, как будто базар открылся,— смех, говор, перебивают друг друга, зассорятся, вспыхнут, опять смех, опять сыплют торопливой речью друг другу. Все говорят по-русски, только «р» чуть картавится, и волоса — курчавые, больше черные.

Да всех не загонишь сразу за стол — из гостиной тоже несется говор, смех; то запоют, или рояль заговорит, или виолончель грудным человечьим голосом, человечьим грудным глубоким голосом... Отчего ж впивается в сердце, так больно и сладко впивается в сердце этот томительный голос?

А из столовой раздраженно:

— Да идите же, все уже холодное...

И когда наконец все усядутся и стихнет отзвучавшая гостиная, так из конца в конец стола почти не видно друг друга, как будто растянулись и потерялись на другом конце улицы,— ведь двадцать человек семейка, двадцать два! Прислуга, украинка, подает, принимает тарелки; давнишняя, лет тридцать в доме, повязана засаленным платком, и концы назад, старый член семьи,— ворчит:

— Хиба то порядок? За стиль уселы, а воны: га-га-га, та цымбалы, та музыку, а все стыне. Хиба ж це порядок?

Как только дело касается еды, она — хозяин и распорядитель в доме.

Двадцать два человека!

Во-первых, две бабушки, тусклые, слезящиеся, равнодушно глядят перед собой, и на пергаментных лицах запечатлено: «Мы все сделали, о Иегова,— вот поколение!..»

Когда изредка их пергаментные губы прошуршат, молодежь их не понимает: по-древнееврейски.

Хозяйка — в черной наколке, и ленты подрагивают; и на лице печать: принесла восемнадцать, выходила одиннадцать, и берегла, и бережет, и будет беречь, как наседка.

Черные ленты гордо подрагивают: у каждого — талант. Либо отлично учится в гимназии, либо отлично кончил университет, либо отлично торгует лесом, и каждый либо поет, либо на рояле, либо скрипка, виолончель,— большой деревянный дом — как старый огром-

ный музыкальный ящик. Прохожие уж привыкли: проходят мимо по улице, задерживая немного шаг,— сквозь окна несутся музыкальные голоса.

А возле хозяйки, на стуле, болтая недостающими ножками — крохотный кудрявый цветочек, самая маленькая. Черненький лохматенький цветочек. Да какой же живой! Да какой же непоседливый! Верно, оттого светятся две искорки, две тоненькие точечки, смеющиеся и лукавые, светятся из-под темно выгнутых ресниц неизбывной шаловливостью, дразнящим смехом.

Любимица...

Все ее любят, и младший брат, изо всей семьи один — социал-демократ. А отец ему:

— Чем хочешь будь, хоть самим Вельзевулом, только не попадайся. А лучше, если бы занялся вместе с Соломоном.

И Соломон, старший брат,— отлично ведет большое лесное дело,— и он не пройдет мимо, чтоб не потрепать чернокудрявый цветочек.

И сестры, и другие братья, и тетки, и бабушки, и знакомые, и прислуга, и водовоз, который каждый день привозит бочку с водой,— все. И отец, седеющий, благообразное лицо, в котором — мудрость, опыт прожитого. И это всегда спокойное, уравновешенное лицо,— и оно трогается улыбкой, когда возле черненький шаловливый цветочек.

Дом полон музыкального смятения, но никто не обращает внимания на эти не умирающие с утра до глубокой ночи музыкальные голоса,— привыкли.

Но иногда вдруг все остановится в доме, затихнет, все остановятся, где кого ни застанет, приложат палец к губам:

— Тссс!.. тише!

На цыпочках подбираются к гостиной, вытягивают шеи и слушают, заглядывают в гостиную, показывают друг другу с засветившимися лицами.

Видят: черненький цветочек отражается в черном зеркале рояля, и ножонки беспомощно не достают до педалей. А пальчики крохотно ползают по белым смеющимся клавишам, и странно, не по-детски послушно сочетаются глубоко звучащие внутри струнные голоса.

— Да ведь только три года!.. Крошка!

Толпятся все в дверях, и светло в доме от улыбок.

— Дора!..

Ее подхватывают, и смеющийся солнечный черненький зайчик радостно и ревниво перебрасывается с рук на руки.

Этот музыкальный цветок куплен смертью родного человека, близкого, любимого,— куплен смертью дяди. Брат матери — кантор.

Красивое, румяное, чуть излишне полное, чуть апоплексическое лицо; и шея короче, чем нужно, и сам — полный; черные горящие глаза. Иногда задыхается. И бархатный баритон. Бархатный баритон в потрясающе-мрачных древнееврейских напевах, полный мрачной скорби тысячелетних страданий народа, «избранного» народа. С замиранием слушали евреи, слушали богатые евреи в синагоге своего знаменитого кантора. За тысячи верст приезжали и, поворачиваясь друг к другу, говорили:

— Только еврей, только еврей такой голос имеет...

На еврейских концертах он выступал. Стены ломились, в синевато-тусклой густоте меркло электричество, и евреи сидели на спинах друг у друга. А потом дико рушился обвал криков, аплодисментов, грохот сдвигаемых стульев — начинался шабаш восторга.

Нет, он не был целомудренно-правоверным кантором — любил жизнь, красоту, безумно любил власть своего голоса, и его любили женщины.

Он исполнял религиозные обряды для окружающих, для окружающей массы. И когда наматывал на голову ремень с выдававшимся на лбу кубиком заповедей, усмешка играла в сердце. Иегова был далеко за пределами разумности, но он все-таки надевал смешную полосатую хламиду для массы,— ведь он был кантор. Только когда подымался пронзительно-тонкий, как визг, древний хор детских голосов, и его мягкий бархатный голос удивительно вливался в их танцующую ткань, все забывалось — и Иегова, и его история, и канторство. Печаль, печаль и отчаяние, и горе, и тьма тысячелетий неумирающего, неискоренимого народа дрожали, все заслоняя.

От тонкого визга свивающихся детских голосов у слушателей шевелились волосы и ползли мурашки.

За тысячи верст приезжали богатые евреи слушать своего знаменитого кантора.

И вдруг все пошатнулось. Десятки антрепренеров охотились за ним для своих оперных театров. Он подписал контракт, уехал. В дни его выступлений в громадном городе билеты брались с бою, и барышники чудовищно наживались.

Через полгода затосковал, порвал контракт, вернулся. Еврейство богатое от него отвернулось, от него, оскверненного соприкосновением с «гоями» и их нечистой сценой,— не видать ему канторства, как своих ушей.

Он жил все с той же улыбкой жизнерадостности. От мала до велика ломились в зал, когда давал концерт. А червячок точил сердце — крохотный червячок, и сердце иногда задыхалось.

Сестра была беременна последней беременностью — сорок семь лет. И он ждал, ждал и в напряженном ожидании считал дни.

Нет, не потому, что у евреев тысячелетнее поверье: если родится у сестры последний *мальчик*, старший в роде будет долго-долго жить, то есть он, дядя новорожденного, будет долго-долго жить, будет жить. Если девочка — он... умрет.

Пустяки! Давно откачнулся от предрассудков, от суеверий родного народа, но... если бы... если бы племянник, если бы мальчик!

Дни убегали, точно проносились в вагонное окно полотно, телеграфные столбы, будки, переезды. И однажды тоненько и беспомощно звякало крохотное существо.

Если б мальчик!.. Ему, старшему в роде, дяде... жить тогда...

Акушерка вышла и сказала:

— Поздравляю с племянницей.

Он потемнел и отвернулся к окну. Нет, он не суеверен. Он давно равнодушен к обрядам религии отцов, а тем паче свободен от суеверий, но почему же, почему... племянница, а не племянник?!

— Почему?!

Дни бежали, напоенные заботой, трудом, радостью миновавших огорчений. Жил город, светило солнце, как всегда. Чудесная жизнь, ибо звучала музыкой, ибо пестрела искусством.

Жизнь прекрасна, но... «почему же не мальчик, а племянница?..»

Глядь, а он над обрывом, и сам не знает, как попал. Бестолково сбегают деревья; блестит поворот реки. В медленной задумчивости уходит домой.

Шумный концерт. Чудесно звучит бархатный голос. Взрывом плещущие волны аплодисментов. Светится среди множества лицо любимой, среди множества, но — «почему же, почему?»

Кончился концерт. Надо домой. Глядь, а он над обрывом... Зеленые внизу верхушки; излучина реки блестит... Над обрывом — одинокий, и тоненько, тоненько, как комариное пение, то, о чем не хочет думать.

И как ни сопротивлялся всем своим разумом, всем своим образованием, знанием, его сломило: маленькая крошка пришла в мир, чтобы вытолкнуть его из жизни — двое они не поместятся, он должен уступить. Он?! А голос? А солнце? А зелень сбегающих деревьев? А синие дали? А этот старый дом, где поколения прошли? А лицо любимой, лицо любимой, озаренное среди множества?..

И где бы ни был, какое бы дело ни делал, чем бы важным ни был занят, в конце концов очутится над обрывом,— под откос сбегают вершины, блестит река.

Нет, так дальше нельзя, нет сил. И он... сдался.

Последний раз взглянул на зеленеющее море, на синеву, на дальний блеск и пошел к... маленькой, которой он еще не видел.

Мать, нагнувшись над корытом, плескала на маленькую теплой прозрачной водой, а маленькая в корыте корячила пухлые, перевитые ниточками ручонки и ножонки, как жучок, положенный на спинку, и глядела на дядю переспелыми вишенками. У него мучительно и сладко перехватило на секунду приостановившееся сердце: «никогда не было детей» и еще... и еще: «не поместятся в этом мире... тесно...»

«Э, вздор!»

Сестра подняла на него сияющие глаза:

— Посмотри!.. Посмотри!..

Он неподвижно стоял и смотрел. Выкупали, завернули в простынку, и мать с светящимся лицом стала кормить. Ребенок торопливо сосал, причмокивая, взгляды-

вал черно-вишенными глазками и обминал мягонькие ноготки о материнскую грудь.

Он взял у матери, неловко держа в руках. Вдруг почувствовал: стала таять черта, отделявшая его от этого тепленького комочка, неуловимо затаенная черта отчужденности.

— Живи, расти, дочь моей сестры!.. Да будет тебе счастье!

В нем проснулся тысячелетний еврей. И сказал вдохновенно, высоко подымая ребенка:

— Передаю тебе все, чем одарила меня судьба! Передаю тебе мой голос, его красоту и послушность, и его *неодолимую власть над людьми*. Передаю тебе всю власть, какую дает над человеком человеку искусство. Будь счастлива, займи мое место!..

Ребенок завел глазки и чему-то улыбался во сне. Мать с *восхищением* смотрела на брата. А у него большие черные глаза налились грустной ласковостью.

Через неделю умер от разрыва сердца.

С этих пор все стали ждать, все — и бабушка, и мать, и отец, и братья, и сестры, и прислуга, и водовоз, и знакомые,— все стали ждать, с восхищением глядя на крошку. Да нет же, молодежь не была суеверна, а где-то в глубине неосознанно стали ждать.

А черненький цветочек рос, развивался и смотрел на окружающий мир широко открытыми глазами, в которых искорки.

И мать говорила отцу:

— Надо учительницу.

А он:

— Слишком мала.

А она:

— Ну, как же... скоро четыре года.

— Мала...— и ласково трепал ее кудри.

— Как же, мала! Когда появится голос, она должна уже знать рояль. Ведь она же сама играет. Ну-у?

И ей стало десять лет и пятнадцать, а голос... не появлялся.

И постепенно страх и недоумение поползли по дому. А дядя? А его благословенный подарок родившейся

крошке перед смертью? И разве не Иегова говорил его устами?

И все поняли: у нее голоса нет и никогда не будет. И глаза бабушек покрылись пеплом смерти и отчаяния...

Потом она стала подрастать.

И отец и мать не могли наглядеться на нее, ненаглядную, как это бывает со всеми родителями на всем белом свете.

Потом уже везде бегала и играла с подругами — и в саду и на улице.

Раз она прибежала в слезах, всхлипывая, к матери.

— Мамочка, мамочка! Сейчас я играла с мальчиком... добрый мальчик... Мы играли, а он закричал: «жидовка», ударил, погнался за мной... Мамочка, за что он меня ударил?.. Я ему давала пирожки, подарила маленький поясок, мы с ним играли, а потом он ударил и закричал: «жидовка». Мамочка, он — злой!

— Нет, деточка, он не злой, только он не понимает.

— Мамочка, отчего мы жиды?

— Нет, мое солнышко, мы не жиды, мы — евреи. Вот есть русские, есть грузины, есть персы...

— Мамочка, а перс ходил, а у него на клетке зеленый попугай билетики вытаскивал, а нос криво-ой.

— Мы такой же народ, деточка, как другие народы.

Дора вприпрыжку побежала опять играть. Но тонкая заноза, тонкая, как отломленный кончик иглы, осталась в маленьком сердце.

Осталась и потихоньку стала расти; и чем больше подрастала, тем больше и на улицах, и в театрах, и в домах чутко прислушивалась; и слово «жид» обидно и больно вспыхивало — и среди крестьян, и среди рабочих, и среди образованных людей. И она узнала, что евреев громят, убивают, нечеловечески замучивают.

Дора, уже девочкой, с горечью думала: «Разве можно жить среди такой травли? Лучше умереть».

И она опять приглядывалась и видела, что одни люди, которые пили трудовой пот других, науськивали их на евреев, чтобы отвести от себя их раздражение.

А замученные травили евреев с горя, от нищеты, от безвыходности и непробудной темноты.

Познакомилась Дора с революционерами, с их учением, тогда поняла, что только революция освободит всех замученных от их мук: рабочих — от сосущих их фабрикантов, крестьян — от помещиков, евреев — от мучений, потому что и у рабочих и у крестьян смахнется вековечная темнота с глаз.

Грянула революция. Дора — коммунистка. Ее послали в армию в политотдел. Наступал Деникин. В тяжелых солдатских башмаках, в штанах, в шинели, в фуражке на обстриженных кудрявых волосах, она весь поход шла с красноармейцами.

— Дора, будет тебе,— говорили товарищи политотдельцы.— Иди в обоз, садись на повозку. Все равно долго не протянешь, сама видишь,— не по силам.

Дора отмахивалась и шагала в колонне красноармейцев. И опять, опять слышала:

— Да ведь это — жидовка.

Закусив губы, шагала она вместе с красноармейцами, довольствовалась с ними из одного котла, голодала вместе с ними, когда отставали походные кухни и обозы; разъясняла им всю громаду борьбы, которую ведут рабочие и крестьяне со своими лютыми врагами. В боях она неизменно была в передовых рядах, подбодряла своей улыбкой, своим девичьим голосом, а когда не управлялись санитары, помогала перевязывать раны, выносить раненых,— как будто не рвались вверху шрапнели, не перебивали друг друга пулеметы.

К ней стали привыкать, и часть казалась пустою, если красноармейцы не видели возле себя замызганной фуражки на кудрявых волосах. И все-таки... все-таки срывалось то тут, то там под горячую руку слово «жидовка». И, стиснув зубы, все той же общей жизнью жила с красноармейцами Дора.

Черною хмарой надвинулись темные дни: навалились белогвардейские полки, пятилась на север Красная Армия. Отбивались красноармейцы и день и ночь, уходили, и вместе с ними в рвущихся шрапнелях шла позеленевшая от бессонных ночей и напряжения, с ног до головы забрызганная грязью Дора.

Налетели казаки. Стали уходить, огрызаясь, измученные красноармейцы. А в овражке под деревом оста-

лись двое красноармейцев: перепоясало их пониже колен дробными четками пулемета.

— Братцы!.. Бра-атцы, не кидайте...

Да видно, сила солому ломит,— уходит часть. Больно бросать товарищей, да ничего не поделаешь, одни остались.

Нет, не одни: возле, на коленях — Дора. С зеленым, измученным лицом и с замызганной, простреленной фуражкой на кудрявых волосах, стоит на коленях, перевязывает.

Увидали казаки, полетели кучкой. Впереди офицер на караковом жеребце, шашка сверкает в крепко зажатой руке.

Вот они.

Поднялась Дора, схватила обеими руками тяжелый наган, дернулся он от выстрела. Вздыбилась лошадь, опрокинулась, придавила офицера, быстро стало синеть его лицо.

Увидала отступавшая часть, ёкнуло у всех сердце, без команды кинулись назад. Отогнали казаков, подобрали раненых.

Целую ночь шли красноармейцы. Шла с ними, шатаясь от усталости, еле выволакивая из чмокающей грязи разбухшие, тяжелые башмаки, Дора. Нет, не дойти ей. Все больше и больше рядов обходит ее, и, когда проходили последние, она остановилась. Всё! Дальше не может! И села.

Остановились последние красноармейцы. Один молча сдернул намокшую шинель, четверо растянули ее, а один уложил туда Дору, и понесли ее, молча и сурово, среди грязи, среди синеющегося в темноте дождя и провожающих шрапнельных разрывов.

— Не надо, не надо... Пустите, я сама пойду... Я теперь отдохнула, сама пойду...

И карабкалась на край шинели, чтобы слезть в грязь. А они:

— Товарищка Дора, не бунтуй.

Встряхивали шинель, и Дора опять скатывалась на середину.

И они изнеможенно шагали по грязи в мокро сеющейся темноте, не в состоянии поднять закрывающихся век: трое суток не смыкали глаз.

А Дора все норовила сползти с шинели, и ее опять молча сердито стряхивали на середину и шли. И слезы ползли по ее щекам, размазывая грязь, слезы несказанного счастья, вдруг осветившего всю жизнь.

Нет, никогда-никогда они теперь не назовут ее «жидовкой», не назовут, она знала это,— они такие родные, такие близкие.

И эти невидимые слезы счастья тихонько вымыли из сердца ту занозу, которая уколола его, когда она была еще крохотной девочкой,— и впервые посмотрела на мир широко открытыми, счастливыми глазами.

Отряд спотыкался в темноте, в разъезжавшейся грязи, в выбитых по колено промоинах, полных осенней воды, и сек косой дождь, и разъезжались ноги, и сосед с трудом видел соседа. Не знали: была ли впереди отряда головная часть с пулеметами, или давно рассеялась, либо пошла по другой дороге и потерялась, был ли хвост, или давно пропали и походные кухни, и весь обоз.

Дора шла среди дождя, ветра, среди солдат, невидимо чмокающих в грязи, и с трудом вытаскивала грубые отяжелевшие от воды солдатские сапоги. Обмокшая, свисшая шинель била по коленкам, и с грязной размокшей фуражки сбегала вода по стриженым волосам за ворот, холодя тело.

Отряд шел, невидимо шатаясь в грязи. Упорно сек косой, тоже невидимый дождь. И неизвестно, сколько прошли, и неведомо, когда остановятся... Нельзя было закурить,— все мокро.

Кто-то сказал:

— Ежели Махно налетит,— всем крышка.

Ему не ответили. Ничего не было видно, и не было этому конца и краю.

Солдатик, рядом чмокавший по грязи,— лица его она не могла разобрать,— сказал:

— Слышь, товарищка Дора, садись у повозку. Ей-бо, не дойдешь. Пойдем, посажу. Женщины все едут.

Она мотнула мокрой головой,— он этого не видел в дождевой мути и сам себе сказал:

— Ну и норовистая девка.

И опять все то же; все так же тянется за всеми отчаяние и дошедшая до края усталость.

А когда пришли на ночевку и забрались в сухие теплые домишки городка, как будто ничего этого не было: ни бесконечного иссеченного дождем мрака, ни разъезжающейся под ногами склизкой дороги, ни безграничной усталости. Весело ужинали, заливалась двухрядка, взрывами вырывался хохот, как будто каждую минуту не мог налететь Махно и вырезать всех.

А в школе, где расположился политотдел, набились солдаты. От махры не продыхнешь. Наваливаются друг на друга. От мокро-высыхающей одежды туман. Маленькая фигурка Доры в солдатских штанах, сапогах и гимнастерке совсем потонула среди солдат.

— Ну, что вам сыграть? — говорит она, приподняв чернокудрявую головку.

— Товарищка Дора, вали Грыгу.

— К чертовой маме твоего Грыгу! Вали, товарищка Дора, Ховена.

— Да ну, надоел с своим Ховеном. Опять же немец. Вали Шопена.

Смеющееся и ласковое лицо Доры становится серьезным и далеким. Она берет аккорд, играет седьмой вальс Шопена.

Солдаты слушают, изредка потягивая из кулака цигарку, следят, не спуская глаз, за мелькающими по клавишам пальцами. Любят Дору, берегут. А давно ли ругались при ней матерно, косвенно относя к ней, харкали, топали и сморкались, чтоб заглушить ее игру. Сколько ей бороться пришлось с ними! Она победила.

ДЕВУШКА ГОР

Степи без конца и краю. Едешь день — все степи; едешь два — все степи; а ведь поезд день и ночь бежит без устали,— степи между тремя морями. Наконец устали тянуться,— засинело на их краю.

Не то тучка залегла отдохнуть, не то марево на далеком степном краю.

Горы. И уже не оторвешь глаз. На самом краю растут, как туча.

Несется голубоглазая Теберда, вся в белых кружевах, а кругом горы до самых облаков, а по горам темно-дремучие леса.

Мы останавливаемся: курорт — Теберда и аул Теберда. Живут карачаевцы,— самое древнее племя на Кавказе.

Стройные, в перетянутых черкесках... Кинжалы,— а в рабочую пору отрепанные, босые. Единственный источник существования — скот.

Тебердинское ущелье это — удивительное место для лечения туберкулеза.

Вот идут рабочие, желтые, с потухшими глазами, глядя себе под ноги: туберкулез. Только что приехали. А вот — с веселым взглядом, с крепкими лицами, и живые звонкие голоса:

— На водопад идем.

Эти уже облазили тут все горы, леса. А ведь всего полтора месяца назад приехали с севера с такой же туберкулезной желтизной, с потухшими глазами. Этот горный чистейший воздух чудеса делает.

Лошади, сухие и поджарые, осторожно постукивают по узенькой тропке: внизу далеко-далеко белая гривастая река клокочет между громадами валунов. Слева с трудом лепится по стене лес, обвисли корни, поверху гуляют облака, цепляясь за щелистые острые скалы.

Облако мутно обволакивает нас. Когда проплывает,— вокруг сказочное море синеющих хребтов, и снега блестят грудами. Пустыня. Бродят тут дикие козы, туры, олени, медведи, волки.

Среди этого травянистого моря зачернелось. Подъезжаем. Небольшой сруб, прокопченный, без крыши, без окон,— одна дверь. Внутри костер, и дым валит в дверь. Люди в рваной одежде. Смотрят на нас. Кругом тонут в траве коровы, лошади, овцы.

Это — кош. На два-три месяца подымается сюда семья со стадами. Если внизу в ущелье живут, думают, родятся, умирают полудикарски, то здесь жизнь совершенно дикарская. Отрезаны от всего. Безграмотны. Только — трава, небо, снега, да скот, да дикие звери.

Смотрят на нас. Девушка — с крепко выбегающей из ярко-красного платья шеей. Черные глаза. Лет шест-

надцати, сила просится из крепкого, точно отлитого, тела. Нужно, так и мужика сомнет. Мы с удивлением смотрим: волосы подрезаны у нее в кружок. Это тут-то, в горах, у девушки гор, скованной тысячами обрядов, условностей, вековых привычек, скованной религией и женским рабством.

Она отворачивается и смеется, блеснув ровными зубами,— смеется конфузливо и вызывающе.

— По-русски говоришь?

Смеется, трясет головой.

А старик, оборванный, босой, с коричневым телом от горного ветра и солнца, рассказывает сурово:

— Нехароший девка. Матери гаварил: «Уйду камсамол». Атец гаварил: «Убью». Она гаварил — «Уйду». В ауле приехал балшавики. Она познакомился... Вот...— он показал на ее волосы.— Атец стал ловить, не поймал. Мать стал ловить, не поймал. Братья стал ловить, не поймал. Атец, братья сел на лошадь, стал ловить. Она, как дикий олень; лошадь никак не поймал. Потом лошадь стал ее хватать. Она завизжал и к энтой скале. Вскочил на край, руки поднял, а от краю — ух, вниз... река шумит. Атец астановил лошадей, братья астановил лошадей. Атец заплакал, бросил лошадей, пашел домой без шапка — очень любил девка.

Он грустно замолчал. Потом, покоряясь, добавил:

— Зимой поедет школа Баталпашинск. Прапал девка... Девка хароший был: на лошади скакал, скот убирал, волков гонял.

Девушка внимательно глядела на старика. То сводились брови, то смеялись глаза,— понимала, что о ней.

— А теперь атец баится ее брать,— живой не пайдет домой, только мертвой.

— Пусть она споет песню.

Старик сказал ей. Она засмеялась, быстро спрятала лицо в ладони. Глянула на нас, опять засмеялась, потом стала серьезной, отвернулась и стала глядеть на зеленое море трав, на белеющие островами пятна снега, на ледниковые громады, от которых тянуло холодом. Потом поднялась, не взглянув на нас, ушла в кош и стала с чем-то возиться у дымившего из дверей костра. Опять пришла, села. Полуотвернулась, отгородилась ладонью, лукаво блеснула глазами сквозь растопыренные пальцы; потом лицо стало строгое, и она запела.

И грудной голос, глубокий и сильный, и непонятные, чуть гортанные слова были сродни зеленому морю трав, белеющим пятнам снега и ледниковым громадам, которые дышали тысячелетним холодом. Из коша с черно-бархатными от осевшей копоти стенами дым сине выливается в двери. И голос разносится далеко... Козы цепляются по скалам...

...Когда мы садились на лошадей, девушка показалась из дымных дверей, подошла и, отвернувшись и прикрывая слегка лицо ладонью, протянула нам три горячие еще, только что испеченные в костре яйца. В горах это дорого стоит,— лакомство; куры-то у снегов не водятся.

Мы предложили денег. Над черными глазами сползлись брови, и, раздув ноздри, она ушла в дым коша, не взглянув.

Верст двадцать наши кони сторожко постукивали подковами по петлистым тропинкам, по горным дорогам вдоль извилистых ущелий. А когда выехали к шумящей Кубани, ахнули: среди дубняка торопливо мелькало красное платье. Комсомолка быстро спускалась, ловко перепрыгивая по скалам...

— Как это вы успели?..

Она засмеялась. Сильная грудь быстро подымалась. Рядом с ней стоял юноша. Он сказал по-русски:

— Прямиком, а вы в объезд.

Потом, весело глядя на нас, добавил:

— Я тоже комсомол.

— Что же ваши старики?

— Не любят... У нас попы есть, муллы, не велят, а мы смеемся...

Он засмеялся.

Девушка протянула руку:

— Город строят нам...

Я глянул вниз. В раздавшемся ущелье, около бешено несущейся Кубани, среди скал, лесов — дикие места на многие сотни верст и... город строится. Город строится на голом месте: подымаются желтеющими срубами, пока еще без крыш, больница, народный дом, дом исполкома, народный суд,— словом, будущий город. А кругом — пустыня гор, леса, венчанные снегами вершины и девушка в красном.

Ну и жарит! Судорожно, знойно трепещет все: и иссохшее, бледно-недосягаемое небо, и дальние увалы бесконечно разлегшейся, тоже иссохшей степи, и забытое белое облако над краем, и соломенные хаты,— тронь спичкой, сразу все огненно забушует. Кони исступленно отбиваются от мух и слепней, не трогая наваленного сена.

Вчера в леваде за хатами с врангелевского аэроплана разорвалась бомба. Разнесло двух лошадей, санитарную повозку, переранило красноармейцев, мирно сидевших поодаль за котелком. Сестру убило.

Я лежу на спине под изуродованной, израненной вербой — кора сорвана — и гляжу сквозь переломанные обвислые ветви в побелевшее от зноя небо. Наша артиллерия ухает за хутором, сотрясая землю, отдаваясь в груди и голове. А вражья — глухо, как далекий гром, оттуда, где застряло за краем белое облако,— снаряды рвутся версты за три от нас над громадно разлегшейся балкой. Там залегли наши цепи.

Мне ребята сказали:

— Ничего, лежи. Он бомбу бросит, улетит, тут самое мы и лезем в холодок, куды кидал; думает, побоимся, и не трогает, другого ищет.

Ротное прикрытие рассыпалось по хутору. За вербами речонка — одна тина, а в ней свиньи подрагивают ушами от мух. Жителей не видать.

Идут двое красноармейцев, молодые. Сожженные дочерна щеки втянуло. Один — высокий, черный, с длинным лицом, а другой — русый. Не видят меня. Прошли, хрустя опавшим, заскорузлым от жары листом, сели на корточки, стали крутить.

— Ты, товарищ... одно слово, ссёть мене тоска — хочь в лепешку разбейся.

Другой молчал, все так же на корточках. Провел языком, склеил, сломал собачью ножку, насыпал махорки, прикурили друг у друга.

— Нечево кричать, коли еще не бьют.

— Да как же!.. Вот ведь... кабы так, а то ведь женился. Кабы как-нибудь, а то вот она где,— русый стукнул себя в грудь, будто пробить хотел.— А? Товарищ!..

— Как было-то?

И высокий, равнодушно затянувшись, сжег собачью ножку почти до перелома.

— Ды как!

Тот, что пониже, докурил, выдул на листья изо рта остаток цигарки, сел, придвинул колени и обнял их.

— Как! Кабы что, а то ведь...— И вдруг запрокинул голову, закричал:

— Гля!.. гля!.. Должно, наш...

Высокий тоже запрокинул голову. Стали глядеть в изнеможенное, пожухлое от зноя небо. Черно распластавшись высоко под маленьким забытым облачком, плыл аэроплан. Да вдруг грохнуло, дрогнула утроба земли; около аэроплана родился белый, медленно тающий клубочек.

Красноармеец вскочил на колени с все так же задранной головой.

— Врангель!.. А-а, сволочь!!

А земля продолжала содрогаться, и белые клубочки рождались все ближе и ближе к черно плывущему коршуну. В стороне загрохотала непохоже на орудийный удар сброшенная бомба. Да, видно, невтерпеж стало, коршун нырнул в облачко. Зенитные смолкли.

Красноармеец опять охватил колени, и непроходящей тоской зазвучал его голос, как будто не летал вражий аэроплан, как будто кругом мирно дрожал зной, а вдали сухо погромыхивал летний гром:

— Кабы так... А то ведь не то, что побаловался ды бросил. Женился... Ну, одно слово, по чести. Что ж, и тут бабы... которая и ластится, а я без внимания — только ее одну, так бы и полетел. А тут — на, письмо — гуляет с австрияком, военнопленный у нас.

— Брехня!

Красноармеец вскочил на колени:

— Отец пишет, кабы кто! Он ее кохает, как свою дочь. Стало быть, от рук отбилась, ежели написал, а то все таился — он у меня справедливый.

Замолчали. Я смотрел на ротного; он опустил голову и мял сухие листья. И заговорил:

— Чудак! У тебя, что ли, одного? Да у меня вовсе жена сбежала... С бывшим офицером...

Красноармеец обрадованно закричал:

— Нну-у!.. И у тебя?!

Тот спокойно стал рассказывать о своей семье: как встретился с девушкой, полюбили друг друга, зажили счастливо, а потом... с бывшим офицером... Конечно, горько... А потом приходит, прости, говорит, сама не знаю, как вышло... одного тебя люблю...

— Во-во! — радостно говорил красноармеец.— Ну, а ты чего же?

— Да что, говорю: «Ежели любишь, давай жить». Теперь — ни сучка ни задоринки.

— Во, во, во...— заторопился красноармеец,— вот и я так: ворочусь, ежели бросит его, спокается, скажу: «Ну, ладно, чего уж вспоминать...»

Они долго сидели и тихо говорили.

А ведь у него никакой семьи нет и не было, у ротного-то,— один как перст. Я его отлично знаю по Москве.

...Далекая неприятельская батарея все ухала. Двое поднялись и ушли. Я тоже пошел.

Бежит знакомый красноармеец. Еще издали машет рукой:

— Скорее садитесь на лошадь да уезжайте! Казаки наступают в обхват...

Мимо шла рота. Шагал ротный. Да разве это тот, что полчаса назад сидел с красноармейцем в леваде? Нет, это — не он. Он, и не он. На лице легли железные складки. И я видел, и я знал, что, если бы давешний красноармеец — вот он идет во втором взводе,— что, если б этот красноармеец хоть малейше погнулся в дисциплине, он, ни секунды не промедлив, уложил бы его из маузера. Он видел и знал только одно — там, далеко подымающихся наизволок казаков.

Вечером в тылу, где стоял штаб, подвозили раненых (казаков отбили), раненых и убитых. Раненых перевязывали в поповском доме. Убитые лежали в поповском саду на пожелтевшей траве, в ожидании, пока сколотят гробы.

Я прошел в сад. У края лежали ротный с красноармейцем.

Перед глазами, не потухая, стоит левада и они сидят на корточках, курят собачьи ножки.

А теперь лежат с спокойствием смерти на молодых лицах, лежат два брата.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Я попал на врангелевский фронт, в расположение 2-й конной армии.

Только что кончился бой. Зной насыщен запахом мертвечины. Валялись изуродованные лошади, в щепки разбитые двуколки. Деревья небольшого леска стояли голыми жердями, без ветвей; ветви грудами завалили корневища: сюда истошно била вражеская артиллерия и без устали сбрасывали бомбы аэропланы. Мертвых и раненых подобрали. А зной все еще насыщен мертвечиной.

Под горой наша невидимая батарея изредка гукала по перестраивавшимся где-то на горизонте неприятельским частям. На старом степном кургане — группа красных командиров. Кто сидит на корточках, скучно поковыривая палочкой муравьиное гнездо, кто смотрит в бинокль на далекого неприятеля. Другие курят стоя. Молодой, безусый на одном колене разглядывал разостланную на истрескавшейся от зноя земле карту. Я поднялся на курган.

— Если начнет бить, на этом кургане жарко станет,— сказал командир, с серым, бессонным лицом. И, закурив трубку, в которой была набита какая-то трава — табаку не было,— добавил: — Сегодня ночью нас здорово потрепали. Во-он на каких возвышенностях мы были, а теперь сюда откинули — это верст десять.

— Перевес, что ли, большой у белых? — спросил я.

— То-то что нет,— проговорил он, сердито поколотив трубкой о каблук.— Казаки ночью налетели, а конная бригада — черт знает что с ними сделалось — в панике кинулась врассыпную. Ну, на фронте и дыра. Казаки и поперли. Еле-еле заткнули. На десять верст нас откинули.

— Отчего же это они так?

Он злобно выкатил на меня рачьи глаза:

— Оттого!.. Расстреливать надо десятого! — и повернулся ко мне спиной, как будто я во всем был виноват...

— Знаете что,— сказал мне товарищ из политотдела,— поедемте в эту бригаду. Мы отвели ее в тыл, чтоб дать оправиться. И просьба к вам. Там у нас театр передвижной играет, вызвали для них. А вы им почи-

тайте что-нибудь. Надо ребятами заняться. Ведь уж — сказать по правде — двое суток без хлеба сидели: подвозу не было. Ослаб народ. Да и политически ненадежны.

Машина неслась в горячей пыли. Раскаленная степь уносилась. Промелькнул Павлоград, где — штаб армии. Вот и село. Бригаду привели в большой поповский сад. Ребята густо уселись на земле. И так же густо облепили все деревья, как серые груши. Я вгляделся: босые, без шапок, в рваных портах и рубахах — здорово смахивали на бандитов. Сожженные, исхудалые лица, но веселые, оживленные; шутки, смех, прибаутки, как будто над ними не тяготел позор бегства с поля битвы. Я прочитал рассказ из красноармейской жизни. Громадный поповский сад налился тишиной. Не слышно было этих людей. Только золотисто звенели пчелы.

Вечером был спектакль. Пьеса из времен великой французской революции. В дощатый театр рвались с кулаками — чуть не разнесли.

— Дней через десять—двенадцать думаем бригаду опять двинуть на фронт. Рассчитываем — подтянется к тому времени.

«Нет,— думал я, когда машина уносила нас в звездной мгле,— нет. Уж очень они на бандитов похожи».

Я крепко спал, когда в окно так застучали, что стекла зазвенели.

— Что такое?

Отдаленно ухнуло орудие.

— Скорей одевайтесь! — голос товарища из политотдела рвался.— Захватите оружие. Дорогой расскажу.

Мы бежали, спотыкаясь, по черной немой улице, и собаки, заливаясь, рвали нас за сапоги.

— Махно напал. Громадная банда. Два орудия. Множество тачанок с пулеметами. Знает, у штаба нет прикрытия, а бригаду он и в счет не берет, у него тут шпионы везде. Метит захватить штаб, обезглавить, тогда пропала армия.

И мы продолжали бежать, задыхаясь. В окнах ни огонька. Чернота затаилась. Лишь собаки.

— У него тут полно шпионов. С бригадой опасно — может передаться. Тогда все пропало.

«Да, лица-то бандитские...» — мелькнуло опять у меня.

Двухэтажный дом политотдела сверху донизу был освещен. По лестницам торопливо бегали, наваливая на дожидавшиеся подводы дела, литературу,— надо было спешно отступать.

В черноте то разгоралась перестрелка, то никла, задавливаемая утробным буханьем орудий.

И вдруг огни в окнах побледнели, а небо посветлело. На всем карьере всадник осадил покатившуюся на задних ногах взмыленную лошадь и заорал хрипло, как будто не хватало воздуха:

— Отби-или!!

Все ахнули: да ведь утро, и не слышно ни одного выстрела.

Через минуту мы неслись на машине. Солнце косо хватало через всю степь. Жаворонки надрывались, трепеща. И беспричинно трепетала в них радость.

В бригаде расседлывали запотевших лошадей. Стоял говор, смех, шутки. Какие славные молодые лица! Как будто ничего не случилось.

Я схватил за руку товарища из политотдела.

— Но скажите, скажите, как это могло случиться? Ведь никудышная была бригада!

Тот молча посмотрел на курившиеся костры, послушал гомон лагеря.

— Что же тут такого: в бригаду влили красноармейцев-партийцев. Они с ними спали, пили, ели, вели работу, дрались и умирали вместе. Красноармеец-партиец — это великие революционные дрожжи.

И в волнении срывающимся голосом крикнул:

— Вы же поймите: у Махно около двадцати пяти тысяч было — раздавить мог!

А поле красно дымилось над посеченными махновцами. Разгоралось солнце. Неподвижно лежали красноармейцы в окопах. Их уносили на носилках.

БРИГАДИР

Мы сидим с ним в горячей голубоватой тени наметанного скирда. Вдали недвижно стоят два комбайна. Земля голубовато парит. Комбайнеры, трактористы — кто раскинулся на еще сыроватой земле и тяжело,

лицом вниз, спит, кто, полуголый, латает рубаху. Ждут, пока подсохнет хлеб после бурного ливня, чтоб опять закипела работа.

У него свислые усы и ослепительные зубы. А на бронзовом лице навсегда застыла не то непотухающая дума, не то навеки неизбывное воспоминание. Он — крепкий, умелый, никому не спускающий бригадир.

— Так что, товарищ Сарахвимыч, зубами от смерти отодрался.

Я глянул, зубы у него блеснули из-под усов. А лицо все такое же твердо застывшее, и никогда не смеющиеся глаза. Ему под пятьдесят.

— Как это? Когда?

Он поглядел вдаль. Степь все так же голубовато дрожала и волновалась.

— В восемнадцатом... Это каким оборотом... Усть-Медведицкую станицу белые брали. Навалились с Усть-Хопра. Дон разлился, наши не могут подмоги подкинуть. Попы на колокольне Воскресенской церкви пулеметы вправили, белые строчат оттель. Из-под пирамиды ихняя батарея глушит. Наши на пароме ды на баркасах на ту сторону вдарились. А так и видать, ложатся, ложатся головы, и винтовки на пароме, как подкашивает,— с колокольни-то далече берет. Под энтим берегом не выдержали наши, стали сигать в воду. Много унесло. А какие добрались до земли, мокрые, без винтовок, побегли. Берег открытый, как на ладони,— тоже много полегло.

Нас, человек восемьдесят, за станицей к Брехунье прижали; хотели садами отступать. Да сам знаешь, сады в половодье до краев заливает. Некуда податься. Прикладами отбивались. Мне в голову приклад пришелся. Память отшибло. Очунелся, гляжу: на мельнице лежу, и товарищи,— паровая мукомольная на горе, возле кладбищенской церкви. Белые хлопочут округ нас, раздевают догола, вяжут проволокой парами рука к руке. А ночь. Ну, думаю, стало, решать нас будут. Наши тоже видят: конец приходит. Которые молчат, кто матюкается, а есть и плачут.

Чуть посерело, стали выводить человек по двадцать. Слухаем. Застрочил пулемет, а потом замолчал. Екнуло... Эх! Ну, все одно. Тихо стало. Вошли белые, одни. Вывели другую партию. Опять протрещал пуле-

мет. Так — три раза. Наконец того подошли к нам с товарищем. Мы в последней партии. Товарищ ослаб,— в ногу раненный был; рана нечижолая, да крови потерял много. Вывели. Ночь хочь глаз коли. Только на бугре черная церковь призначается,— небо за бугром сереть стало, вот и видать. Товарищ на руке почитай повис; тяну его на себе. А сзади белые казаки прикладами подбодряют. Подошли, стали. Попробовал ногой, чую, обрыв,— это пониже кирпичного завода. Холодный барак. Тут пулемет заработал. Я как рвану товарища, мы и полетели. Вдарились, аж в голове загудело; кругом стон, крики, хрип. А на нас все глину сверху сыпют. Я это все голову кверху подымаю, все подымаю, чтоб не засыпало. Слышу, голос наверху,— должно, офицер:

— Черт с ними, бросай. Завтра досыпем ды притопчем, чтоб не воняли, собаки.

Слыхать — пошли.

Никто не стонет. А все видней да видней. Отгреб с себя глину, стал товарища тащить, а он не ворочается, и рука, которая к моей прихвачена, холодеет. Сгреб с его лица глину. «Ваня, говорю, а, Ваня!» Молчит. Ну, пропал! Подтянул я его руку к роту, стал грызть проволоку, прямо, как кобель. Грыз, грыз, в роте солоно стало, полон кровищи. А я все грызу, а над бараком [1] все светлей ды светлей. Видать, обрыв. По дну глина насыпана, иде рука, иде нога торчит. А я прямо озверинился, рву зубами. Да проткнуло концом щеку,— разошлась проволока. Отвертел с руки,— слободный! Поднялся, шибануло, замлело во мне все. Полез по глине, по товарищам, а они холодные. Попробовал вылезть по обрыву,— прямо стена, сорвался. Ну, заспешил по бараку, а над бараком все светлей ды светлей... Кочета кричат, собаки брешут. Что есть силы бегу. Уж близко к Дону. Глядь, баба идет с ведрами к колодезю. Как глянула — бряк с коромысла ведра: человек не в себе,— в чем мать родила. Заголосила: «Ой, нечистый дух!» Ды вдарилась бежать. А я — себе. Прибег к Дону, бултыхнулся, поплыл. Полая вода холодная, несет; не успел оглянуться, далече пронесло, станицы уж не видать. Ну, ды это хорошо: людей близко никого, а только слабнуть стал, насилу-насилу огребаюсь одной

[1] Барак — на Дону — луг. *(Прим. автора.)*

рукой,— другая от проволоки занемела. Солнце над лесом поднялось. Эх, увидит кто,— крышка! Выполз на карачках ды в лес.

До ночи лежал, все руку тер,— почернела. Ну, ночью по лесу крадучись пошел. Кажную минуту остановишься, послухаешь и опять. Два дня шел, не ел, только пил. На третьи сутки шататься стал, в голове все звон; думаю: «Ай заблудился». В церкве звонют. Под утро вышел из лесу; глядь — хата. Девка увидала, кинулась в дверь, щеколдой хлопнула. Вышел мужик, пронзительный глаз, такой сурьезный, черная борода. Долго глядел: «Ты, говорит, божий чоловик, шо ж в одной коже блукаешь, как Адам? Дэ ж тоби Ева?»

Я молчу. Ну, думаю, один конец. «Два дня, говорю, не ел». Он постоял, пошел в хату. Ну, думаю, пошел за топором али за вилами,— в станицу погонит. Выходит, несет ножик да мешок. А я попятился: «Неужто в мешок будет загонять?» — «На, говорит, режь углы, для шеи вырежь дирю. Ишь, говорит, всю шкуру ободрал в лиси, як свежеванный баран, увесь в кровище». Вырезал я дыри, надел мешок, а он девке велел краюху отрезать. Принесла она полхлеба, фартуком закрывается, а сама вполглаза на меня дивуется. А мужик говорит: «Козаки из станицы конные швыдко по шляху пробигли, всэ якого-то нидоризанного шукалы. Ты, чоловиче, переправься на той бок Медведицы, тай тягны до чугунки,— красные пид Себряковой хронт держуть». Ну, к ночи я и к своим прибился. Отлежался в лазарете, а там — наступление. Попы опять с колокольни из пулеметов. Из саду батарея бьет. Дон-то давно обмелел, мы его с маху. Ворвались в станицу, белые наутек, как мы весной. Ну, я минутку улучил, в свой курень забег, отворил дверь, ды... ды... Что же это, брат ты мой!..

Он поднялся, постоял, как дуб, постоял, прямой, широкоплечий, потом сел. Я быстро глянул на его лицо. Оно было спокойное и неподвижно-бронзовое. Он сказал:

— Отворил в сенцы дверь, а на пороге жена лежит, юбки задраты, ноги голые, одна рука отрубленная... А сыны в кухне лежать, одному — девятый годок, а старшему — тринадцатый. Соседи собрались, рассказывають — мучили их все время, с той поры как я убег,

а когда мы ворвались в станицу, их и прикончили. С той поры пленных не брал. Сотней командовал, ссадили из-за этого самого. Два раза под суд отдавали, расстрелять хотели; нет, не брал пленных!

Он помолчал и спокойно сказал:

— Теперича у меня другая семья...

Долго смотрел на край степи, дрожавшей знойной дрожью, и вдруг оглушительно заревел и поднялся,— мне показалось — земля подалась под ногами:

— Ахвонька-а!! распротак тебе перетак... Опять за свое?! За́раз запишу штраф...— и полез за записной книжкой.— Иде ж она?

Афонька, молодой парень, тракторист, черный как бес, от масла, сажи и металла,— только глаза и зубы блеснули,— торопливо затоптал черной босой ногой цигарку, подошел и, ухмыляясь белыми зубами, сказал просительно:

— Не пиши, Иван Семеныч, и так в штрафах весь, как в репьях. На получке ничего не достанется.

А тот опять загремел на всю степь:

— Кто курить будет на стану, разорву напополам!..

— Ну, прослабишься...— отозвался комбайнер, голый до пояса, и кожа блестела потом, чернотой,— кругом мокрота, а он...

— И тебе штраф!..— загремело по степи.— Не сбивай народ...

Огромный, бронзовый, пошел в будку за книжкой. Трактористы, комбайнеры столпились.

— Вот сатана зубастая! Сам же видит: кругом парит, все волглое, и работать нельзя,— хлеб полег...

Бригадир вернулся.

— Марш по машинам! Проверить на ходу!..— И, обернувшись, закричал стряпухе:

— Чтоб обед был за́раз готов, на дуб сонце подымается, работать начнем,— и пошел, такой же стройно-тяжелый, спокойный, за расходившимися к черневшим машинам трактористами.

— У-у, сатана!..— сказала стряпуха и поправила платок.

И вдруг ее потная и красная физиономия разъехалась до ушей.

— А осень придет, мы его качаем. Вот в прошлом году качали, ды чижолый какой...

— За что же качали?

— А как же? У всех трактористов премия за экономию горючего. У людей только приступают к уборке, а мы кончаем. У людей — потеря хлеба, а мы зернышка не упустили. Как же, качали! Я все руки пообломала — чижолый, окаянный, как медведь...

Она глянула на подходившего от машин бригадира, сердито поправила платок и побежала к печке под навесом, пробурчав:

— У-у, зубастый черт...

Бригадир сел на прежнее место и молчал, вслушиваясь, как пробно ревели моторы на месте. Потом сказал:

— Несознательная публика... Хлеб подсох, можно начинать.

Опять помолчал и сказал спокойно:

— Вот и я такой несознательный был. Веришь, Сарахвимыч, как закрутились колхозы, я ведь не думал, что работать лучше будет, машины... Думал: «Наши деды, отцы без колхозов жили, и не хуже жили». Но, между прочим, в колхоз вступил. А почему? А все потому же: все ждал схватиться с беляками. Даром что в Черное море их спихнули, а все думалось: как бы опять не пришли они к нам с тамошней буржуазией. А у мене замест мобилизации — колхоз. Прямо бери — видал, какие молодцы! Сажай на́ конь и в атаку. А то это покеда мобилизация, да сборы, да съедутся, много воды утекеть. А тут сразу все готово: мобилизованы,— колхоз...

Он вздохнул, в первый раз вздохнул:

— Несознательный был. Теперь все по-иному...

И, помолчав, глухо сказал:

— У меня теперича семья другая.

Поднялся, стройный, тяжелый:

— Пообедали. Ишь заревели. Пойтить...

И пошел. Жнивье хрустело. Голубоватость над степью пропала.

Струился зной.

В ДЕРЕВНЕ

ВРАЖЬЯ ЗЕМЛЯ

I

Как глянешь на двор — кажется, очень богатый человек и, видно, земли много.

Весь двор заставлен двухлемешными плугами, железными боронами, молотилкой, сеялкой, огромными арбами на железном ходу; под длинными навесами — добрые возовые быки, пар восемь, да столько же лошадей, да куры, гуси, свиньи, овцы — дом полная чаша.

Но это обман.

Сам Карп — здоровенный старик, лет шестидесяти, с крепкой сивой бородой. В плечах косая сажень, быка на колени поставит. Лицо, черное от степного солнца, ветра, пыли, будто из нефти выделано.

Под стать и четыре сына. Старший, Михайло, так же крепко сшит, как и отец, тоже быка сломит.

Второй, Осип, не ужился, ушел своей доли искать где-то на шахтах.

Двое младших еще безусые, но кулаки, как кувалды, и в работе — за троих.

Старая длинная измученная женщина — горе, нужда изрезали лицо.

Невестка, жена Михайлы, с ребятишками, все ходит беременная, и все работает не покладая рук.

А живут в маленькой избушке, будто наспех сколочена, будто задержались тут не надолго.

Оно и правду сказать: никто из них не знает, долго ли тут просидят.

Лет сорок тому назад пришел Карп из Воронежской губернии двадцатилетним парнем и с тех пор исколесил

все степи от Азовского моря до Волги, все искал ласковой матки-земли, ласковой доброй кормилицы, да не находил — все была мачеха.

То без конца и краю тянулись панские десятины, то казенные, то войсковые, а то кусочка, маленького кусочка земли не находилось — до него все расхватали.

Тогда сел он на чужую землю и стал жилы из себя тянуть. Думал: набьет денег, сколотит, купит себе кусок в вечность, чтобы и детям пошло. Любил он землю, как живую, берег и лелеял и радовался на нее.

Но земля — хитрая, всю силу забрала у человека, всего высосала, а ему умела ничего не дать. И как приходил на нее человек с голыми руками, так и уходил.

Так с Карпом. Прежде ходил с участка на участок, один, потом женился,— с женой, потом пошли дети,— целым семейством. И все труднее было, все туже, все голоднее.

Железный человек был Карп. В работе ожесточилось сердце его, возненавидел землю.

— Бедному человеку земля — враг,— говорил он.

Прежде, бывало, наткнется в лощинке на хороший кусочек и думает любовно:

«Эх, местечко хорошее. Ежели не запускать его, беречь, отдых давать, кормилица вовек бы была».

А теперь глянет злым глазом:

«Ага... подряд два раза лен снять — и к черту... Али пшеницей замучить ее...»

Так и стал делать. Высмотрит участок, снимет и дальше идет искать человека с деньгами, который пошел бы с ним в игру.

Находит.

Карпа знали за железного работника, да и сыновья у него — добрая сила рабочая. Верили ему, приведут быков, лошадей, откроют кредит на складах. Наберет там молотилок, косилок, плугов, сеялок и начинает сосать землю. Всю высосет дотла, потом бросает, как выжатый лимон, и идет искать свежую, а тот участок лежит замученный, истощенный, обобранный.

— Мне нет доли, пущай и ей не будет,— говорил Карп, злобно оглядывая напоследок бросаемый участок, из которого все выпил — одна зола осталась.

Как степной коршун, как хищник, ходил он по степи.

А счастья все не было. То выпадет урожай, все покроет, останутся на руках деньги, сам заведет хозяйство, то обманет земля, спалит зной хлеб, и опять останется человек с голыми руками.

И опять наберет в долг, опять кредитуется на складах, опять каждую неделю приезжают к нему агенты от фирмы проверять — все ли взятые машины целы.

Вот и этот двор заполнен машинами со складу, стоят быки и лошади, на которые дал денег маленький человек с бегающими глазами, Трофим Иванович. Ему же половина урожая.

Когда косили пшеницу, Трофим Иванович глаз не спускал, все копны пересчитывал: не утаил бы Карп.

Если склад забрал бы орудия, если б Трофим Иванович угнал быков и лошадей — оказался бы пустой двор у Карпа, только бы ребятишки Михайловы бегали.

II

На току у Карпа — ад кромешный.

Гудит паровая молотилка. Потные, с красными измученными лицами бабы, завязанные по самые глаза платками, без перерыва, едва поспевая, подают в барабан охапки пшеницы. Сухой, горячий ветер треплет пропотелые бабьи рубахи, платки, выбившиеся волосы; вырывает из рук солому, несет пыль, крутя ее столбами, до самого распаленного мутного неба.

А в двадцати шагах гудит паровик. Снизу из-под колосников ветер рвет пламя и искры. Паровик ставят под ветром, и искры уносятся и гаснут в пустой степи, а то бы от скирдов ничего не осталось.

Такие же пропотелые, завязанные бабы и мужики — их человек тридцать — сносят и торопливо, ни на секунду не останавливаясь, набивают отработанной соломой раскаленную ненасытную топку. Но сколько туда ни набивают тугих бесчисленных охапок, палящее чрево все пожирает моментально, втягивая в бушующее пламя, и опять прожорливо глядит ненасытно разинутый рот.

Из трубы рвутся клубы черного дыма, и ветер крутит и несет далеко по степи, словно с пожарища.

Тяжелый, саженей на пятнадцать, ремень несется от махового колеса, тяжко колеблется по всей громадной

длине до самой молотилки,— так, что воздух от него гудит ураганом и крутит пожирающий пшеницу барабан.

А к барабану все тянутся скрипучие, качающиеся возы, похожие на скирды, доверху груженные скошенной пшеницей. Быки в ярмах мотают рогатыми головами, отбиваются от наседающих мух и слепней.

Ни на секунду не останавливается эта безумная напряженная работа, и когда измученные, падающие от усталости бабы уже не в состоянии двинуть рукой, их заменяют другие, а те, отойдя немного, валятся и засыпают тяжелым, мутным сном под палящим солнцем, и мухи облепляют их, как мертвых.

Оттого, что так все напряженно, ни на минуту не покладая рук, работают, из желоба с грохотом трясущейся молотилки золотой струей течет вымолоченная, отвеянная, чистая пшеница.

Бабы и парни торопливо подставляют мешки, и в них льется золотая струя. Мешок тяжелеет, тяжелеет, пока до самого верха не вырастет живая золотая грудка. Мешок оттаскивают, завязывают, а там уже новые подставляют, и несколько человек непрерывно оттаскивают измятую, оббитую от зерна солому и таскают к паровику.

— Э,— кричит Карп,— ай заснули?.. Поворачивайся!.. Ну, живее!..

Некуда живее — все рвутся из сил, да и не зазеваешься: ни на секунду не переставая, мчится, тяжко колеблясь, огромный ремень, и все, косясь, подальше обходят его — чуть заденешь одеждой, рванет, и нет руки или ноги, а то мгновенно втянет в маховик и выбросит кровавый ком вместо человека. Гудит и крутится осатанелый барабан, требуя все новой и новой подачи, и суют туда охапки задыхающиеся от жары, от густой, подымающейся над молотилкой пыли люди. И пожирает пустую солому топка, и льется, все льется золотым ручьем пшеница.

Уже стоят готовые, крепко кованные железными шинами, длинные арбы, и, ухватив пятипудовые мешки за уши, парни быстро и ловко вскидывают на них. Добрые, хорошо откормленные кони нудятся от мух, нетерпеливо стукая копытами. А маленький человечек

с бегающими глазками считает и записывает в книжку мешки.

Вот уже доверху завалена тяжелыми мешками арба. Подходит Карп.

— Ну, с богом. Прямо на ссыпку. Деньги получишь, у грудях привяжи, кабы не потерять. Шкворень положи с собой, мало ли что с деньгами-то. У плотины напоишь. Ну, с богом.

Средний сын Карпа, Николай, влезает на арбу, сует под себя концы ременных вожжей и трогает. Добрые кони сразу берут тяжко вязнущую колесами в пашне арбу, дружно вывозят на дорогу, и по крепкому грунту бегут рысью, плотно влегши в потные хомута.

Солнце стало сваливаться к желтеющему жнивью, но палит нещадно.

Карп постоял, проводил глазами убегающую арбу и, когда она пропала за бугром, пошел к молотилке.

И опять он везде, то с бабами отгребает отработанную солому, то носит ее к паровику, то подает в барабан пшеницу или, весь красный, мокрый от жары, набивает солому в раскаленную топку. Понукает волов, подвозящих к молотилке пшеницу, наливает сыплющимся зерном мешки, ни одного работника или работницу с глаз не спустит. Ни одной минуты нельзя упустить: сто двадцать пять рублей в день за паровую молотилку, а ведь убрать сто десятин. Да рабочих человек пятьдесят. Никто не знает, когда Карп отдыхает, когда руки опустит, когда глаз заведет — железный, что ли?

— Эй, Никифор, садись на лошадь, гони в Зуевку, сбивай рабочих, ночью будем работать,— месячно нонче и ясно, вишь, небо чистое.

Никифор, длиннорукий, с таким же почернелым, как у отца, от солнца и степного ветра лицом, постоял и сказал хриплым степным голосом:

— Кабы чего не было, батя... ночью-то молотилка много портит народу.

— Тебе говорят!..— заревел Карп так, что на минуту заглушил гудевшую молотилку.

Парень покорно повернулся, поймал стреноженную лошадь, распутал, навалился брюхом, болтая ногами, сел и поскакал.

— Смолы да пеньки захвати! — гаркнул вдогонку старик.

— Ладно,— мотнул головой, не оборачиваясь, сын, вскидывая ногами и локтями на скачущей лошади.

Опять старик везде, где ни посмотришь. Все тот же гул барабана, частые вздохи вырывающегося из паровика пара. Несется, гудя разбегающимся воздухом, тяжко колеблющийся ремень, и застилают степь, солнце, дальнее жнивье и небо черные удушливые клубы дыма. Степная фабрика.

Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по степи от дольных курганов, от скирдов, от копен. Даль поголубела. Затренькали ночные кузнечики. Потянули на ночлег утки, грачи. Стало пахнуть сухой, остывающей степью, чабором, спелым, ядреным пшеничным зерном и пахучим конским навозом.

Но около молотилки все это заслонял запах гари, перегоревшего масла, набирающаяся в нос, в горло, в глаза тонкая сухая соломенная пыль, дым, сквозь который склоняющееся солнце и степь казались коричневыми, и гудение безумно несшегося ремня, и грохот барабана, и металлическое дыхание рвавшегося пара.

Люди, которых ни на минуту не отпускала от себя машина, ничего не видели, не чувствовали — ни спокойствия готовившейся ко сну степи, ни остывающего неба, ни усталого доброго солнца.

А маленький человечек все ходит, все ходит, все смотрит, все записывает мешки.

Когда высыпали звезды, показался Никифор: на двух длиннейших арбах доставил прямо с наемки рабочих. Держась за грядки, выглядывали в красных и белых платочках девки, парни в картузах, были и бородатые мужики.

Как только подъехали, Карп гаркнул на всю степь:

— Сменяйся!..

Те, что возились возле молотилки, отошли, а которые приехали, стали так же торопливо-напряженно подавать пшеницу в барабан, отгребать отработанную солому, таскать ее в топку, подставлять мешки под золотой ручей зерна, и тяжко и грозно колебался огромный ремень, со свистом гоня воздух.

В разных местах закраснелись огни под котлами,— жгли солому и кизяки.

Не было слышно ни голосов, ни смеха, ни шуток, как в давние времена; каждый устало ложился где попало,

на искромсанную, изорванную солому, и засыпал, и ужина не могли дождаться.

Степь засыпала молча, печально, вся задавленная несущимся грохотом паровика и молотилки.

Взошла луна. Степь вся серебрилась и по-ночному хотела ожить, да не могла — коричневый дым съел и месяц, который порыжел, и ночную, облитую сиянием даль, которая дымно помутнела, и приехавших людей, которые смутно и неясно метались в грохоте.

К полуночи, когда месяц обошел степь и стал светить с другой стороны, небо обложилось тучами, бездождными, сухими, невидимыми, и стало черно.

— Гей, хлопцы,— крикнул Карп,— несите паклю, засвичайте!

Засветились дымно-красные факелы, и далеко по степи побежали судорожные тени. Лилось багровое пламя, и на секунду выступал черный, выбрасывающий клубы дыма паровик, несущийся ремень; то люди, торопливо подающие в барабан пшеницу, то степь открывалась далекая, молчаливая, то низкие, сухие, подернутые кровью тучи, а то вдруг и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в черном мраке, и лишь бежали гул и грохот, и снова вспыхивало, струилось и металось пламя, и багрово мерцали тени и машины.

А маленький человечек все ходит, все считает, все записывает мешки.

Ночь течет над степью, багровая, усталая. А Карп не смыкает глаз и везде поспевает, быстро проходя у самого гудящего, обдающего ветром ремня.

Звериный крик на секунду все покрыл — и гудение ремня, и грохот барабана, и взрывы пара — и оборвался. В первый момент никто ничего не понял. Видели только, как что-то большое и черное, переворачиваясь, взлетело над маховиком и тяжко ударилось оземь.

Бросились туда. Хозяин корчился на земле, в нескаванной муке вцепляясь пальцами в землю и дергая одной ногой. Другой не было. Вместо нее из паха била кровь, и земля, напитываясь все больше и больше, чернела.

— Ой, горечко! — кричали девки, сбегаясь.— Видно, ремнем захватило, вырвало ногу.

Бежали сыны, все побросав.

Остановили паровик и молотилку. Стала такая тишина, слышно, как ползут с тихим шуршанием сухие тучи.

Все сгрудились кругом раненого.

Старший сын, Михайло, тяжело опустился возле отца на колени.

— Батько, што с тобой?..— закрутил головой и скупо, не умея, заплакал, будто волк заскулил.

Разодрал на себе рубаху и стал натуго заматывать рану, чтоб кровь остановить. Старик скрипел зубами, судорожно цапаясь за землю. Потом замолк, глаза закатились, одни белки смотрели, а лицо стало пепельно-серое.

Все теснились, жалостно глядя на него.

— Кончается...

Михайло поднялся.

— Микифор, закладывай в арбу вороных, в больницу. Соломы накладите по самый верх.

Старик дрогнул. Белки медленно и трудно повернулись, глянули потухшие глаза, и зашептали потрескавшиеся губы.

Михайло наклонился.

— А?

Грудь старика высоко поднялась, подержалась и медленно стала падать.

— Н...нне... надо...— прохрипел он.— Н...нне... надо... помру... все одно... Где вы, хлопцы... не вижу... свету пущай... хочу глянуть... сынов...

Затрещала смоленая пакля. Опять багрово задергались по степи тени, и лицо старика точно зашевелилось, а у всех стали красные лица, одежа, руки.

Сыны стали кругом на колени, и Михайло, и Никифор, и Никола.

— Помру... ну што ж... напиталась земля моим... потом... кровью... пущай последнюю... допивает...

Зубы оскалились, стал тяжело дышать.

— Простите... люди добрые... простите вы все... до меня была лютая земля, а я был... лютой до людей... простите... Сыны мои... Божие благословение... на вас... и мое родительское... Не пришлось с вами... пойдете одни... бедовать... ничего не оставил... Зараз пущайте молотилку... к вечеру завтра кончите... время не теряйте... У Трофима Ивановича шестьсот взял последний

раз... меня... не трожьте... погожу до вечера... штоб свиньи только... не съели... накройте... Трофим Иванович, прости ты... не обидь детей... старухе скажи...

Да не докончил, вытянулся, замер. Принесли парус, положили, отнесли к сторонке, положили возле скирды, закрыли смотревшие белками глаза, сложили накрест холодеющие руки, сверху покрыли брезентом.

Михайло поставил караулить покойника девку Гашку.

Она заскулила:

— Боюсь я. Вишь, он там ворочается.

— Дура, все ведь тут.

Поставили парня.

Михайло, а за ним братья покрестились, а потом положили по три земных поклона. Потом Михайло поднялся, постоял, вытер глаза, прошел к паровику и сказал машинисту:

— Пару давай.

Задышал паровик. С гудением, тяжко колеблясь, бежал громадный ремень, и ветер шумел от него. Грохотал барабан, и без устали люди подавали в него пшеницу.

Пылала смоленая пакля. По степи бродили багровые тени. Когда пламя вспыхивало, выступал паровик, лившаяся в мешки золотая струя, работающие люди, скирд, а у скирда парус с неподвижными очертаниями человека.

ЧИБИС

Весь истрескавшийся, в серых кочках, нескончаемо млеет иссохший луг в призрачно струящемся зное. Пятнами рыжеет корявая, как вывернутые корешки, неведомо как уцелевшая шершавая травка, которую и овцы не берут.

Кочковато сереют ложбины высохших озер. По краям — нешевелящийся белый пух, но гусей не видно.

Пыльные дороги пусты. Пусто иссохшее, помутневшее небо, и на нем — маленькое колюче-ослепительное, иглистое солнце.

Далеко разлеглись невысокие сизые горы. Ни промоин, ни сбегающих балок и оврагов. Лежат только дымчато-синеватые тени в задумчивом молчании, и не то печаль в них, не то смутная надежда. И, теряя в прозрачно зыблющемся воздухе контуры и краски, уходят они, невысказанные, и неуловимо тают в облегающей фиолетовой дали.

На этой громаде иссохшего, залитого солнцем простора, нарушая царство знойной неподвижности и пустоты, далеко по дороге зачернелась живая, затерянная точка. Она ползла по пыли извивающейся дороги, и уже можно различить маленькую, как игрушечную, лошадь и повозку, а в повозке — непокрытые головы, и беспощадное солнце над ними.

Лошадь сонно ступает по лениво встающей пыли, влегая в изодранный, из которого лезет солома, хомут, не мотая костлявой, со слезящимися глазами, покорной мордой, и измученные уши по-собачьи обвисли.

Мухи тучами липнут, но она не шевелит обдерганным хвостом, и только на брюхе судорожно дергается кожа, когда овод прокусит и по облезлой шерсти извилисто закровенится.

На передке, задом наперед, свесив босые, черные от загара ноги, в пестрядинной рубахе и портах качается, бубнит мужичонка, с въевшейся в собачьи космы пылью.

Три серых от пыли ребячьих головенки в самых неудобных позах качаются в скрипуче-качающейся повозке.

За задними колесами, не отставая, идет девка, не отрываясь глядя на свои мелькающие в пыли босые ноги.

Баба сидит возле мужика, правит веревочными вожжами, поминутно чмокая узкими, иссохшими, прилипающими к синим деснам губами. Лицо у нее такое же, как у лошади, костлявое, со слезящимися глазами, с измученностью, которая, казалось, навсегда прилипла к костям и бледной обтянутой коже.

— Хто?.. Ну, сказывай, хто?.. Хто обувает?.. Хто одевает?.. Хто кормит?.. Опять же я. В экономии приказчик сказывает: «И чево ты с ими валандаешься? Одно слово, ты — красавец, а они што? Прорва голодная». А я што сказал? А?.. Сказывай, што я сказал?..

— Ну, будя.

— Нет, ты сказывай, што я сказал? А?.. Што я сказал?..

— Да будя тебе... Но-о... Но-о, супостатка!..

— Али б я прошибся, не надел сапоги с набором? А?.. Сказывай.

— Ну, да ладно... Вот прилип... Но-о, окаянная!..

— Ах ты, утроба проклятая!.. Как ты законному мужу отвечаешь?

Он поймал ее за косенки, соскочил и, боком поспевая босыми ногами за повозкой, стал таскать. Ребятишки привычно закричали, лошадь остановилась и, не оглядываясь, стала ждать со сбившейся набок веревочной сбруей.

Девка оперлась о колесо и чесала ногу о ногу. Пыль изнеможенно висела неподвижными клубами.

— Душегуб!.. Кровопивец!.. Ой, батюшки!.. Ой, светы!..

Со сбившимся платком и ненавистью, преодолевшей вечную усталость, она вырвалась и, отбежав, стала поправлять выбившиеся жидкие косички и платок.

Мужик было погнался, но она с резвостью, не свойственной костлявому лицу, измученности и озлоблению, побежала.

Мужик остановился.

— Черт с тобой!

Поскреб в космах.

— Куды спрятала бутылку?

— Все вылопал.

— Брешешь, оставалось... запрятала... убью!

— На кой ляд она мне,— сам в солому засунул.

Тот полез корявой, черной, как земля, полопавшейся от ветра, солнца и работы рукой в сбившуюся под ребятами в труху солому, вытащил бутылку и покачал на солнце сверкающую колебанием влагу.

— И дна не кроет... эхма!..

И, запрокидывая голову и бульбукая, стал глотать.

Опять скрипит среди рыжего, сожженного, с высохшими озерцами луга повозка; идет за колесами девка, и ноги по колено в ленивых серых клубах медленно встающей горячей пыли.

Пусто. С тайной надеждой стоят на самом краю сизые смутные горы, далеко уходя, тают в знойно-трепе-

щущем воздухе, и надо всем — маленькое ослепительное, иглистое солнце.

Женщина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, без устали дергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:

— Но-о... Но-о, стала...

Разморенные жаром ребячьи головенки не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.

Мужик, с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солнце, и мотая от тряски из стороны в сторону головой, лежит навзничь, свесив через грядку согнутые в коленях ноги, храпит, мучительно захлебываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой и над лугом и жалобно, тонко кричит: «Чьи-и... ви! чьи-и-ви!..» — жалобно и безнадежно, как будто, кроме этого иссохшего сереющего луга, ничего нет на свете.

«Чьи-и... ви?..»

— Маму-уня, папу-уня задавил...

— Нишкните!.. Проснется — будет вам...

Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрагиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согнутыми ногами. Носится белая, с черно-опаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?..»

— А?.. А?.. Чего такое?.. Но!.. Но!..— испуганно и беспокойно заметался мужик, с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задергал.

— Што ты!.. Ополоумел... Окстись...

Лошадь стояла. Далеко позади над дорогой, ее заслоняя, висела нетревожимая пыль.

Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними поверху нескончаемо уходит степь. По подошве тянутся сады.

У дороги сереет сруб колодца и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за верб домовито глядит соломой крыша.

— Должно, постоялый.

Мужичонка отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повесила на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как будто не надо уже опять ехать по сожженной степи, куда глаза глядят.

Мужичонка, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по вспыливающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.

— Эй, хозяин!

Отчаянно залились собаки, норовя ухватить за голые ноги. На дворе, затрушенном соломой, просторном и жарком, никого не было. Только под дальним навесом, не притрагиваясь к сену, стояла лошадь, отмахиваясь хвостом, била ногой по брюху и мордой сгоняла надоедливых мух.

— Хозяин!..

Щелкнула щеколда, на крылечко в ситцевой, горошком, расстегнутой рубахе, из-за которой косматилась грудь, и ситцевых подштанниках, босой и красный,— должно быть, спал,— вышел чернобородый плечистый казак.

— Можно сенца купить?

Тот провел рукой по лицу и бороде, снимая сонливость, деловыми строгими черными глазами ощупал повозку, лошадь, ребят и беззаботно похлопывавшего кнутом по пыли мужичонку.

— Деньги есть?

— Ну, как же без денег! Без этого товару нельзя. Сколько?

— Тридцать пуд. Давай.

Мужичонка порылся в портах, набрал медяков и отдал.

— Цены еройские. Да цытьте вы, дьяволы!

Казак молча пошел через двор, не отгоняя злобно

рычавших на шедшего за ним мужика собак с черными пастями.

За плетневым навесом с махавшей хвостом лошадью тянулся сад, и на выкошенной полянке стоял стог, а возле огромные с досками на веревках весы.

— Веревка есть?

— А мы без веревки. Руки на што.

Тот молча, не сдаваясь на фамильярность, отвесил.

Давно вычерпали весь котелок, и ребятишки, обсев кругом, вылизывали ложки. Отпряженная лошадь стояла теперь без упряжи, еще более худая и костистая, и, слезясь, с усилием жевала сено, не отгоняя роившихся около глаз мух.

Мужик постоял, почесал зад,— делать было нечего.

— Ну, что стоишь, корова! Али дела нету,— злобно накинулся на дочь, прислонившуюся к повозке и безучастно глядевшую недумающими глазами на пропадающую в лугу дорогу.

Девка была крепкая, круглая, с загорелым, зовущим к себе лицом, с дремлющей, просящей работы, движения, смеха — силой.

Не было работы — не было расхода томящемуся напряжению. И отец знал, что делать нечего. Что и ему делать нечего. Пошел, поднял, привязал оглобли, натянул дерюжку и лег в ее маленькую тень, сквозившую солнечными пятнами, и сейчас же навалился тяжелый *разморенный сон знойного дня, тоски и безделья.*

Ребятишки сидят посреди дороги, палимые солнцем, и играют, закапывая ноги в пыль. Баба, подперши костлявое лицо, пригорюнилась у повозки.

Прозвенели колокольцы, подъехала и стала у колодца тройка. Кучер поил по очереди из ведра лошадей, а в экипаже сидел господин в белой фуражке, под большим белым зонтом, усталый и разморенный, и раза два остановил глаза на девке. Потом тройка побежала, оставляя в воздухе длинную пыль и мягкий, слабеющий след колокольцев, пока все не потонуло в мареве.

Одно пылающее солнце.

По лугу пошли длинные, остро-косые тени.

Солнце сдалось и было уже над садами, большое и остывающее.

Мужичонка поднялся, зевая, крестя рот, точно хотел закрестить подымавшуюся, не отрываемую, как впившийся клещ, тоску. Опять запрягать, опять тащиться неведомо куда по молчаливым степям, мимо хуторов и станиц, мимо чужих покосов, пашен и жнив, глядя, как люди убирают хлеб, возят, пашут, живут заботой и кормящим трудом. Он крякнул, подтянул поясок у портов и повел поить лошадь.

Со степи шли коровы, степенные и важные, поматывая полным выменем. Легонько гогоча, ворочались, белея, гуськом гуси.

Хозяин отворил коровам ворота и подошел к плетню, взявшись за торчавшие из него колья.

— Куда путь держите?

Мужичок суетливо заговорил обрадованно, подавляя хоть на время гложущую тоску:

— Тянемся вот... работишки где-нито... работенки какой-нито...

— Та-ак...

— Пить-исть надо... семейство... Опять же обужа-одежа... и все прочее.

— От своего хозяйства ушел?

— Како хозяйство! По экономиям и жил... в работниках.

— Та-ак...

Помолчали. Казак оглядел луг, уходившие вдоль обрыва сады и погладил бороду.

— Работа и у меня есть.

Мужичок придвинулся, не спуская глаз, точно этот бородатый человек со сказанными им словами сейчас растает в воздухе.

— Заболел у меня работник, ногой не владает, в больницу поехал... Хлеб убирать, да и по домашности.

— Ну-к, што ж... Я с превеликим...

— Лошадь у тебя.

— Што ж, лошадь продать можно.

— Сколько возьмешь?

— Вот как перед истинным, сорок два с полтиной отдал... огонь, а не лошадь...

— Кожа да кости... Хошь, до покрова оставайся с бабой, да и девка будет подсоблять. Харчи мои, а за лошадь десятку дам.

Мужик горестно хлопнул об по́лы.

Вечером, когда все стало смутным, неузнаваемым, деревья, и избы, и плетни, и черные сады, и лошади звучно жевали под навесом, хозяева семьей сели ужинать посреди двора на траве: девчонка-подросток, двое мальчишек да хозяин с хозяйкой. Казачка — степенная, крепкая баба — позвала работника:

— Степаныч, слышь, иди похлебай, покличь ребят и хозяйку. Ничего, поешьте, а на завтрева сами сготовите. Повечеряйте с устатку.

А когда после ужина прибрали посуду, обе бабы, смутно белея, сидели на ступеньках крылечка, и тянулся монотонный, один и тот же, как будто много раз рассказанный рассказ.

— Было свое хозяйство, да сплыло. Спервоначалу держались, а потом невмочь стало, ушел мой-то на заработки. Побилась я, побилась с детьми, пошли по кусочкам, потом землю продали, поехали к нему. Лето проработаем, зиму бьемся. Работали по экономиям да по плантациям. Кабы один — с семьей чижало. Видят — с семьей, зараз прижмут, цену меньше. Семеро их всех-то было, зараз вот только четверо.

— Куды жа пристроила энтих?

Баба замолчала.

Стояла тихая летняя темнота, и в ней черными сгустками плетни, деревья, крыша, и несло с луга запахом пыли и разгоряченной за день, все не остывающей земли. Звучно жевали лошади. Едва приметно чертя темноту, носились нетопыри. Небо усеяно.

— Анделькая душка померла, покатилась... Ну?

— Одного глотошная задушила, один животом изошел, а энтот... старшенький-то...

Послышались хлюпающие прерывистые звуки, как будто в животе вода болталась. Казачка проговорила:

— И-и, болезная, легко ли... инда к сердцу прирастут... с кровью родишь, с кровью оторвешь...

— Молотилкой... ногу оторвало... сутки только жил...

— Божья воля... Разве свое дитё забудешь?..

Обе замолчали, смутно белея в темноте.

Казачка вздохнула, жалеючи жалостью налаженного крепкого хозяйства, где все идет по порядку, как надо, с своими привычными хозяйскими заботами, хозяйским горем, довольством, радостью,— жалела осо-

бенной хозяйской жалостью ту, у которой нищета, голод, отрепья — тоже в порядке своем, неизбежном. Но материнское горе, эти хлюпающие, не видимые в темноте бабьи слезы, ни с чем не считаясь, горько сказались материнскому сердцу, и она тоже всхлипнула.

— Бог не без милости, энтих вырастишь.

— Та-ак, только замучилась. Чую вот, замучилась, ляжу — рукой не тронусь. У людей — дети, растят, пределяют, а у нас девка — одно горе.

— Шалыганит?

— Кабы так!.. Покорливая, не балуется, работница на всякую работу. Ядреная девка, правду надо сказать, без изъяну. Другие справляют, об том хлопочут — выдать, а мы одно бьемся, как рыба на сухопутье. По весне ранней пределились на плантацию к армяшке: черномазый, как обезьяна, и капусту сажает. Во́ кочаны, с конскую голову, поливают очень искусственно, колесом. За зиму наголодались, бесперечь рады, на всех на троих плата, работы не оберешься по весне: садка, поливка, полка; ребятишки при нас. Одначе через неделю армяшка идет, как паук мохнатый, че-орный, бельмами ворочает, а груди у него все в шерсте, как у доброй собаки. «Вы, грит, то ни то, а закону моему повинуйтесь: хозяин я,— хочу, наизнанку выверну. А девку беспременно поучите, чтоб спала со мной. У меня такое заведение, а она, чем благодарить, брыкается, кобыла». Обмерла я... «Да ведь дитё мое кровное, ай на то родила...» — «А-а, грит, марш, вон на дорогу!» — и зубы оскалил бе-елые. Мой-то поймал девку за косы, оттаскал, собрали пожитки, по-ошли по степи.

— Азияты,— одно слово, что черкесы, что армяне, народ арайский. И фрукт и овощ у них омманные. Вот привезут в станицу капусту, возьмешь кочан — руками не обымешь, а сваришь борщ — ее, капусту, там не слыхать. Тоже, к тому сказать, и сама, может, до него льстилась, бывает и это.

— И-и, ро-одная моя, девка-то бегает от него, как очумелая, ревмя ревет: все, грит, маменька, по закону, а я одна по-собачьи. И, грит, ко-осматый он, как Полкан,— собака у нас в деревне была, злая да караульная,— раззявит, вся пасть черная.

— У нас тоже добрые собаки с черными ротами. Бондарь из станицы, дай ему здоровья, привез щен-

ками. Мне, говорит, топить их жалко, а вам пригодятся.

Помолчали.

По-прежнему теплая, нешевелящаяся, смутно сквозящая звездами темнота, равнодушная ко всему, у которой — свое, неживое, вдруг оживела, шевельнулась; родилась неведомо где, смягченная расстоянием, тишиной, песня, бабьи голоса.

Работница вздохнула.

— Девки-то по садам полуношничают... О-о-оххо, прости господи.— И казачка закрестила рот, чтобы черный туда не шмыгнул.— Должно, пошта.

Колокольцы прозвенели мимо в темноте, и колеса прокатились, потом все растаяло, и было все то же.

Надо было спать, зевается, да одна никак не вздумает подняться, хочет дослушать; другая — никак не уйдет, хочется полегчить душу изболевшуюся.

— Ходили в степе недели две, везде забито, везде народ, наемка кончилась, жалко стало, ребятишки подбились, идем табором, с голодухи аж синие стали.

— Конь у вас.

— Опосля купили. Наконец того, пределились в экономию. Огромадная экономия, собак видимо-невидимо, народу, приказчики, молотилки, сад при доме. Вздохнули. И ребятишки отошли трошки, повеселели. Думали — все лето проработаем. Месяца два прожили. Гляжу, на покосе как раз было, бежит Гашка простоволосая: «Маменька, ой, маменька!» Оммерла, я так и оммерла. Господи, думаю, може, уж не возворотишь! Вдарила ее по щеке: «Говори, сука!» — «Ой, грит, от силы вырвалась, все бока обмял старший приказчик-то». Сказала вечером отцу, намотал он ейную косу на руку и бил смертным боем, аж кричать перестала, а дня через три приказчик грит: «Берите расчет, не нужны». Ой, и хлебнули горя! Купили лошаденку, повозку, вот ездиим; сушь ли, дожж ли, сонце ли, погода ли — так ездиим бесперечь, и степь, ее глазом не окинешь, луга,— сухие они у вас,— а мы все ездиим да глядим, как люди работают.

Она подперла голову и горько замолчала.

— Закладает твой-то?

— Как в работе — маковой росинки не держит.

Ну, а как без дела — глядишь, бутылку-другую зацепит, не без того.

— Спать надо. Будешь утром доить, Иванна, бурую, сиськи помажь сальцем — полопались, кабы ведро не перекинула.

Над черными садами выползают новые звезды. За плетнем кашляет больная овца.

Новый работник с азартом влег в привычный хомут. Точно его была эта скотина, эти лошади, эти овцы, этот сад, тянувшийся за плетнями, пестреющий наливающимися яблоками.

Девка гоняла мотавших головами лошадей, а Иван на лобогрейке правил ножами и сбрасывателями, и она, скрежеща, резала густую пшеницу, оставляя позади, как выбритую щетину, и пот градом катился с обоих.

Не было ни праздников, ни церкви, ни передышки, да и не думалось об этом. Баба, подвязав голову ушастым платочком, полола, окучивала и, согнувшись над коромыслом, бесчисленно таскала в огородах воду на поливку. Как будто долго бродили по сожженным степям и вот нашли свою работу, свой дом, свое хозяйство, и рвались, обо всем забывая, только бы не упустить часа.

Заворачивали на постоялый проезжие,— попьют чайку, покормят лошадей и позвенят по лугу колокольцем, затихая. Останавливались купцы с ярмарки, с крепкими кряжистыми лошадьми, с повозками, набитыми товаром, обтянутыми холщовыми будками, сами ражие и красные от довольной жизни.

Раз хозяйка сказала работнице:

— Слышь, Иванна, девка-то твоя, должно-таки, шалыганит. Надысь иду в катух свиней кормить, слышу, за плетнем твоя-то доит, а мой старый черт обцапал ее,— она хошь бы што, как кошка на сметану.

Лицо у хозяйки было чужое и непрощающее. Губы у работницы посинели, стали тонкими, и она их быстро облизала.

А ночью Иван вывел дочь за сады, чтоб не слыхать было, и, боясь, что забьет, исступленно возил вожжами и таскал за косы по черной, иссохшей, полопавшейся от бездождья земле, а в темноте ныряли нетопыри. Девка кричала, цапаясь руками за кочки:

— Ба-тю-у-уня!.. Пожалей... Старый он, не хочу я его... Ой... ой... ой... Чем же я-то виновата?.. Лезет он.

Бросив смутно белеющее пятно на земле, неподвижное и невздрагивающее, он шел к себе, собирая трясущимися руками вожжи, и бормотал:

— Ежли хочь примечание, в петлю головой суку, один конец... Все кобели на нее.

Степные работы шли нерушимой чередой. Сняли пшеницу, подошли арбузы, стали возить в скирды, и по вечерам и ночам, бесчисленно звеня, затренькали сухим и звонким треньканьем миллионы выведшихся кузнечиков. «Кузнец закричал, лету конец»,— говорили. Подросшие утиные выводки летали зорями на пшеницу кормиться. По-прежнему безоблачно палило и землю, и людей, и скот солнце.

— И зачем найматься таким,— шипела хозяйка, и лицо у нее становилось все вытянутее и суше,— сидели бы у себя в Расее, а то чужой хлеб едят и пакостят, смуту в честное семейство носят, беса тешат.

Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то несодеянную, но непрощаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темно завалившимися глазами,— отец бил без передышки.

Разговелись медом и яблоками. И по мере того как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя — дожить до срока, и по ночам за садами неслись обрываемые крики, вой и плач.

Раз ночью там никто не кричал, а Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи.

— Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу спущу.

Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея, между деревьев в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи неслось бесчисленное треньканье. И тихо стояло:

— Гаш... а, Гаш!..

Пусто. Баба стала дрожать, и все стояло в саду — несмелое, полушепчущее:

— Гаш!

Вышла на луг. Он был темен, едва видно под ногами. Долго и одиноко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятно.

— Гашка!

Девка, сидя в пыли, беззвучно качалась.

— Ну, вставай.

Та поднялась.

— Замучилась я...

Постояли, и мать сказала:

— Иди, Гашенька, у город... И там люди живут...

— Замучилась я...

— Иди, Гашенька... Вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...

Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, беззвучно по пыли босыми ногами и остановилась. Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:

— Страшно, мамунька!..

Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...

Над лугом в одном месте посветлело,— хотел всходить месяц. Надо было идти спать.

Захолодали утренние зори, но еще в полную беспощадную силу палит днем солнце. Неоглядная степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетина снятого хлеба, и по дороге, толсто застланной пылью и затрушенной золотой соломой, тянется повозка.

Разморенная лошаденка в веревочной сбруе равнодушна к полчищам снующих мух; баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохшими, сине-потрескавшимися тонкими губами, дергая веревочные вожжи:

— Но-о... но-о-о, милая!..

Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтаются черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичьи ноги, и три ребячьи головенки жмутся в угол, стараясь не притрагиваться к больно разогретому дереву.

— Ма-му-у-ня, па-пу-у-ня задавил...

— Нишкните, проснется — будет вам...

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой, над степью и кричит жалобно, тонко:

«Чьи-и ви!..» — как потревоженный дух, с жалобным криком — все спрашивая и не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?»

За колесами, медленно подымающими виснущую пыль, никто не идет.

ГАЛИНА

Гнедая кобыла, с вытертой на проплешинах черной кожей и болячкой на спине, пошатывая длинную костлявую голову, идет шагом, а телегу все-таки кидает из стороны в сторону — дорога в выбоинах, и всюду судорожно ползут из земли искривленные корневища.

Кругом старые вырубки. Неумело, что ли, порубили лес, или скот, сгрызая верхи, не давал подняться молодняку,— только, сколько глаз хватал, чернели истрескавшиеся обомшелые пни, скучно обросшие чахлым кустарником.

Стрекотали пестро мелькавшие сороки, и небо было низкое и серое.

Галина крепко держалась, выглядывавшими из порванных перчаток пальцами за тряскую грядку телеги, подобрав язык, стиснув зубы и мучительно надуваясь,— так больно все прыгало внутри и хотело оторваться.

Михайло, белобрысый, в теплом рваном треухе, спустил с передка лапти, и кобыла то и дело толкала их испачканными в навозе ногами. Его тоже трясло,— треух неровно прыгал над зубчатой синевой дальнего леса,— но эта тряска была сама по себе, не касалась его, и он думал о своем, не то ни о чем не думал и глядел на сбившуюся шлею, свозившую на сторону хвост,— поправить бы надо.

И поля, которые проехали, и эту вырубку, и этого мужичка, что повез ее с железной дороги, все она и раньше представляла, все это знакомо глядело со страниц прочитанных книг, в воспоминаниях о деревнях, где жила летом. Но не дочитала, что ли, или не успела разглядеть из окон вагонов, когда ездила на летние уроки, или в тех имениях было по-иному, только теперь все было как-то по-своему — молчаливо, одиноко и задумчиво.

Проехали унавоженное поле, затемнелась деревня. На краю стоял большой, почернелый от старости дом с новой зеленой крышей, а в палисаднике, как невесты, белели молоденькие березки.

— Кого везешь? — сказал длинный старик с обвисшей по посконной рубахе седой бородой. Сказал хрипловато нутром, как чревовещатель, и положил на грядку бледную, в старческих жилах и бородавках руку.

Михайло натянул вожжи и, не поворачиваясь, сказал:

— Ездил на станцию, кладь поповскую возил. Хлеб нонче на гривенник подорожал. У самого у переезда кобыла ногу ссекла, кабы не прикинулась.

И, сплюнув через губу под хвост кобыле, сказал:

— Обратно учительшу взял.

— Так,— сказал старик и мотнул на темневший дом,— вон она и училища, дай, господи, здоровья Кабанову, крышу важнеющую поставил... Так-то, Михайла, к сыну пошел: «Примешь али нет?» А он: «Иди, откеда пришел».

— Ну ды так ноне: старые на вынос,— никакого антиресу кормить, доведись хочь до тебя.

Михайло поправил кнутовищем сбившуюся на репицу шлею и стал обивать концом присохший к кобыльим ногам навоз.

— На энтой неделе поеду к приказчику, хочу снять Мокрый Кут.

— Энто к лесу?

— Ну да; там более полдесятины не будет, хочь растянись, а цену грабят.

— Грабители, икон-масло.

— Сосуны.

«Они разговаривают, как будто я — кладь или меня нету совсем».

Галина была рада,— перестало так мучительно вытрясать душу, и сидела, все так же держась за грядку.

Одиноко тянулась улица с пробитой колеей. Среди мокроты темнел общественный колодец, и около колоды неподвижно белели гуси, а из-за изб выглядывали церковные главки.

И опять, подчиняясь, как во всю дорогу, какому-то однообразно-подавляющему, не испытанному раньше

порядку, который сливался с молчанием, одиночеством и этим всюду разлитым нерешенным вопросом, Галина сидела, дожидаясь и ничего не говоря своему вознице.

— Так-то,— сказал Михайло и тронул кобылу,— надысь картуз себе новый купил.

— Так, так,— сказал старик, снимая руку с грядки,— с богом, икон-масло... Вона и училища.

Подъехали к крыльцу.

Михайло слез.

— Эй, Кривой, слышь, учительшу привез, слышь, что ль!

И постучал кнутовищем по подоконнику.

Училище пустынно смотрело отворенными окнами. Виднелись обтертые, оббитые парты, голые стены.

Где-то в пустой глубине послышался кашель, шаркающие тяжелые шаги. У колодца загоготали гуси.

На крыльцо вышел сутулый, как будто горбатый, но горба не было, человек, с тяжелым квадратным подбородком в сизой щетине, с мертвым бельмом. Мельком глянул на приехавшую одним глазом, тяжело спустился по заскрипевшим ступеням, вытащил из телеги корзину, узел, саквояж и молча, не сказав ни слова, понес, прихватив под мышки, растопырив руки и еще больше ссутулившись, в училище.

Михайло облаживал что-то у хомута.

Галина посидела еще в телеге, боясь вставать,— так занемели ноги, и вдруг почувствовала себя такой одинокой, заброшенной, никому не нужной.

«Господи, как в лесу!..»

И вспомнила унылые вырубки.

«И лесу-то нет...»

Разом пересилила себя, спрыгнула на землю и пошла в училище.

Тут был неуют. Большой класс, закоптелый потолок, замызганные парты; доска, сквозившая щелью, а позади засиженная мухами карта полушарий на бревенчатой стене, и длинно протянувшаяся Америка особенно говорила о чем-то скучном.

Галина прошла в свою комнату. Комната была узенькая, с высоким потемнелым потолком. Из окна уходила все та же единственная улица, белели возле колод-

ца гуси, из-за темного порядка изб выглядывала церковка.

Галина села на перевитую веревками корзину посреди комнаты, поставила локти на колени и оперлась подбородком на руки.

Так не хотелось уезжать из города, отрываться от друзей, от милой молодежи, с которой срослась за гимназическую жизнь, от книг, от театров, от товарок, которые пошли на курсы.

Никогда и в мыслях не бывало, что придется возиться с сопляками, скучно долбить с ними азы. Да и как она их учить будет? Ни сноровки, ни опыта, ни желания.

В пустой комнате странно прозвучал чей-то знакомый и незнакомый голос:

— Жить-то надо?!

Это ее голос, пустынно отдаваясь, прозвучал.

Резким движением она поднялась, смахнула с лица паутину и стала возиться с крепким, как камень, веревочным узлом на корзине.

Стуча и шаркая сапогами, пролез в двери горбатый без горба, втаскивая белый тесовый стол. Он поставил его у окна, подвигал, чтобы плотно стали ножки, и, сбычившись, посмотрел одним глазом на возившуюся с тугим узлом Галину, отстранил и молча, как будто все уже было переговорено и все было известно, стал раздергивать узел зубами, мотая головой. Да и в самом деле, ведь все было известно, и уже тянулась скука, которая где-то терялась в темном ряде месяцев, быть может, годов одинаковой и одинокой жизни.

Галина с азартом стала приводить в порядок комнатку. Прибила, примеряя, где лучше, открытки, фотографии, разложила книги на столе и на крохотной этажерочке безделушки, дорогие по прежней жизни.

Горбун внес маленький позеленевший самовар, который отчаянно кипел, бунтовал и фыркал, обдавая клубами пара, и молча поставил на стол. В окно было видно, шло стадо, подымая пыль.

Галина с удивлением подняла глаза — ведь она не заказывала самовара.

— Вы сторож?

— Точно так,— угрюмо сказал тот.

— Вас как зовут?
— Василием.
Комнатка вдруг стала уютней и ласковей.

Первые дни заполнялись заботами по хозяйству — надо было устраиваться с обедом, с добыванием провизии.

Под вечер Галина отправилась к священнику.

Встречавшиеся бабы кланялись,— знали уже, что учительница,— другие проходили мимо, оглядев; мужики тоже — одни снимали шапки, другие проходили не здороваясь; девки не подымали глаз, а пройдя, останавливались и разглядывали.

Новая церковь стояла на пригорке и глядела в небо недавно выкрашенными главами.

За избами поповский двор. Во дворе дом с садом, амбар, сараи, а из кучи навозу возле конюшни выглядывает косматая голова с черной бородой.

Перед головой — поп рослый, в рясе, с косой по спине, тоже с черной бородой и гремит великолепным баритоном, от которого поклевывающие возле куры начинают беспокоиться и разговаривать.

— Что ты делаешь, я тебя спрашиваю. Для тебя я приготовил навоз? Ты что же это чужим добром распоряжаешься? Забрался и сидит, как у себя в избе... Это хуже воровства... как тать нощной. А вор — последний человек, и наказание божие следит за ним. Самоуправство! На это суд есть, а наипаче осуждение божие.

— Батюшка,— густым басом сказала голова, поворачивая к попу черную бороду,— грешен!.. Грешен, темная моя душа. Всякое вам, батюшка, угождение... душой... ну, ломота одолела, ни стать, ни сесть... Единственно попариться в навозе, а у меня, сами знаете, с одной лошаденки и не зароешься. Я так полагал: у батюшки не убудет, а мне польза...

— Да как ты смел без спросу!..

Голова шевельнулась, потянулась шея, показались, разворачивая навоз, налившиеся густой краснотой плечи, руки, наконец поднялось распаренное, как из бани, мужицкое голое тело. Сложил горстью корявые ладони, нагнул голову и покорно сказал:

— Виноват, батюшка... благословите.

Галина бросилась бежать в дом.

В доме пахло свежевымытыми полами, маленькими детьми и чуть-чуть ладаном.

В залике кисейные занавески, цветы на окнах, фотографии и картинки, над диваном гитара на стене. На круглом столике с вязаной скатертью молча глядит разбитой трубой граммофон; из соседней комнаты доносятся крики и смех расшалившихся ребятишек.

Матушка, слегка расплывшаяся после восьмого ребенка, дебелая и белотелая, с красивыми черными глазами, встретила радушно и ласково.

— Милости просим. Рады. Мы рады всякому свежему человеку. Сейчас отец придет. Скучно у нас. Ну, да вы молоды, Галина. Позвольте я буду на ты с вами. Ведь я старуха перед вами. У вас все впереди. Лидочка, Лидуша, позови папочку. Это — старшенькая моя, рукодельница.

На Галину смотрят большие, в глубокой синеве, недетские, спрашивающие глаза, и в них и во всем худеньком бледном личике печаль. Мать любовно поцеловала в головку, и, припадая на одну ногу, девочка пошла из комнаты, а на спине встряхивалась маленькая белая косичка, в которой любовно заплетена рукою матери розовая ленточка.

— Туберкулез костный... колено... такое несчастье. Сейчас отец Дмитрий придет. Расшумелся там. Этот человек — ты только никому не говори, Галечка,— этот, что в навозе сидит...— матушка понизила голос,— мы так ему доверяли, богобоязненный, к священнику с почетом и уважением... Аниська, вынь маленького из люльки, не слышишь, кричит?.. Так доверяли... Придет, всегда чайком попоишь, в праздник и рюмку отец поднесет... Мокрый, что ль? ну, перемени... А он...— ты только, Галечка, никому, никому не говори, это касается таинства... знаешь, как духовному лицу приходится...

Аниська, конопатая девчонка лет четырнадцати, с неестественно перегнувшимся через руку ребенком, вполглаза выглядывала из-за притолоки.

— У нас тройка караковых была, чудная тройка, по случаю купили, отец любитель лошадей. Раз встаем утром, замок в конюшне сломан, дверь настежь, лошадей

и след простыл. Знаешь, как полжизни отняли. Отец даже плакал. И я плакала. Говорю — ты лошадей больше любишь, чем меня, а он рассердился, и поругались... Ну, искали, искали, искали, и полиции сулили; я, грешным делом, к ворожее ездила... Гашка, хлебы посадила?

Из глубины комнат вместе с кухонным запахом доносится:

— Чичас!

— Ну, ну, сажай, сажай, если взошли... Так и канули. Это в прошлом году. А в нынешнем году — что б ты думала! — приходит на страстной на исповедь этот самый Быков и говорит: «Грешен, батюшка, сымите грех с души — тройку-то караковых я у вас угнал, батюшка, мой грех...» Отец Дмитрий насилу на ногах устоял, аж шатнуло его. Поскорей благословил крестом, отпущается и разрешается... Приходит ко мне, лица на нем нет, рассказывает, я так и всплеснула руками. Господи, что же это такое!..

— Так вы бы полиции заявили.

— Как можно! Ведь таинство... Понимаешь, тут что-то Достоевское — носим в себе, мучаемся, а обнаружить нельзя. Скажи только, вся деревня подымется,— дескать, батюшка с исповеди разносит. Ну вот, ходим и молчим, а он еще в нашем навозе сидит... Аниська, поди с ребенком на двор, позови батюшку. Скажи, матушка зовет. Ну, да вот он.

Слегка нагнув голову под притолокой, шумно вошел поп, радостно поздоровался, как будто давно были знакомы, забрав маленькую руку девушки в свои большие, крепкие, крепко пожимая.

Был он крупный, краевый, здоровый румянец на смуглых щеках, обрамленных черной бородой, и странно видеть на нем рясу.

— Ну, ну, расскажите, расскажите, как и что у вас там в центрах. У нас скука, у нас пустынность бытия. Помню, студентом был... Ты что же, мать, чайку?

— Подают. Гашка, скоро?

— Чичас!..

— Студентом, помню, был... То есть, собственно, как студентом, семинаристом, конечно...

— Дмитрий Иванович,— сказала матушка, называя при воспоминаниях о тех временах мужа по имени-отчеству,— Дмитрий Иванович спал и во сне видел университет. Первые годы все готовился, собирался снять сан и уехать. Да и я все думала... не могла видеть рясы. За него-то выскочила гимназисткой. Ну, приехали сюда и все жили, как на станции — вот-вот куда-то уедем, как-то устроимся, поступит он в университет, какая-то новая жизнь начнется, а вот уж восьмой ребенок, видно, тут и вырастим... Гашка, сюда ставь... Ну, корова, опять зацепила скатерть.

Гашка здоровая, с отдувшимися красными щеками — не ущипнешь,— с подымающими уродливую городскую кофту грудями, с выпученными глазами и застывшей улыбкой, окончательно стягивает зацепившейся пуговицей вязаную скатерть и торопливо ставит поднос с посудой на пол, чтобы застелить скатерть.

— Да ты спятила! Возьми поднос.

Гашка, с испуганными, рачьими глазами на вспотевшем лице и с разъехавшейся до ушей улыбкой, подымает поднос, а матушка сердито надвигает на стол скатерку.

— Тебе, Галечка, со сливками? Беда тут с прислугами,— видала уродину? Да бьют, да колотят, да все пережаривают, да переваривают... А безнравственные какие!

— Гиппопотам,— вставил батюшка.

— ...Вчера вздумала воздушный пирог. Намяла яблоков, детишки оторвали меня, прихожу, а Гашка половину уже успела слопать,— можешь себе представить, выгребает руками и ест...

— Ды няправда!..— раздается из-за притолоки здоровенный во весь рот деревенский голос, от которого словно тесно стало в комнате,— я этта поставила на лавку,— на минутку выглядывает толстое вспотевшее лицо с испуганными, рачьими глазами,— а кобель пришел...

— Да ты с ума сошла!.. Ступай на кухню.

— ...ды стрескал.

Стали пить чай. На тарелке возвышались горы подрумяненных, таявших во рту ватрушек — дело рук матушки.

Вошли дети, по росту лесенкой, друг за дружкой, конфузливо стали около отца и матери, не отрывая скромно-завистливых глаз от городских печений, разложенных отдельно на тарелочке.

Батюшка и матушка расспрашивали Галину, как и что в городе, но не дослушивали, постоянно сбивались на свое, рассказывали о приходе, который бы ничего, с доходом, да старообрядцы; а то есть и православные отбившиеся, его и канатом не затянешь в церковь, разумеется, и доходу с такого, как с козла молока, кроме насмехательства, ничего. Вообще трудно и неприятно ходить с поборами, самое лучшее бы священнику жалованье.

И с народом... Народ бы ничего, но в сад непременно заберутся, оборвут яблоки; скосить десятину возьмут столько же, сколько и со всякого другого. Тяжело.

Матушка дала детям по печенью каждому, и они, радостно засветившись, торопливо пошли гуськом из комнаты, и у самого маленького белела сзади хвостом выбившаяся из штанишек рубашонка.

А Галина, провожая глазами детей, вдруг почувствовала запах пеленок и подумала:

«Вот и все,— больше никуда и не поедут...»

Детей матушка уложила, за столом только сидела Лидочка и следила за всем большими задумчивыми глазами.

Не хотелось зажигать лампы, сумерничали. В открытые окна сквозь герань смутно виднеется улица, избы, и черные крыши неровно вычерчиваются по слабой заре; сквозь покой и тишину слышно — одиноко лает собака, да девки поют где-то далеко, смягченно расстоянием и от этого задушевно.

— Ну, что все-таки новенького в литературе,— говорит о. Дмитрий, прихлебывая крепкий, красно-черный чай.— Помню, бывало, в семинарии своекоштные притащат «Русское богатство» — я-то в интернате жил — уляжемся спать; надзиратель пройдет, все успокоится, тогда осторожно подымаемся, составляем в круг стулья, покрываем сверху одеялами, забираемся туда,— вроде сени Моисеевой,— зажжем свечку и читаем. Дебаты, споры, забудемся, такой крик подымем, святых вон неси. «А-а, голубчики!..» — и накроют, ну и расправа. Жестокие были времена!

— Галечка, ты совсем ничего не кушаешь. Положика, положи себе каймачку. Лидочка, ты устала, прилегла бы, может.

— Нет, мамочка, я посижу с вами,— сказала девочка, и в сумерках глаза ее казались еще больше, будто всматривались широко открытыми в неведомое ей прошлое отца и матери.

Полупотухший самовар внезапно запел тоненько и унывно, а матушка заволновалась:

— Где крышка? Где крышка?

И, когда прикрыла и самовар смолк, сказала:

— Не к добру.

— Покойника боишься, что ль? — сказал отец Дмитрий.

— Покойника не покойника, а нечего об этом талдычиться, талды — талды... из пустого в порожнее, не люблю.

Да вдруг вспылила:

— Вечно ты, отец, с глупостями!.. Лампу надо зажечь, совсем темно.

— Не надо,— сказал о. Дмитрий, поднялся, взял гитару со стены и присел на диван, настраивая.

— Хоть бы лоб перекрестил,— сказала матушка, принимаясь убирать посуду.

Батюшка откашлялся, взял аккорд и запел:

Сре-е-ди-и до-о-ли-и-ны-ы ро-ов-ны-я
На гла-ад-кой вы-ы-ы-со-о-те-э-э...

Невысокая комнатка вся заполнилась бархатным голосом, мощным и ласковым и, может быть, печальным.

Эта старая, забытая, трогательная в наивности песня отозвалась сладкой болью не то воспоминания, не то сожаления, может быть, оттого, что батюшка, чуя огромную силу своего голоса, сдерживал и вмещал его осторожно и даже нежно в этой маленькой, пахнущей смолой и слегка ладаном уютной комнатке, где прошла молодость, где захирели надежды.

Ка-ак ре-э-э-кру-у-т на ча-а-а-са-а-а-ах...

Не видно выражения лица матушки, неподвижно сидящей в сумраке у холодеющего самовара с прижавшейся к ней Лидочкой; только в полном, слегка расплыв-

шемся и от этого несколько неуклюжем силуэте ее — не то усталость, не то неподвижность раздумья.

«Нет, со мной этого никогда не будет...» — подумала девушка, сама не представляя, чего *«этого»*.

Батюшка перестроил гитару и, помогая себе редкими аккордами, запел песню варяжского гостя из «Садко».

И это уже не батюшка, а в сумраке смутно виднелся высокий красивый семинарист, готовившийся поступить в университет. И не семинарист, а артист. И почудился партер, молчаливо залитый желтеющими лицами, скованный напряжением внимания, подчиненного бархатному мощному голосу певца.

— Ну, будет тебе,— недовольно послышался такой обыденный, простой и такой крепкий в своей будничности голос матушки, что он покрыл певца,— лампу надо зажечь. Ишь, темно. Никогда не пел, а то распелся, а завтра в Пузовку с побором чем свет ехать.

Звякнуло стекло, загорелась спичка, и окна угрюмо почернели.

Девочка смотрит на отца большими удивленными глазами, и они блестят. О. Дмитрий в черной люстриновой рясе, странно и неуместно сидящей на его большом могучем теле, вешает гитару на стену и гладит головку девочке.

— Иди, Лидуша, спать.

Галина шла по молчаливой улице. На краю лаяли собаки. Слева темным краем заслоняли звездное небо спящие избы.

«...А они милые — и батюшка и матушка... У батюшки глаза совершенно черные... И матушка... гимназистка... Как странно все...»

И опять всплыло ощущение противоречивости,— не так, как-то иначе представляла она деревенского попа и матушку, и белых гусей, и улицу...

«Как?»

Она не умела ответить.

С утра училище было набито ребятишками, мужиками, бабами. Толклись и на крыльце, и под окнами стоял гул голосов.

Несмотря на раскрытые окна, в огромном классе тяжко. Бабы вытирают уголком платка красные лица;

мужики с колеблющимися на носу капельками пота скребут во взмокших волосах.

— Не напирайте, пожалуйста. Ведь так записывать нельзя, задохнешься.

Посреди класса среди обступившей толпы Галину почти не видно. Усталая, красная, она заносит за столом в разграфленную книгу.

— Фамилия? звать? сколько лет?

Баба с клячеобразным лицом, прижав к столу мальчонка и наклоняясь за каждым словом — точно ворона кланяется,— роняет, как ворона, свое:

— Филимонка... пиши... звать-то, говорю... чего-сь?.. балуется... всем суседям настрял... чего-сь?.. ну ды, семóй, семóй годочек, об Николе зимнего восьмой подет... чего-сь? куды же я с им... одолел... а?.. ну ды, мужа нету, удова... настрял... пущай ходит... день-то в училище, а мне легше, а то за ним гляди да гляди...

— В училище отдают, чтоб учить, а не нянчиться... Он — маленький, нельзя принять; еще семи лет нету.

А ворона опять закланялась; и нос вороний, и голова черная, замотана платком, даром что духота.

— Ишь сказала!.. А мне-то куды с им... Большого ей подай!.. Большой везде пригожается, и с лошадьми пошли, и на поле, и дома руки найдут работу, большой и бабе нужен...

— Я говорю тебе... здесь не базар... По правилам нельзя принимать моложе семи лет...— ворона в такт кланялась: «так, так...» — а твоему Филимону только шесть. Ну, следующий.

Баба глядела на нее мудрым прощающим взглядом, по-вороньи повернула голову набок, загородила спиной мужика, ждавшего очереди и державшего за руку мальчика, нагнулась, подняла подол, достала из исподницы замызганный платочек, завязанный дважды в узелок, и, прижав живот к столу, сосредоточенно стала раздергивать узелок, развернула, взяла среди мелочи мятую, много раз сложенную, до неузнаваемости замызганную рублевую бумажку, любовно развернула ее и положила на записи, придержав рукой, чтобы не улетела, и сказала покровительственно-торжествующе:

— Ну, вот табе.

Галина глядела широкими глазами.

— Что такое?!

Баба опять подняла подол, запрятала стянутый в два узелка платочек.

— А об рожестве будем резать, гуська принесу, пушку на подушечку, хочь махонькую, а собьюсь для тебе... Чего-сь?..

Галина поняла, и не только лицо, уши загорелись, и шея под завитками налилась.

— Уйди... уйди сейчас!.. Что это?! Стыдно...— и сбросила с книги засаленную рублевку,— как не стыдно!

Баба поймала рублевку на краю стола и не то обиженно, не то изумленно воззрилась:

— Ты чаво?.. Ай белены объелась... Чево деньгами кидаесся... Богатая нашлась...

— Уходи... уходи, уходи, тебе говорят!.. Ну, что такое... Скажите ей, чтоб она уходила...

— Уходи, баба,— загудели кругом мужики,— сказано, уходи. Рази можно при народе!.. Писарю — и тому при народе невозможно, ей-бо!.. Зараз по шее, как можно!..

И опять около стола бесконечные заветренные, полевые мужичьи, бабьи покорные голоса: Афиногенов, Талдыкина, Засупонников, Скоромыслов...

И откуда их столько! деревня не так велика, видно, из соседних... В горле пересохло, и приторно сладко во рту.

Господи, когда это кончится!..

Наконец, когда было принято пятьдесят четыре человека, Галина прекратила прием.

Мужики с непопавшими ребятами повздыхали, потолкались и повели ребятишек домой.

Бабы постояли, тоже повздыхали, иные всплакнули, вытирая покрасневшие глаза, разошлись, и класс опростался, открыв грязный, пыльный пол, и все стояла приторная духота. Остались три бабы, и около них три девочки и мальчик.

Две бабы стояли молча и равнодушно, дожидаясь чего-то, одна, брюхатая, с грязным ребенком на руках, стала визгливо кричать:

— Почему такое! У других принимают, а нашим местов нету. Фроську, известно, девка родила, взяли, а законного при матере, при отце гонют. Ишь ты, каки порядки завела. Много вас тут понаедут порядки заводить.

Почему такое у богатых бесперечь все дети грамоте знают, а какой победней — местов нету? Кабы учитель, а то девка. Ей што! сунет лавошник гребешок ды лентов, хочь ночуй у ей. Почему такое учитель в Ульяновке всех принимал, а эта хвостом вертит — хи-хи-хи да ха-ха-ха... Куды же я с мальчонком...— и заплакала злыми, ядовитыми слезами.

— Как вы смеете!.. Что вы говорите... Василий, позовите старосту... выведите их!..

— А-а,— злорадно кричала баба, тряся ребенка, точно он был всему виною,— нескусно!.. На крове нашей жируете... Ишь взбухала себе каки палаты, помирать не надо...

Дни потянулись, принося одно и то же. Всходившее по утрам все позже и правее из-за крайней избы солнце заглядывало в окно длинными косыми, холодеющими лучами, а за стеной гвалт, шум, крики, топот, и когда она входила в класс, кислый воздух уже стоял, густой и тяжелый.

Пятьдесят пар глаз глядят на нее. Надо как-то подойти к ним, с чего-то начать. Наглядный метод,— ну, хорошо.

Она берет книгу, раскрывает, находит картинку — нарисовано дерево, подымает, чтобы все видели, и говорит:

— Что нарисовано, дети, на этой картинке?

Пятьдесят ребятишек глядят не в книгу, а на нее, и молчат.

— Ну, что нарисовано? говорите же... Дом?

— Дом!..— как эхо, хором, отвечают пятьдесят маленьких глоток.

— Да какой же это дом! Ну, вы смотрите хорошенько. Разве такие дома бывают? Ну, что это?

Упорное молчание, и все пятьдесят так же упорно смотрят на нее, не мигая.

— Ну, что это? Дерево?

— Дерево!..— дружно несется со всех парт.

— Ну, хорошо. Ну, а вот это? Что это такое?

Молчание, и все смотрят на нее.

— Да присмотритесь же хорошенько, есть же у вас глаза. Что это?

Молчание.

«Господи, какие тупые деревянные лица...»

— Ну говорите же, что это. На птицу похоже?

— На птицу похоже!..— все пятьдесят.

— Да какая же это птица? Разве птица бывает в оглоблях, в хомуте, сзади телега? Ну, что это?

Так же молчат и смотрят на нее, хоть убей.

— Разве не видите? лошадь; не видали, что ли, лошадей?

— Лошадь,— несется со всех парт.

Она бьется с ними до изнеможения, до потери голоса. И опять или молчат, как упыри, или, как эхо, повторяют за ней.

Педагогика, за которую ставили отметки, пробные уроки перед учителем и классной дамой — все это было нужно и важно там, в гимназии, и совершенно не нужно или по крайней мере бесполезно здесь, в виду этой непроницаемой стены тупых деревянных лиц.

Нет, тут не до педагогики, не до гимназии, не до восьмого класса. Тут как-то сама должна догадаться, суметь сломить непокорную стену особенно тупого неназываемого упорства.

На переменке Галина на минутку ушла в свою комнату — голова кружилась и в глазах рябило, а в классе начался невероятный содом. Пол трещал, и гул, крики, смех разламывали стены.

С жутью опять пошла на урок.

Вызвала мальчика старшего отделения, который уже год был в школе.

— Ну, читай вот это.

Мальчишка напряг мускулы лица и высоким однотонным голосом прочитал:

— И-и пье-о-с за-ла-ял у во-рот...

— Какой же пьес? Пёс.

Мальчишка в отцовских сапогах, сбычившись, глядит на нее, не мигая, как на чудо.

— Ну, что ж ты. Кто правильно скажет?

— Я,— сказала конопатая девочка, изумленно подняв белобрысые брови.

— Ну?

— Козел.

— Какой козел!.. При чем тут козел?!

Точно прорвалась напряженная черта отчуждения. Ребятишки повскакали из-за парт, полезли на парты,

друг на друга, роняя книги, перья, и закричали на разные голоса:

— У них кобель во дворе, так ни на кого не брешет, а только как козел придет, так на него брешет.

«И отчего они так уродливо одеты? Ведь есть же чудесный русский костюм или украинский — тут ведь и украинцы есть. А то глушь, до города в три года не доскачешь, нет, непременно девчонок в городские кофты уродливо вырядят. Откуда это, почему?!»

Долго она усмиряла класс. Даже Василий заглядывал, а ребятишки, надсаживаясь, бессмысленно орали:

— Одно-гла-а-зый, кри-во-ой, у ко-бы-лы брюхо мо-о-ой!..

На переменках Василий таскал ребятишек за уши, за волосы, раздавая пинки, но ребятишки почему-то никогда не жаловались. Галина узнала случайно и пригрозила, будет хлопотать об увольнении, если хоть раз тронет кого-нибудь из детей.

Он молчал и глядел на нее из-под бровей не то с сожалением, не то с враждой.

С этой тупой горластой ордой и десятой доли не успевала проходить, что приходилось на день по годовому распределению. И она сверхурочно подолгу держала учеников, вдалбливая им, пока они и сама она окончательно не обалдевали. А после обеда приказывала приходить особенно отсталым, и вечером голова — как пивной котел, и еле добиралась до постели.

Ни читать, ни думать — не до того.

Мрак наваливался, и стояла тишина, деревенская, полная одиночества, тоскливая.

Галина засыпала в первый момент крепчайшим темным, без сновидений сном, вдруг точно от толчка просыпалась среди ночи и глядела в темноту, прислушивалась к пустынной тишине.

«Дети — цветы жизни... Кто это сказал?.. Глупости... Людям надо обманывать себя...»

Она вздохнула. Опять-таки все как-то не так, как-то наоборот, не так, как ждала. Там, в городе, в газетных статьях, в книгах прожужжали уши о недостатке школ. Но там было просто и ясно: каждую осень за дверьми школы остается много детей за неимением места — и все.

А тут пришла с ребенком, была беременная, и была у нее какая-то своя собственная жизнь, свое лицо, свое,

видно, горе, заботы; только свое, кровное, непохожее, как будто никакого отношения не имевшее к недостатку школ.

«Жируете на нашей крове?!»

Кто жирует? Это — она-то!.. Господи!..

Галина ворочается, зажмуривается и считает до ста.

У батюшки тоже черные глаза. Сначала он очень аккуратно посещал свои часы и занимался по закону божию. Заходил и вечерком, и вечера проходили незаметно за чаем и разговором.

Зачем он рясу надел? Совсем к нему не подходит. И, должно быть, сильный, широкоплечий такой... А потом вдруг стал манкировать уроками. Все присылает сторожа с просьбой, чтоб она сама позанималась по закону,— то требы у него, то нужно поехать в другую деревню.

Напрасно он не поступил в университет... И заходить перестал. А когда встречается, ласков и жмет руку... Если всматриваться пристально, можно различить, как медленно ползут между переплетом окна черные лохмы туч...

Вот и дожди начались. И стучит, и стучит по крыше, и без конца налетает с ветром на стекла оплывающими каплями. Мотаются и кланяются голые березки перед окнами, и за дождевой мутью не видно улицы, не видно изб, колодца, белеющих гусей.

В городе дождя не замечаешь; заслоняют его огромные дома, бегущие трамваи, звонки, синие искры с проволоки, цоканье подков, движущаяся толпа, снопы света из окон магазинов, с трудом помещающиеся в блеске мокрой панели, а здесь дождь — всё, хозяин, все заслонил. Даже березки, нагнувшись, замирают, омываемые. А он ходит, неустанно стучит по крыше, в окна, шумит по стенам, мутный, неясный, без лица. Шумит и в голых полях, и в опустелых холодных лесах, и треплет одиноко уцелевшие листочки на порослях вырубок.

Ребятишки приходят в класс по уши в грязи, и, когда уходят, пола не видно.

Иногда коротко отнесет ветром дождевую муть, и тогда зачернеет вывороченной грязью молчаливая улица, мокрые избы, мокрая ворона у колодца и низкие, все в одну и ту же сторону бегущие в мокрых лохмах тучи.

Редко покажется мужик в мокрой шапке, с мокрой бородой, подпоясанный, и проведет у самого плетня хромую, утопающую в грязи лошадь. И опять только вывороченная черная грязь, да нахохлившиеся избы, да мокрый сруб колодца. И снова мутный дождь все задергивает.

Даже ребятишки, которые наполняют короткий день в школе гамом и оставляют после себя покрывающие пол пласты,— даже они не нарушают ощущения пустынности и одиночества, потому что с ними одно и то же и вчера, и сегодня, недели, месяцы.

В такие вечера читается. Галина ложится, придвигает лампу и погружается в иные события, обстановку, отдается иным образам, особенно почему-то властительным и живым.

Друзья присылают ей из города журналы, книги и пачками газеты.

Но проходит время, и книги лежат, скучные и вялые. Тогда она одна, совершенно одна, в одиноких сумерках, и становится страшно.

Василий приносит самоварчик, маленький, позеленевший, заплатанный, бунтующий в клубах пара, ставит на стол, обдувает угольки, смахивает накипевшую на крышке воду, отходит и прислоняется к притолоке, заложив руки в одно и то же время почтительно и с достоинством.

— Дождь зарядил, конца-краю нету.

Галина рада, что он не ушел.

— Принесите, Василий, вашу кружку, я вам чаю налью.

— Покорно благодарю, подождем,— говорит он мрачно, но приносит.

— Разумеется,— говорит он,— необразованность деревенская, выттить негде, мужики тут богатые, а по шею грязь. А между прочим, в Польше — тут же и чехи — как на действительной находился, все, бывало, к чехам отлучались. В деревнях и в тех у них панели выстелены, хочь танцуй. Полячка держит себя чисто, гордо, антиресантка, а не то что наша в грудях перетянет, корова коровой.

«И этот сам по себе...» — думала Галина, наливая огромную выщербленную кружку.

— Возьмите, Василий.

Василий спокойно, с достоинством глядя белым мертвым глазом и почтительно живым, здоровым, принимает кружку.

Усаживается возле дверей на скамейку, наливает в блюдце и с расстановкой, держа кусочек сахара на языке и посасывая, начинает прихлебывать.

На стене сбитая комком уродливая тень от него.

Недолюбливала сначала Галина Василия. Особенно возмущало, что он таскал учеников за волосы и за уши. Теперь он таскал их втихомолку, не со зла, а для порядку, и они почему-то не жаловались.

— Жила тут учительша молоденькая, аккуратненькая, субтильная, так слезьми изошла.

— Как изошла?

— А так что мельница тут мукомольная стояла, а при ней инженер, из себя бодрый, расторопный такой, картинка. Даром что мучное дело пыльное, а сам себе аккуратно держал, чисто, все, бывало, платочком сапожки обмахивает. Ну, и стал ездить до учительницы. А она ровно свечечка под великий четверток,— приедет он, она вся светится. Любили ее все, дюже любили. Сами знаете, какой народ, ну, об ней хочь бы слово. После того инженер перестал ездить. Наконец того, приехал прощаться,— прощайте, говорит, Анна Лександровна. А она, как прислонилась к притолоке вот у самого этого места,— Василий поставил блюдце и прислонился к двери, закрыв белый глаз,— так и стоит бе-елая как мел. Ну, а потом опять с ребятами, работать-то надо, а отвернется, все слезинку смахнет. По ночам не спала, все в окошке свет до самого до утра. Раз заглянул через окно, думаю, кабы пожару не наделалось, занавесочка маленько отвернулась, видать, стоит она на полу на коленках, голову положила на кровать и вся дергается... Ну, а к осени хоронили.

Тень от него такая же, свернувшаяся в комок, нехотя чуть шевелится при его движениях. В черном окне шумит дождь.

— А то вот опосля учитель был, так у этого семья. Перед ним учительша пожилая была, овсянку очень любила, все, бывало, перед печкой мешает, от нутряных болезней; полгода пожила, перевели. А энтот приехал молодой, веселый и женился. И она веселая такая, задорная, краснощекая. И пошли дети, и пошли дети, и пошли

дети кажный год, полну комнатку набились, а учительша стала костлявая да нехорошая.

— Вот в этой комнате?

— В этой самой. Да, стало начальство притеснять, стало гнать, чтоб квартиру снимал для семьи. В ногах валялся,— куды же на два дома. Бывало, закричит дитё, да сразу молчок,— а это они ему подушкой рот, и ти-и-хо станет, аж страшно. Всего нагляделся,— двадцать шестой год, с самой со службы.

А ведь у него своя история, своя жизнь, тоже непохожая, по-особенному; даже своя тень, не горбата, а вся в комок свилась, такая же угрюмая, замкнутая, как он.

Были у него дети, умерли; умерла жена; умерли либо разбрелись родные, близкие — кто в Сибирь, кто в Тулу, кто в Москву, никого в деревне не осталось, один он, как старый пень. Некуда и не к кому голову приклонить; нет родной руки, которая заведет глаза, когда придет его час. За двадцать шесть лет прирос к училищу — тут и дом, тут и родня, тут и близкие. Оттого, сколько бы ни сменялись, кто бы ни приезжал — старые ли, молодые, строгие или добрые, девушки или замужние, семейные или одинокие — у всех он одинаково вытаскивал из телеги пожитки, молча нес в училище, молча подавал самовар, как будто это были все те же, кого он знал давно, и уже все было переговорено.

Захолодало. Все подобралось, окрепло. Стала крепкая грязь, видно до весны такая останется и под снег такой пойдет. Избы поплотнели, а по утрам солома на крыше густо седела.

И деревья, голые и захолодалые, стояли с утра седые, и сруб колодца белел сединой, и верхи плетней, а лужицы тонко хрустели под красными гусиными лапами, и далеко и звонко слышен был собачий лай, до того звонко и прозрачно, что казалось, воздух, как хрустальный, рассыплется от этого звонкого лая.

Солнце невысоко подымалось над избами, чистое, светлое, ни одним облачком не запятнанное, глядело на противоположный порядок, и холодная седина быстро таяла с одного бока на крышах, на деревьях, на срубе, а в конце улицы влажно голубело. Похоже было на легкую весеннюю голубую мглу, только не было в ней ве-

сенней радости, а тонкая печаль прощания и одиночества.

«Господи, да как же это я... Ведь это же и в городе бывает, а я никогда не видала...»

Из душного прокислого класса Галина торопливо шла на улицу, потом в поле. И деревья, и поле с посохшей травой, и вырубки с нешевелящимся червонным листом уцелевшего молодого клена — все с прощальной ласковостью глядело на нее по-иному, по-особенному, внося осеннее примирение. И солнце — ласковое, похолоделое, последнее предзимнее солнце.

Далекий лес затянулся все тою же прощальной сизой мглой. Кто-то спрашивал тихо идущую девушку, которая все старалась поглубже вздохнуть:

«Чего тебе нужно?»

«Я хочу жить».

«Как?»

«Не знаю, но хочу жить, чтоб сердце сказало: да!.. Так вот... чтоб... ну так вот, как сегодня — так чудесно! Я никогда такого солнца не видала... Может, оно и не бывало такое... Отчего я одна?.. И ребятишки шумят и возятся, и крестьяне кругом, и батюшка с матушкой, а я одна...»

С обрыва за церковью видна неоглядная низина, а по ней в потемневших садах деревни,— Пузовка, Горяиново, много деревень; краснеет кирпичными постройками экономия. И кажется почему-то — счастливо живут там люди.

Под Казанскую на деревне была какая-то странная суматоха: чистили, скребли и мыли церковь, перед папертью начисто подмели и посыпали желтым песком. В училище староста прислал баб, и они насквозь все вымыли, вычистили и перетерли. Поповский дом тоже прибрался, перед многими избами посыпали песочком. Бабы напропалую пекли и варили, а мужики помылись в бане и так намаслили волосы, что на вечерней службе в духоте головы у них казались мокрыми.

— Что такое, престол, что ли? — спрашивала Галина.

— Не, престол у нас на Петра и Павла.

— Как перед пасхой.

— Благодетеля встревать будем.

— Какого благодетеля?

— Богатеющий. Пожелает, всю губернию купит.

Но благодетель не приехал к вечерней службе, на которой о. Дмитрий служил торжественно и благолепно в новой ризе, а матушка была в шелковом сиреневом платье с буфами на плечах, бабы в новых кофтах, ребятишки все причесаны. Всю церковь наполнял красивый батюшкин голос. Не приехал благодетель.

На другой день приехал перед службой. Приехал в старом тарантасе с откинутым верхом на тройке мелкорослых гнедых маштаков; на козлах сидел стражник с желтым шнуром от револьвера. Тарантас остановился у поповского дома. Вышла матушка, встретила, потом пошли в церковь.

В церкви народ расступался, давая дорогу, и кланялся, а батюшка, вскидывая кадилом перед паствой, особенно щедро взмахивал в сторону приехавшего, оставляя большие клубы пахучего, медленно таявшего дыма, и солнечные лучи из окон стремительно прорезали его косыми синими полосами.

— Господи, поми-и-луй! — как-то особенно согласно, по-детски пели ребятишки — батюшка из учеников составил хор,— пели, напоминая и Галине ее ребячье время, давнишние клубы голубого дыма, покойную мать, а на ней, на Гале, коротенькое беленькое платьице и белые туфельки.

«Так вот он какой, благодетель!.. А я думала...»

Благодетель стоял у правого клироса и подпевал невпопад, но уверенно. Подбритая сзади шея с набегающими складками говорила о подрядческих делах, о поставках, и волосы подрезаны высоко в кружок... Истово крестился, вздыхал, и кланялась широкая спина в синей чуйке тонкого сукна.

Галина тоже крестилась, потому что надо было креститься — стояла впереди, искоса разглядывая, но никак не могла увидеть лица. Только после великой ектеньи благодетель сделал земной поклон, поднялся, опираясь руками, повернулся, низко поклонился народу. И опять, сложив руки на животе, стоял, откинув назад голову с набежавшими на воротник складками, вздыхал и громким на всю церковь шепотом упреждал о. Дмитрия, произнося моления.

У Галины оставило след мужичье простое лицо в рябинах, светлая мужичья борода, закрывавшая сверху чуйку, по-мужичьему пробор и скинувшиеся на обе сто-

роны густые, как бы слипшиеся волосы, а глаза,— а глаз не рассмотрела.

Мужики, старухи, бабы, девки, ребятишки столпились у паперти, напирая друг на друга. Показался благодетель с матушкой, и гул голосов:

— Со счастливым прибытием!..

Выступил седой гривастый старик, поклонился и поднес хлеб-соль на деревянном блюде:

— Прими, Никифор Лукич, ото всех жителев... Пущай тебе господи пошлет, кормилец ты наш.

— Благодетель...

— Много тебе лет здравствовать... Угодникам божиим молимся за тебя.

Благодетель принял хлеб-соль:

— Спасибо вам, старики, спасибо.

Передал ближней женщине, и она бережно и благоговейно понесла.

Матушка сказала:

— Галя, это — Никифор Лукич, попечитель нашего училища... А это — новая учительница... Деревня наша только Никифором Лукичом и держится... Церковь построил, училище новой крышей покрыл, землю...

Никифор Лукич взял руку девушки, и она увидела — глаза у него маленькие, бегучие; она слегка высвободила руку,— он придержал.

— Ну, попадья, не перехвали на другой бок, а то кривой стану.

Кругом провожала толпа.

Пили чай у батюшки. Пригласили гривастого старика. И лавочник сидел тут с вытянутым носом и голым лицом — кувшинное рыло и сломанные брови всегда подняты; во всей деревне единственный дом под железной крышей был его, кроме училища. Староста церковный, плешивый, желтый водяночный старик, безучастно пил чай и, прижимая изнутри языком к щеке обсосанный кусочек сахара, говорил матушке:

— Семой месяц пью крапиву, варю ее и пью. Ну, лучче, а то задышка замучила. С конями пойду, не отдыхнешь.

— Кушайте, Никифор Лукич,— подвигала матушка чудесно вспухшие румяные булочки.

Угостила матушка отличной настойкой, вишневочкой, как масло густой, и в комнате оживилось.

«АДИМЕЙ»

«ВРАЖЬЯ ЗЕМЛЯ»

— Мы тебя ждем, вот как ждем, как светлого праздника,— говорил гривастый старик, глядя на благодетеля промытыми наливкой глазами,— во! Сколько эта церковь будет стоять, сколько в нас дыханья будет, об тебе будем молить.

— Никифор Лукич,— сказал о. Дмитрий, подняв руку и поправив слегка широкий рукав,— господь наш Иисус Христос сказал: «Легче верблюду в игольное ушко войти, чем богатому в царство небесное». Не обречение и осуждение в этих словах, а только учитель наш небесный предуказал, кому много отпущено, с того много спросится...

— Известно, спросится,— сказал гривастый, встряхивая пегой-седой гривой, насупившейся на глаза,— куцый я мерина. Ну, здоровый, возит. Так накладешь...

Матушка беспокойно завертела головой:

— Дети, идите, идите к няне, идите, там вам дадут.

И повернулась к гривастому:

— Батюшка же говорит, дайте ему кончить.

— ...Кому много дано, с того много спросится. Об этом забывают, забывают об этом...

— Да, а то нет,— отозвался плешивый староста.— Я вот семой месяц крапиву пью, да говорю дочери...

— Помолчите, Демьяныч...— сказала матушка, делая знак бровями.

— И благо тем, кто не забывает, кто помнит господне предуказание, чья рука не оскудевает. Господь благословил труды Никифора Лукича, и он помнит, что все, ниспосланное ему, ниспослано свыше...

«А ведь он был совсем другой, когда торчала голова из навоза...» — думала Галина, не спуская глаз с о. Дмитрия.

— ...И рука его не оскудевает. Его иждивением построена здесь церковь, его иждивением построена новая крыша на училище...

— Старая-то совсем прохудилась,— сказал гривастый.

— Ребята-ти, как на ученье сидели,— поддержал староста,— в крыше солнце видать было...

— ...А наипаче облагодетельствовал Никифор Лукич нашего труженика-крестьянина землей...

— Землей, дай ему господи, чего сам пожелает, не обидел.

— За землицу век твои молитвенники...

Благодетель расстегнул ворот и сказал крепким мужицким говором, глядя почему-то на Галину:

— Во, этими самыми руками кажную копеечку... Хребет гнул, ночей недосыпал...

— Знамо, так.

— Копейку голыми руками не возьмешь.

— Копейка, она вороватая — сон у ночи крадет...— неожиданно тонким бабьим голосом сказал лавочник, и так же неожиданно лицо его в набежавших складках улыбки оказалось вовсе не кувшинным рылом, а глаза стали плутовато-веселые; но, когда замолчал, опять все стало длинным, узким, как у сидящего с лапой в капкане волка, и сломанные брови подняты.

— Во как!.. Кажная копейка, она в поту. Ну, я не жалею. Ежели отдашь по настоящей цене землю, что нашей деревне отдаю — задарма отдаю — верных в год шесть тысяч лишку, а то и восемь. А восемь тысяч цена!.. Не жалею!..

— Да что говорить... Кушайте, Никифор Лукич,— матушка придвинула творожники,— наливочки.

— Губернатор со мной всегда за ручку, как в собор пойду, архиерей зараз просвирку пришлет, как кто скажет ему. Смотришь, монашек на серебряной тарелочке подносит, и низкий поклон. За благотворение от самого государя имею серебряную медаль.

Он завернул полу чуйки, порылся в кармане, глядя перед собой как будто смеющимися бегучими глазами, и вытащил в горсти вместе с бумажными обрывками, квитанциями, расписками, старыми пуговицами серебряную медаль на ленточке. Все брали в руки и рассматривали.

— Моему зятю — он теперича в Москве в артели,— сказал бабьим голосом лавочник,— тоже от государя медаль — за спасение утопшей души. Сказывают, пятьдесят шестой пробы.

Матушка откашлялась, вытерла большим и указательным пальцем углы губ.

«Уже привыкла...— подумала Галина,— по-бабьи...»

Матушка сказала:

— Трудно причту без огородов, Никифор Лукич,— теперь все купи, а знаете, как мужики,— не продаст, если не сдерет...

— Мужик, он — жадный,— сказал гривастый.

Лавочник с горестным лицом поклонился благодетелю, потом батюшке, потом матушке и всем остальным и, заломив больше брови, запрокинул рюмку с наливкой.

Благодетель распахнул чуйку на обе стороны, как будто ему было жарко, слегка засучил рукав на волосатой руке и стукнул кулаком по столу — посуда слегка зазвенела, а чай в стаканах расплескался.

— Не пожалею!.. Завтра пришлю Сидорку, отведет в Мокром Куту угол за речкой под огород на церковные нужды.

Матушка заволновалась, сдерживая неудержимо разъезжавшееся лицо. У батюшки черные глаза сделались добрыми и ласковыми.

«Отчего все ему говорят *вы*, а он всем *ты*, даже матушке и батюшке?..»

— Большое спасибо, Никифор Лукич... от всего причта.

— Это по крайности сто рублей аренды... кус аппетитный,— сказал с горестным лицом лавочник, да вдруг засмеялся, и опять глаза оказались плутовато-веселыми, а лицо пошло в ширину морщинами.

— Заливной... клад!..— аппетитно прожевывая, сказал гривастый.

После чаю все пошли в училище. Сопровождала толпа мужиков и баб. Мальчишки бежали вперед, разгоняя свиней. Девки у ворот лузгали семечки и низко кланялись.

Осмотрели училище. Никифор Лукич всюду заглядывал, во все закоулки, и отдавал распоряжения Василию:

— Плотника позовешь, пущай двери у сарая перевесит, а то снегом задувать дрова будет. Финогенова Ваську позовешь, трубы прохудились, угол загниет,— все чтоб как следует.

Матушка легонько толкнула Галину:

— Проси насчет пособий школьных, он все сделает... Проси, покуда не уехал.

У Галины собралась морщинка между бровей и в душе легло какое-то чувство упорства.

— Сама же жаловалась.

Галина промолчала.

...Провожала Никифора Лукича вся деревня. Мальчишки во весь дух с гиком бежали впереди лошадей; му-

жики, бабы напутствовали и кланялись. Тройка малорослых маштачков покатила тарантас. На козлах с кучером сидел стражник с сбегавшим от шеи револьверным шнуром.

Под вечер Галина проходила мимо лавки. На крыльце и у крыльца сидели мужики; иные стояли, опираясь на костыли, и слушали.

«А женщины ни одной...» — подумала Галина.

Кряжистый мужичок с корявым лицом, обкосматившимся, как вывороченный лесной корень, с натугой, по складам читал газету, мотая головой, как будто был тесен хомут.

— Наше почтение,— снял картуз лавочник.

Поклонились и остальные.

— Что же, проводили? — сказала Галина.

Узнала она и гривастого, и старосту, что пил крапиву, и того старика, что первый встретил ее, когда она въезжала в деревню, и других, что приводили в начале года ребят в школу. Захотелось как-то подойти к этим людям, перешагнуть какую-то черту, отделявшую от них, черту не то застенчивости, не то отчужденности.

— Проводили, дай ему, господи, гладенькой дорожки,— ответило несколько голосов.

— А зачем это стражник с ним ездит?

— Ка-ак же! — сказал гривастый, забирая губами побольше воздуха,— шалыган народ пошел по нынешним временам, камнем аль шкворнем, а то из ружжа вдарит из-за плетня. Народ пошел ярый.

— Много добра делает Никифор Лукич?

— Фу, да им только и дыхаем! Кабы не он... сама посуди: в экономии рендованная земля — двадцать восемь с полтиной десятина, скажем. А Никифор Лукич нам предоставляет по шесть. Мыслимо? Под огороды которая, заливная, в экономии по двести целковых с десятины...

— Продать?

— Фу, да рендованная у год, а Никифор Лукич — тую саму землю нам дает по сорок целковых... Мыслимо?!

Галина не имела никакого представления ни об арендных ценах, ни о земле, но эти пропорции говорили о чем-то огромном.

— Да он откуда сам?

— Фу, да наш же, нашей же деревни,— дружным хором ответили, и лица всех оживились гордо и весело,— наш же, просто сказать, мужичок.

— И мужичок-то беднеющий был, просто сказать, замусоленный.

— С подрядов взялся,— сказал лавочник, и лицо его сделалось странно-злобным и длинным.— Умел кому дать и с кого взять.

— Этот сумеет, у этого не вывернешься.

Галина стала дрожать мелкой неприятной дрожью — холодно вечером, а уходить не хотелось, все ждала, какой-то краешек откроется, и она заглянет за черту, которая отделяла ее от этих людей. Оранжевая заря потухла, и уже стояла над темной избой вычищенная серебряная луна, еще не старая.

Когда Галина шла по пустой улице, потонувшей в холодном озарении, ступая по голубым теням, подошла женщина в накинутом тулупе, со спрятанными под кофту захолодалыми руками.

— Ляксандровна,— сказала баба, кланяясь,— сделай милость, заглянь ко мне в избу. Девочка у меня, ну сгорела вся, как кумач красная. Не исть, только пьеть, пьеть, не оторвешь от корца. Глянь ты на нее, крыночку молочка тебе принесу.

Галина наискось перешла уже заиндевевшую с одной стороны улицу и вошла в избу. Кислый, тяжелый, мутный воздух с трудом пропускал красный огонек лампочки, над которой траурно вилась колеблющаяся копоть. Проступала печь, угол огромного сундука, стол. Суетливо шуршали тараканы.

Сквозь их шорох пробивалось шумное, со свистом дыхание. Галина осторожно, стараясь поверхностно, неглубоко дышать, наклонилась и разглядела смутно проступавшее красное полудетское личико; чуть белели зубы из-за обсохших губ.

Холодный, отнимающий силу страх охватил девушку. Она старалась не прикоснуться платьем к столу, к сундуку. Задерживала дыхание, пока не вырвется из этой страшной избы, и от этого сердце стало биться редко и больно.

«Разве мало умирает от дифтерита и взрослых... Вот стоит наклониться, и кончено...»

Она отступила, слегка прижимая платье, чтоб не коснуться печки.

— Я тут ничего не могу... Я не доктор... Тут нужен доктор...

Баба всхлипнула, потеребила востренький носик пальцами, высморкалась.

— Родная ты моя, хочь каких-нито порошков дай ты ей, может, полегчает.

Соблазнительная мысль уйти сию минуту домой — на улице вздохнет, наконец, всей грудью — и прислать с Василием хоть доверовых порошков от кашля, где-то завалилась.

— Тут доктор нужен... Я не могу... Я пришлю порошков...

Подняла глаза — с полатей свесились три головенки, и в смутной мгле блестят любопытством детские глаза.

«Господи, да ведь их отделить надо...»

И вдруг ее комнатка в училище с одним окном, из которого виден один и тот же порядок изб и колодец с всегда белеющими гусями, показалась такой пустынной, такой одинокой, сердце сжалось. Стены проплаканы насквозь.

Она торопливо стала стаскивать верхнюю кофточку.

«Ведь жить-то надо же... Ну как-нибудь, только жить-то надо ведь...»

Кофточку повесила около самой двери — все-таки хоть немного будет продувать, не так микробы насядут.

«Где-то при скарлатине сыпь бывает, не то на горле, не то на животе...»

Страх свернулся под сердцем маленьким холодным комочком. Галина стала осматривать обжигающее тело девочки.

— Пи-ить!..

— Светите же... У вас лампочка даже... не умеете... как из трубы... Покажи, деточка, горло... Открой, открой шире... Господи, ничего не вижу... как в лесу...

Она беспомощно села, опасливо вытирая руки о скамью, потом решительно поднялась.

— Сходите сейчас же в лавочку, попросите уксусу.

— Не даст, скажет: «По ночам».

— Скажите... как его звать-то?

— Иван Федорович.

— Скажите Ивану Федоровичу, что я просила, очень просила, вот деньги.

Принесли уксус. Галина растерла девочку, перестлала, уложила. Велела поставить самовар, сбегала домой за чаем, сахаром, напоила горячим.

— Детей нужно куда-нибудь перевести.

— Да куды жа? В катухе холодно.

— Отведите к кому-нибудь, у кого только взрослые, а детей нет.

— Да уж и не знаю. Бог не попустит, хвороба не возьмет, а попустит, хочь под землю заройся — найдет. Разе к Аннушке? Бобылка.

Детей отвели. Галина принялась за приборку. Вымели, выгребли с хозяйкой сор, укутали девочку, открыли дверь; проветрили. Галина вычистила горелку у лампочки, вымыла стекло, обрезала фитиль, и изба, большой сундук, печь, прибитые по стенам картины и фотографии — все глянуло, тепло озаренное.

Потом вышли и сели на ступеньки.

«Где же страх?»

Комочек растаял. Приятно ныли руки, ноги, как после работы, покусывал холодок, и двор, сарай, телега, голая верба, плетни — все недвижимо стояло на дне голубоватого холодного призрачного моря, а далеко вверху на его спокойной синеве бесчисленно плавали звезды и одиноко белела луна.

— Ночь какая светлая!..— сказала Галина.

Она сказала это, а сама хотела сказать:

«Разве не видишь — чудо! Синее море, а мы по дну ходим, сидим на крылечке... Стоят на дне морском избы... И ни о чем не хочется думать и говорить, а если думать — так, чтоб никакого отношения не имело ни к избам, ни к сараям, ни к плетням, ни к этому крылечку».

Но баба поняла, как сказано было:

— Месячно. Ишь захолодало рано, еще бы дожжам быть. Теперя с дровами будет горе.

— Где же хозяин?

— Удова я. Не хуже людей жили, и засевали, и огород был. Грех жалиться, жив был...— она всплакнула.— А одна-то я на бабьем иждивении, какая с меня корысть, и распродала скотинку-то.

— Земля есть?

— Какая наша земля!.. И восьминки на душу нету. Кабы не Никифор Лукич, вся бы деревня разбрелась: он кормилец...

— Добрый человек.

— У-у, лютой!.. Там лютой...

— А все любят его, встречают.

— Как же не встревать-то... Не токмо встревать, а и под него подлезешь, нехай ездиить... Наша-то деревня в кулаке у него зажата — чисто всех господ скупил округи,— ни проезду, ни проходу. Селивановских экономию скупил; князей Богодугеевских скупил; Кирпиченко скупил. Да ты куды ни глянешь, все яво́ да яво́; захочет, так теленка из деревни не выпустит, ни пройти, ни проехать, кольцом взял.

Хоть и море, хоть и неподвижна остеклевшая синева его, а тени передвигаются, и озаренный перед этим плетень стал черный, и сарай с угла наискось обрезался чернотой, и по звездной синеве черно отпечатались голые ветви.

Из черноты сарая вышел мохнатый кобель, подошел, чуть поматывая головой и лохмами хвоста в орепьях, улыбаясь, постоял около хозяйки, сдержанно порычал, повернув голову,— где-то далеко на краю упорно и одиноко, в промежутках прислушиваясь к самой себе, лаяла собака,— да раздумал, вежливо отошел на несколько шагов, грузно повалился на холодную землю и стал, сморкаясь и роясь в шерсти, искать блох, грациозно вытянув над головой заднюю ногу, потом свернулся комком — и все неподвижно.

«Господи, и как это люди живут в такой тишине...»

Собака на краю перестала лаять; клубок свернувшейся на земле шерсти перерезала тень от избы.

— Бедно у вас живут, темно и грязно. Солома на крышах обвисла, черная.

— Брешут мужики. Жадные. Мыслимо? Никифор-то Лукич по пять, по шесть цалковых с десятины сдает, а она округи двадцать восемь да тридцать рублей и боле. Все в карман себе. Копят и копят, а как прикопит, зараз на стороне землю купит и из деревни вон. Сколько уж уехало. И мы собирались, кабы не помер хозяин. Оно и то сказать, Никифор-то Лукич все деревни округи высосал, прямо сказать, нутро все выпил из народу, свежует их, как баранов; там беднота да голь, не приведи гос-

поди: детей уже дюже много мрет. Видала, с стражником ездиить, убить хотят. Ну, надо его душеньке для спáсения ради, вот он в родной деревне — нашенский ведь он-то — и величается, девки песни ему поют, богу об нем молются. Ну, хлоп! Помрет али убьют... Убить его собираются...— прошептала опять баба, наклонившись.

Кобель поднял голову, посмотрел и опять свернулся.

— ...али муха его укусит в которое место, и с наших зачнет драть, тада всей деревне каюк. Ему на морду-то оброть не накинешь. Ну вот, и жадные и копят, в дому-то ничего не заводят, так на отлете и живут, как собаки.

Галина шла по пустынной голубоватой улице, спотыкаясь на колом замерзшей грязи. Блестели синевой стекла училища.

Когда зажгла свечку, в первый раз за все время комната показалась уютной. И, уже лежа калачиком в быстро согревающейся постели и сладко борясь с наплывающим сном, думала:

«Все навыворот: и не думала, а вот сопляки, грязные, драчливые... А мужики?.. Как же они так во лжи живут? Встречают, кланяются, молятся, и все — вранье... Правда в народе... хороша правда!.. Спать хочется... А среди ребятишек есть и славные... Наверное, просплю завтра... Думаешь делать одно, жить по-своему, а выходит совсем по-другому... И люди другие... о чем это я еще?..»

Да не додумала — мягкая дремота кроет сонные глаза пушистыми ресницами.

Черта отчуждения от деревни стала почему-то таять. Стали приходить к ней и прошение написать, и посоветоваться насчет земского, и по домашним делам. Шли и лечиться.

Меньше всего думала о болезнях, о грязи, нищете, но столько кругом горького, пришлось и за это взяться.

И все бабы больше приходят. Чтоб хоть сколько-нибудь разбираться, выписала лечебник, кое-какие книжки.

— Да отчего вы не в больницу?.. Тут доктора нужно... Что я могу... Ведь больница близко.

— Рóдная ты моя, больница вот она, рукой подать, за лесом зараз, да ненашенской губернии — по лесу-то межа идет; нас не примают. Идите, говорят, к своему, а у нас и своих девать некуда. А наш-то доктор стро-

огой — ну, пользует. Горячка была по деревне, почитай в каждой избе лежал больной, разбегаться народ стал, так приехал доктор, жил у нас, до всего сам доходил, ночей не спал, ну, прекратил, дай ему бог здоровья. Да только не доберешься к нему — сорок верстов, два дни езды; там у него и больница.

Путаясь, конфузясь, стараясь делать незаметно для других, с грехом пополам Галина даже выслушивает грудь, выстукивает, стараясь уловить разницу у здоровых и больных. Ребятишек лечит от поносов, толкует с бабками об их болезнях, и так все это случайно, странно, чуждо, непохоже на то, что ждалось.

Раз приходит высокая старуха с плоской грудью, а из черного платочка глядит бледно-желтое, усталое, костлявое лицо. За ней парень с добродушными мясистыми голыми скулами; по бокам огромные руки, как две кувалды. С ними пришел тяжелый дух.

Старуха поморгала красными безволосыми веками и сказала, удерживая слезы:

— До тебе, родимая, с сыночком. Мати пресвятая, скольки ему сказывала, да рази они послухают?.. Говорю, блюди да блюди себе, вот доблюл. Кабы отец, он бы в батоги, шкуры две спустил бы, шелковый бы стал.

— Что такое?

Старуха прижимает одной рукой к вдавленной груди скомканный платочек, другой поталкивает растерянно и удивленно переступающего парня.

— Ничего, сынок, ничего, она все одно, што дохтор... Без стеснения... Ну, чего уперся бык быком, пра, бык.

Парень, так же растерянно ухмыляясь, возится огромными, корявыми, трудно гнущимися пальцами у штанов, развязывает поясок и начинает виновато выбирать колкую, с мерзким запахом, рубаху.

Девушка отшатнулась и вдруг закричала отчаянно:

— Уйдите... уйдите... уйдите!.. Что же это такое?.. Я приказываю... Василий, выведите их... Боже мой, что же это такое... Куда же мне, наконец, деваться...

Она разрыдалась, убежала в класс и заперлась. А старуха, утирая платочком набрякшие глаза и прижимая другую руку к костлявой груди, кланялась перед дверью:

— Ро́дная моя, да не держи ты сердце на нас, убогих. Бог нас убил... Сказывала, блюди себя, не возжайся

и с девками, а пуще к Феньке курносой не ходи. Да рази послухают. Кабы отец, шкуру спустил, забыл бы и дорожку и к девкам. Фенька-то сгнила вся. А больница, сама знаешь, тридцать пять верстов. Ну, дали примочки, да что с нее, с примочки. А то, говорит, ложись в больницу. Да как же ложись,— один он у меня во дворе-то. Как же без мужика. Все кверху тараманом пойдет. Присыпала ему Козлиха присыпочкой, так он, как присыпала,— а ночь месяшная,— как присыпала, что есть духу как оглашенный бёг в одной рубахе до водяной мельницы, верстов шесть будя, а потом повернул назад до деревни, что есть духу, дюже, говорит, жгло, маменька, мочи нету, до чего жгло. С того полегчало. А теперя на раны пробило, дрянь стала вытягать. Присыпать бы еще трошечки, дак теперя его на аркане до Козлихи не приведешь. А парню почитай и ходить скоро нельзя.

Пришел Василий, молча взял старуху за плечи и толкнул к выходу, а парню дал леща коленом со ступенек.

Долго гнала из памяти эту мерзость Галина, судорожно вздрагивая от отвращения, и не приказала Василию пускать мужиков, а когда на улице случайно встречала кого-нибудь из парней, враждебно опускала глаза — видеть их не могла.

А мужики все-таки ходили: то палец дрожиной раздавит, то нарыв на ладони, твердой, как подошва, то лихорадка трясет, как осину, а сам землистый.

Медленно шло время, однообразно, заполненное ребячьим гамом, драками, слезами, тупым непониманием, и все короче становились серые сумеречные дни.

Раз проснулась, в комнате все бело. Глянула в окно, там тоже бело: и улица, и плетни, и крыши, и облака. И вместе пришла тишина, мягкая, тоже как будто пушистая. Беззвучно потряхивала головой вскосматившаяся лошаденка, мягко расступался под дровнями снег; ворона, сронив посыпавшийся с крыши снежок, молча потянула наискось через избы.

Только ребятишки, когда бежали в школу, с красными щеками, веселыми криками звонко разбивали эту народившуюся тишину.

Где-то далеко за деревней тонкий, как комариное пение, родился звук колокольчика. Ближе и ближе. Замер около церкви.

Кто бы это?

После обеда, проскрипев торопливо по ступенькам, вбежала Гашка и принесла красные выпиравшие щеки, снежный запах и холодок, а рачьи глаза блестят и смеются.

— Матушка вас зовет... гости приехали.

— Какие гости?

— Ды че-орные...— и покатилась от хохоту,— ды косы-ые.

И опять покатилась.

Галина пристально посмотрела на нее.

— Гаша, вам сколько лет?

Румяное, крепкое, здоровое лицо стало серьезно, а большие, выпуклые, блестящие глаза перестали смеяться и уставились. Но как только сошел смех, так проступила тяжелая тупость и что-то животное в широком мясистом подбородке.

— А я до семи годов не говорила...

«А красивая...» — подумала Галина.

— Вы откуда, Гаша?

Та все смотрела, выпучив глаза.

— Мать меня дюже бьет... и отец...

— Вы здешняя?

— Не...— и мотнула головой,— из Пузовки.

И вдруг опять вся засветилась, брызжа здоровьем, со смехом, просящимися неизбытыми силами,— кровь с молоком,— покатилась:

— Ды гости же!.. Скоряе!..

И побежала через класс, только пол гнулся и скрипел: проскрипела по намерзшим ступенькам, и в одно время грузно и мягко побежала по улице, вскидывая снег валенками.

У священника Галину встретили, как всегда, ласково и гостеприимно. Она принесла журнал. Матушка всегда очень просит журналов, жадно перелистает, но возвращает в следующий раз непрочитанным и берет новый.

— Ну, знакомьтесь,— сказала матушка, взглядывая то на Галину, то на батюшку, то на черного, с черными раскосыми пронзительными глазами человека лет тридцати двух,— наш доктор, а это — наша Галечка,— ма-

тушка поцеловала ее и бегло глянула через Галинино ухо на батюшку, который торопливо перевел глаза на доктора и стал глядеть на него упорно и ласково.— Прошу любить и жаловать.

Доктор пренебрежительно тряхнул Галине руку, лицом глядя на нее, а глазами, блестящими и черными, в которых острота пронзительности, отдаленно напомнившая о безумии, мимо на оконную занавеску.

— Курмояров... участковый...— отрывисто сказал он, резко дернул головой, отвернулся, подошел к Лидочке: — Ну, что, пьешь? Ну-ну, пей, пей... Постой, мы тебе еще повпрыскиваем. Дай только лету прийти, танцевать будешь.

— Дай-то бог,— и у матушки блеснули слезы.

А доктор уже ходил по комнате, черно-взъерошенный, с четырехугольной головой, тыкая пальцем в клетку канарейки, побарабанил по стеклу. Присел на диванчике, да встал, сердито отбросил ногой угол завернувшегося коверчика и уронил, стоя боком и раскосо глядя в другой угол комнаты:

— Курсистка?

Галину передернуло.

«Что за экзамен?..»

— Гимназистка.

— А, так.

И опять прошелся и уже совсем ненужно дернул ногой по ковру.

«Какая у него реденькая бороденка, и кожа желтая, как у монгола...»

И опять боком и глядя мимо:

— По принципиальным побуждениям? Мужичка обучать?

Морщинка набежала между сдвинувшихся тонких бровей у Галины.

«Экзамен?!»

За чаем не сказали ни слова друг с другом.

В белесо-черных окнах тускло отсвечивали ночные снега. Тикали часы.

Доктор прихлебывал из стакана и рассказывал:

— Черт его знает из какой кожи сшит народ. В Пузовке, вот тут — там ведь цинга, представляете себе?

— Как на северном полюсе,— сказал о. Дмитрий.

— Ходим с фельдшером из избы в избу, раздаем лимонной кислоты, клюквенный экстракт...

— Да их прежде накормить надо,— сказала матушка.

О. Дмитрий сердито посмотрел на нее.

— Нако-ормить!..

Доктор положил ногу на колено и попробовал, не отстала ли подошва. Потом жадно затянулся, присел на корточки и выпустил дым в печку, уютно и тепло чуть подрагивавшую красною полоской на полу.

— Входим в одну избу. Мужик умирает,— застарелая грыжа. Лежит на лавке, рука свесилась, ноги синие. Баба подоткнула юбку, возится возле печи. На земляном полу ребенок положил голову на брюхо поросенку, поросенок похрюкивает,— оба довольны. Теленок возле лавки, смотрит на мужика, берет на животе у него рубаху и начинает жевать. Мужик с усилием пошевеливает окостенелыми пальцами, переводит с теленка на бабу потухающие глаза и с трудом выговаривает: «Че-го смо-тришь, сса-тана!..» Баба отрывается от печки, бьет по морде теленка: «Та ца!.. А ты лежишь и лежи, коли бог тебя убил. Ишь разлегся... все стало, а ему хошь бы што...» Я прощупываю пульс, готовлю шприц и камфару, впрыскиваю. Плох, последние минуты. Баба высовывается в дверь, кричит: «Гашка! Гашка-а! Куды, кобыла, забегла?..» Слышно, детишки играют в сенцах. Глянула баба на мужа, всплеснула: «Кончается!.. Да на кого ты меня спокидаешь...» А он скосил мертвеющие глаза и, с трудом ворочая коснеющим языком, едва внятно сказал: «Ссамма ссды-хха... а...»,— да не докончил, челюсть отвалилась. Баба упала головой на тело, заголосила, да вдруг кинулась к корыту — опара ушла. «Ой, светы!..» — и стала месить, хлебы не ждут. Потом я ее встречал — заострившееся лицо, глаза ввалились, и бесконечное, молчаливое терпение, бесконечная скорбь... Свои земляные законы...

Он поднялся, опять прошелся и снова откинул ногой угол коврика, хотя он лежал не завернувшись. Матушка накрыла клетку канарейки колпаком, чтоб свет не мешал спать.

— Наш мужик — тьма непроходимая,— сказал о. Дмитрий, подбирая рукав,— а душа мягкая. Вот у меня случай был...

Галина сидела, не подымая глаз, и точно сдержанная тень лежала на лице от длинных ресниц. Сопливые, тупые ребятишки, грязь, и как непрерывно, по-собачьи ласково лгут Никифору Лукичу — все это встало непролазной чащей. И вместе встало упрямое чувство противоречия,— чем-нибудь подсечь эту заносчивую самоуверенность.

— Так легко на народ... легко народ обвинять,— сказала она и покраснела за свое неумение ясно и отчетливо выражаться и за то, что говорила вопреки своим мыслям и наблюдениям.— Народ в очень тяжелых... ему очень трудно жить...

Сейчас же два острых пронзительных глаза раскосо впились в нее, ей показалось, с ненавистью.

— Народ! Какой народ!..

Он пробежал из угла в угол, поправил ногой угол коврика, который сам же цеплял, заглянул под колпак к канарейке, потом, вцепившись глазами в лицо девушки, подходил все ближе и ближе, точно гипнотизировал.

— Никифор Лукич ваш — тоже народ? Вон в двадцати трех деревнях цингу развел, все сожрал, а им кожи оставил жевать... Народ! Каждый мужик... Э, да что толковать!

И, точно борясь с собой, пригладил волосы, а они взъерошились еще больше; тогда он опять присел к печке с кроваво-красной половиной лица, а по стене и через диван быстро сломалась и замерла нахохлившаяся тень.

— Народ!.. Всякий мужичок, пока петля на шее, мягонький, ласковый, великодушный, пока умирает на лавке, пока теленок жует рубаху на животе; а как выползет, сейчас же удавочку на ближнего, сейчас же — Никифор Лукич, самый подлый, самый жестокий сосун. Мужичок — или его сосут, или он сосет. Ух, с каким наслаждением я им, подлецам, режу руки, ноги, вскрываю пузо,— с грыжей ведь каждый через пятого в шестой.

— У меня вот тройку караковых угнали,— сказал батюшка и опять привычно поправил широкий рукав,— а потом, гляжу — в навоз забрался...

— Нет-с, правде надо в глаза, а не зажмуриваться и под подушку головой,— перебил, не слушая и раскосо блестя, доктор.

Галина по-прежнему враждебно не подымала на него глаз. «Нет мужика, есть мужики...»

Да ведь это ее мысли. Она только не сумела сказать вслух. И все-таки, из чувства какого-то раздраженного противоречия, она торопливо искала возражений в тех книгах, во всем, что читала, где однотонно слово «народ» покрывало деревню.

И опять сказала:

— Мужика легко обругать, чего проще, а посмотрите, как они живут, сколько горя...

И, чувствуя, что опять говорит ненужное, не то, рассердилась и стала прощаться.

— Галя, да ты приходи, совсем забыла нас. На тебе журнал. Опять не успела прочитать, ну да потом прочитаю. А ты принеси мне, как получишь, новую книжку.— Матушка поцеловала ее, вполглаза опять глянула на батюшку.

Густой мороз стоял на иссиня-темной улице, над чернеющими избами, и остро блестевшие звезды плавали в его пустоте.

Галина торопливо, стиснув зубы, поскрипывала по протоптанной в снегу стежке, подавляя внутри себя мелкую приятную дрожь, которая охватывает, когда выходишь из комнаты на мороз.

На ступеньках оглянулась на секунду, и показалось, в морозной мгле в большой мохнатой, путающейся в ногах шубе идет к училищу доктор.

Она заперла двери, прошла в свою комнатку и, не зажигая огня, торопливо стала раздеваться в радостном предвкушении чистой холодной постели, которая быстро станет согреваться, как только она юркнет под одеяло.

Казалось, ей и конца не будет, этой зиме. Все те же утонувшие в снегах избы, по-старушечьи выглядывавшие в белых капотах, те же бесконечные снега за околицей, та же глубоко ввалившаяся в сугробах дорога посреди улицы — когда едут в санях, видны лишь плечи да головы — и все выше и выше растет обледенелый бугор у колодца, и лошади, когда пьют из колоды, припадают на одно колено,— не удосужатся мужики сколоть лед.

На святках ездила Галина с матушкой в деревню за пятнадцать верст на елку в училище. Познакомилась с товарищами, с учителями, с учительницами.

И опять все оказалось обыкновенно, и все иначе рисовалось прежде.

Люди как люди. Смеялись, шутили, ухаживали друг за другом. Ни бросающихся признаков нищеты, ни забитости, ни печати молчаливого высокого призвания несущих свет знания во тьму невежества.

Не было и романтической дымки, так таинственно и красиво окутывающей человеческую жизнь: стены проплаканы слезами; и где-то в глубине несознанно пожалела об этом Галина.

Говорили о мясе — трудно доставать стало, и молоко подорожало, об инспекторе, об экзаменах, об училищном совете. Судачили об отсутствующих товарищах. Все было просто, обыкновенно и от этого как будто немножко навыворот.

Но когда ехала назад с матушкой и прятала от режущего ветра раскрасневшееся лицо в отороченные вытертым мехом рукава, было чувство удовлетворения, точно еще какая-то сторона в жизни пополнилась.

И еще приятно запомнилось: когда садились в сани, учителя все вышли, усаживали и провожали, а она с матушкой кричала:

— Уходите, уходите, а то простудитесь.

Посетило школу, наконец, и начальство. Это случилось после обеда.

С утра еще отпустило; снег осел и поплотнел, а дальние леса и небо на краю стали сизыми. Училище опустело, и Галина, пообедав, пошла в лавочку.

Иван Федорович, как всегда, встретил низким поклоном, снял картуз и стал объяснять:

— Это каким манером. Заболела моя супруга. Сами видали, комплекции она обширной, в одну душу кровь пустить. Пустили ей кровь, сразу из нее дух чижолый вышел, просто как мешок слегся, и стоять не может. Хорошо.

Вдруг он скосил голову и прислушался:

— С колокольцами... Нет, не становой... У энтова перезвон смелый: тили-тилин-длин-длянь... А у этого будто один колоколец. И не урядник. И не штраховой,

энтот на одних бубенцах ездиить. Да уж не до вас ли? Слыхать, кривой сгоняет ребят. Либо инспектор. Ну, теперя шуметь будет, дюже ответственный.

Галина вышла из лавки. Вдоль терявшегося в сумерках порядка изб бежал без шапки Василий, стучал батожком в оконце и кричал:

— Выгоняй ребят в училищу, начальство требует.

Подбежал к Галине:

— Инспектор приехавши, требуют.

Около училища стояла тройка, чуть пошевеливая бубенцами; широкие сани с ковром.

В сумерках неосвещенного класса, в волчьей шубе, в мохнатой шапке и в теплых сапогах ходил, поминутно оборачиваясь, какой-то круглый, толстый, небольшого роста человек, бесцеремонно заглядывал в комнату учительницы и пронзительно, неприятно кричал:

— Безобразие! Непорядок! Что это такое!..

И, увидев в смутных сумерках Галину в шубке и шапочке, накинулся:

— Ждать заставляете!..

— Я не была предупреждена...

— Депутацию прикажете посылать?.. И школа, по всему видно, распущена... Так в шубе и будете принимать?

Галина, чувствуя подступивший ком к горлу, пошла раздеться. Ребятишки наполняли класс и, испуганно оглядываясь, рассаживались по партам. Василий зажигал лампу. Галина стала у крайней парты, стараясь держать себя в руках.

Маленький кругленький человечек все катался по классу, волоча шубу и не глядя на девушку.

— Молитву!

Стуча и шумя ногами, поднялись ребятишки и повернулись к иконе, которой не видно было в затянутом чернотой углу. Инспектор придавил лоб тремя сложенными в крест пальцами, дожидаясь.

— Марфуша, читай,— сказала Галина, преодолевая все стоявший у горла ком.

— По фамилии!..— пронзительно закричал инспектор, все держа на лбу пальцы и слегка наклонив в выжидании голову.

Галина на секунду запнулась, с усилием припоминая.

— Баландина, прочитай молитву.

Девочка подняла к черному углу синие глазки, придавила, как и инспектор, ко лбу пальчики и тоненьким голоском:

— Преблагий...

Да вдруг повернула голову, глянула из-под руки на учительницу:

— Да мы уж читали утресь молитву...

— Читай, читай...

Инспектор так и закипел и покатился по классу:

— Вы имеете понятие о школьной дисциплине? Или это пустой звук для вас?..

— Преблагий господи, ниспосли благодать духа твоего святого...

Инспектор истово крестился, поглядывая на учеников, которые тоже взапуски крестились.

Когда кончили, инспектор сказал:

— Ну, ты, крайний. Семь яблоков да три, да четыре отнять от них, а остальное раздать троим, сколько каждый получит?

Мальчишка глядел, разинув рот и глаза.

— Ну, что ж ты?.. Покажи руки.

Мальчик, не понимая, протянул руки, черные, с траурными ногтями.

— Что это у тебя, руки?! Это — лапы с когтями. Ну, ты, ты, покажи... У всех одно и то же... Звериные лапы, а не руки. Чтоб сейчас постригли ногти. Марш по домам!..

Ребятишки, всё не понимая, сгорбившись, по-заячьи оглядываясь на инспектора и толкаясь, вывалились из класса и побежали по улице.

Инспектор прокатился по классу и подошел вплотную к неподвижно стоявшей Галине.

— Вот что я вам должен...— и осекся.

Он ни разу до этого не взглянул в лицо учительнице, все время раздраженно чувствуя только ее неподвижную безответную фигуру. А теперь взглянул в эти запушенные густыми ресницами девичьи глаза, влажно сиявшие не то от волнения, не то обидой и горечью. И щеки горели молодым ярким румянцем.

— Да вы садитесь, пожалуйста... С ребятами ведь нельзя, дисциплина нужна... Эй, кто там!..— инспектор все старался стащить с себя тяжелую шубу.— Человек... сторож!

— Василий,— позвала Галина,— снимите.

Василий неуклюже стащил шубу, а инспектор, стараясь сделать это ловко и с трудом перегибаясь через живот, снимал калоши.

Без шубы он оказался еще более круглым и подвижным, с голым лицом и тремя седеющими волосками на подбородке; и все потирал руки.

— Проклятая служба... Устал, понимаете, устал, сколько проехал, намерзся... Благо еще потеплело сегодня... Опять надо ехать, надо опять, иначе не успею объехать... Позапущено везде... Не поверите, не школы, а бог знает что... Вот у вас ученики прекрасное впечатление производят, осмысленные лица, ну, словом, совсем другое...

Он все потирал руки, присел на парту, опять встал.

«Господи, да чего ему надо...»

— Поверите, глотка чаю за целый день не успел... Торопишься, торопишься...

— Может быть, стакан чаю? — неуверенно спросила Галина в недоумении.

— Если только не стесню... если только не стесню... Я ужасно боюсь причинить затруднения вам... Позволите?

Он прошел в ее комнатку, а она позвала Василия.

— Василий, голубчик, поставьте самовар, а когда подадите, посидите, пожалуйста, возле дверей. Пожалуйста, никуда не уходите...

Инспектор поглядывал на открытки, в уютном беспорядке лепившиеся по сосновой стене. Чистенькая постель, книги и журналы. Веяло уютом, милой девичьей чистотой.

Кипел зеленый самоварчик, иногда пел тоненько и заунывно.

Инспектор говорил без умолку, передавал городские новости, ругал директора, рассказывал о театре.

— Должность наша собачья и, откровенно сказать, никому не нужная. Ведь я отлично знаю, как вы все нас ругаете и терпеть не можете. Да и я бы на вашем месте... Но поймите же, был я учителем гимназии, с директором нелады... Все из-за учеников,— находили, я слишком мягко с ними... Пришлось уйти. Ну, здесь... я понимаю, собачья должность. По-собачьи кидаешься,

грызешь, лаешь,— не станешь этого делать, попросят. Безвыходно. И никому это не нужно.

«Да он не сошел ли с ума?»

Раза два Галина выходила посмотреть, тут ли Василий,— он дремал, поклевывая, на скамеечке. А когда возвращалась, видела сквозь щель отворяющейся двери, инспектор торопливо поправляет перед ее маленьким зеркальцем длинную косичку жиденьких волос от уха наискось через круглую лысину.

В окнах уже чернела ночь, и слабо погромыхивали бубенцы на устало встряхивающихся лошадях.

— Ведь, как вам сказать, я никогда не был женат; как говорится, без хозяйки дом сирота. С другой стороны, живешь, служишь, что же дальше? Зачем все?

Галина спокойно смотрела на него, на его круглую голову, нос пуговичкой и вдруг почувствовала: она — инспектор, а он на положении учителя. Хотелось рассмеяться, но сделала усилие и предложила еще чаю.

Уже было около двенадцати часов, когда инспектор стал прощаться. За черным окном затрепыхали бубенцы, зазвенел колокольчик, все слабея среди тишины, пока не замер.

Галина постояла, расклеила пальцы, сняла зеркальце и глянула. Оттуда глянуло милое с опущенными глазами лицо и с гордым вырезом ноздрей. Улыбнулась, и там улыбнулись милой улыбкой, набежала ямочка.

«Дурак!..»

И повесила на место зеркальце.

Хотелось поскорей уснуть, и все мотались среди бесконечных снегов инспектора, никому не нужные, непоседливые. И надо было что-то додумать.

Она натянула одеяло до подбородка.

«Дурак!..»

А кто-то сказал:

«Разве только для тебя счастье?»

«Так то — я, а то — он...»

И стала сладко засыпать.

Долго утром не могла справиться с ребятами Галина. Сбились в кучу и наперебой рассказывали про инспектора, про его волчью шубу, мохнатую шапку, огромные сапоги.

— Галина Александровна, дай ты нам ноженки, когти обрежем.

И целых пол-урока резали друг другу ногти; смех, крики; кому обрезали до самого мяса, и сочилась кровь. На партах, как шелуха, слоями валялись обрезки ногтей с черной грязью.

— А ну, кто разрешит вчерашнюю задачу?

— Я, я, я!..

Все повскакали.

Галина четко и ясно сказала условие, с удивлением глядя в широко открытые внимательные детские глаза.

«Да они новые, мальчишки эти и девчонки... Когда же это...»

— Ну?

— Три.

— Два, два, два!..— закричали все, подняв руки.

— Так, по два яблока каждому.

И, чувствуя новую близость к ребятам, сказала:

— Ну, я вам почитаю что-нибудь.

Ребятишки радостно взгромоздились вокруг нее на партах, друг на друге.

В первый раз, читая, она испытывала удовольствие. Взглянет мельком, а в нее с жадным вниманием впились пятьдесят пар детских глаз.

«А какими они перед *ним*-то идиотами были...»

Через несколько дней инспектор снова неожиданно появился. У него был довольно сконфуженный вид. Приехал днем. Оправдывался тем, что надо было возвращаться. Целый час пробыл на уроке, ласково спрашивая детей.

Галина спокойно с прячущейся усмешкой вела занятия.

«Таких стричь надо...»

И уверенно попросила похлопотать об отпуске средств на библиотеку. Тот засуетился, обещал непременно устроить, поговорить с директором, с Никифором Лукичом, попечителем школы.

Галина сдержанно благодарила.

В деревне, как в одиночке, время подзет убийственно, а оглянешься — сзади месяцы и годы.

Вот и зима перевалила через морозы, стала слабеть. На пригреве стала капать с крыш капель; тени на

снегах крепко посинели, и восход солнца по порядку передвигается за избами все ближе и ближе к церкви. Летом оно всходит по другую сторону от церкви.

У Галины все то же, все те же ребятишки, все те же бабы с усталыми лицами, с хворостями и горем; те же мужики по разным делам приходят; та же заваленная снегом улица, тот же колодец посредине с намерзшим бугром у колоды.

И где-то далеко-далеко маячит город, театр, «Пиковая дама», вечеринки, молодежь — все, без чего, казалось, жизнь не в жизнь, маячит вдали и становится почти воспоминанием.

Приехал доктор, прибежала Гашка звать к матушке.

— Опять приехали раскосые гости да че-орные.

Гашка покатилась со смеху, потом сразу стала серьезной, с тупым животным подбородком и удивленно круглыми глазами.

— А у меня жаних есть.

— Ну, что же замуж не выходишь?

— Ды кладки требует: чтоб тулуп мне, ды два одеяла, ды две подушки. А отец с матерью не дают.

— Отчего?

— Не из чего.

— Жалованье собирай на приданое.

— Отец с матерью забирают.

— Зачем же ты отдаешь?

— Как же не давать? Никифор Лукичу за рендованную землю все несут.

Она постояла, переминаясь с ноги на ногу, что-то тугo вспоминая.

— Поп дюже гоняет и матушка.

— За кем гоняет?

— За женихом.

— Как же гоняет?

— А с дрючком. Как жаних придет, матушка закричит как резаная, а батюшка ухватит дрюк да за им; он через плетень, а я в катух сховаюсь.

Она смотрит на Галину выкатившимися рачьими глазами и вдруг захохочет, глаза искрятся, становится красной — кровь с молоком.

— Побегим, што ль? Ждуть.

Галина не пошла. «Задается этот доктор...»

Целый вечер не читалось, была сердита, ничего не хотелось делать. Взяла зеркало, глянула, оттуда посмотрело злое лицо.

Долго не могла уснуть. Чернело немое окно и в своем молчании говорило об одиночестве, заброшенности, однотонных днях, которые теряются во мгле скучного будущего.

Потушила лампочку, легла не раздеваясь, упрямо закрывая неслушающиеся глаза. А когда открывала, все так же угрюмо смотрело черное оттаявшее окно.

Да и что ждет ее?

В лучшем случае выйдет замуж за учителя, ну вот хоть за того... высокий, черный, что провожал тогда с другими... на елке... И... и начнется... Пять человек детей... ревут... все ревут... подушкой им рот... маленькой подушечкой...

Она всхлипнула, зарылась лицом, и поползли соленые едкие слезы, впитываясь в подушку.

...Подушечкой рот... а по-том... потом что бывает? Вдова, семь человек детей, а сама костлявая, некрасивая...

«Боже мой, боже мой!..» — с отчаянием повторяла она, силясь удержать слезы.

И долго это тянулось. Потом за стеной тяжело стали стучать поставы, гремели жернова. А Василий говорит: «Мельница мукомольная пошла в ход... все-о перемелет... ничево, перемелет...» Да выкатил по-рачьи глаза, да как заревет: «Подымай, ребята, потолок!..»

Вскочила Галина, а в окно такой яркий свет — из-за церкви солнце бьет.

— Господи, да ведь утро!..

За стеной стучат, бегают ребятишки. И Василий стучит в дверь: «Ребята собрались, вставайте...»

Плеснула в лицо студеной водой, пригладила волосы и пошла в класс. А класс весь залит солнцем, весь до дальних углов, и в окна нестерпимо блестит обтаивающий снег.

Ребятишки радостно на разные голоса здороваются с ней, машут руками.

— По местам, дети.

Читают молитву, шуршат книгами, тетрадями.

И начинается все то же: три да семь, и из девяти два, и три раза по три, и что такое сумма, и что такое разность, и все, что так старо для учительницы и так ново, неожиданно и трудно для ребят, широко раскрывающих в напряжении глаза.

И кто-то спрашивает:

«Тебе скучно?»

«Не знаю... мне некогда...»

«Помнишь: все ждала окончания гимназии — пятый, шестой, седьмой класс, вот восьмой и все по-иному — весело, радостно, свободно, точно через порог переступаешь... Кончила, и — сопливые, грязные ребятишки, прокислый запах полушубков, онучей, холод, угар, теснота, бабы с больными животами, сумеречные зимние дни, долгие, долгие ночи, и деревня молчит... так тихо, собак не слышно... Помнишь?..»

«Помню».

Урок тянется, переменка, второй. Уже воздух тяжел, насыщен усталостью, деревенеют лица, тухнут глаза; становятся похожи на тех тупых дураков, что огорошили ее в первый раз.

Слышно, за окном старый гусь с бугристым клювом громко, трубным голосом, вытянув шею, крикнул солнцу, теплу, синему небу, искрящемуся простору. А тоненький голосок в классе сказал, перебивая отвечавшего:

— Дормидонтов гусак кричит.

И разом вспыхнуло оживление.

— Не Дормидонтов, а бабки Козлихи.

— И не Козлихи, а Старого Ерика Тулпана.

— Брешешь...

— Сам стрескай...

— У Тулпана во как...

Мальчишка, вобрав вместе с ситцевой рубашонкой весь живот так, что ребра вылезли, и, сделав гусиное лицо, крикнул по-гусиному; за окном отозвались гуси.

В классе — невообразимый содом: на четвереньках лазают по партам, роняют перья, карандаши, книги, их дергают, хватают за ноги; другие лезут на подоконники, кричат по-птичьи. И все в разном: в пестрядинных портах, в отцовских сапогах, в лаптях; девочки в маленьких, уродливых, по-городскому, кофтах, и в косичках заплетены цветные тряпочки.

У всех ребятишек на лицах одно и то же, и в то же время лица разные, больше курносые. Немытые густые волосы — в кружок; много голубоглазых.

Иные, среди гама, сидят в забывчивости, раскрыв рот, тупо глядя перед собою невидящими глазами.

Галина стоит, улыбается. Ей смешно, как она вчера сделалась вдовой и... семеро детей.

Все улыбаясь, она спокойно смотрит на этот содом. Но, пожалуй, довольно.

— Ну, будет, дети.

Упустишь огонь, не потушишь,— выпусти ребятишек из рук, забрать потом трудно. Когда в эту толпу вселится бес своенравия, из школы хоть беги.

— Довольно же!..

Голос ее тонет в шуме и криках. У девушки дрогнула тонкая бровь и набежала на переносице морщинка. Взяла у ближайшего линейку и резко постучала о парту.

— Тише!

Но и это потонуло, лишь ближние перестали таскать за волосы и ездить друг на друге.

Тогда, одолевая шум, Галина сказала крепким голосом:

— А кто из вас, дети, видел диких гусей?

Разом упавший шум воровато пополз по классу — слезали с подоконников, вылезали из-под парт потные, взъерошенные, с возбужденными сверкающими глазами маленьких зверьков. Потолкались, поерзали на месте, пошушукались, и все стихло, и все выжидательно смотрят на это белое с легким румянцем лицо, на котором между тонкими бровями морщинка.

— Кто диких гусей видел?

Девочка с испитым лицом — в семье у нее сифилис — подняла замызганную бледную руку и то приподымалась, то садилась, дергаясь, стараясь обратить на себя внимание.

— Скажи, Феня.

Заикаясь и помогая себе белобрысыми полувылезшими бровями, девочка сказала:

— У д...ддя-дденьки Фф-фе-ддула г-гусь сс-сбесился и с-сстал д-ддикой.

— А его зарезали!..— хором подхватывают ребятишки.

— Ну, то совсем другое.

Но они уже все в ее руках, опять блестят глаза, краска покрыла лица. И опять: семь да пятнадцать, и двадцать восемь без девяти, и что такое сумма, и что такое разность, и кажется, самые стены класса налиты напряженным вниманием.

...С этого дня началась весна. С крыш везде длинно повисли морщинистые сосульки, блестя на солнце и роняя чистые, как слеза, играющие капли. Дорога посреди улицы потемнела. Обтаявшие снежные гребни на крышах, синие с одной стороны, особенно чисто рисовались на чистом небе.

Опять прибежала Гашка и, покатываясь со смеху, закричала:

— Матушка зовет, раскосые гости приехали.

— Хорошо, хорошо, — сказала Галина, — сейчас приду.

Она думала, доктор совсем больше не приедет.

Переоделась, взяла зеркальце и глянула прямо в профиль — нос горбинкой.

«А я новая... Я каждый день новая... другая... Хорошо бы всех держать в руках: и инспектора, и ребятишек, и мужиков, и баб... А доктора?..»

Она повесила зеркальце.

У матушки все то же: канарейка, бурлящий самовар на столе, горы подрумяненных булок, о. Дмитрий, рослый, красивый, чернобородый, с неуклюже и ненужно сидевшей на нем рясой.

Доктор рассеянно поздоровался, как будто они только минуту назад расстались, такой же взъерошенный, сосредоточенный на чем-то далеком от окружающего, и упрямый хохол спадал к самым бровям.

В чистые незамерзшие окна еще смотрело, сквозя между избами, солнце. Шумели в дальних комнатах детишки. Матушка принесла старый журнал.

— Не успела, Галечка, прочитать; после уж прочитаю.

И жадно стала перелистывать, наклонившись, новый.

Лидочка смотрит на доктора большими, задумчиво спрашивающими глазами в темных кругах, и было в них что-то свое, еще не получившее ответа.

Доктор заговорил ни к селу ни к городу, и в то же время это не странно, как будто все об этом думали.

— Самое тяжкое между близкими, когда мысли у них совпадают.

Он безразлично останавливал свои блестящие, слегка раскосые глаза на батюшке, на матушке, на Галине. И Галина стискивала зубы, чтобы подавить вдруг охватывавшую мелкую дрожь, когда этот блеск глаз останавливался на ней.

— Самое тяжкое... ведь... Подходишь к другому... пусть это самый близкий человек... тут-то особенно... Ведь то, что в тебе, к этому присматриваешься, это — твой собственный процесс, и хочешь в другом противоречивости, понимаете, нового, другого, чтоб в твои мысли — вдруг: ах! вонзилось чего там не было, исковеркало твой собственный ход мыслей, перевернуло все кверху ногами...

Матушка поняла по-своему.

— Ну, это хорошо, когда детей нет.

— Знаешь, как человек повернется, подумает, засмеется, поступит... Да ведь это страшно, это зеркало твое...

Галина опустила глаза, и ноздри раздулись. Как и прежде, доля правды в его словах вызывала раздраженное чувство упрямого противоречия:

— Не понимаю...

Но батюшка не дал договорить:

— Никанор Сергеевич всегда все по-особенному...

Матушка и его перебила:

— Вам, мужчинам, легко говорить. А женщине — и дети, и хозяйство, и прислуга. Конечно, необходимо умственное развитие. Мне ведь некогда журнал прочитать... я этот, Галечка, непременно прочитаю... У меня вон Гашка намедни два стакана и три блюдца расколотила. Конечно, вычту. А отец говорит: «Не надо».

— У нищего-то суму.

— Как это, у нищего! Ты меня, отец, удивляешь. Ты меня просто, наконец, удивляешь. Это... это что-то странно, необъяснимо... какое-то странное заступничество... Она будет бить, колотить, а ты будешь по головке гладить, может быть, даже...

О. Дмитрий безнадежно махнул рукой.

Матушка, красная и взволнованная, нервно подвинула к себе чашку Галины и стала лить из чайника.

— Постойте, я не выпила, у меня еще половина.

— И самое страшное,— говорил доктор как будто только самому себе, странно и болезненно улыбаясь,— самое страшное, это когда мысли совпадают, ну, вот, когда мысли совпадают, как бывают деревянные пасхальные яйца кустарной работы, одно в другое входит, штук десять...

— Я не понимаю,— сказала Галина, все не подымая длинных ресниц,— не понимаю... Если сходятся два друга, так, значит, у них что-нибудь общее. А если это мужчина и женщина, ну, муж и жена, так ведь тогда только счастье, когда это два друга, когда у них есть точка соприкосновения.

У доктора злорадно забегали совсем перекосившиеся глаза:

— Вот, вот, вот! Общее... Это вот общее: выходит за архитектора, она — архитекторша, только постройками интересуется; за композитора, у нее только музыка, да оперы, да романсы; за жандарма — у нее сыщицкие интересы; за попа...

— Ну, уж это ты, отец, зарапортовался! — закричала матушка с пылающими ушами, двинув от себя полоскательницу.

— Это вы тово... Не-ет, этого нельзя,— покрыл всех о. Дмитрий.

— Что ж тогда остается?.. Где ж тогда таинство брака?..— махала мокрым полотенцем на доктора матушка.

А у него еще раскосей блестели глаза, и матушка подумала: «С ума спятил!..» — и притихла.

— А если вдова архитектора вышла за писателя, она вся с головой в литературе, больше ни о чем и говорить не может. А конец один: отдали друг другу душу, жизнь, все затаенное, глядь, через пять, восемь лет уже все исчерпано до дна, все, и наступает самое страшное— скука.

Матушка хлопнула полотенцем о посуду и вскочила; по красному лицу и шее пошли белые пятна.

— Договорился! Теперь что же: слава тебе господи, прожили с отцом Митрием двенадцать лет душа в душу, дай бог всякому, а теперь будет скучно, нарожала ему детей и вся вышепталась, можно и в сторонку. А отцу Митрию кого же прикажете? Помоложе?.. Он вон какой, краса-авец! Кого же прикажете, спрашиваю? Молодень-

ких сколько угодно. Ну, Гашку можно, девка ражая... Да и кроме...

— Ну, будет, будет тебе... Али оголтела, мать? — и о. Дмитрий сердито поднялся.

— Ну да, будет... Знаю я эти теории, они и тебе очень по вкусу. Взял молодость, здоровье, силы — теперь и в архив...

— Да ты что, в самом деле, соскучилась, давно сцен не делала. Тебя хлебом не корми, только сцену бы устроить... Вот где у меня все эти сцены сидят...— о. Дмитрий сердито хлопнул себя по шее.— Жизнь заела...

У матушки налились глаза, и она всхлипнула:

— Конечно, конечно, заела... исковеркала... А сватался, о самоубийстве все... Одно у-те-ше-ние в детях...

Лидочка, смотревшая на нее все теми же огромными спрашивающими глазами, подняла тоненькие руки, обняла и сказала милым недетским, тоже спрашивающим голоском:

— Мамочка?..

И оттого, что не было ответа на ее тоненький, не по-детски ждавший голосок, в больших широко открытых глазах отразилось недоумение и привычная печаль.

Матушка страстно обняла ее и вытерла слезы:

— Фу, какая я!.. Ну... Лидочка, скажи, чтоб нам закусить дали.

В окна смотрела ночь; самовар стоял холодный.

Доктор напряженно думал о своем и смотрел мимо всех.

«А ведь если бы встретился... ведь...— он на минутку закрыл лицо рукою,— дана человеку любовь, дано самое острое, самое яркое чувство, все захватывающее, и оно — счастье. Так как же не сохранить, не пронести ее через всю жизнь. Какой-то обман колоссальный, подлый обман».

Он закрыл лицо, посидел, открыл, и на Галину глянули прямо, совершенно прямо черные без блеска глаза, полные невычерпанной тоски.

— В женщине нет своей собственной жизни, понимаете, нет творчества. Нет, не того: села к столу, взяла лист английской бумаги, перламутровое перо, подняла к синему небу синие глаза...

«У меня ведь серые»,— подумала Галина.

— ...и стала писать стихи. Не этого творчества, а самого простого, обыденного, повседневного, ежечасного. Ну, закачивает ребенка, по-своему спела песенку, рассказала сказочку, ну, неуклюжую, записать даже нельзя, да свою. Понимаете, пусть у нее — свое, собственное. Пусть иногда посмотришь ей в глаза, а они — чужие, понимаете, свое у нее там, о чем-то думает и не хочет пустить в свои думы, не хочет пустить, и от этого новая, понимаете, новая она, не такая, как была, другая. И дрожишь, и тоскуешь, что у нее там за этими за глазами?..

— Рога мужнины...— усмехнулся о. Дмитрий.

Доктор не слышал, прошелся, заложив руки, нагнув голову.

— У мужчины есть своя деятельность, своя область, куда он может уйти, оторваться ото всего, от семьи даже. У женщины нет этого, она вся наружу, вся сразу исчерпается, и все. И в этом их обоих трагизм, несчастье...

У Галины кипело желание бросить ему в глаза тысячу ядовитых замечаний, но боязнь бросить голую колкость не по существу удерживала.

А матушка, уже перегоревшая, сказала спокойно:

— Таким, как вы, не надо жениться.

Гашка внесла огромный лакированный, с разводами поднос, уставленный тарелочками. Красные щеки ее, как налитые, раздулись, в испуганно выпученных глазах дрожал смех. Матушка деловито стала расставлять тарелочки.

— Пожалуйста... прошу... Вот грибков, груздиков... телятинки... Никанор Сергеич, Галечка...

Доктор наложил не глядя, все думая о своем, и опять стал раскосый.

— Да вы что же это, Никанор Сергеич, на одну и рыбу и телятину; вот же!..— и пододвинула другую тарелку.

— Да, вот вы говорили...— сказал доктор, не глядя на Галину, но обращаясь к ней.

А у нее поднялось раздражение: почему это под его дудку все пляшут — говорят только о чем ему угодно.

И холодно, не глядя на него, сказала:

— Приезжал инспектор, два раза даже, забавный. Вызвал ребятишек и...

— Вот вы говорите,— сказал доктор, глядя на нее раскосо,— все мужики...

«Это же, наконец, возмутительно, неделикатно...»

И она, демонстративно не слушая, стала накладывать на тарелку моченой брусники.

— Матушка, дайте мне, пожалуйста, ложечку.

— ...говорите, что все мужики в зародыше — Никифор Лукичи...

— Да это вы говорили! — подняла изумленные глаза Галина и вся вспыхнула от вражды к нему.

— Ну я... Что ж тут?.. Вы тоже. Нельзя же против очевидности идти...

Да вдруг устало и угрюмо замолчал.

Из дверей высунулось широкое красное лицо Гашки.

— Ды лошади дожидаются, а то зажоры... извошник ругается...

Матушка замахала на нее руками, она исчезла.

— Женщина, как ночь... дремучая темь. И мужик. Мужик — лес, черный, дремучий. Идешь, проваливаешься, ломаешь ноги в буреломе, выстегиваешь сучьями глаза, и все идешь, и все идешь, все-о маячит где-то просвет, а конца-краю нет. Ну, мне отправляться. Вы тоже идете?

— Да, и мне.

— Пойдемте вместе, провожу.

— Нет, я посижу.

Он постоял печально, потом стал прощаться. Через минуту за черным окном слабо растаяло легкое погромыхивание, оставив странный отпечаток не то ожидания, не то печали.

О. Дмитрий ходил большими шагами вместе с своей тенью, которая пресмыкалась у его ног. Матушка мыла чайную посуду, позванивая.

— Необычный человек, странный человек...

— Сумасшедший,— спокойно вставила матушка.

— Не каждый день встретишь такого. Работает разъяренно. Два раза тифом болел. Мужики его боятся. У нас с ним первое знакомство любопытно вышло. Приезжаю я в Подгорное, больница у них там; верст сорок отсюда; ярмарка была. Со старостой церковным поехал: он бычка поехал покупать. Посылаю старосту в больничную аптеку, ну, знаете, зубного порошку попросить, ему и цена-то грош. Пошел староста, говорит фельдшеру: «Так и так, мол, батюшка просит». Ну, фельдшер ничего, стал было насыпать. Входит доктор. «Это что такое?»

«ГАЛИНА».

«БУНТ»

Вскинулся на старосту: «Кому?» — «Батюшка, мол, просил».— «Зачем?» Староста струсил. «Паникадило, говорит, чистить».— «Скажи, говорит, попу, что когда паникадило обрастет мясом, да вырастут на нем зубы, я отпущу ему мелу, а до этого не показывайся».

— Мужлан,— опять вставила матушка.

— Ну, потом поладили, теперь друзья.

Галина шла в темноте у самых плетней, похрустывая корочкой. Пахло обтаявшим за день снегом, лужицами, прихваченными тонким морозцем, окрепшим за вечер навозом, — весной пахло.

Длинней и длинней становились дни, синее небо, солнце разыгралось вовсю. И уже ничем нельзя было этого заслонить, нельзя было забыть, только открывались глаза, и все углы, все закоулки уже залиты солнцем, всюду золотые пятна, а на улице, не приведи бог, что делается: ослеск, сверканье, шум бегущей воды; ребятишек не загонишь в класс, прыгают через ручьи, пускают корабли-щепочки, в класс являются по уши мокрые и радостные.

И хоть ни проходу, ни проезду не было, не вытерпела Галина: в воскресенье вместо церкви, откуда слышалось разноголосое пение и куда непременно каждый праздник должна ходить, иначе донос, пошла мимо церкви на взгорье.

Сколько глаз хватает, лежат умирающие снега. Больно смотреть: блаженный вольный простор над ними переполнен мотающимися горячими искорками; на взгорьях проплешины курятся влагой. А деревни, ближние и дальние, как темные острова — с крыш слез снег, и вьется между ними рыжая от протаявшего навоза дорога.

«Не надо... не ходи!»

А сама уже спускается, уже спустилась, поминутно проваливается, набрала полные калоши, промокли ноги, но безудержно весело и радостно.

Оборачивается,— деревня далеко сзади на пригорке; зеленеют главки церкви, чернеют залохматившиеся, еще больше сопревшие за зиму соломенные крыши, и доносится оттуда разноголосица куриных разговоров, крики петухов, собаки лают, ребячьи голоса и все по-особенному, по-весеннему, пронизанное и золотым солнечным теплом, и холодком тающих снегов. И так не хочется воротиться в свою одинокую пустую комнатку. Сколько не-

стройного движения в этом трепетном блеске, в этих нестройных весенних голосах, и кто-то спрашивает:

«Разве ты не хочешь жить, любить?..»

Когда воротилась, усталая, счастливая и радостная, приятно ныли руки, ноги и чуть кружилась голова. Хотела пойти к матушке, да не пошла: тянуло усталую голову к подушке. Прилегла, отдаваясь какому-то стремительному проваливающемуся сну, и сейчас же зазвонили в церкви в набат.

Открывает глаза — тихо, темно. Как только закрывает, опять плывет кругом багровый гул — голова разламывается.

«Постойте... я не хочу...» — жалобно говорит она, силясь поднять свинцовые веки. Кровавый гул растет, наполняет комнату, деревню, поля с протаявшими снегами...

«Ох, дайте передохнуть!..»

«Не дадим... Пускай мужики делают свое, а ты свое... Женщина и мужики, это все одно — темь...»

Нечеловеческим усилием она приподымает мучительно тяжелые веки, и сразу черная пустая тишина. Только четырехугольник окна слабо выделяется тускло-свинцовым отсветом.

Но трудно держать веки, как свинцовые, медленно, медленно покрывают пышащие жаром глаза, и сейчас же, нарастая до невыносимых размеров, колеблется кроваво-красный гул.

«Ну, все равно».

Она перестает бороться, отдаваясь неизбежному.

А комната вся полна людьми. Вот Федосьюшка. Она нагибается и начинает щипками срывать с нее кожу.

— Федосьюшка... помнишь... как по дну моря ходили?.. И сараи, и изба, и ты, и я — на дне, а над нами синее, холодное.

— ...Не мучь!..

У Никифора Лукича на шее набежали жирные складки.

Тоненькая бледная девушка на коленях, уронив голову на кровать, не шевеля губами, спрашивает:

— Любишь?

Галина молчит.

— За что любишь?

Молчит.

— За то, что особенный?

— Нет.

— За то, что работает по сорок восемь часов в сутки?

— Нет.

— За то, что его мужики боятся?

— Нет.

— За то, что у него бородка, усы, черные глаза с раскосинкой?

— Нет.

Молчание.

Она удивленно смотрит: Никифора Лукича с набежавшими на шее складками нет. Тоненькая, хрупкая девушка растаяла в слезах. Бабы пригорюнились. Слышен голос Василия:

— Привезли.

Федосьюшка говорит:

— Ну, слава тебе, господи, царица небесная... Болезная ты моя...

В воздухе мутно и неопределенно, потом яснее и яснее проступает невиданное лицо старухи — морщины, запавший рот, красные веки. Старая голова наклоняется и смотрит молочными глазами.

Галине страшно, мелкий озноб охватывает неподавимой дрожью, и опять багровый гул, разрастаясь, разламывает голову.

Старуха глядит молочными глазами и шевелит пальцами.

Шамкающие понятные и непонятные слова покрывают покоряющим шепотом:

«...на мори, на окияни стоит дубовый пень...»

А медный качающийся набат гудит: аы-аы-аы... аы...

Старый монотонно шамкающий шепот падает в самую боль:

«...на дубовом пни стоит церква... У той церкве стоит поп, держит хрест. И яко на мори, на окияни нема дубового пня. На дубовом пни нема церкви, нема попа, и не держит он хреста...»

Мерно шуршит шамкающий шепот, навевая сон, постепенно замолкает тяжелое гудение.

«...так шоб рабе божией...»

Только прошептала это, разом нарушая сон и нестерпимо отдаваясь в голове, разноголосо-визгливым хором подхватывают бабы:

«Галине!!»

И опять мерно ползет шуршащий шепот, подавляя разрастающийся гул:

«...рабе божией Галине не было уроки чемерю, и выговариваю, и высылаю, уроки чемерю из резвова живота, из белава требуха, с красных кишок, шоб рабе божией...»

И опять враз, отдаваясь в голове, на разные голоса подхватили бабы:

«Галине!!»

«...рабе божией Галине не быть и костей не ложить, тело не сушить и не пороть, и не отрыгатися...»

И нет потрясающего озноба, нет старухи, нет баб. На стене слабо проступают открытки. Где-то далеко-далеко едва уловимо колеблется замирающий гул.

День ли, ночь ли?

Должно быть, вечер, и, верно, от этого в окне к стеклу приплюснулись знакомые черты; знакомый белый вязаный платок, и в нем голова дружески, сердечно кивает...

Нет, больно узнавать, больно припоминать.

Закрывает глаза, и гул, то слегка усиливаясь, то слабея, замирает, и опять подымаются, бередя голову, больные мысли. Может быть, это все, что делается кругом,— та, другая жизнь, которая шла, совершалась и совершается все время за видимой чертой внешней обыденной жизни, за поступками, разговорами, за мужиками, ребятишками, за жизнью семьи священника, за...

Она узенько приоткрывает веки — все те же открытки, черное окно, стоймя загороженный книгой свет на столе и, постепенно заслоняя все это, проступает голова... доктора. Черные глаза смотрят совершенно прямо, не мигая...

— Мама!..

Она крикнула криком больного сердца, больного одинокого сердца, но лишь прошелестели сухие губы,— мамы нет, мамы давно нет, и она это знает.

Долго глядит на нее доктор не то злорадно, не то печально, не то не замечая, думая о своем.

Галина бессильно опускает веки и покорно отдается темному безгласному покою. А когда чуть-чуть приоткрывает, это вовсе не голова доктора, а Федосьюшка, и тот же загороженный книгой свет на столе.

Федосьюшка клонится, клонится, клонится, да вдруг качнется вперед, и тень на стене ссунется, да отдернет голову, и снова сидит, потом опять клонится, клонится, клонится...

Галина смотрит и... смеется. А окно светлеет, и на столе загороженный свет покраснел,— утро, что ли?

Хочет позвать Федосьюшку, да сил нет, и, слабо улыбаясь, отдается ровному спокойному сну.

Просыпается оттого, что кто-то безбожно щекочет глаза. У нее вздрагивают ресницы; приоткрывает, и колючие золотые лучи радостно и задорно не дают смотреть.

Федосьюшка, это ты?

Вся комната залита ярким солнечным светом.

Федосьюшка бросается к ней, поправляет одеяло.

— Родная ты моя, болезная ты моя! Слава тебе господи, царица небесная... Ну на́, выпей, дохтор велел... Василий-то прибег, говорит, свалилась учительша, потом к матушке. Матушка прибегла, глядь, ты — кумач-кумачом, она зараз шасть из комнаты: «У мене, грит, дети, а тут, гляди, зараза». Зараз погнали с попом работника на паре за дохтором. Да когда они дохтора доставят, нито он в больнице, нито нет, невдолге и помереть так. Ну, мужики зараз подрядили Микитку, что тебя привез. Смотался живой рукой в Горяиново и доставил Еремеиху. Ну, дай ей, господи, пожить, отчитала тебя, а то бы не видать тебе ясного света. Бабы набились у комнату, жалели тебя. Попадья все приходила к окошечку, в комнату не идет, а прилипнет к стеклышку, аж слезы у ней. Приехал дохтор, как оглашенный, всех разогнал, и Еремеиху, и всех баб, оставил лишь меня одну, ды уж гонял, гонял, штоб ему, окаянному, разов двадцать руки велел мыть, замучил, фортунат!.. Сам почитай цельную ночь округ тебя сидел. Лекарств приволок, эва, склянок!.. А матушка все тебе из свежинки навару присылала, ну, крепкой, аж красный!.. Да ты и росинки маковой не примала. Ой, дура я старая, заговорила тебя, кабы дохтор не налетел, дочиста заклюет, скаженный, как кочет.

А Галина блаженно улыбается и чувствует одно только,— любит всех: и Федосьюшку, и мужиков, и баб, и матушку...

«А доктора?..»

Но больше всего любит этот яркий радостный свет, наводнивший комнатку теплым ослепительным золотом.

Когда стала выздоравливать и выходить, снегов и в помине не было. Куда ни глянешь, всюду буйно-зелено до самого до края, до синего неба. И в зеленой мути садов далекие деревни Никифора Лукича,— и не может быть, чтоб там было горестно, убого и голодно.

Вот уже вторую неделю льют дожди. Опять все тонет в непролазной, непроходимой грязи, но теперь это не безнадежно — кланяются и треплются не голые березки, а омытая яркая молодая листва.

— Ничего, пущай напьется землица, слава тебе господи,— говорят мужики, снимают мокрые шапки и крестятся.

Во время занятий, после обеда, читает ли книжку, Галина нет-нет оторвется и глянет в стекла, по которым торопливо оплывают водяные потоки. И все ждет что-то, не то, когда засинеет небо, глянет яркая зелень, откроется даль, не то ждет, что вот войдет кто-то.

Кто? Некому.

Наконец ветер сделал свое,— подсушил и погнал тучи; они перестали ронять тяжелые капли и торопливо побежали, все шире и шире открывая из-за края синеву, пока, наконец, не заголубело во все стороны сухое, чистое небо.

И тогда, как прорвался, все заполнил оглушительный птичий гам. Всюду шныряют, мелькают в кустах, торопливо высвистывают, боясь не поспеть.

Бьет в глаза омытая яркая новенькая зелень, и все благословляет уже жаркое солнце.

В окно видно: быстро подсыхает на грязи корочка, а около колодца, как дежурные, белеют гуси.

После обеда показалась в конце улицы пара лошадей. На высоких козлах кучер в армяке помахивает кнутом. Сзади кто-то сидит, только нельзя разобрать кто.

Из дворов с отчаянным лаем выскакивают собаки. На колеса медленно и тяжело наворачивается крутая грязь.

Мимо через деревню? Или привернут куда-нибудь?

Может быть, земский агроном, или страховой агент, или ветеринар, или просто агент по продаже швейных

машин в рассрочку. Хоть незнакомые, но пусть остановятся в деревне, пройдут по пробитым уже вдоль изб и плетней тропочкам, оживят, внесут новое в улицу. Никогда не хотелось так хоть издали увидеть новое лицо.

Ближе и ближе. Теперь ясно — сидит дама в черной соломенной шляпе с вуалью; поправляет ее, подняв руки в перчатках.

Повозка, все так же забирая на колеса огромные пласты, берет наискосок к школе.

«Ах... сюда!..» — слегка задохнувшись, радостно говорит себе Галина.

Лошади с подвязанными хвостами останавливаются у крыльца. Галина выходит встречать. Дама прижимает слегка пальцы к вискам и говорит:

— Моя девичья фамилия — Ангарова... Ужасная грязь... У вас есть мама? Кажется, ваша мама умерла?.. Это — школа?

Сквозь вуаль не дается меняющееся лицо и мечется блеск неспокойных глаз.

Учительница с удивлением говорит:

— Пройдемте в комнату.

Та испуганно защищается руками:

— Нет, нет, нет!..

И напряженно, с конвульсивно изогнувшимся ртом, впивается глазами ей в лицо. Девушка, чувствуя стесненное дыхание, передергивает плечами.

Потом приезжая говорит:

— Пойдемте в школу.

Они входят в класс. Дама рассматривает развешанные на стенах изображения зверей, птиц, рыб, заглядывает за карту полушария, пробует повернуть доску.

— Вас слушаются дети?

Галина пожимает плечами:

— Как обыкновенно.

— Нет, вас слушаются, вас удивительно слушаются, без усилий... Вы ничего не позволяете... никаких наказаний, а они у вас в руках как воск...

— Да откуда вы знаете?

— Я знаю, я знаю!..— говорит она с зазвеневшими слезами.— Пойдемте, пойдемте же к вам, пойдемте скорее, я прошу вас... в вашу комнату...

Они вошли в комнату. Ангарова села к столу, полуотвернувшись, подняла вуаль и стала снимать перчатки.

— Скажите... скажите прямо... как мило, эти открытки... Оттого что косо на стене и в беспорядке, так мило...— Она все снимает перчатки, не поворачиваясь.— Вы можете сказать искренне?..— и вдруг повернулась и глянула.— Вы любите моего мужа?

Галина слегка пятится, широко открыв глаза, смотрит на гостью, на ее милое матово-смуглое лицо южанки, тонкий изящный нос и чудесные карие, полные внутренней ласковой доброты глаза под тонко выгнутыми черными бровями.

— Я вас вижу в первый раз.

Та, удерживая трепетание губ, сказала:

— Я — Курмоярова... Доктор к вам приезжает... Я — жена... земский врач...

В ее карих, удивительно привлекательных глазах такая боль, такое отчаяние, что Галина закусывает губу.

— Слушайте, с чего вы берете?.. Я так редко вижусь с доктором... мельком... случайно... два, три слова...

Та, судорожно вбирая воздух и удерживая трепетание губ, чтоб не разрыдаться, говорит:

— Правда... да... я верю... Вы искренняя... а он... он... любит вас...

Девушка густо краснеет.

— Никакого повода... я не понимаю...

— Нет, нет... никаких подозрений... Он ничего не говорил... Он, может быть, сам не отдает себе отчета... Он искренний, честный. Что скажет, значит так. У нас с ним чудные отношения... Он все, все мне рассказывает, каждый свой шаг, каждую встречу... У вас есть брат, вы ради него сидите в этой дыре, даете на каникулах уроки... вы удивительно умеете с детьми, они вас слушают без наказаний...

— Но я ведь ни слова с ним об этом не говорила.

Гостья взглянула на нее отчаянными глазами.

— Вот это-то... это-то и доказывает... Он сам не подозревает... Он слишком правдив... Он все, все о вас знает... бессознательно все узнал... Он говорит, вы — красивы...

Она всматривается в девушку, и глаза наливаются слезами.

— Да, правда... он прав... Но я же... я... разве виновата... В чем моя вина?.. Он любил меня, как любил!.. И ребенок... у нас мальчик... души не чаем... А я вижу,

что-то делается с ним. Такой же, такой же искренний, правдивый... ничего у себя не таит, а я вижу, я чувствую — происходит в нем что-то. Ни малейшее движение его души не ускользает... Я все, все слышу, я все чувствую... Ах, боже мой!.. Только когда любишь, когда так любишь, все чувствуешь в нем... я и... он... мы...

Она вздрагивает от беззвучных рыданий, зажимая трепещущие губы.

Галина, все не спуская с нее расширенных глаз, делает огромное над собой усилие: это же день, солнце... утром встала, как всегда, чай, ребятишки, шум, гам, занятия, обед, все в привычном порядке, и, кажется, то, что теперь происходит, вот-вот расплывется, и нарушенный порядок спокойно будет продолжаться.

Нет, не расплывается. У стола сидит с подобранной нуалью молодая женщина с милыми доверчивыми карими глазами, с которых черные ресницы смахивают слезинки, и матовое милое, удивительной привлекательности лицо.

Курмоярова как будто успокоилась.

— Вы обо мне дурно подумаете, не то сумасшедшая, не то глупая... Но ведь... боже мой... я сама не знаю... Вы понимаете ужас: любишь, безумно любишь... все, вся жизнь отдана, ничего не осталось... и тебя любят, любят глубоко, чисто, и ты знаешь это, и вдруг... вдруг начинаешь чувствовать,— она зашептала,— что-то подтачивается, бледнеет... по кирпичику начинает отваливаться, по кусочку, по песчинке, а ты ничего, ничего не можешь... смотришь глазами, видишь, и ни рукой, ни ногой, а ужас все ближе, все тяжелее... вот раздавит...

Она глядит круглыми, полными ужаса глазами и шепчет с заговорщицким видом:

— Послушайте, ведь я его дыхание сторожу... Я каждую мелочь за него делаю. Ему некогда, он в разъездах, некогда журнала просмотреть, я прочитаю три-четыре журнала, все ему расскажу. Я освоилась настолько с болезнями, с медицинскими терминами, со специальными исследованиями, читаю медицинские журналы и ему указываю наиболее интересные статьи... Ведь я всю себя ему отдала... Разве я виновата?.. Ведь я ни крошки не виновата... Он любит меня... И ребенок не виноват...— И вдруг засмеялась.— И вы не виноваты... искренняя... он говорит... я знаю...

Девушка тоже глядит на нее круглыми похолодевшими глазами, чувствуя, что это — край, за который никому нельзя переступать.

Потом опускает глаза и облегченно вздыхает:

«Это же с *нею*, вообще с другими, а со мною *этого* никогда не будет...»

И говорит:

— Успокойтесь, пожалуйста, выпейте воды, вот стакан. Вы просто преувеличиваете. Мы с Никанором Сергеевичем редко и коротко видимся, совершенно случайно, когда он приезжает сюда к больным. Но я теперь сделаю так — мы больше не будем встречаться, и только.

Та испуганно, с подергивающимися губами протягивает руку, защищаясь:

— Нет, нет, нет... Только не это... Только не это... Ни к каким мерам не прибегу. Или мой сам... целиком, или чужие...

Глаза ее высохли, лицо стало жесткое и холодное.

— Никогда!

Повозка медленно и тяжело, все так же наворачивая на колеса толстые комья грязи, удаляется и постепенно тонет в голубоватом конце улицы.

Галина постояла, сдавливая виски.

«Нехорошо... Зачем это?.. Разве я виновата?..»

Из зеркала мельком глянули запущенные серые глаза, нос горбинкой.

«Да, виновата».

«Но ведь я ни словом, ни движением не дала повода».

«Виновата».

Она постояла, опустив глаза.

«Я знаю, что делать».

Всегда казалось, что менять сложившуюся жизнь очень трудно, как трудна всякая ломка. Но когда подала прошение об увольнении из школы, все оказалось очень просто и незамысловато: только уложиться да сесть в телегу.

Галина сидела на полу своей пустеющей комнаты перед раскрытой корзиной и укладывала белье, книги, открытки; оголенные стены смотрели пусто и сиротливо.

Страдная пора экзаменов, когда и ученики и она выбивались из сил, была позади. На экзамены приезжал земский начальник, выхоленный молодой человек, из

местных дворян, с университетским значком. Он сквозь зубы цедил слова и все время, щурясь, чистил ногти.

Да, так же просто и легко, как будто переезжала всего с квартиры на квартиру. Вспомнила о своих безнадежных мыслях тогда ночью, о своем вдовстве... семеро ребят... и улыбнулась.

И баба, совавшая целковый, и старуха, что приводила сына, больного скверной болезнью, где-то беззлобно маячили, далеко и смутно.

Василий несколько раз входил, постоит, потопчется, вздохнет и опять уходит.

Влетела ласточка, торопливо облетела комнату два раза и прицепилась у потолка в углу, остро сложив крылышки, торопливо дыша и поворачивая головку. Потом, резко чирикнув, стрелой вылетела в окно. А в окно глядела яркая зелень молодого лета. Горласто кричали петухи, разговаривали куры. Далеко за деревней тарахтела пустая телега.

Вот укладывается она, одна, как жила одна. И на минутку защемило сердце.

Опять влетела касаточка, на секунду прицепилась к стене и опять вылетела. И тот же сверкающий день, куриные разговоры, голубеющий вдали лес; воробьи разоряются, и снова почему-то легко и радостно.

Пришла Федосьюшка и стала помогать, ненужно тыча вещи то в тот, то в другой угол корзины.

— Да нет, не нужно, Федосьюшка, не нужно, это не сюда.

А Федосьюшка попросит то коробочку из-под зубного порошка, то пустую скляночку из-под лекарства, то старенький платочек, то лоскуток.

И хоть пустяки все это, а все-таки неприятно, как она внимательными глазами следит, что бы еще выпросить.

Набились и другие бабы. И хоть не просят, но следят глазами, ждут, чтоб подарила то или другое.

Через два дня отъезд. Василий приготовил подводу.

Утром над избами только показалось солнце, слышны под окном ребячьи голоса,— ребятишки, как воробьи, по всякому поводу слетаются.

Василий стал выносить вещи. Пришла Федосьюшка, выпросить-то уж больше нечего,— ну, ничего, принесла подорожничков.

На улице перед крыльцом шум, голоса, перекоряются:

— Ты чего за грудки-то хватаешь?

— А ты не трожь. Просили тебя?

— Пусти!

— Я те задом наперед поверну гляделки.

— Повернул такой, да на третий день сдох.

И голос Василия:

— Чего суесся не в свое, Ипат. Тебя не звали, ну и поворачивай оглобли.

Галина выглянула в окно: Василий, подряженный им подводчик и Ипат тянули каждый к себе корзину, стараясь вырвать затягивавшие ее веревки. Корзина, скрипя, переворачивалась и прыгала по земле под дюжими рвавшими усилиями. Около стояла кучка мужиков и баб, подходили и другие.

Галина с удивлением вышла на крыльцо — вместо одной, стояло две подводы.

— Что такое?

Высокий парень, тот самый, что ночью обидел — она тогда не пожаловалась, к чему? — рванул корзину, вырвал из рук Василия и подводчика и, отмахиваясь от них кнутом, как от собак, поволок к своей телеге.

— Что это значит? Что такое!..

Тот остановился, приподняв за угол корзину, и, глядя злыми глазами, сказал:

— Прикажите им, Галина Лександровна, не гавкать. Гавкают, как собаки, дела не дают делать.

— Да зачем вы корзину тащите?.. отдайте Василию.

— Знамо, не его наймали,— загалдели в толпе.

— Не спрося в хомут лезет.

— Ипатка — скаженный: человека наняли, а он рвёть.

Ипатка злобно повернулся, черно сверкая злыми глазами и все не выпуская из тугого кулака веревку от корзины.

— А вы чего не свое гавкаете? Ты сколько взял? — повернулся он к вознице, мужику с благообразной бородой.

— Взял!..— насмешливо протянул тот.— Пятерку за сорок верст, ограбил. Оборотишься, стой день, покеда лошадь отдохнет.

— Не деньги,— загомонили мужики.

— А я без копейки! — стукнул кнутовищем себя в грудь парень.— Али с нее брать?..

— Ну, энта десятая дела,— отозвалась толпа.

— Потрудилась нам верно.

— Худа от нее не видали.

— Ничего, пущай ей потрудится.

И это как будто решило спор. Парень сильно и злобно вскинул корзину на телегу и стал увязывать, откидывая локти.

Галина стояла в недоумении. Не решалась сказать, что боится с ним ехать, так были уверенны все его движения.

— Ну-ка, ты, одноглазая кила, давай еще чего к задку прихватить.

Парень хозяйственно облаживал сиденье, подкладывал под веревки сена, чтоб не терло.

— Послушайте, да я вовсе не хочу, чтоб меня даром везли. Ведь того наняли, зачем же вы?

— Что же с им драться, что ль,— сказал Василий,— одно слово — необтесанность. Да уж поезжайте с ним, видно. Ты, Евсеич, распряги нито. У Ипатки мерин подобрее будет, довезет скорее; ну, да и то сказать, услужить хочет, стало быть, безденежно.

— У Ипатки лошадь добрее, довезет,— опять загалдели в толпе.

— Ничаво, пущай везет.

Галина продолжала в недоумении смотреть, как увязывали ее вещи на Ипатовой телеге. И опять кольнула горькая боль — одна среди толпы. Что-то мешало запротестовать.

— Ну, нате вам, Евсеич, что потревожили вас.

Евсеич заложил полтинник в рот за щеку, влез на телегу и, погромыхивая колесами, поехал по улице.

Все уложили. Надо и отправляться. И опять стало жалко чего-то. Захотелось последний раз взглянуть на класс, на свою маленькую опустевшую комнатку, которая молчаливо оставляет у себя девичьи думы, мечты, надежды и боль и одиночество, как слезы той маленькой девушки, которая их тут выплакала и о которых бы никто не знал, если бы не Василий.

— Прощайте, Василий. Дай вам бог всего, всего хорошего. Ну, вот нате вам. Спасибо вам. Большое, боль-

шое вам спасибо за все,— она взяла и сердечно пожала его грубую заскорузлую руку.

А тот насупился и сказал, глядя мимо одним глазом:

— Зря едете. Жили б и жили. Чего искать по белу свету. Воздух слободный, тоже и замуж тут выходят не хуже людей.

— Прощайте, Василий.

Вышла, надо садиться. А возле все та же обычно равнодушная толпа мужиков и баб. Девки лузгают семечки; бабы держат ребят; ребятишки, бывшие ученики, бегают, гоняются друг за другом, перекликаются.

Стала осматривать телегу, все ли уложили, да видит, садиться-то и негде — все свободное место заложено сумочками, свертками, тряпочками с чем-то, завернутым в них.

— Что это такое? Это не мое. Зачем тут?

Подошла испитая баба, положила жилистую, худую руку на грядку телеги и сказала:

— Подорожничков тут тебе положила; кушай на здоровье, дай тебе, господи.

— А это от мине,— сказала другая с перегнувшимся через руку ребенком,— моего Ванятку, дай тебе бог здоровья, наставила грамоте.

— Ничего, кушай,— сказала баба тоже с ребенком на руках, что ругала учительницу, когда места не нашлось ее мальчику,— дорога долгая, захочется поснедать, ан и есть. Все принесли, кое у кого нашлось. Кабы пожила, моего Васятку наставила бы.

Галина с удивлением посмотрела на баб, на мужиков, на учеников и учениц своих, столпившихся у повозки.

А девочка с испитым личиком, у которой в семье сифилис, когда учительница на секунду остановила на ней свои глаза, сказала, робко глядя и заикаясь:

— У д...ддя-дде-ньки Фф...фе-дду-ла г...ггу-сь д...дди-кой...

И вдруг губенки ее задергало, на глазах заблестели слезинки...

— Ж...жжал-ко т...тте-бя...

«Да разве это они? Откуда они?.. Кто они такие?.. Я вижу их в первый раз...»

Как будто прорвалась тонкая напруженная преграда, разом заговорили, придвинулись, бабы уголками стали вытирать глаза.

— Дай тебе господи, чего сама пожелаешь...

А у нее где-то смутно и мимолетно отозвалось: «И Никифор Лукичу так...» — но сейчас же потухло.

— Счастливого путя...

— Счастливого благополучия...

Охваченная радостным испугом, чувствуя опять, что это нигде не сказано, Галина охватила девочку и поцеловала в губы.

Стали подходить бабы и, вытерев уголки губ большим и безымянным пальцем, целовались. Девочки тоже тянулись целоваться, а мальчишки, чтоб попрощаться, насильно совали руки, сложив лодочкой ладонь.

Плохо разбирая затуманившиеся, расплывающиеся лица, Галина взобралась на сидение, и то та, то другая из подходивших баб клала ей на колени хлебец, кто пирожок, кто запеченный морковник.

— Кушай на здоровье, дорога́.

Девушка, стыдясь и стараясь сдержать трепетание губ, говорила:

— Спасибо вам, спасибо, мои дорогие, милые... Фу ты! Ну, что это я...

— Ты, Ипат, гляди, вези как ни мога́... Штоб доставил во как. Ну, да мерин добрый, довезешь,— говорили мужики, обступив передок, на который взобрался Ипат.

— Поить будешь на Мокрой.

— За греблей, гляди, не загрузни, правей брать надо.

— Знаю,— с презрительной уверенностью сказал Ипат, заправляя под себя концы веревочных вожжей.

— Ну, с богом!..

— Постой!.. Постой, постой!..

Бабы ухватились за телегу, оглядываясь. Торопливо семеня, шла девочка, а за ней старая. Подошла старая, положила жилистую, худую старческую руку на грядку и смотрит на Галину старыми, замутившимися молочными глазами.

Девочка сказала, торопливо дыша:

— Привела.

Стоят в воспоминании эти молочные глаза, а никак не вспомнит Галина, где их видела. Старуха, все глядя на нее мудрыми спокойными глазами, сказала:

— Ай неможется, девонька?

Где-то голос этот слышала...

Бабы загалдели:

— От начальства отчитай, бабынька, от начальства. Начальство угоняет... Штоб легше ей с ним было...

Вспомнила: ночь, горячечный багровый звон, то проступающие, то тухнущие в темноте открытки, свет из-за книги и мерный старый шепот.

— Я здорова, бабушка.

— Нужды нет, нужды нет,— закричали бабы.— Отчитай, бабынька, от начальства отчитай, начальство гонит... Ничего, отчитай, пригодится ей.

Чтобы уехать скорее, Галина готова была отчитаться, да совестно было перед своими же учениками. Но бабы цепко держались за грядку, Ипат не высказывал намерения ехать, а мужики ухмылялись.

— Бабы эти подымут...

— Известно, начальство не держит. Как хороший человек, зараз сплавют...

— Да я сама по своей воле... Прошение подала...

— Ну да, как прикажут, подашь.

— Ничего, пущай, вреды не будет...

— Не полиняешь...

А уж слышен сухой старушечий шепот, смотрят молочные глаза, и худая, старчески поморщенная рука с широким размахом положила крестное знамение.

— ...первым разом божьим часом... и выговариваю, и высылаю... между лугов, между дорог стоит баня без углов...

Ну что же, жалко оторвать бабушкину руку и велеть ехать.

— ...штоб тосковал и горювал, и сожалювал, и надоблюдал и в пиру, и в беседе, и в мягкой постеле...

Бабушка отнимает руку и, глядя все теми же молочными старыми глазами, крестит:

— Аминь! Дай тебе господи, касатка...

Ипат решительно трогает мерина. Колеса затарахтели. Галина обернулась последний раз на школу — на крылечке стоял Василий. После он будет рассказывать про нее — вот, мол, уехала, как рассказывал про девушку, которая изошла слезами, и про тех, что кланялись начальству в ноги и затыкали ребенку рот подушкой.

И это старое здание, и палисадник, и березки показались такими родными, такими близкими.

Толпа все еще стояла около училища. Только за колесами с гиком летели ребятишки. Знакомые избы уходили по бокам.

«Разве ты не воротишься опять сюда к тем, кому нужна?»

А кто-то сказал:

«Нет... жить ведь хочется!..»

Сзади послышался крик. Остановились. Торопливо спешила, раскрасневшись, матушка. Галина слезла. Подошла и толпа.

— А я думала,— слегка задыхаясь, говорила матушка,— уже и не увижусь. Ты что вчера была, не застала,— ездили с отцом на сад, он там и сейчас остался, кланяется тебе.

— Ишь ты, матушка было опоздала,— доброжелательно слышалось в толпе.

— Ну, господь тебя благословит и матерь его святая.

Она несколько раз перекрестила притихшую девушку и крепко обняла.

— Вы — как моя мама,— сказала Галина, обнимая ее и удерживая снова запросившиеся слезы,— да зачем это, господи?

— Ну, ну, ну, пригодится, ехать-то целый день,— подсадила девушку и положила кулек.

Опять поехали. Уже стали сворачивать из деревни в поле, и чуть виднелась в конце улицы школа и все еще не расходившиеся бабы с детишками на руках, и матушка махала едва приметным белым платочком.

Потом спустились в лощину, поблескивавшую сквозь осоку болотцем, и только стали вытягивать на взгорье, в стороне по проселку показался о. Дмитрий на бегунках. Он остановился на перекрестке, слез. Остановился и Ипат и нехотя поклонился, сняв шапку.

— А-а, ну вот и хорошо. Да мне домой надо, забыл кое-что.

Он посмотрел на чистое небо и сказал совсем не тем крепким баритональным голосом, к которому так привыкла Галина, а каким-то другим, полинялым:

— Уезжаете?! Да, да... остаемся мы тут одни, остаемся...

И уже не было артиста, даже семинариста красивого не было, а просто попик, и будто и ростом меньше стал.

— Да, одни остаемся.

Он крепко пожал ее маленькую руку своими большими обеими:

— Ну, дай вам бог... ну, счастья, конечно... дай вам...— поднес к губам и крепко поцеловал ее руку.

Галина покраснела. Ипат отхлопывал кнутом пыль на сапогах.

О. Дмитрий пошел, сел на бегунки и, оглядываясь, поехал к деревне.

Поехал и Ипат, но все время оглядывался; потом встал на козлах во весь рост, всматриваясь назад. Засмеялся и сел.

— Поп за бугром опять на сад свернул. Это он для видимости будто на деревню поехал, вас стесняется, а сам на сад. Но-о, животная!..

И опять радостно обернулся:

— Боится попадьи, дюже боится.

Неуклюжий длинноногий мерин бежал боком в оглоблях, все время глядя из-за дуги на Ипата. Ипат, всячески ухищряясь, старался вытянуть его незаметно, но как хитро ни относил в сторону кнут, мерин глядел из-за дуги большим упрямым черно-блестящим глазом, туго прижимал к заду репицу и почти совсем останавливался в ожидании удара, потом взмахивал хвостом и опять продолжал бежать боком, сколько его ни дергала вожжа в другую сторону, и глядел, скособочившись, на Ипата, приводя его этим в ярость. И Ипат от времени до времени начинал неистово хлестать, а мерин совсем останавливался, глядя из-за дуги и пережидая припадок.

Галина вынула платок и, сильно нажимая, вытерла губы,— вспомнила, как поцеловала крепко Феню, а у нее испитое лицо и в семье дурная болезнь. И с остальными бабами целовалась, и она опять стала вытирать губы и щеки.

Тоненький комариный звон не то в синеве леса, не то сзади подержался и замер.

Колеса застучали и запрыгали — на дороге то и дело выворачивались корни.

Пестрела кругом голыми пятнами вырубка, всюду запушившаяся зелеными кустами, а на краю мощно и нетронуто стеной синел лес.

«А ведь Фенина мать тоже принесла мне подорожников, где они, и не разберешь... Гундосая, веки гноятся...»

По сторонам дороги голубые колокольчики, чуть колеблемые, позванивали неуловимо тонким звоном.

«Да и у других... разве угадаешь, кто болен, кто здоров. Часто и сами не знают...»

На молоденьком уцелевшем деревце разорялся зяблик.

Девушка взяла первый сверху кулечек и осторожно, чтоб не заметил Ипат, высыпала из него на дорогу пирожки и морковники. Потом один за одним все посбрасывала; остался только матушкин кулек.

Опять слабо подержался тонко звенящий звук и погас, и ясно было, не лесные колокольчики звенели.

«Я как будто стираю память о них, ведь они — от всего сердца... Нехорошо. Все не так, как я думала... Вот и с Ипатом еду и не боюсь... Бедный батюшка... И матушка, она — славный человек, а видно, что попадья... Так жалко от них от всех уезжать... И никто их не знает, да и я не знаю. Эх, если бы я была писательницей... впрочем этого не напишешь, не расскажешь, тут самому надо... Колокольчиков-то сколько... Кто-то едет...»

Теперь ясно: звенит настоящий медный колокольчик под дугой, то совсем близко, то замирает где-то далеко в голубой дали, напоенной утренней свежестью.

— На паре бежит,— сказал Ипат, не оборачиваясь.

Еще и смутнее и радостнее стало, когда въехали в лес. Солнце стояло над ним, и весь он по ветвям и по траве запятнался золотыми пятнами.

— Но, но-о, жавороночек!.. Пилюлечка золотая... Э-э, индючок!..

Ипат устал от дранья и перешел к нежности, лишь слегка помахивая кнутом.

Но это нисколько не подкупало длинноногого мерина. Он, так же скособочившись, упрямо бежал почти поперек оглобель и упорно глядел круглым черным глазом на Ипата.

— Э-э, черносливина!..

Галину мерно встряхивало на сене. По лицу нежно проплыли голубые тени, сквозные солнечные пятна. Неодолимой дремотой наливались глаза.

Лес все больше наполнялся тихим звоном лесных колокольчиков и запахом фиалок. Красные сосны теснили дорогу.

Птицы кричали почти человеческими голосами и все одно и то же: «Тут-тут-тут... тут-тут... она тут...» Или быстро: «Строка-стреки-строка-строк... строчку строчи!..» Или на флейте заливались затейливо и извилисто, но все одну и ту же мелодию, должно быть, остальное забыли и все начинали сначала.

Галина чувствовала, что голова у нее, свесившись, мотается.

«Нехорошо это, противно...», но не могла отогнать привязавшегося сна.

«Ага-га-га-а-а!.. Вот она!..» — закричали страшным голосом, и разраставшийся все время по лесу вой оборвался у нее над головою.

С нестерпимо бьющимся от неподавимого страха сердцем Галина вскинулась.

Ипат стоял возле телеги и скалил зубы. Мерин уже не глядел назад, а смирно подрагивал кожей и отвернутым назад ухом.

«Господи, я одна с ним тут».

И спросила, заикаясь:

— Вы... что... Ипат?..

Сзади над головой на мгновенье раздался оглушительный трезвон.

Оглянулась: за грядкой телеги на нее глядит в дуге голова встряхнувшегося коренника в бубенцах, а возле пристяжная трется мордой о выставленную ногу, и оба носят потными боками, торопливо выворачивая красные ноздри.

К телеге подходит доктор, скуластый, четырехугольный, кряжистый.

— Здравствуйте. А я думал, не нагоню вас.

Галина торопливо оправляет юбку, волосы, пробегает пальцами по лицу, сгоняя сонливость.

— Заспались, барышня,— сказал Ипат, все так же осклабляясь,— укачало.

— Да вы сходите, пройдемтесь,— говорит доктор.— Тут все равно рысью нельзя ехать.— И хочет помочь сойти.

Галина торопливо соскакивает, не давая себя ссаживать.

Ямщик роется в докторском тарантасе и подходит, держа в охапке целую кучу пирожков и подорожников.

— Должно, вы раструсили, так и лежат по дороге.

— Наши же, наши и есть!..— закричал, горестно хлопнув по ляжкам, Ипат.— Барышне же вся деревня напекла. Должно, в дирю высыпались. Только матушкин кулек и остался... Давай сюда.

Галина покраснела, как пион.

— Как же это... Только нет, не надо. Ипат, они все очень в пыли... Не надо...

— Ничево, мы обдуем, давай-ка.

И, надув щеки, он стал обдувать каждый хлебец, каждый пирожок, с которых густо слетала пыль вместе с Ипатовой слюной, и складывал в телегу.

— Не нужно же, вам говорят,— сказала девушка.

— Ты, братец, отряхни только которые завязаны, а те действительно грязны,— помог доктор.

— Нет, совсем не нужно.

— Ну, так давай мне, я нашел,— барин еще все сердчал, а я скочу да подберу.

— Ишь ты, ему отдай... Сладкой какой, и рот раззявил — мы везли, а ты жевать будешь.

— Ну, будет вам, поделите. Пойдемте, Галина Александровна.

Они пошли вперед обочиной между деревьями. Сзади по дороге, лениво поскрипывая, переваливалась по корням Ипатова телега, а за ней так же лениво позванивала докторская пара.

Ипат с ямщиком шли позади, чуть пыля пахучей лесной пылью, ели подорожники и разговаривали.

Радужно переливались сквозь листву кустов росинки. Все перелетала впереди, подрагивая хвостиком, трясогузка.

— Ведь я не знал, что вы уезжаете. Недели три вас не видел,— говорил доктор, снял пыльную фуражку, и от этого стал будто другой — белый, чистый, невинный лоб с черным, свесившимся чубом, придавал мягкость загорелому калмыковатому лицу.— Мне передали, бросил все, и прием, и больных, взял лошадей и за вами.

Как только он сказал это, Галина почувствовала, что все сказал.

«...Может быть, у меня... рот был открытый, когда спала...»

Представился удаляющийся задок тарантасика, на нем женская фигура с задернутым вуалью лицом, и на колеса медленно и безнадежно наворачиваются толстые слои черной грязи.

И опять мучительно подумала:

«Если б не случилось того, что сейчас случится...»

Она шла, нагнув голову, крепко сжав губы, глядя, как выскакивают по очереди из-под платья черные туфельки, приминая длинную стебельковую лесную траву.

Трясогузка, заманивая, все перелетала перед ними, подрагивая гузном,— ручей лесной, видно, недалеко.

— Эх, утро-то!..— сказал доктор и отмахнул фуражкой.— А пчел!..

Пчелы толклись и гудели, мгновенно отливая золотом в солнечных местах.

— Да, чудесное. Я тут жила в деревне, так знаете, как будто в первый раз увидала. Ведь и в городе все это есть, и на дачах жила, летом ездила в имения...

— Зачем?

— Уроки давала... Ну, ведь все же было, все видала, и деревню, и поле, и лес, а тут как будто в первый раз.

— Вот, вот. Но это не только с природой, с мужиком та же история. Да вот ваш покорный слуга — пока не попал сюда врачом, все было кверху ногами, и деревня, и мужик.

«У нас с ним мысли совпадают...» — грустно подумала она.

Она тихонько вздохнула, но вместе стало легко, точно освободилась от ожидания.

— Я ехала сюда, как в тюрьму, как в ссылку, а теперь уезжать тяжело и больно,— чем-то связалась с деревней, с мужиками, с бабами.

— Видите, что я вам скажу. Вот прежде народники шли в деревню к мужику, шли идейно, понимаете, святые были, подвижники,— могли отлично устроиться в городе, а шли в дыру на полуголод, на полунищету, ну, подвижники, словом, и, как редкие семена, тонули в черноземе. А мы с вами идем из-за куска, из-за голого заработка, зато идем стеной, понимаете, сплошь, и подымаем чернозем, ибо нас толпы. Мало-мальски честно выполняешь работу, ну, да, разумеется, если уж не ду-

рак, так мужика, как лемехом, подымаешь из земли. Каждому из нас, может быть, грош цена, как отдельному солдату, а массой мы неодолимо ломим, нужно только в ногу идти.

Лес стоял спокойный, зеленый, равнодушный, оттеняя ее одиночество. Сзади легонько позванивали бубенцы, и слышался медленный говор ямщиков.

— Вы как-то говорили — нет мужика, есть мужики.

— Да, да, да. Пока в петле сидит — мужичок, как выполз — Никифор Лукич. Это у всех. Никифор-то Лукич у всех в зародыше. Но это ровным счетом ничего не значит,— из петли все не вылезут, вылезают только единицы. Оттого в мужиках есть какая-то одинаковость.

— А меня от начальства отчитывали,— сказала она, смеясь, и вспомнила, как кто-то задавал ей о нем вопросы ночью.

«Разве я люблю его?..»

Они шли, иногда нечаянно толкая друг друга, чувствуя близость и далекие друг от друга, будто только что познакомились. Шли и говорили о деревне, о музыке — *доктор хорошо играл на скрипке,— о литературе,* как будто не было леса, не гудели пчелы, не доносился сзади ленивый говор мужиков и редкое погромыхивание бубенцов, а гуляли в фойе, и кругом движется нарядная оживленная толпа.

Красные сосны, дубы и орешник расступились, дорога упала в лесную лощину, хмуро темневшую внизу вершинами, а за лощиной выбравшаяся дорога круто поворачивала, в повороте лес смыкался сплошной стеной, как будто дальше ходу не было. Доктор и Галина остановились над лощиной, словно на рубеже.

«Вот и конец... А дальше? А дальше — поеду на телеге с Ипатом, потом станция, потом по железной дороге, потом город, потом... потом...»

Доктор хотел что-то сказать, да не сказал, и оба прислушались к лесной тишине, которая держала в себе и постукивание дятла, и похрустывание колес, и мерное поталкивание во втулках, и смолистые запахи разгорающегося дня. Внизу блестела сквозь кусты и осоку вода.

— Галина Александровна... вот мы... ну, расстаемся... Я должен... одним словом... сказать вам...

Он рассердился и, нахмурившись, сказал:

— Я люблю вас.

И хотя это было близко, и именно *это* он должен был сказать, ее поразило неожиданной новизной, и сердце стало биться редко и больно. Она не подымала глаз, стараясь справиться со сложностью нахлынувших чувств испуга, неожиданности, крохотным комочком глубоко запрятавшейся радости, в которой и сама себе не призналась бы.

И строго сдвинув брови с набежавшей между ними морщинкой, сказала:

— Я не понимаю... как же вы...

Сзади остановилась телега, а за ней смолкло легонькое погромыхивание бубенцов и постукивание колес во втулках. Галина и доктор стали спускаться в прохладе к перекинутому бревенчатому мостику; по сторонам блеснула вода.

Доктор сказал спокойно и глухо, не глядя:

— У меня нет семьи, нет ребенка.

Он замолчал, пересиливая себя. Пахло прелым листом, и укал водяной бык: *у-у-пь, у-у-у-ппь... у-у-у-ппь...*

— Жена приехала от вас, я не знал, что она ездила, сама сказала, подошла ко мне, сказала: «Никанор, ты перестал меня любить, я это знаю, я это давно знаю». Я ей говорю: «Постой, что ты! Разве хоть одним движением, хоть одним словом я дал повод; ты мне дорога, как всегда, у нас ребенок». А она упорно: «Нет, нет, нет... Мне не нужно внешних проявлений, мне нужно, чтобы ты меня любил, как сначала, а этого ты не можешь, а такой ты мне не нужен». Побледнела. Я ей говорю: «Постой, Муся». А она отошла, лицо жесткое и холодное, смотрит на меня как на чужого и говорит: «Нужна справедливость, нужно равновесие, я все отдала тебе, все — девичество, молодость, всю себя, свою жизнь, все помыслы, ничего не осталось, всю вычерпал до дна. Теперь ты снова будешь жить, будешь счастлив, а у меня нет возврата, все: буду увядать и стариться. Ну, так вот, говорит, я уезжаю с сыном, ты его никогда больше не увидишь, только не подумай, говорит, что это месть, злоба, желание досадить тебе. Нет, это только равновесие в жизни, иначе, пойми же, ведь это чудовищно было бы...» И уехала.

Доктор замолчал и подымался, глядя себе под ноги, а наверху стоял лес, загораживая дорогу.

— Я знаю, у нее железная настойчивость, и я не увижу сына. Конечно, если б у нее другой характер, мы бы жили да жили, как живут тысячи в нашем положении; я ведь никогда не поднял бы руку на ее счастье. Сына не увижу. Может быть, оно действительно есть равновесие в распределении страданий. Что же, искать ее, бороться, отнимать? Нет, не сделаю этого, я разбил ее счастье, жизнь. Не виноват? Да, но ведь и она не виновата. Да и кто виноват?

«У д... ддя-ддень-ки Ф-фе-дду-ла г...ггусь д...дикой...»

Галина шла, наклонив голову, все так же следя за мелькающими из-под платья черными туфельками. И стоявший по бокам лес, полный медвяных запахов разомлевших трав, и постукивание дятла, и переливчатая мелодия иволги — лесная флейта, все вокруг, и все далеко и отделено непроходимой чертой своей собственной равнодушно-спокойной жизни.

«...г...ггусь д...ди-кой...»

Она также хотела сказать:

«Вы также говорили *ей* — люблю. Так же мучились, потом счастье, потом сын, потом... потом мысли стали совпадать... Ведь и у нас с вами мысли совпадают...»

Но вместо этого сказала:

— Через жизнь... через чужое счастье нельзя перешагнуть.

Он нахмурился.

— Вы что же, не видите, это уже прошлое. Это — если бы кто умер, а тут все боялись бы перешагнуть через его жизнь.

Она остановилась и, не подымая глаз, сказала:

— Прощайте!

Потом пошла, а он остался. Погромыхивание почтовых бубенцов сзади смолкло, а слышно лишь, поскрипывает одна телега.

Вот и лес стеной, дорога выбралась, уперлась в него и крутым поворотом ушла влево. Кусты орешника стали скрывать лощину, перекинутый мостик, и густой стеной на той стороне теперь пустынный и чужой лес.

Глянула: на дороге все стоит доктор без шапки; за ним, влегши в хомут, держит тарантасик пара; длинный

мерин, скособочившись, вытягивает телегу, объезжая; Ипат идет рядом, помахивая кнутом, доедая подорожники. Все в последний раз.

Наполняя лес, зазвенело полное слез и печали, не то счастья:

«Да ведь это с *нею*, с *той*... вообще с другими, а у меня совсем, совсем другое...»

И, чуть шевеля пересохшими губами, она сказала:

— Никанор Сергеевич, проводите меня до... станции, а то тут лес, а я одна...

БУНТ

УСАДЬБА И ДЕРЕВНЯ

Возле речки — деревенька. Покосились избушки, обвисли почернелые, объеденные соломенные крыши, в разгороженных дворах худая скотиненка, и не в каждом дворе лошадь,— захудалая деревенька. Ребятишки ковыляют, желтые, кривоногие, и животы обвисли, по коленкам болтаются. Бабы замученные; крестьяне рваные, волками глядят. Бедность непокрытая, бедность вековечная. Своей землицы — курицы выпустить некуда, с сохой не повернешься. А всю землю арендуют у барина.

Эва, барин за речкой раскинулся усадьбой. Дом колоннами глядит на деревеньку, за домом — великолепный сад, а за садом — парк, и в нем вековые липы, дубы. В просторных укрытых дворах породистая скотина, отличные лошади. А плуги, бороны, молотилки — все заграничные.

Три тысячи десятин у барина. Мало он обрабатывает своим хозяйством, а почти всю землю сдает крестьянину: крестьянин — он добудет копейку.

И ДОХОДЫ БЫ ПОРЯДОЧНЫЕ, ДА РАСХОДЫ ВЕЛИКИ

А барину деньга нужна, уж как нужна, и много нужно. Да помилуйте, как же ему без денег! Живет он с семьей в Петербурге да по заграницам, а там каждый

день сотни требует, а то и тысячи. Да вы посудите — не лапотник какой-нибудь, не голодранец, а у самого царя с супругой, с дочерьми, с сыновьями бывает на балах во дворце.

А как на бал к царю ехать, супруга и дочки из Парижа платья выписывают за многие тысячи. Вот крестьяне и должны стараться барина своего не уронить.

В деревню барин редко заглядывал: раз в два-три года приедет, и то хорошо,— нечего ему тут делать, за границей веселей. А уж как приедет к себе на усадьбу — разливанное море пойдет.

Привезет с собой двух лакеев, да повара, да к барыне горничную, да к дочерям горничную, да конюха, да кучера, да прачку, потому и барин, и барыня, и баринок, и дочки привыкли жить чисто, вольготно, чтоб много народу около них возилось.

Глядят через речку крестьяне, думают: «Эк их, челяди приволокли!»

А в усадьбе — пиры горой. На террасе раскинут громадный стол. И чего-чего только нет: и еда разная, и вина заморские, и блюда серебряные, и посуда хрустальная, и весь стол уставлен цветами, чисто в саду, а уж скатерть белая, как кипень.

А крестьяне смотрят через речку: «Эк-к их, мать честна! Ну, и сладко живут!»

Съедутся гости: помещики на тройках с бубенцами, предводитель дворянства, исправник, а помещичьи жены и дочки — в белых воздушных платьях, белотелые и пышные, с цветами в волосах. Прикатит и поп, шелковую рясу на этот случай наденет, золотой крест. Вот благословит «пития и яства», и все шумно садятся за громадный стол,— гляди человек шестьдесят сядут.

Лакеи суетятся, подливают в рюмки вина, наливки, ликеры; баре пьют и едят, золотыми зубами вставными жуют, посверкивают, гуторят по-французскому.

А крестьяне почесывают спины за речкой: «Ну, и здоровы жрать, чисто борова. Ды краснорожие какие!» Плюнут и пойдут по избам, а тощие животы еще туже подтянут опоясками.

До самого до вечера гремит помещичий дом музыкой, смехом, пением, звоном стаканов, рюмок. А вечером весь

дом горит огнями; горят разноцветные фонари по всему саду; колышутся фонарики, зеленые, красные, голубые, на лодках, на которых гости катаются по речке. И долго несутся с речки, из сада и из залитого огнями дома веселые, пьяные голоса объевшихся людей, и долго никак не утихомирятся на насести обеспокоенные деревенские куры.

СОБЕРИ В СРОК

Стал собираться барин со всем семейством в Москву на торжества. Призывает управляющего, говорит:

— Иван Никанорыч, я уезжаю с семьей в Москву — на коронацию, в срок вышлите деньги, без опоздания. Сколько причитается к первому сентября?

— К первому сентября с шести деревень следует шестнадцать тысяч рублей.

— Смотрите же — в срок.

— Слушаю,— сказал управляющий, краснорожий, а по пузу серебряная цепочка от часов — на лабазника похож,— и глядел на барина собачьими глазами.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ

Шумит в деревне народ, потянулся на церковную площадь к правлению. Вся площадь темнеет крестьянскими головами.

Пришел управляющий, переваливается из стороны в сторону. Взошел на крылечко правления, замахал красными волосатыми руками и заорал хрипло бычьим голосом:

— Тише вы, галемяки!..

Смолкло крестьянское море; тысячи крестьянских глаз смотрели на управляющего. А он постоял, глядя на них по-волчиному, и сказал:

— Вот что, мужички, подходит срок аренды. Вы должны внести все до копейки. Никаких отсрочек не будет, никаких послаблений,— все до копейки. За кем хоть гривенник останется, у того будет все продано до последней овцы.

Площадь затихла, как будто мертвого пронесли.

Потом бабий голос, тонкий, как птица, вскинулся:

— Пропали мы теперича все!

И, как прорвало, загомонела, зашаталась вся площадь:

— Куды жа нам?

— Ни зерна!

— С десятины и по два пуда не собрали.

— Ложись ды помирай...

— Избы заколотим, уйдем куды глаза глядят, и с ребятами...

Управляющий ушел, расталкивая толпу.

Сгрудились крестьяне посреди площади. Качаются победные головушки, скребут черные, полопавшиеся от земли пальцы в слипшихся волосах, да ведь ничего не выскребешь. Бабы истошно голосят:

— Погибель... всем погибель... Пропадем, братцы!

— Ни снопа...

— Скотина вся сгинет...

— Весной звания не останется...

— Нечем взяться...

Вся площадь залилась криком, плачем, затопило слезами, в судорогах народ.

Митька, солдат хромой, хлопнул шапкой оземь и завизжал, как недорезанная свинья:

— Бра-атцы! Ды пойдем к барину... к самому... падем в ножки: пущай не казнит, пущай милует... пущай ослобонит... зима идеть... всю животу проедим...

Взбушевалось крестьянское море:

— К барину...

— К самому...

— Будем просить...

Бабы замученными голосами:

— Слезьми ему ноженьки обмоем...

— Ребятенки все пропадут...

— Рожали их...

— Управляющий, ён себе в карман норовит...

ДОБРЫЙ БАРИН

Потекла вся площадь за речку к барской усадьбе — крестьяне, бабы, девки, ребята малые, старики, старухи; остались на деревне одни куры да захудалые овчишки — и младенцев-то всех бабы утащили.

Весь барский двор до самых ворот залился крестьянскими рваными сермягами, потными рубахами, лаптями, грязными платками на девках, изодранными бабьими юбками,— эх, море, неисчерпаемое крестьянское нищее море! И пожелтелые опухлые головенки детей сваливаются то на ту, то на другую сторону — шейки не держат.

Затаилось крестьянское море без шапок: ждут барина.

А барин в покоях со всей семьей и понаехавшие провожать помещики слушают молебен,— уезжает в Москву. Поп, дьякон, в золоченых ризах, стараются, и блестит солнце на золотом кресте, и согласно поет хор, и пахнет, как в церкви, голубым ладаном.

А у крыльца стоят кареты, коляски и подводы с барским добром,— одной одежи возить не перевозить.

Слышно, запели славословие барину, «многая лета». Потом вышел барин на крыльцо, за ним барыня, вся в белом, за ней дочки, в белом, за ними сыновья с золотыми воротниками,— учатся в таком заведении в Питере, где на министров приготовляют, а рожи хоть молодые, по семнадцати, по восемнадцати годов, да истасканные: с бабами напролет все ночи похабничают да пьянствуют. А за ними — помещики. Вышли поп, дьякон, в золоченых ризах, сияют на солнце. Стал поп кропить кареты, лошадей, суетившуюся прислугу.

Барин посмотрел на крестьян. Управляющий подскочил и, заглядывая по-собачьи в глаза, угодливо сказал:

— Провожать вас пришли.

Барин сказал:

— Ну что, мужички?

А барыня зажала шелковым платочком нос и проговорила:

— Воздух от них тяжелый. Наверное, заразные есть.

Барышни сморщили носики и отвернулись. Барские сыновья в золотых воротниках высматривали ядреных девок и примеривали, как здорово ночку б с ними провести, напоить бы пьяными да...

А барин опять ласково сказал:

— Ну что, мужички, в чем дело?

Народ, сколько его тут было, повалился на колени,— заметались над всем двором вой, крики, причитания и неуемные слезы:

— Ба-атюшка... родимый, пропада-ем!.. Погибель наша...

— По два, по три снопика свезли с поля...

— В амбарах мыши все с голоду передохли, зернышка не найдут...

— Ослобони, отец, хоша скости половину денег, мочи нету... все одно перемрем...

— Ба-атюшка!..— закричали опять бабы, стукаясь в сухую землю лбами, и, стукая плачущих детей, надрывно закричали: — Погибаем, спаси нас... в твоих руках... Несмыслены-ши... головы от голоду не держут... век твоими молитвенниками будем...

Барин сделал знак рукой:

— Постойте, мужички, встаньте с колен: на коленях только перед царем да богом.

— Не подымемся, покеда не помилуешь нас.

— Ну, хорошо. Иван Никанорыч,— и поманил управляющего пальцем,— Иван Никанорыч, сделайте все облегчения, какие можно: у них неурожай. Рассрочьте аренду, скиньте возможно больше.

— Слушаю,— сказал управляющий, подсаживая барина в карету.

А когда подсаживал, барин небрежно шепнул ему:

— Всю аренду взыщите, и в срок.

— Слушаю,— сказал управляющий тоже шепотом и захлопнул дверцы кареты.

Карета покатила. Крестьяне, бабы, девки, ребятишки побежали за каретой, и по всей усадьбе и по всему полю покатилось:

— Урррра-а-а!..

А помещики, помещицы стояли на крыльце и махали платочками. И управляющий стоял и сиял на солнце лысиной.

Долго стояли крестьяне на тракту с радостными лицами и смотрели на замирающую вдали пыль.

— Барин-от — он понимает. Как не уродилось, с чево же платить? Теперича хучь передышка будя.

КАЗАКИ

Через три дня в деревне все стояло вверх ногами и шла страшная кутерьма: управляющий с старшиной, с урядником и десятскими ходил по избам и описывал

— Братие, спокайтеся! Спокайтеся перед господом богом нашим Иисусом Христом, перед святым его евангелием целованием святого животворящего креста его, и он, милосердный, отпустит ваши тяжкие прегрешения, которые неодолимо влекут вас в геенну огненную, где в страшных муках нераскаянные грешники будут вечно кипеть в смоле и вотще взывать о помиловании.

По площади пронеслись испуганные бабьи вздохи. Крестьяне повесили победные головушки. Подходили по очереди к аналою, клали земной поклон, целовали евангелие и крест, потом повторяли за попом:

— Клянусь перед святым евангелием и животворящим крестом говорить сущую правду.

Потом один позади другого становились к начальству, и оно по очереди допрашивало. Лица у крестьян и баб замкнулись, сделались тупо-покорными.

— Знать не знаем, ведать не ведаем.

Со злости начальство арестовало на авось, по указанию управляющего, старшины и урядника, тридцать семь человек и отправило в город, в тюрьму,— дожидаться суда.

СУДИ МЕНЯ, СУДЬЯ НЕПРАВЕДНЫЙ

Истомились крестьяне, сидя за решеткой; совсем серые стали, скелеты скелетами, кожа да кости, не узнать,— больше года сидели.

Раз загремели железные затворы. Стуча прикладами, вошли солдаты и повели в суд. В суде протянулся длинный стол, покрытый красным. А за стулом, посередке, тучный председатель в мундире, и воротник у него весь в золоте.

«Должно, много денег пошло на воротник,— подумали крестьяне, испуганно глядя на председателя,— дюже уж серьезный».

А по бокам — судьи. Глянули — да это старшина Шарапоновской волости. Лют. Вся округа его знает. Рыжий, с доброго борова, красный, как мясо, глаза маленькие, а у самого мельница в аренде да лавка под железом. Сожрет, за барина постоит,— одного поля ягода, вместе крестьянина сосут.

С тоской отвели глаза. Глянули на другого. Да ведь это предводитель дворянства, друг-приятель барина, в гостях у него постоянно. Добродушный, и бакенбарды у него на две стороны, а и этот съест за барина, не иначе,— дворяне. Засосало у крестьян. Эх, праведные судьи!

А тут сбоку такой костлявый, шкелет шкелетом, а сам в мундире. Так этот с первого слова на крестьян опрокинулся: и разбойники, и грабители, и смутьяны, и поджигатели. Мурашки по спине поползли. Прокурор.

Ну, крестьянский адвокат ловок, за аналоем стоит да так и сыплет, так и сыплет супротив прокурора. Большую славу себе приобрел на крестьянских делах, славу приобрел, а от нее деньги пошли: все его нарасхват стали брать. В тюрьму к ним все приходил,— не робей, говорит, ребята: доказательств, говорит, никаких нету.

Крестьяне на все вопросы покорно одно отвечали:

— Никак нет. Не могим знать, только мы невиноватые.

А адвокат — ловок, бес! Недаром у него черная одежина сзади хвостом — попривел кучу свидетелей, крестьян же, баб из ихней деревни, и доказал: один обвиняемый дома сидел в ночь поджога и когда портили коров — соседи видели; другой аккурат в это время в земской больнице лежал с вывихнутой ногой, оттуда и удостоверение дали; третий в лесу дрова рубил, порубщики удостоверили; четвертый был в городе, сено возил. Крутят злыми головами судьи, наскакивает шкелет, а ничего не могут поделать,— доказательств-то действительно никаких нет, так и оправдали,— начальство-то вполыхах да в злобе заарестовало не тех, кого надо, невиновных заарестовало. Так и уехали крестьяне.

Приехали да взвыли: избы заколоченные стоят; во дворах, под сараем, все чисто, как корова языком слизала; ни лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежи — все продали за недоимку барину, а бабы с ребятишками ушли по кусочки.

Да и всю деревню разорили дотла — до копеечки взыскали баринову аренду, да еще с неустойкой.

А жить надо, а кормиться надо, а арендовать баринову землю надо, а в церковь, что посреди села стояла, хо-

дить надо, а поборы попу давать надо,— и опять потянули вековечный хомут худые, почернелые, полопанные крестьянские шеи.

Эх, жисть!

ЧТО Ж ТЫ НАДЕЛАЛА, БАБОНЬКА!

Пришел великий пост. По утрам и по вечерам печально и редко зовет колокол: к на-ам!.. к на-ам!.. к на-ам!..

Это — монастырский колокол. Вон он белеет, монастырь, белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты.

Хорошо там живут монахи, ишь ходят черные — сытые, ядреные. Да и как им сытно не жить — эва, кругом все ихние, монастырские, поля; а по речке — ихние, монастырские, заливные луга; а за лугами — ихний, монастырский, лес. Угодий у монахов поди столько же, сколько и у барина.

Крестьянину курицу, скажем — курицу, и ту выпустить некуда.

Ну, как же монахи — сами экую махину земли и обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре, а для молитвы за грехи.

Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоленье крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу вырубят; бабы снопы повяжут, и сады уберут, и холстов монахам наткут, и за коровами, за птицей походят,— вот громадное монастырское имение и справлено. За это измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно едят, по кельям и винцо попивают.

Опять у монастыря и другой доход. Прогнали крестьяне по монастырской дороге скот — плати. Упустили крестьяне лошадь на монастырскую землю — плати. Пошли бабы грибков набрать в монастырский лес — плати. Крестьянин плачет, а монахи радуются,— много доходу.

Так и жили, с одной стороны — деревня, с другой — монастырь.

«К на-ам!.. к на-ам!..»

Идут в монастырь старухи, молодые бабы, девки; несут ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нужду, несут к богу да к попу,— куда же крестьянину больше и нести? Не к кому во всем свете.

А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то исповедников — страсть!) спрашивает грехи. Ох, много у крестьянина грехов, на воз не заберешь. А поп уже: «Отпускается и разрешается... во имя отца и сына...»

Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под епитрахилью, подробно выспрашивает грехи и ласково и громко именем бога отпускает их.

А бабы и рады. Поп все время — и в проповедях, и на дому с молитвой, и где встретится — всегда громким, покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о пещи огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.

И начинают верить крестьяне: все несчастья, все горести, все беды, все разорение — от грехов; кабы не грехи, жили бы беспечально.

Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен...» А поп спрашивает:

— Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Затаился хромой и сказал глухим голосом:

— Нет... в этом не грешен, батюшка.

— Отпускается и разрешается... отца и сына...

Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и слышит — шепчут истомленные, истрескавшиеся бабьи губы:

— Грешная... грешная... грешная, батюшка.

А поп строго:

— Помни, грех смертный на исповеди перед самим невидимо присутствующим богом укрывать грехи.

И загремел поп божеским гневом:

— Проклятие господне незамолимое на том, кто перед господом не откроет свою грешную душу!

Потом опять заговорил ласково и внушительно:

— Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Задрожала баба, от пят до головы задрожала, и чует — замерла вся церковь. А церковь все та же: одни крестятся, другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу, дожидаются исповеди,— как было в церкви, так и есть. Стоит баба ни жива ни мертва. И так рванулось сердце у ней, а вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа, как говорил батюшка, от всякия скверны, и господь оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-несчастия, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой крестьяне и бабы, вздохнут все.

И закапали у бабы слезы, закапали под епитрахилью — замученные вековечные бабьи слезы, закапали ей на руки, на аналой, на крест, на евангелие, а поп к самым губам ухо протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы креста медного, золоченого, не прожгут насквозь до самой до земли!

И прошептали ее уста:

— Грешен, батюшка, резал, поджигал.

— А еще кто?

— Еще, батюшка, Микитка Ржаной.

— Еще кто?

— Еще Федор Кривой.

— Сколько всех человек?

— Пятнадцать, батюшка, пятнадцать.

— Кто да кто?

— И Иван Косой, и Володька Притыкин, и... пятнадцать, всех пятнадцать,— пересчитала бабочка,— пятнадцать.

Заспешил поп, засуетился,— исповедников эва сколько ждет.

— ...отпускается и разрешается... во имя отца...

Идет бабочка, земли под собою не чует: снял батюшка с них грехи, теперь господь оглянется. А в сердце занозина, тонкая занозина: болит сердце. И с чего бы сердцу болеть, коли снял господь грехи?

Через три дня арестовали хромого солдата, и Микиту Ржаного, и Федора Кривого, и всех пятнадцать человек.

К БОГУ НА ПОМАЗАНИЕ

Пышно справлял царь свою коронацию, да как ему не справлять пышно, коли у него земли — на миллионы и много миллионов крестьян, надрываясь, пашут ее.

Пышно справляли коронацию помещики-дворяне. Да и как им не справлять ее пышно,— царь ведь среди них первый помещик-дворянин.

Вся Москва была залита огнями. Царь ехал в золотой карете. В нее запрягли двенадцать белых молодых лошадей. Молодые лошади белыми бывают только в одном месте — у арабов в Аравии. Их и привезли оттуда за много тысяч верст и за много тысяч рублей — крестьянская копейка таровата.

За царем двигалось бесчисленное духовенство. Митрополиты, архиереи, попы, дьяконы — и все в золотых ризах, с золотыми крестами, осыпанными бриллиантами и драгоценными каменьями,— крестьянская копейка таровата. А на головах у них — у одного золотое ведро, у другого — золотой круглый горшок кверху дном, у третьего — бархатный вареник. И все это осыпано алмазами, разноцветными каменьями,— крестьянская копейка таровата. Царь пускает духовенство вперед потому, что оно составляет главную опору власти царя и помещиков над крестьянами. И эта опора была сильнее полиции.

А за духовенством тянулись дорогие кареты, а в них сидели помещики в шитых золотом дворянских мундирах и помещицы в умопомрачительно дорогих платьях, выписанных из-за границы,— крестьяне недаром трудились в поте лица над помещичьими землями. А дальше шли чиновники, полиция, войска — все, на чем держался царь и помещики и что держалось на одном крестьянине, который кормил их.

ПО ВЛАДИМИРКЕ

По Владимирке, которая без конца уходила в туманную даль, далеко растянувшись, шла арестантская партия. Глухо и тяжело звякали цепи на руках и ногах. Скрипели подводы с клажей и больными, сурово шли конвойные, готовые стрелять при малейшей попытке к бегству.

Кучкой идут крестьяне, бородатые и безусые, и позванивают мерно в шаг ручными и ножными кандалами. Один прихрамывает на ногу. Держатся друг к дружке,— пятнадцать их.

И одна у них дума о далекой-далекой деревне,— никогда уже, никогда ее не видать...

...Горя реченька,
Горя реченька бездонная...

Идут, мерно позванивая, и не вспоминают барина. Не знают и не чуют, что и баринов черед все ближе и ближе, черед его аренде, его усадьбе, имениям, его сладкой, беспечальной жизни — не знают горюны.

И идут, и идут днями, неделями, месяцами, и тысячи верст идет с ними кандальный звон и в жар, и в дождь, и в мороз, и в слякоть,— кандальный звон, в далекую мерзлую Сибирь, в мертвую каторгу.

...Горя реченька бездонная...

ДЕТИ

МИШКА-УПЫРЬ

Как только Мишка-упырь протер глаза, первое был гудок, ровный, настойчивый, непрерывно гудящий в утренней темноте, и первой проснувшейся мыслью было сейчас же незаметно выскользнуть из дому. Но, чтобы не обратить на себя внимания, неподвижно лежал под своими лохмотьями.

В углах, в окнах еще стоит редеющая темнота. Слышен надрывающийся отцовский кашель; смутно чернеет его фигура над лоханкой,— нагнувшись, умывается. По тому, как гремит кружкой, кряхтит и кашляет, Мишка чувствует, что отец зол, не выспался.

Мать торопливо готовит поесть отцу, просыпаются ребятишки, и в заполненной духотой комнате — зевота, бормотанье, всхлипывание, плач маленьких детей.

Отец ушел, но гудок все так же упорно стоит за обозначившимися переплетами посветлевших окон. Кажется, ему и конца не будет.

— Ну, ты... барин!.. Долго будешь вылеживаться?..

Больно раздаются два шлепка, и жесткая рука матери срывает с Мишки лохмотья. Он подымается из своего угла, скребет голову и тянет умышленно гнусавым, плачущим голосом:

— Ну, чего бьешься?.. Гы-ы-ы!..

Мать хлопочет, непрерывно бранясь и крича на ребятишек. Мишка размазывает из кружки воду по лицу, вытирается рукавом рубашки и, как волчонок, бросает быстрый взгляд на дверь.

— И не думай, и выкинь из головы! — кричит мать злым больным голосом.— Ежели уйдешь, и не приходи, запорю, до смерти забью...

Мишка со вздохом скребет голову. Уйдет мать на поденщину, а ему возиться с ребятишками, глядеть за печ-

кой, за борщом, натаскать воды, подместь комнату,— так каждый день.

И он стал выгребать золу из печки, а сам напряженно, ни на минуту не ослабляя острого внимания, глядит на дверь.

— Пойди принеси щепы.

Мишка бросается,— щепа за дверью.

Смутно темнея и суживаясь, уходит в чернеющую даль молчаливый коридор со множеством дверей. Скупо пропуская свет, насупленно глядят запыленные, грязные окна. На веревочках развешано рваное белье; темнеют разбитые ящики с разным хламом.

Слабый, старчески хрипящий кашель странно вяжется с этим угрюмым, темным молчанием, настойчиво и без отдыха нарушая его. Старушка, качая головой, шаркая ногами, идет с ведерком, должно быть, за водой. Она тихо идет мимо молчаливых дверей,— все на работе, и в квартирах только старый да малый,— и долго ее кашель надрывается наперекор прислушивающемуся молчанию.

Мишка смотрит, как тонет она неверно и колеблясь во мгле пропадающего коридора, потом набирает щепы, перегибаясь назад, идет, берется за ручку двери...

Кто-то невидимый, смеющийся, смелый и веселый шепчет, тянет в коридор и шепчет. Мишка не может разобрать, в ушах стоит: «Забью... запорю до смерти...»

Он отворачивается от зовущих скудным светом окон, берется за ручку, тянет дверь и вдруг бросает на пол с упреком белеющую щепу и что есть духу пускается по коридору.

Одна из бесчисленных дверей отворяется, выходит какой-то человек и сердито идет по коридору, но на бегущего во весь дух мальчика не обращает внимания.

Окно в конце коридора все ближе, яснее. Вот и лестница, и, стиснув зубы, рискуя сломить шею, Мишка прыгает через две-три ступени, пока темный пролет лестницы уже весь над ним, и с визгом открывается дверь на улицу.

Серое, холодное, сырое утро.

Чернеет кое-где грязный, не успевший потаять снег. Гудок смолк. На улице никого.

Мишка стоит, поеживаясь. Знает, мать не погонится за ним,— все равно не поймает. И, подшмурыгивая но-

сом, осторожно ступает по недавно протоптанным среди весенней грязи тропкам.

Дома узко и тесно сдвинулись, облупленные, хмурые. Угрюмо глядят слепые окна, зияя разбитыми стеклами, заткнутые тряпками, заклеенные грязной бумагой.

Мишка идет, соображая. Гул, смутный и тяжелый, все вырастает, тяжко колеблется. А когда переулок обрывается, неумолкаемый грохот бешено рвется из громадных, занесенных копотью окон почернелого корпуса. Дрожат стены, звенят стекла.

Все черно: земля, ограда, двор, ворота. Из гигантских почернелых труб зимой и летом, весной и осенью валит черный дым, мешаясь с низкими тучами. Даже деревья стоят чахлые, черные, а не успевший местами потаять снег — как грязь.

Люди ходят с хмурыми, темными лицами,— оттого ли, что на все садится копоть, или оттого, что они никогда не улыбаются.

А не улыбаются, вероятно, оттого, что на фабрике стоит ни на минуту не слабеющий, тяжело грохочущий гул, все подавляя — смех, и говор, и голоса, люди объясняются знаками, и на лицах непреходящая усталость.

Тысячи веретен, мелькая в безумном кружении, гудят все ту же нескончаемую воющую песню. Тысячи челноков снуют взад и вперед, и свист и чоканье носятся в буре звуков, а сотни колоссальных передаточных ремней, тяжко колеблясь и гоня темный ветер, неуловимо несутся по шкивам с зловещим шепотом и бормотаньем, от которого трясутся стены и мучительно дрожит пол. Темные фигуры среди машин, станков, среди грохота, свиста, визга, среди безумно крутящейся пыли, среди неумолкаемого беснования...

Гул несется от фабрики и тяжело стоит над всем околотком, как стоит над ним вечная дымная мгла, и солнце глядит тусклое и медное.

Все что-то соображая, Мишка подошел к воротам и весь, как молодой волчонок, ощетинился, сжался, точно приготовился к прыжку.

На воротах висел огромный замок, а около полуотворенной калиточки неподвижно сидел сторож — Каменная Баба, как его звали на фабрике.

Он сидел, как каменное изваяние, в том самом архалуке, в котором сидел ночь. Сколько рабочих ни перебы-

вало на фабрике, они всегда его видели неподвижно сидящим у калиточки. Могли остановиться все машины, сгореть фабрика, порасти травой опустелый двор, а Каменная Баба по-прежнему невозмутимо сидел бы у полуприкрытой калиточки. Забыл он о своей деревне, семьи у него не было, а была маленькая каморочка у самых ворот. Он как следует даже не знал, как и что работали на фабрике, а одно только видел — калитку, через которую никто не должен был проходить без пропуска от конторы.

Мишка стал перед ним, заложив два пальца в рот, и свистнул так, что даже фабричный гул, неумолкаемо грохотавший из окон, не успел поглотить, но Каменная Баба головы не повернул.

— Али тебе шерстью уши заложило?

Все тот же ревущий, победный, грохочущий гул.

Мишка вдруг сел на корточки в двух шагах и, умильно глядя горевшими, как у волчонка, глазами, заговорил, крепко нажимая голосом, чтоб было слышно:

— Дяденька, пусти... вот те Христос... провалиться мне скрозь землю, матка послала к тятьке.

Все так же грохотали занесенные копотью огромные окна.

— Лопни мои глаза!.. Чтоб мне завтрашнего дня не дождаться!.. Чтоб с меня шкура слезла!.. Чтоб меня вывернуло наизнанку...

Маленький и подвижный, как комочек, он извивался, клялся, божился, а Каменная Баба так же неподвижно и молча сидел.

— ...чтоб те ни дна, ни покрышки... чтоб те собаки ноги отъели... чтоб у тебя пузо лопнуло да вытекло... чтоб...

Баба поднялся, огромный, как бегемот, и тяжелый верблюжий архалук падал неуклюжими складками, шагнул и нагнулся, хватая шершавой, заскорузлой рукой за ухо, но Мишка с визгом откатился, вскочил, а Баба опять неподвижно сидел, как каменный.

— Истукан!.. Идол проклятый!.. Морда каменная!.. Воробьи на тебе гнезда вьют,— всю морду опакостили... Полкан цепной... ну-ка, загавкай... загавкай, загавкай... Ты умеешь...

Мишка вертелся перед ним, как вьюн, бросая самые замысловатые обидные прозвища.

Баба поднялся, скинул и аккуратно сложил на скамеечке архалук. Мишка мгновенно пустился бежать. Он бежал, сколько позволяли ноги, стиснув зубы, наклонив голову, с раздувшимися ноздрями, не оглядываясь, не разбирая луж и грязи, бежал вдоль закопченной ограды, и неумолкаемо ревевший гул метался над ним. Клубы дыма черно расплывались мглой. И нельзя было разобрать: не то это облака висели седые, одинаковые, не то вечная, никогда не проходящая дымная мгла. Завернул за угол, потом еще — и остановился.

Сразу стало скучно и вяло. Никого. Из-под ограды черная вонючая жидкость, жирно блестя, полосами стекала под обрыв... Под обрывом сплошь подвигалась река, играя радужными побежалыми цветами, тонко подернутая слоем нефти, масла и красок. Скучно глядели с той стороны серыми крышами домишки пригородной слободы.

Мишка опустился на землю и лениво ковырял грязь. Бурое солнышко стало пригревать. Мальчик ни о чем не думал, не вспоминал. Как будто не было фабрики, дыма, Каменной Бабы. Уплыл куда-то неумолкаемый гул. Мишка был один на всем свете, и было ему все равно.

Он не знал, сколько так сидел и ковырял грязь. Некуда было идти и нечего было делать.

Поднял голову: река тихонько подвигалась вниз, грязная, мутная, играя радугой, как мыльные пузыри из бани. Воняла черная жидкость, медленно вытекавшая из-под ограды.

Есть хочется.

Крепко подтянул поясок у штанов. Фабрика без умолку грохотала.

Мишка поднялся, внимательно оглянулся, и глаза у него загорелись.

Был он худенький, тщедушный, и никто бы ему не дал больше семи, а ему было девять лет. Но когда напрягалось все маленькое тельце, готовясь на опасное дело, и загорались глаза, он казался старше своих лет.

Озираясь, крадучись, кошачьими шагами подошел к каменной ограде и заглянул в пробитое внизу отверстие, откуда зловонно вытекала черная лоснящаяся жижа. Нестерпимо пахнуло в лицо. Мальчик отшатнулся.

— Пропадешь!..

С секунду стоял в нерешительности и вдруг опустился и с отчаянием пополз в дыру. Узкая, сдавленная сверху неровно нависшими кирпичами, она медленно дышала ему в лицо густым сладковато-тепловатым смрадом, и противоположное отверстие тускло просвечивало в густом зловонии. Мишка протискивался, обдирая голову о кирпичи, жижа касалась подбородка. Захватило дыхание, и желудок, выворачиваясь, забился в судорогах рвоты.

Все поплыло кругом, и, зажав зубы и не дыша, с отчаянием протискивался дальше, болтаясь в жиже руками и ногами и почти ложась в нее животом.

Не хватило сил задерживать дольше дыхание, и он готов уже был дохнуть тяжелым смрадом, как голова просунулась, широко раздвинулся огромный двор, застроенный складами, амбарами, сараями. На другом конце грохотала фабрика в безумном напряжении работы. У складов суетились люди, выгружали и нагружали тюки, въезжали и выезжали подводы.

Мишка торопливо поднялся и, согнувшись, пробежал и присел за возвышавшейся громадной грудой каменного угля, а с груди, с живота, с ног стекала неодолимовонючая, едкая жижа.

Какой-то человек стоял на подводе, показывал рукой и, должно быть, кричал. Может быть, кричал, что Мишка прятался за углем, все равно,— фабрика всепокрывающим гудом глотала голос, и видно было только: человек кивал головой, и протягивалась рука.

Из зияющих дверей фабрики выкатывали вагонетки, нагруженные тюками товара, и торопливые, потные и грязные рабочие бегом толкали их, но немо катились чугунные колеса по рельсам, не слышно было криков, переговоров, восклицаний,— все бесследно тонуло в ненасытимом безбрежном грохоте.

Мишка отдышался. Перестало тошнить. Вытер ноги и руки о землю. Крадучись, останавливаясь, присматриваясь, чувствуя, как все дрожит от гудящей земли, пополз вдоль ограды в дальний конец двора, где стояли конюшни.

Тут никого не было, только перед открытыми дверьми, откуда пахло свежим конским навозом, сидел на обрубке рыжебородый Созонт, конюх, и починял сбрую. Он гнусавил песню, рыжая борода и усы двигались, и

мерно разводил руками, протаскивая сквозь зажатый коленями хомут дратву.

Мишка прижался за кадушкой с затхлой дождевой водой и, не спуская лисьих хитрых глаз, наблюдал за Созонтом. Тот все разводил руками, гнусавя под нос себе. Из дверей конюшни темно глядели пустые станки,— фабричные лошади были в разгоне. Только в дальнем углу круглился гнедой круп и белела забинтованная нога.

Среди гула, грохота, суеты, движения, среди черных фабричных корпусов, среди мглы, вечно садящейся на людей, на здания, на деревья, на улицы, этот спокойный уголок,— где прело пахло навозом, глядел широкий добродушный зад лошади и разводил руками рыжебородый Созонт,— веял покоем, отдыхом, тишиной. Хотелось завалиться на сене, закрыть глаза и слушать, как мерно жует лошадь.

Но Мишка так же внимательно, остро, не спуская глаз, наблюдал за Созонтом.

Время шло. Медное солнце стояло уже над черными крышами.

Голод щемил в желудке, и было неудобно лежать за кадушкой.

Иногда Созонт подымался, и Мишка с радостным напряжением впивался в него, но он переворачивал хомут и снова начинал тачать.

— И конца этому не будет. У... ты, пес рыжий!.. Не сдохнешь ты со своим хомутом... прилип, окаянный!..

Созонт кончил, встряхнул, посидел, разглядывая работу, потом поднялся и лениво понес хомут в сарай, где висела сбруя.

Мишка мгновенно, как хорек в курятнике, юркнул в конюшню. В полутемноте остро пахло свежим навозом. Фабричный гул дрожал ослабленный, и слышно было, как жевал гнедой. Смутно выступали деревянные стенки станков, избитые и изгрызанные лошадьми. Из оконца косо тянулась солнечная полоса, и в ней плавали золотившиеся пылинки. Влетали и с веселым чириканьем вылетали ласточки.

Неслышно ступая по мягкому, податливому навозу, Мишка пробрался к закрому, где хранился овес. Туго обмотал штаны внизу у ступни и подпоясался. По самое по плечо погрузил руку в мягко, с сухим ласковым шо-

рохом расступившееся зерно и с наслаждением стал выбирать и сыпать за пазуху и за штаны. Жует гнедой, чирикают вверху, влетая, ласточки, возится в сарае Созонт. Опять прошел, сел у входа на обрубке, гнусавит песню и, должно быть, шьет.

— А-а... красный идол... завыл... Повой... повой...— И Мишка злорадно и с торжеством торопливо набивает за пазуху и за штаны сыпучее, жестковатое, с особенным пыльным запахом, зерно. Рубаха и штаны у него отдулись, и весь он стал круглым и толстым. Ему очень хотелось пронзительно свистнуть и громко закричать победным голосом, но он полушепотом продолжал ругать Созонта.

— Гнусавый пень... Ха-ха-ха!.. Как вскинешься, как овса недохватка будет... а-а! Так, так, так... Завертишься волчком — кто взял?.. Поминай, как звали...

Когда уже некуда было класть, Мишка отряхнулся, как кот, подтянул пояс, огляделся, цепко схватился за лестницу на сеновал, но на сеновал не полез, а осторожно балансируя, пополз по перекинутой через всю конюшню в темноте над стенками балке. Когда долез до места, где внизу смутно выделялся гнедой, белея забинтованной ногой и мерно жуя сено, растянулся на животе поверх балки и прислушался: за стенами смутно дрожал гул, неумолчно чирикали ласточки, гнусавил у дверей песню Созонт.

Хитро ухмыляясь, Мишка напряженно схватил ногами балку и разом повис вниз головой. Гнедой беспокойно покосился, блеснув в полутемноте глазом, и затоптался, подымая больную ногу. Мишка ухватился за хвост и что есть силы несколько раз дернул. Лошадь испуганно забилась.

— Тпру-у... сто-ой!.. Разыгрался!..— донесся от дверей сердитый окрик.

Все стихло. Дрожал гул, золотилась полоса из оконца.

Мишка, как летучая мышь, неподвижно висел вниз головой, охватив балку ногами.

Снова гнусавит Созонт, возится со сбруей. Гнедой испуганно забился, наполняя беспокойным шумом конюшню, а у Мишки в руках целый пук волос из хвоста.

За дверьми замолкло, потом слышны тяжелые шаги. Мишка одним махом вскидывает и кладет вдоль балки

свое неподвижно вытянутое, как струна, тело. А внизу голос:

— Сто-ой!.. Ну, чего... Тпру... дурак... Чего испужался?.. Гляди, ногу разобьешь... Чисто дурак!..

Созонт осмотрел ногу, заглянул в другие станки, постоял, почесал в затылке. Мишка неподвижно лежит, но каждый мускул дрожит у него от напряженного торжествующего, беззвучного, подавленного смеха. Если Созонт откроет его, убьет, как убил в позапрошлом году забравшегося в конюшню мальчика, который через две недели умер от побоев. И тем больше разбирает Мишку торжествующее злорадство.

Созонт ушел, но уже не слышно песни, а слышно, как молча возится со шлеей. Мишка повис, и гнедой опять бешено забился в станке, храпя и стараясь сорваться с привязи.

— Да что за черт!.. Что такое?.. Что за оказия!.. Крысы али ласка забралась?.. Чудеса!..

По всей конюшне тяжелые сердитые шаги. Опять заглядывает по станкам, во все углы.

— Что за оказия!.. И что такое?.. Тьфу ты, прости господи!..

«Ха-ха-ха... Так, так, так... Накось, выкуси!.. Ха-ха-ха!..»

Мишку рвет бешеный смех, но в конюшне только подавленный гул да тяжелые сердитые ищущие шаги.

«Ха-ха-ха!.. А-а... та-та-та... дубина красная!..»

И вдруг холодный пот охватывает: он слышит — тоненькой струйкой сыплется вниз из штанов овес.

Заскрипела лестница на сеновал, выше и выше. Смутно обрисовалась в полутемноте темная голова, плечи; всматривается. У Мишки замерло, перестало биться сердце. Маленькое вытянутое тельце, с раздувшейся от овса рубахой и штанами, приросло к балке. А овес сыплется. Скосив глаза, видит страшную, темную, без лица голову. И ему страстно, мучительно хочется быть за оградой, прибежать домой и сказать: «Батько!.. мамка!..», приткнуться на лавке... Как хорошо дома!..

Темная голова все так же страшно неподвижна. Должно быть, увидел. Мальчик задерживает дыхание и весь замирает в судороге ожидания.

Голова шевельнулась, стала понижаться; заскрипела лестница, потом все стихло. Только тяжелые, сердитые

шаги по конюшне, да сдавленный гул, да ласточки беззаботно щебечут, на мгновенье сверкая в оконце.

Мишка с облегчением вздохнул и отер холодный пот со лба.

Слышно — Созонт прошел к дверям и опять молча и сердито принялся за шлею.

Беззвучно, гибким движением подымается Мишка, пробирается по балке и через слуховое окно на сеновале выбирается в переулок.

Разом хватает недремлющий гул. Крепко, совсем по-весеннему пригревает дымно-красное солнце. На улице никого, все там, откуда несется неутихимый грохот.

Чувствуя, как покусывает за пазухой голое тело овес, и радостно ощущая его тяжесть, Мишка, поглядывая вперед и назад, пробирается на угол двух сходящихся тесных переулков.

На углу по обеим сторонам входной двери висят две вывески. На одной слабо выделяются потускневшими, облупившимися красками свечи, сахарная голова, разные банки, чай и многое другое, полусмытое дождями и занесенное пылью и грязью. На другой — тоже полусмытый и запыленный эфиоп, с выкатившимися белками глаз, раздув щеки, курит громадную, с бревно, папиросу, из которой дым идет, как из паровоза. А над вывесками, жалобно визжа, раскачивается по ветру на ржавом железе когда-то золоченый, а теперь совершенно облезлый деревянный крендель. Такие же полусмытые, полинявшие буквы гласят над дверью: «Бакалейная торговля Умникова».

Мишка с минуту в раздумье стоит на крыльце, подняв брови, глядит на стеклянную, засиженную мухами дверь, не спеша отворяет и хрипло вздрагивает ржавый, полуразбитый колокольчик. Только за порог, а мальчика уже колюче встречают из-за стойки маленькие, с разбегающимися морщинками глазки. Оставляют нестирающееся впечатление мелкой, поджидающей злобы поджатые губы. Раздуваются бледные тонкие ноздри. Седеющая бородка клином.

А навстречу мальчику будто другого человека медово-ласковый голос:

— Что, миленький?.. Али кренделька? Может, конфеточки?.. Деньжишки есть ли?

А сквозь щелочки с разбегающимися морщинками маленькие неспокойные глазки торопливо и зло обыскивают мальчика с ног до головы.

Мишка переступает с ноги на ногу, про себя думает: «чертов Козел...», а вслух сумрачно говорит:

— Овес принес.

— Ну, что ж, ничего... ничего... можно и кренделька... можно и конфетки...— поглядывая на дверь, торопятся бледные ноздри и, разинув мешок, шипят не то ласково, не то злобно: — Сыпь, сыпь, сыпь... шш... сыпь, сыпь!..

— А сколько дашь?

— Шшш... сыпь, сы-ыпь!..

Мишка нерешительно выгребает из-за пазухи овес в мешок, развязывает штаны и сыплет. Козел, злобно играя мускулами щек, завязывает и засовывает мешок под стойку. Сердито сует мальчику крохотный кренделек и, уже не скрывая бегающей в глазах злости, шипит, как потревоженная в сухой траве змея:

— Шшш... сту-пай-ай... ступай, ступай!..

Мишка бледнеет как полотно, дико глядит и говорит, срываясь, дрожащими губами:

— Я было пропал... еще бы трошки, меня бы убили... а ты кренделек... Пуд-то рубль двадцать стоит, а тут больше полпуда...

— Ступай, ступай, ступай!.. А-а!.. Где взял?.. Не сеешь, не жнешь, стало быть, украл... стало, украл! Ага-га-га!.. Во как... Это что?.. Это те икона... свечечка теплится... грех!.. Грех — перед иконой стоишь...

Мишка, весь дрожа, визжит:

— Давай деньги!..

Козел, сунув еще такой же крохотный кренделек, торопливо подталкивает к дверям:

— Ступай, ступай, ступай!.. Шшш!.. Боженьку гневишь, боженьке молиться надо, а ты — вор... вор!.. Свечечку поставь, отмаливай грех!..

Мишка кричит звериным, не своим голосом:

— Ай-яй-яй!.. Слушайте все... краденый овес... Я украл, а он спрятал... Вот в мешке... Украл у Созонта, а он спрятал.

Огоньки испуга и злобы, мигая, путаются в маленьких бегающих глазах.

— Тссс!.. Шшшш!.. Ступай, ступай, ступай!!. На... еще... на!.. Ступай, ступай... Свечечку поставь... моли грех...

И Мишка с двухкопеечной позеленелой монетой и несколькими бубликами вылетает, вышвырнутый на улицу, едва успевая подставлять ноги, чтобы не разбиться о мостовую, и сзади, дребезжа, захлопывается дверь, разом отрезывая все еще злобно шипящий, ползучий шепот.

Тупо и равнодушно шел Мишка, жуя бублик. Усталость овладела ослабевшим телом. Грохотала и дымила фабрика.

Мишка был один. Тесный и узкий мир угрюмо стоял кругом сдвинувшимися домами, дрожавшей от неумолкаемого безумия фабрикой, рекой, мутно игравшей радугой, и вечно тусклой мглой, сквозь которую уже не светило солнце.

Опять у реки за фабричной оградой сидел мальчик, ковыряя землю, прислушиваясь к неясно и отрывочно уплывавшим мыслям, и жевал бублики.

Сам не знал, долго ли сидел, но, должно быть, долго, потому что вдруг, дрожа, загудел гудок, и когда поднял голову, кругом лежали сумрачные тени.

Точно повинуясь этому повелительному для тысяч людей медному голосу, Мишка поднялся и пошел по переулку, неверно и устало, тупо равнодушный ко всему, что его ожидает.

Мигали одинокие огни фонарей, траурно трепетали черные тени. И в этой черноте шли люди, много людей, смутно невидимые,— тысячи шагов глухо наполняли переулки... И Мишка шел.

Остановился, утомленно закрыл глаза, жадно ожидая отдаться тихому темному покою, стирающему все, что было, есть и будет.

Нестерпимая рвущая боль разом разбудила. И мигнули фонари, и заколебались трепетные тени, и шли люди, смутные, неясные, и гул множества шагов наполнял переулок. Сердитая знакомая жесткая рука вела, отдирая ухо. Мишка, судорожно уцепившись за нее обеими руками, торопливо, боком, вытянув шею, шел, повизгивая, как наказываемый щенок, и бессмысленно повторял ненужные, ничего не могущие поправить слова:

— Не бу-ду... не бу-у-уду-у!.. Батя, не бу-ууду-у!..

Отворилась дверь, поднялись по лестнице, пошли по коридору, и все стояло в тусклой темноте:

— Не бу-ду... не бу-уду, не буду-у!..

Когда вошли в комнату, его швырнули за ухо на пол, и наполняя злыми слезами, криком и причитаниями слабо пронизанную уличными огнями комнатную темноту, набросилась мать и стала бить как попало, а отец молча снимал с себя и складывал вдвое ремень.

Мишка катался, кричал: «Не бу-ду!» — и сквозь свои крики и вой со странным болезненным чувством прислушивался к слезам матери, полным такого неисчерпаемого отчаяния, что Мишка забывал о своей боли и ловил руку матери, чтобы поцеловать...

— Да ирод ты, да злодей ты наш, да погубитель ты наш... И что же нам с тобой, с упырем, делать, и что же нам с тобой придумать!.. Ведь через тебя, злодея, вся семья голодная, из квартиры гонят... Да разнесчастная я, да на горе, да на муку родила тебя, погубителя! Ой я разнесчастная!..

Она бросила его, упала головой на стол и беззвучно билась в рыданиях, и Мишке казалось, не из-за его побега, а из-за чего-то огромного, тяжелого, что давило их всех.

Отец молча встряхнул его за шиворот, как платье, которое собираются выбивать, и среди жутко наступившей тишины, разрезая воздух, завизжал ремень. Он впился во всю длину в конвульсивно дернувшегося мальчика, разорвал ветхие штанишки и въелся в затеплившееся кровью тело.

Это было до того больно, что Мишка не закричал, а длинно выдыхнул удивленное: «Хх-а-а!..» — и нечеловеческий, звериный крик безумно заметался в темной примолкшей комнате. Ребятишки притаились в уголке. Ремень с визгом ловил извивавшееся тело и на секунду въедался в него.

Мать кинулась, повисла на руке отца.

— Будет... будет, Миколай Иваныч!.. Будет!..

В тускло озаренной с улицы темноте — молчание. Даже сонное дыхание не нарушает его. Молчит и Мишка, неподвижно лежа в своем углу. Он замолчал еще тогда, под ремнем.

Неподвижно глядит сухими, без слез, глазами, смутно разбирая контуры сходящихся стен и потолка. И

опять Мишке кажется: он — один во всем мире, и только темнота тесно и узко сдвинулась. А в темноте — его враги.

И первый враг — отец. Нет того отца, который по утрам устало кашляет надрывающимся кашлем, а какой-то другой, молчащий, у которого один звук — свист ремня, которого он не может рассмотреть в темноте.

Второй враг...

Он обходит слово «мать», которое подсказывает кто-то, злой и холодный, с ожесточившимся сердцем... Нет, не мать. Пусть она спит с тихим дыханием в этой темноте, намаялась; не мать, а... Козел. И Мишка радостно чувствует, как ненавидит Козла. Ненавидит его и будет всячески гадить ему. Будет плевать в кадку с патокой, насморкает в банку с вареньем, в кислую капусту непременно подбросит дохлую мышь, пусть прокиснет, и непременно пустит из-за угла камнем в окно... Ха-ха-ха! Пусть вставляет.

А Созонт?.. Какой это упорный и злой враг. Он у него будет постоянно таскать овес, будет дергать за хвост лошадей, чтоб досадить... А Каменная Баба?.. А?..

Хочется спать, ах, как хочется спать... Больно, нельзя пошевельнуться... Спать, спать, спать... очень больно... Только бы уснуть, только... спа-ать...

Еще не успеет утренняя тьма рассеяться, за окнами все тот же гудок, что вчера, третьего дня, тот же, что завтра, послезавтра, без конца, упорный, ровный, не знающий ни жалости, ни пощады. Потом целый день в душной, дымной, промозглой комнате с ребятишками, которых надо кормить, смотреть, возиться. Потом приходит отец с работы, и все ребятишки притихают. И так без срока, без отдыха, без перерыва...

Мишка смотрит в окно на потемневшую улицу, а с улицы смотрит в окно ночь мигающими фонарями.

— Тя-атька, отдай меня на фабрику.

Отец, усталый, сердитый после работы, хлебает ложкой. Лампочка тоненько, унывно поет, шевелясь черно-бегущей, через разбитое стекло коптящей струйкой. По стенам, судорожно тыкаясь, ползают мутные тени.

— Отдай-ай!.. — гнусаво тянет Мишка.

— Ну, цыц!..— злобно стучит ложкой по столу отец.— Куда тебя, щенка, вести? На черта ты кому сдался?..

Мишка отодвигается, каждую минуту готовый броситься наутек, и еще жалобнее гнусавит:

— Ну, отдай-ай в училище... Чего же я так — басурман... Отда-ай... отда-ай...

Ложка, разбрызгивая горячие капли, больно влепляется Мишке в лоб, а голова начинает мотаться из стороны в сторону в отцовской, крепко захватившей волосы руке.

— Ай-яй-яй-яй!.. Не буду... не буду!.. Тятька, больше не буду!..

Ночью, когда сквозь темноту окон тускло отсвечивают уличные фонари, в душной, затхлой комнате на все лады подсвистывают носами ребятишки, Мишка, ворочаясь под лохмотьями в своем углу, слышит, как отец с матерью разговаривают вполголоса:

— На фабрику все одно не возьмут... и в подручные годы не вышли...

Молчание. В темноте сонно бормочут ребятишки и опять усердно подсвистывают заложенными носами.

— Терентьев сказывал, в трактир можно, да поглядел — тоже, говорит, мал.

Опять помолчали. Мишка думает о трактире, о «машине», которая играет там день и ночь, шум, звон, говор, табачный дым, а он, Мишка, в белой рубахе и штанах, в сапогах набором, разносит на подносе чай, водку, закуски. Весело!

Он торопливо лезет рукой под лохмотья в самый угол и нащупывает наполовину выкуренную папиросу.

«Тут. Думал, пропала».

— В училище надо бы отдать... Вот до чего надо... душа болит за него...

А голос матери:

— Как отдать-то?.. Кто же дома-то?.. Мне уж не ходить тогда на поденную... не выбьемся...

И снова только темнота, и в темноте кто-то над Мишкой: «бум-умм»...

Он засыпает тяжело и тревожно.

Любил Мишка субботы, когда на фабрике производился расчет. Это бывало два раза в месяц. Отец приходил тогда раньше обыкновенного. Глаза у него блестят, на тусклых щеках слабый румянец, и слегка пахнет водкой. Выкладывает на стол связку баранок и деньги.

— Ну, на, мать, распоряжайся да самоварчик нам сообрази.

Мать первым делом раскладывает кучечками медяки, двугривенные, пятиалтыннички,— кому сколько долгу платить, и лицо у нее становится озабоченнее, морщины глубже, глаза чаще моргают.

А отец ложится на скрипучую кровать.

— Ребятенки, сюда!

Все, как цыплята, забираются к нему. Кто примащивается на животе, кто обвивает ручонками жилистую, худую шею. Мишка, старший, солидно присаживается на краю.

— Ну, начинай,— говорит отец.

И все тоненько, разноголосо, кто куда попало, но очень старательно начинают:

Сре-ди-и до-о-ли-и-ны ро-о-вныя...

У отца козлиный, прыгающий голос. Он глядит в черный потолок, собирает на переносице брови, широко раскрывает рот и так старается, что на носу выступают капельки пота. Мишка сурово, сосредоточенно, сверкая глазами и прижав подбородок, поет басом, как подобает старшему в семье. А маленькая двухлетняя Нютка, сидя у отца на животе и удивленно наморщив лобик, крохотным, как белокурый волосок на ее головке, голоском из всех сил старается выговорить:

...ня гля-ад-ко-ой ви-са-те-е...

— ...Четыре тридцать пять... да за воду двугривенный, да Федоровне долгу восемнадцать копеек...— слышится шепот матери, и лицо ее еще глубже изрезано морщинами, и еще глубже впали глаза, и еще болезненней собрались на переносице брови.

...ра-а-стет, цве-тет зе-ле-ный ду-уб...—

разноголосо заполняется задымленная темная комнатка.

И уж нет этой низкой темной комнатки, нет непрерывного царящего над околотком гула, нет грязных, тесных, вонючих переулков, вечной, непроходящей мглы.

...на-а гла-ад-ко-ой вы-ы-со-те...

Мишка искоса поглядывает на отца, на его запавший, раскрывающийся, с обвисшими усами рот. Это не

тот отец, который нехотя поднимается по утрам под гудок, долго кашляет, сердито кричит на мать, на детей и жестоко порет его, Мишку, за малейшую провинность,— нет, это совсем другой человек, которого редко видит Мишка и который так прекрасно поет чудесным козлиным голосом:

...ка-ак ре-крут на ча-а-сах...

«Ну, ничего... пускай... Не буду больше трогать Созонта,— думает Мишка,— и овса не буду у него больше воровать, и в дыру в стене не буду лазить... никак ее решеткой заделали, все одно не пролезешь...»

Уж давно стемнело, и уличные фонари посвечивают в темные окна. На столе курлыкает, шипит и брызгается самовар, кутаясь в облаках пара; тоненько колеблясь, траурно коптит на стене лампочка, вкусно глядят со стола баранки, и хлопотливо возится, приготовляя ужин, мать.

После «Среди долины ровныя...» поют «Выйду ль я на реченьку», «Во саду ли, в огороде», но выходит хуже, во-первых, потому, что все голосами сбиваются на «Среди долины ровныя», во-вторых, Нютка неизменно поет:

...ня гля-ад-кой ви-са-те-е...

А когда обсядут стол и все с потными лицами, обжигаясь, пьют жиденький, белый, как вода, чай, откусывая по крохотному кусочку сахара, и с треском разгрызают крепкие, как орехи, баранки, которым возрасту не меньше десяти лет, отец глядит на Мишку, любовно хлопает по тоненькой, худенькой спине и говорит:

— Ну, расти, расти... большак!.. Будет отцу-то одному,— гляди, пристанет, пора и в паре идти... а?.. Скоро, Миша, по гудку вместе будем ходить?..

Что-то дрогнуло у Мишки, и какой-то холодный, жесткий ком тает в маленьком ожесточенном сердце, и хочется схватить эту жесткую, мозолистую руку, прильнуть к ней губами, пряча теплые, ненужные, детские слезы, но ласка — редкая гостья, и Мишка хмурит брови, дует на блюдечко, с шумом тянет губами чай и говорит, подвигая стакан матери:

— Ну-ка, плесни мне еще.

И вытерев губы:

— Сказывают, Малафеевская фабрика стала, котел разорвало, трое сварились, да человек восемь попортило — в больницу отволокли.

— А около лявки солдаты шли, на голёве у них хвосты,— смешивается с тоненьким звенящим пением самовара тоненький звенящий голосок Нюты.

Отец любовно осоловелыми, с трудом поднимающимися глазами смотрит на ребят.

— Ты бы, старик, ложился — вишь, клюешь,— говорила мать, убирая посуду.

Погодя немного в комнатушке, заполненной неподвижной тьмой, воцаряется усталый сон.

Дни бегут, все так же начинаясь и кончаясь гудком, все так же заполненные вечно нависшей мглой, вечно дрожащим гулом, постоянной возней с ребятами, постоянными попреками и бранью матери, все так же по утрам уходит, кашляя, отец и приходит к ночи темный, усталый, злой, и рука у него тяжела.

Солнце пригревает все больше, каждый день все выше поднимаясь над крышами, и около полудня стало на минутку заглядывать даже в переулок, где жил Мишка; корочкой стала затягиваться никогда не просыхающая грязь.

Когда Мишка бегал за чем-нибудь для матери в лавчонку, пьяный, необузданный весенний день охватывал его. Воробьи, как ошалелые, наполняли весь переулок безудержным гамом, на подоконниках ворковали голуби, кричали галки, и сквозь мглу ласково, любовно светило теплое весеннее солнышко.

Мишка во весь дух бежал, перепрыгивая, как козел, через грязь, в лавку и из лавки, только одного боясь, только одно подавляя всей силой воли — не убежать на простор, на солнце, на воздух.

— На копеечку — масла... на копеечку — сахара, на копеечку — соли...— твердил он, прыгая, напряженно стараясь заглушить и воробьиный гам, и воркованье голубей, и крик галок, и светлую, ласковую, зовущую улыбку солнца.

А когда прибегал в затхлую, угарную, с темными окнами комнатушку, говорил, задыхаясь от быстрого бега:

— Матка, листики уж на деревьях вылезают, ей-богу!..

— Ну-ну, я тебе дам листики!.. Я тебе такие дам листики!.. Если убежишь, и не приходи... Отец сказал — убьет, и без разговору. Так и знай. Возьми Нютку-то, не видишь,— заснула.

И Мишка укачивал сестренку, ходил за водой, колол лучину, таскал уголь, мыл полы, старался ни о чем не думать. А воробьи, а голуби, а ласточки, а весенний ветерок? Все щебетало, ворковало, кричало, смеялось, лезло ему на глаза и звало его к себе, безумно веселое, яркое, живое. Нахмурившись, стиснув зубы, Мишка работал.

— На копеечку — чаю... на три копеечки — хлеба... на две копеечки — гусака...— и прыгал через грязь и бежал к лавке.

Мишка, пригреваемый солнцем, сидел под фабричной стеной у реки, которая мутно несла побежалые цвета, ковырял землю и думал.

В руках было целое богатство — два пятака, а в сердце тяжелый холодный комок ожесточения.

Солнце, галки, воробьи, уличное движение и суета, звонкие веселые голоса, которые трепетали и бились о стены домов, пересилили Мишку, и вместо лавки он пустился бежать за фабрику. Дом остался где-то далеко, точно его отрезали, и не было уже возврата.

«Эх, кабы товарищ!..» — думал Мишка и с тоской глядел вдоль реки, неведомо куда двигавшейся мутной массой воды, терявшейся поворотом за соседними, сбившимися серой кучей строениями.

Все мальчуганы одногодки, кого знал Мишка, с утра до вечера были заняты: кто, как Мишка, возился дома с ребятишками и по хозяйству, кто был в мальчиках в трактире, в лавке, пивной, и только немногие бегали в школу до обеда, а после обеда возились с домашними делами.

Мишка в раздумье поднялся и, осторожно обходя ссохшуюся комками грязь и разглядывая свои босые грязные ноги, без цели стал бродить по переулкам.

На углу знакомый крендель, стеариновые свечи, голова сахару, курящий эфиоп... Мишка остановился, рассматривая, думая о другом, потом поглядел на свои пятаки в руке.

— Нет, погожу, пригодятся...

По ступенькам из лавки спускался мальчик, годом старше Мишки, опрятно и чисто одетый. По его белому доброму, довольному лицу мелькнула тень испуга, недоумения и желания спрятаться, когда увидел Мишку. Стал осторожней и тише спускаться, упорно глядя под ноги на ступеньки.

Черная, исхудалая Мишкина рожа злорадно перекосилась.

— Козлов сын идет, бородой трясет, «ме-ме» сказать не может...

Ваня весь съежился и хотел пройти, не замечая, но Мишка с обезьяньей ловкостью прыгнул и загородил ему дорогу.

— Ну-у... чего тебе надо? — певучим голосом жалобно протянул беленький мальчик, испуганно подняв брови.

— А вот чего...— И Мишка уже приготовился вцепиться ему в волосы, да вдруг раздумал, взял за рукав и пошел рядом, хитро заглядывая в глаза.— Ванька, слышь, каку штуку я надумал, ей-богу, узнаешь — оближешься...

— Ну чего тебе... Меня батя послал... некогда мне...— недоверчиво и плаксиво протянул мальчик.

— Не трону, убей меня бог, не буду трогать... Штуку, брат... слышь ты?

Он остановился, придерживая за рукав мальчика и с чрезвычайной убедительностью глядя ему в глаза.

— Ну, чего ты?

— Слышь, убегём вместе... Постой... убегём, я тут одно место знаю... на колокольню влезем... галчата, воробьята, сколько хочешь... Посмотрим оттуда... далеко видать... а голубей, турманов наберем, ой-ой-ой!

Мишка скроил такую чудовищную рожу, что мальчик приостановился.

— А ты лазил?

— Не лазил, а Игнатка говорил... Фу, говорит, аж дух замирает.

Мальчик подумал.

— Да меня батя послал письмо опустить.

— Дорогой опустишь.

— Да велел скорей приходить.

— Скажешь, пожарные ехали, а назад полиция не пропускала — пришлось далеко обходить.

Мальчик постоял, глядя вдоль переулка.

Грех врать.

Дураку грех, умному на прибыль.

— Ну, пойдем, только недолго, да письмо надо опустить.

Письмо давай, зараз опущу.

Мишка повертел перед носом, понюхал.

— Керосином воняет да конфетами. И чего тут написано? Жалко, неграмотный, а то бы прочел.

— Пойдем направо, я знаю тут ящик почтовый.

— Фу, куда там направо! Нам прямо надо на Миколу Мокрого, что крюку-то делать.

— Да письмо же надо...

— Ну постой тут да не сходи с места, я зараз.

И Мишка исчез за углом. Остановился, изорвал в клочки письмо, засунул в широко зиявшее отверстие водосточной трубы и через минуту был около Вани.

— Ну, идем скорей, а то Козел увидит.

— А письмо где?

— Фу, да опустил.

— Тут я не помню ящика.

— Мало чего не помнишь... Пойдем скорей, Козел увидит — все пропало, а там голубей несть числа, темно от них.— И он торопливо потянул растерянно и недоумело оглядывающегося Ваню.

Мальчики торопливо шли, и все тянулись узкие, кривые, грязные, вонючие переулки, угрюмые, с осыпавшейся штукатуркой, с зияющими окнами дома, черные, закопченые фабрики, заводы, высоко дымящие трубы, и надо всем все покрывающий гул, а над ним вечною мглой дым. Этим переулкам, этим грязным улицам, этим темным, сырым домам, этой дымной мгле, казалось, ни конца ни краю.

— В энту субботу купил трех голубей, один турман — здорово перевертывается.

— На кой леший тебе покупать, коли даром наловим сколько хочешь, хоть на воз клади, — говорил Мишка, торопливо семеня босыми грязными ногами, стараясь постоянно держать в напряженном интересе Ваню, который так же торопливо постукивал каблучками козловых сапожек.

Долго шли, и долго тянулись такие же запутанные переулки и улички, и на углах лавчонки с кренделями,

с стеариновыми свечами, с курящими турками, и из лавчонки выглядывал хозяин, похожий на Козла.

Потом улицы стали раздаваться, стали прямее и шире; вместо гула, который то усиливался, когда шли мимо фабрики, то падал, когда проходили ее, катился ровный, однозвучный грохот экипажей и шуршанье тысячи ног, топтавших широкие тротуары. Уже не было лавчонок с курящими эфиопами, а ослепительно блестя на солнце, глядели колоссальные зеркальные стекла магазинов.

— Да куда мы идем? — И Ваня приостановился.— Ведь Микола Мокрый в другой стороне.

— Ну, пойдем, все одно... Заглянем тут в одно место, а там и к Миколе.

Пошли. Дома стояли высокие, веселые, чистые и на солнечной стороне ослепительно блестели стеклами. Внизу в магазинах все было видно внутри,— люди входили, снимали шляпы, рассматривали товары, подходили к кассе, жестикулировали друг с другом, точно все это происходило на улице, которая расширялась туда, внутрь дома, за сплошное, терявшееся для глаза стекло.

Из-за угла вывернулся трамвай и, торопливо роняя синие искры, скрежеща на повороте рельсами, делаясь все меньше и меньше, побежал по бесконечно уходящей улице. И сколько глаз хватал, все та же двигающаяся, торопливая пестрая толпа, бесчисленные экипажи, лошади, стук копыт и колышущийся надо всем пестрый гул.

— А... Видал?!.

У Мишки глаза загорелись.

— Поедем... ей-богу... А? Поедем, Ванька!..

Ваня приостановился.

— Да куда поедем-то?

— Фу-у, да поедем... ну! — И он потащил мальчика за рукав.

— Деньги?

— Ну, у меня... поедем!..

Они дошли до угла.

Как в водовороте, шумящая толпа огибала угол и беспрерывно, без конца и краю, широким потоком неровно и колеблясь, подвигалась во всю ширину тротуара.

— А?.. А у нас-то!

— Сколько их... Целый день шатаются... Ишь делать нечего.

— Гляди, выскочил!..

Из-за угла, скрежеща и кренясь на завороте, снова вывернулся трамвай и, скрипя тормозами, остановился. Мальчики кинулись, стали продираться сквозь входящую и выходящую публику. Ваня вежливо давал дорогу то тому, то другому и все никак не мог добраться, а Мишка свирепо работал кулаками, локтями, коленями и головой, которую опустил, как бодающийся баран, и даже попробовал кого-то укусить.

Кондуктор грубо дернул его.

— Ты куда?

— Туда, куда и все.

— Милостыню просить... Пошел!

— Сам проси, коли хочешь... я за свои деньги... Вот за двоих...— И Мишка разжал ладонь с двумя пятаками, суя ее к самому носу кондуктора.

— Ну, ладно, ступай, да смотри мне...

— И так смотрю, глаза есть... ты смотри...

— Ну, ну, огрызнись еще!

А Мишка уже с площадки отчаянно жестикулирует товарищу:

— Ванька, сюда!.. Слышь, вали!..

И оба, ухмыляясь, оглядываясь и подмигивая друг другу, устраиваются в самом углу площадки. Вагон дернулся, и с все повышающимся звуком мимо побежали назад дома, зеркальные стекла, пестрая текучая толпа, лошади, экипажи и быстро мелькающая мостовая. Как впадающие серые реки, проносились, разрывая дома, поперечные улицы, на мгновение тоже бесконечно уходя в голубоватую дымку.

— Вот так дует, а? Ванька!— И вдруг зашептал: — Гляди, барыня кака сидит... кабы не лопнула... надулась-то...

Публика сидела чинно и молча, глядя перед собою или в окна. У всех белели крахмальные воротнички, а у дам на шляпах от покачивания вагона шевелились огромные цветы и перья.

Мишка все дергал Ваню:

— Ванька... гляди: у ей на голове птицы...

— Тише... кондуктор...

— Должно, с гнездами... небось и яйца есть... Вот бы достать.

Мальчишки прыснули, зажимая рты руками.

Дама сердито шевелила перьями.

— А энтот... возле-то... не может нагнуться наперед... вся шея в кадушке...

— По самые уши...

— Кре-епкая...

— Бе-елая...

— Ишь ты, на стороны только голову поворачивает.

— Ему хочь на коленки сядь, не увидит, не нагнет голову...

— А на голове кверху ногами ведро... хочь зараз черпай...

И ребятишки опять прыснули что есть силы, зажимая себе рты и кусая пальцы, чтобы не расхохотаться на весь вагон. Господин так же сердито сидел, как и дама, вытянув длинную шею в высочайшем, туго накрахмаленном, подпиравшем щеки и подбородок воротничке и поддерживая головой огромный лоснящийся цилиндр.

— И не ворочается, а то ведро упадет...

— Прсс... выгонят...мм...лчи!..

Красные, задыхающиеся, они вытирали бежавшие от неудержимого смеха слезы и сопли и давили кулаками животы.

— Миш-ка... бу... дет... бр... брось... а то...— сквозь слезы едва выговаривал Ваня.

Публика стала обращать внимание на двух мальчиков, а сердитый господин, не поворачивая шеи и головы, лишь повел на них, скосив глаза.

Мальчишки глянули и покатились от хохоту.

На остановке кондуктор взял Мишку за ухо, и Мишка, вытянув шею и стараясь ущипнуть кондуктора, боком шел, чтобы не так больно было, и от пинка вылетел с площадки. За ним мелькнуло испуганное лицо Вани, которого, впрочем, кондуктор не тронул, вероятно благодаря козловым сапожкам, гладко причесанной голове и чистой одежде.

Трамвай покатился дальше, а Мишка кричал, показывая кондуктору шиш:

— Эй ты, белоглазая свинья!.. Слюни подбери!.. слю-уни!..

— Вы чего тут?

Грубый, повелительный окрик раздался над самым ухом, и в глаза бросилось сердитое усатое лицо городового в темной шинели и белых перчатках.

Мальчики пустились со всех ног и остановились, тяжело дыша, только за углом. С тем же однозвучным грохотом катились экипажи, и с неумирающим шуршанием шли тысячи людей. Проплывали, краснея на шляпах, яркие цветы, чернели цилиндры и котелки.

— А?.. Барыня-то... чай, еще больше надулась?..

И Мишка скорчил рожу, по его мнению, чрезвычайно похожую на барынину.

— А барин-то... в ведре... только глазами ворочает...

И снова их охватила неодолимая беспричинная веселость, неподавимый смех. Они шли, бесцеремонно толкаясь в движущейся чисто одетой толпе, присматриваясь к публике.

— Переломится... ей-богу, переломится,— торопливо говорил Мишка, поспевая за красиво одетой дамой с тонкой, сильно перетянутой талией.— Глаза вылезут, разрази меня гром, вылезут!..— И Мишка, забегая, старался заглянуть ей в лицо, действительно ли вылезают.

— Мишка, будет, нехорошо! — придерживал за рваную рубаху Ваня.— Будет, а то опять городовой.

— Какие все ядреные, да лобастые, да краснорожие!.. Жрут здорово!..

— Мы тоже хорошо едим: по праздникам завсегда пирог, по четвергам — кисель.

Мишка остановился, торопливо развязал веревочку от штанов, деловито перетянул живот, опять завязал, а публика продолжала двигаться, обходя и мельком и пренебрежительно взглядывая на мальчиков.

— Жрать захотелось... Будет у меня живот, как у энтой осы. Должно, она тоже с голоду...

— Не-е... в корсете. У господ все в корсете.

И они опять шли. Теперь они перестали смотреть на публику, а все чаще и чаще останавливались перед гастрономическими магазинами.

Сквозь колоссальные стекла желтели громадные сыры, белели всевозможные жестяные коробки с консервами, стеклянные банки с огурчиками, с маринованной рыбой, гирляндами висели колбасы; прижав ноги,

лежали зажаренные, вкусно темневшие, даже через стекло соблазнительно пахнувшие утки.

Мишка подолгу стоял и смотрел. Мысленно с трудом поднимал огромный, как колесо, желтеющий сыр и, ощутив всю его тяжесть, опускал на пол, свирепо запускал в него зубы и долго и с наслаждением жевал. Потом вытаскивал рукой из банки огурчики, маленькие превкусные огурчики, очень похожие на выкрашенные небольшие камешки, потом тянул из банки за хвост маринованную рыбу, которую ел с головы, потом...

Ваня дергал его за рубаху:

— Пойдем... чего стоять?..

— Фу, да постой!. — И принимался за самое вкусное и самое любимое — за колбасу.

Он ее откусывал прямо на весу, подняв голову, сначала копченую, которая так чудесно пахнет дымком. Колбаса все становилась короче, а Мишка вытягивался, лез вверх, пока не откусывал последний раз под самым потолком. Потом спускался и принимался за вареную. На ней оставались следы от зубов, и среди нежного розового мяса жирно белели кусочки сала. Колбаса подходила к концу...

Мишка проглотил слюну, но она сейчас же опять набежала, он сплюнул и угрюмо проговорил:

— Пойдем.

Они пошли. Ваня молча и боязливо шел за Мишкой, с удивлением присматриваясь к его худенькому лицу со впалыми блестящими глазами, к худенькой фигурке, на которой так ясно, приподнимая грязную рубашку, выступали лопатки и угловатые острые локти, как будто видел в первый раз. И не то сожаление, не то снисходительная жалость шевельнулась в Ване.

— Мишка, а дохлый ты.

— Пошел к черту... Тебе что за дело?

Мимо равнодушно, с тем же заглушающим голоса и слова шуршанием двигалась живая, однообразная в своем разнообразии толпа, как будто была только широкая улица, катящиеся экипажи, огромные дома, зеркальные магазины, и не было этих затерявшихся в толпе мальчиков.

Уже не останавливались около гастрономических магазинов, а шли молча и угрюмо.

В одном только месте Мишка приник к стеклу. Громадное во всю стену зеркальное стекло было задернуто изнутри красной шелковой материей. Уголок материи завернулся, и был виден с расписанным потолком и стенами огромный зал, весь заставленный столами, покрытыми ослепительно белыми скатертями. За столами сидели люди в черных сюртуках, с белой грудью, ели и пили. Другие люди, точно в таких же черных сюртуках, с такой же белой грудью, бегали между столами, приносили и уносили блюда, бутылки, тарелки, стояли около столов и глядели тем в рот.

Мишка обегал глазами все столы, дальние и ближние, остановился на одном, где сидело двое, и, не отрываясь, стал глядеть на них. Один — толстый, с пробритым подбородком и расчесанными бакенбардами, другой — с тоненькими, как крысиные хвостики, остро подкрученными кверху усами.

Толстый завязал вокруг шеи белую, как кипень, салфетку, а с тонкими усиками заткнул угол салфетки за жилетку. Толстый, не поворачивая головы, пошевелил красными жирными губами, и глядевший им в рот человек подскочил, согнулся и налил в бокалы одному и другому чего-то кипящего, золотисто искрящегося.

Толстый взял бокал в руку, и с крысиными усиками тоже взял в руку, и они, покачиваясь, наклоняясь друг к другу и шевеля в бокалах золотившуюся, искрившуюся влагу, смотрели друг на друга, шевелили губами, то протягивая, то прижимая руки к груди, потом подняли бокалы, покивали друг другу, сделали на лице улыбки и, запрокидывая, стали глотать играющую, колеблющуюся искристую влагу, и у тонкого на длинной жилистой шее прыгал кадык. Потом толстый отрезал большой кусок мяса, широко раскрыл, как пасть, рот со скверными, почернелыми зубами, положил туда и стал медленно, опуская и поднимая брови, жевать, двигая челюстями справа налево. Стоявшие возле люди глядели ему в рот; не отрываясь, зажав зубы, глядел Мишка, глядел и Ваня, долго и безуспешно дергавший Мишку за рубашку. Толстый переложил языком кусок за другую щеку и так же сосредоточенно стал жевать слева направо.

Мишка, помолчав, сказал:

— Ну, и здоровый жрать!..

— Ресторан, а это официанты,— важно сказал Ваня.— Они, вишь, одеваются, как баре, не отличишь. Это у нас только в трактирах половые в белых рубахах.

Мишка снова торопливо развязывал веревочку от штанов и так перетянулся, что живот у него ушел под ребра. Потом собрал, сколько мог, во рту и плюнул; по стеклу, оставляя мокрый след, потекли белой пеной слюни.

Раздался густой бас с парадного:

— Это что?.. Хулиганить!.. А в часть?..

Огромный швейцар в золотой ливрее шел от парадного. Мальчики бросились прочь, толкаясь и путаясь среди публики. На бегу Мишка, обернувшись, успел бросить:

— Золото себе на брюхо нашил и думает — генерал.

Прошли квартал.

Ваня остановился:

— Надо домой.

Мишка, угрюмо помолчав, небрежно бросил:

— Соскучился по порке?

Опять пошли молча. У Вани дергалось лицо, но сдерживался.

— Надо домой.

— Домой, домой!..— передразнил Мишка.— А как зачнут тебя пороть, сладко запоешь!.. Дурак!..

И, пройдя несколько шагов, мрачно добавил:

— Кабы поесть только...

Потом вдруг остановился, схватил Ваню за воротник, дернул и озлобленно завизжал:

— Есть деньги?..

Ваня замялся:

— Ну-у...

— Есть деньги?..

Публика сплошной массой шла, обходя их.

— Маленькие скандалисты,— проговорил кто-то.

— Да... не-ту... Ну-у... есть...— протянул Ваня, подняв брови и не зная, как отделаться от Мишки,— только их нельзя трогать... крестный подарил... на именины... беречь велел... новенький полтинник...

— Давай! — К лицу Вани, обдавая горячим дыханием, близко наклонилось искривленное злобой лицо Мишки.— Давай сию минуту!

Ваня, так же недоумело подняв брови, полез в карман, долго рылся, захватывая и опять опуская полтинник, наконец вытащил. Мишка выхватил, зажал в руке и торопливо пошел, Ваня за ним.

Тут ничего нельзя купить...— говорил заискивающе Ваня, поспевая сзади,— магазины... Дорого... Пойдем в съестную лавку.

Долго шли, пока улицы стали тише, дома ниже, вместо магазинов обыкновенные лавки. На углу Ваня прочитал: «Съестная лавка».

С разгоревшимися голодными глазами оба мальчика вошли туда.

— Ну, так-ак!.. — проговорил, выходя из лавки, Мишка с веселыми глазами, тщательно облизывая пальцы, потом вытер их о волосы и штаны и совсем свободно распустил веревочку на животе.

Ваня шел тоже довольный и веселый.

Вот так закусили!..

Ну, а как же крестный теперь?.. Слопал именинный полтинник...

Лицо Вани омрачилось.

— Куда-а же мы? — протянул жалобно.— Домой надо...

— Али спина чешется?.. Поспеешь, спустят еще шкуру...

И они без толку и без цели стали бродить по улицам. То попадали в центральные части, и кругом шумела движущаяся толпа, катились экипажи, роняя синие искры, неслись трамваи, то попадали в тихие, укромные улицы, где одиноко чернели редкие прохожие, зеленели и шептались, чуть покачиваясь, деревья в палисадниках.

В одном месте улица расширялась в площадь, и площадь вся была заставлена извозчичьими пролетками. Огромное со стеклянным куполом здание замыкало площадь. К нему то и дело подъезжали и отъезжали экипажи, густыми толпами выходил по широким ступеням народ, и сквозь гул, говор, стук копыт и колес доносились звонки, гудки паровозов, прерывистые трели кондуктора.

— Ванька, поедем!

— Куда?

— Фу-у!.. Ну да... прямо... куда-нибудь...— И Мишка нетерпеливо махнул рукой.

Ваня стоял, недоумевающе подняв брови.

— Я не знаю.

— Чего не знаешь?.. Поспеешь домой-то... Поедем, погуляем за городом.

— Денег мало.

— Сколько?

Ваня разжал руку, пересчитал:

— Тринадцать копеек.

— Чертова дюжина... Эх, жалко,— много съели... Ну, ничего, поедем зайцами.

— А как заберут?

— Тю-у!.. Ты не будь дураком!..

Поднялись по ступеням и вмешались в непрерывно гудящую, переливающуюся толпу. Торопливо бежали носильщики, гудя катились тележки, швейцар выкрикивал поезда, били звонки, и, надрываясь, тонко и странно выделяясь на всем этом пестром, колышущемся море звуков, трепетал плач крохотного ребенка.

Мишка подозрительно поглядывал на франтоватых, с военной выправкой жандармов, внимательно, не спуская глаз пропускавших мимо себя движущуюся толпу, и, дернув Ваню, пролез в вагон.

Синий дым и говор густо стояли в набитом людьми вагоне. Всюду навалены чемоданы, корзины, узлы; препираются из-за мест, выкрикивают:

— Батюшки, билет потерял!..

— Да вы куда едете?

— Примите ваш чемодан, говорю. Оглохли, что ли?

В сутолоке и суете Мишка опустился на пол и полез под скамейку, но его заметили. Поднялся шум, крики:

— Гляди, полез...

— Ага-га-га, самые жулики и есть!..

— Вот они прорезают чемоданы-то...

— Зови кондуктора...

— И жандарма, да поскорей...

Мишка увидел, что дело принимает скверный оборот, высунулся из-под скамьи, как затравленный хорек.

— Нет... да я ничего... я только... нам только доехать... с товарищем... тут недалечко...

— Знаем «с товарищем»: один разрезает чемоданы, а другой таскает... Зови скорей жандарма!

Мишку держали за ухо. Он сделал плаксивую рожу и хнычущим голосом заговорил:

— Ой, дяденька, не держи меня за это ухо... нарыв в нем, доктора лечат... держи за другое...

Но когда стали переменять ухо, Мишка хлопнулся об пол, юркнул под скамьи и пополз, как змея, между ногами, чемоданами.

— Держи, держи его!

— Вот под энтой скамейкой... лови!

Мишка вынырнул в другом конце вагона и бросился к двери. На площадке стоял Ваня и весь трясся, бледный, с огромными глазами.

Бежим,— крикнул Мишка.

Не пойду... я домо-ой!..

Бежим... я слыхал, за тобой жандарма послали.

Ваня пустился за Мишкой. Пробежали два вагона, захлопывая за собой двери. В отделении для некурящих было чисто и мало народу. Наученный горьким опытом, Мишка посидел в углу на лавочке и, когда убедился, что пассажиры не смотрят, осторожно полез под лавку, потянув за собой Ваню.

Они лежали в темноте, неудобно согнув головы и ноги и прижавшись друг к другу. В вагон входили и выходили. По полу мелькали сапоги, ботинки. Хлопали двери. Должно быть, пробил звонок, потому что кто-то, тяжело топоча, пробежал мимо вагона и, торопливо гремя, прокатили тележку. Проверещал кондукторский свисток, глухо гукнул далеко впереди паровоз, на минуту все смолкло, потом пол дернулся, качнув обоих мальчиков; под полом стукнули колеса и пошли стучать и перекликаться все громче и громче, все быстрее и быстрее.

Лежать было тесно и неудобно. Ваня прошептал:

— Что же мы теперь будем делать?

У Мишки раздувались ноздри, и не хотелось разговаривать.

— Цыц!.. Услышат...

Первое время все казалось, по полу к самому лицу переступают лакированные сапоги и нагибается кондуктор. Но гул по-прежнему бежал, ритмически постукивая, и неподвижно выделялись во тьме ноги пассажиров.

Мишка от нечего делать думал. Думал о своих врагах, к которым причислил теперь пассажиров. Они преследуют и травят его, как замученного зайца. За что? Вспомнил и Созонта, и Каменную Бабу, и отца, и Коз-

ла, и надутую барыню, и барина в ведре,— все были его враги... Ах, если бы всем им отомстить!

И чтобы досадить Созонту, мысленно дергал у гнедого из хвоста волосы, пускал в Каменную Бабу засохшей грязью, барыне в гнездо на шляпке положил дохлого цыпленка, у барина осторожно провернул дырку в цилиндре, а отца...

Он вспомнил, как отец утром, еще темно, торопливо поднимался, долго кашлял, хлебал что-то и уходил на фабрику, откуда настойчиво и долго несся гудок, и, уже темно, приходил, торопливо пил чай, закусывал и ложился, чтобы подняться чуть свет... «Среди долины ровныя...» Отцовская рука ложится на плечо, и голос, который он редко слышит: «Расти, расти, большак, скоро в паре по гудку ходить будем...»

Мишка вздыхает. Ему мучительно хочется быть теперь дома. Ну, выдерут... пусть выдерут... теперь он охотно будет возиться с ребятишками, будет мыть полы, все будет делать...

Мишка сует в бок кулаком заворочавшегося Ваню и закрывает глаза... Та-та-та! та-та-та!.. кто-то однообразно, мерно и скучно рассказывает под полом все об одном и том же, о чем — Мишка не может понять.

Когда на полустанке мальчики незаметно выбрались на платформу, их ослепило и оглушило.

Ослепило солнце, милое, чудесное солнце, которого не бывает в городе, тысячами золотисто-зеленых искр струится, зыблется в живой шепчущей листве, в лоснящихся, сколько глаз хватает, хлебах, в траве, полной кузнечиков-музыкантов, в ярко кланяющихся головках цветов.

Оглушила тишина, та тишина, которая бывает только в поле, в лесу, в синей степи да над речкой, зеркально прячущейся в лозняках,— тишина, полная птичьих голосов, травяных запахов, полная восторгов и солнечного блеска, и шороха, и безудержного желания кричать, взмахивать, как птица, руками и что есть духу, задыхаясь и выпучив глаза, бежать...

— Ага-га-га!.. Держи!.. Держи его!..

Э, куда там! На самом краю в последний раз обозначился черточкой поезд, родил белый тающий комочек — и только зубчатая синева, да теряющийся край

земли, да синее небо, да неуловимо скользят по траве тени облаков.

Мальчишки, хохоча, хватаясь друг за друга, покатились по мягкой ласковой траве под откос, переворачиваясь, и весь мир в смехе и радости, как огромный шалун, перевертывался вверх ногами, и голубое небо, и золотое солнце, и деревья, и блеснувшие полоской рельсы. И все стало на свои места, когда шалуны очутились под откосом.

А там пошли по полю, и тут началось: незабудки, гвоздики, заячья капуста, белый ландыш, луковые длинные травы,— все путалось, оплетало ноги, все лезло, синело, зеленело, краснело, просилось в руки, безумно пахло и, захлебываясь от восторга и радости, кричало: «Меня, меня, меня сорви... Я вот!.. Только нагнуться...»

У Мишки от жадности разгорелись волчьи глаза, головы не видно было в громадной охапке цветов и трав, которые с трудом нес.

— Ванька!.. О-о-о-а-у-у!..

— Го-го-го!..

И опять солнце, и зеленый простор, и шепчущие макушки, и неведомо куда уходящая полоска рельс... Нет-нет, и блеснут, как выроненная кем-то среди зеленых полей игла.

По опушке тысячи голосов звенят, безудержно зовут, смеются сверху, снизу, из зеленой чащи, из синего неба, из травы, из кустов.

А дрозды! А синички! А зяблики!

А пересмешники-сорокопуты! И по-соловьиному, и по-воробьиному, и по-сорочьи, на все птичьи голоса, всех пересмеивают, всех передразнивают. А самый маленький сидит на сухой веточке и повиливает хвостиком.

Круглые, пушистые, распухшие зеленые кусты кишат всякой живностью. И у каждого — свой дом, свои заботы, своя песня, свое горе, свои страхи, своя любовь...

Мальчики, утопая в траве, лежали на спине в ленивой приятной усталости и следили за макушками, чуть шептавшими трепещущей белизной выворачиваемых на ветерке листов. А над макушками облака, белые, круглые, не спеша и не отставая, плывут куда-то по своим заботам.

— Кабы да построить высо-окую колокольню до самых макушек,— говорит Мишка, и из травы виднеется

лишь босая с обсохшей грязью нога, перекинутая на колено,— да выше макушек, до самых до облаков... Гляди, гляди, вон птица... Да. Залезть туда и глядеть вниз: которые пашут, а где железная дорога, а то города, а в городах народ ходит, и наша фабрика, и Созонт возле конюшни хомут шьет, и Каменная Баба сидит, и Козел, и ты их всех видишь, а они тебя не видят. А? Вот здорово-то, Ванька?

— А у нас нонче кисель с молоком.

Мишка помолчал, счищая ногой с ноги засохшую грязь. Потом поднялся, затянул веревочку от штанов:

— Как наелись, а опять хочется... Пойдем...

Уже нет ни железной дороги, ни телеграфных столбов, только поля, да перелески, да птицы, да облака.

Ваня остановился.

— Я бою-усь... заблудимся...

— Фу-у, заблудимся!.. Ежели идти на сход солнца, сейчас железная дорога будет... ее не минуешь...

— Это восток называется, учительница нам говорила в училище.

Мишка молча шел, потом угрюмо проговорил:

— Ну, так что ж!..

Из-за оврага глянули избы. И когда подошли, глянула невылазная грязь, полуобъеденные крыши, подслеповатые окна, выглянула почернелая убогость, нищета и ветхость, которой было так много, которая так тесно сгрудилась там, в вонючих узких переулках, в угрюмых сырых домах. Но что-то было тут другое, и Мишка глянул на золотое, не дающее на себя глядеть солнце, на зеленую чистоту полей, на синеющий круг горизонта, которого никогда не бывает в городе.

Выскочила собачонка и, захлебываясь, стала провожать их, чуть не хватая за пятки. Отстанет, замолчит, и опять нагонит, и опять захлебывается из последних сил, как будто смерть ее пришла.

По-над тыном на сухом месте ребятишки играли, тесно усевшись в кружок, а в самой грязи лежали, утопая в блаженстве, свиньи и сдержанно хрюкали.

Мишка нагнулся к крохотному оконцу, тусклому и мутному, как незрячий глаз, стукнул и проговорил тоненьким голосом:

— Дя-аденька, дай корочку хлебца, есть хочется... проходящим...

Ваня полуиспуганно, полувыжидательно стоял поодаль.

Тихо. Только листья шевелятся на чуть покачивающихся ветвях да старая, обвисшая с крыши солома шуршит, точно мыши ворочаются.

Мишка постоял и пошел дальше, но везде было то же: молчаливые тусклые окна, шепот листьев, да полуистлевшая почернелая солома загадочно шуршит, залает собачонка, кое-где ребятишки играют, лежат свиньи в черной грязи, и все благословляет с высоты золотое солнце.

Из одной избы вышел крестьянин, огромный, в одной ситцевой рубахе и портках, с всклокоченной, в пуху головой:

— А?

Долго зевал и чесал спину, посмотрел на небо и опять долго зевал, широко раскрывая и крестя заросший рот, еще почесал спину и ушел в избу.

Пробираясь у самых плетней, прошли улицу, и глянуло поле, дальний перелесок.

Мишка остановился и сердито высморкался.

— Подохли, что ли!

У крайней избы старушка вытаскивала на веревке ведро из колодца. Старые, узловатые, дрожащие руки с трудом, медленно и редко перехватывали мокрую, туго перегибающуюся через сруб веревку, и в глубине что-то плескалось и стукало.

— Баушка, дай-ка пособим. Ванька, берись!

Ваня подскочил, и мальчишки торопливо, радостно и напряженно стали перехватывать быстро поползшую из колодца веревку, точно обрадованные возможностью потратить имеющиеся силы.

Плещущий звук все выше и выше, показалась дужка, и, бросая серебро воды, из темно разинутого колодца полезло ведро.

— Спасибо, родименькие, спасибо, родные!.. Пожалели старого человека. Откуда будете?

— В город идем, баушка... городские мы. Вот, вишь, на поезд не попали, будем ждать.

— Ну, что ж... подождите, зайдите в избу-то. Покормить-то вас нечем: чай, голодные.

В избе было темно, тесно, низко, кисло пахло овчиной и поросятами.

Старуха полезла в печь и достала черный горшок с остатками запекшейся гречневой каши; вытерла деревянные ложки пальцем и положила на стол. Ребятишки, как воробьи, принялись за кашу. Старуха сидела, подпершись рукой, глядела на них и покачивала головой, повязанной платком с торчащими заячьими ушами...

— Кушайте, родименькие... Либо в услужении?.. Охо-хо-хо, не сладко и в городе. Внуки у меня там, один в трактире, другой в печатне, жалются, пишут... домой и урваться некогда... Деревня-то как вымерла, которые в городе, которые на поле... Прикончили кашуто? Ну, слава богу, яичко бы дала, да все в город увозят, все в город. Вечером коровушка придет, да молочка и понюхать дома не приходится: невестушка у меня сердитая да строгая, все молочко до капельки соберет и росинки не расплещет,— все в город... Наши-то ребятишки квасок пьют, кваском и пробавляются. Попейте кваску, попейте, квасок хороший, кисленький... Ну, так, все, с божьей помощью...

— Баушка, можно у тебя переночевать? А то нам утром на поезд.

— Ну-к что ж, ночуйте. Сена в сарае много, на сене выспитесь, только чтобы папироски не жгли, боже упаси и помилуй!..

Когда усталое, с добрым подернувшимся лицом солнце, на которое уже свободно можно было глядеть, тронуло розовато верхушки верб, деревня оживилась. Чмокая в грязи, шли важно коровы с полно белевшим выменем. Крякали утки, раскачиваясь, спеша откуда-то с пруда и не упуская случая проглотить по дороге камешек, кучку зерен, зазевавшегося жука. Прогнали лошадей. Потянулась телега, утопая по ступицу в грязи. И голоса стояли ясные, отчетливые в тихом розоватом вечернем воздухе.

Спать улеглись на сене в сарае, и уже звезды давно засматривали сквозь дырявую соломенную крышу, а ребятишки все не могли уснуть.

Особенная тишина, какой никогда не бывает в городе, не давала спать. И в этой тишине неподвижно и темно стоят избы, вербы, и на их ветвях черные комки спящих ворон. Где-то далеко в конце улицы лает собака, долго, упорно, не останавливаясь, как будто дело

делает, потом и она замолчит, и в темной тишине — только мерный звук жующей коровы.

— Ванька, а энтот мужик, что выходил, должно — колдун.

— М-м-м...

Ваня уже спит и не может разодрать глаз сквозь сладкий сон.

Сквозь неровно темную солому мигают звезды. Мишка смотрит на них широко раскрытыми глазами,— может, это души теплят свечечки, и их задувает ветром, а может...

«А они ползут...» — с удивлением и страхом думает Мишка, не шевелясь и глядя, как в дыре мигает то одна, то две, то несколько звезд, то опять смутно отсвечивает одно небо, без звезд.

И стараясь смотреть и не давая смыкаться тяжелеющим векам, он мягко и против воли тонет в этой темной тишине, где давно потонули и избы, и вербы со спящими воронами, и потускневшие и расплывшиеся звезды.

Мишке казалось, что заснул только на одну минуту. Долгий, упорный, настойчивый гудок разбудил его. Мишка вскочил, точно укололи его и весь трясясь. Ревела корова, и у Мишки отлегло. Он обхватил колена руками, ежась от холода.

В дыры глядело побледневшее небо. Мерно и звучно неслись прерывистые звуки — за сараем доили корову. Петух заорал. Разговаривали гуси. Ваня крепко спал, раскрыв рот.

— Ванька, вставай, пойдем... слышь, холодно.

Тот открыл на минутку веки и опять сладко завел их.

— Вставай, слышь, остолопина!

Мальчик поднялся, протирая глаза.

— Спать хочется.

— Пойдем, никак мужик воротился — сердитый.

Мальчики выбрались, ища глазами старуху. Ее не было. Под навесом распрягал лошадь мужик в рваном армяке, и мальчуганы расслышали его сердитый окрик: «Навела тут гостей...» Выбрались на улицу и пошли по дороге.

Утро торопливо будило просыпавшееся, загасившее

уже звезды небо, лес с заспавшимися птицами. И трава, и кусты, и листья — все бело и влажно от густой росы.

— Ну, куда?

Мальчики остановились.

— Я ж тебе говорю — на всход солнца.

— Так всход вон.

Пошли в другую сторону, торопливо мелькая по дороге отдохнувшими бодрыми ногами. Ни железнодорожного полотна, ни телеграфных столбов, все то же просыпающееся поле, все те же сыплющие бесчисленными каплями росы кустарники. Деревни не видно.

— Эх, ты!.. Ну, куда?

Опять пошли.

Из-за верб блеснула широкая река. На той стороне стоял, отражаясь белым отражением, высокий берег.

— Де... э-э-э... о-о... э-у ду-у-у! — тонко, как звенящий комариный звук, не то почудилось, не то на самом деле смутно, неясно пронеслось издалека, должно быть, из-под того берега.

Река проснулась и влажно и матово сквозила в тонкой синеве. Еще не поднималось солнце, но небо за лесом было совсем белое и лес синел зубчатой полосой.

Вода влажно и мерно мыла белый, отмытый песок. На песке чернел челн, а возле возился дед, и шел дымок от костра.

— Дедушка, как нам на полустанок пройти?

— Ась?

Он черпнул деревянной ложкой из котелка, подул и попробовал.

— Хороша ушица... Ась?.. Стерлядки, сазанчик, ершишка какой — и тот пригож...

А с того берега уже явственнее:

— Де-е-е-ду-у!..

Голос был детский.

И вместе с голосом брызнуло из-за леса огнем, и река, как умытая, радостно развернулась неохватимой гладью до самого пропадающего за дальним лесом поворота.

— Ребятки, покричите ему, глупышу, покричите: принес ли крючья.

Ваня стоял конфузливо, не зная, надо ли кричать, или нет, а Мишка приложил ко рту ладонь трубой и завизжал пронзительно-диким басом:

— Крючья-а-а принес ли?

И гладь реки, принявшая в себя золотое, радостно взошедшее солнце, повторила много раз: «...не-о-ос-ли-и-и...»

И оттуда отозвалось:

— Прине-ос!..

— Ну, садитесь, поедем за ним. Ах, глупыш, глупыш, внучонок-то мой... Покричите ему, дескать, едем зараз.

Оба мальчика, надрываясь и стараясь кричать басом, заверещали:

— Зара-а-аз... зара-а-аз приедем!..

И опять светлая, ласково улыбающаяся гладь шаловливо повторила много раз:

«...а-а-аз... еде-е-ем!..»

От челнока бежали две светлые волны, а в нем сидело трое. Один с белой бородой и седыми добрыми бровями бурлил веслом светлую, весело игравшую воду.

Мишке казалось, что он еще спит и что снится ему — светлая река, и в реке ослепительно расплавленное солнце, и будто убегает берег, и далеко назади остаются хмурые темные дома, грязные вонючие переулки и вечный, неумирающий гул вместе с дымной мглой, изо дня в день прерываемый лишь ровным, настойчивым, не знающим ни отдыха, ни пощады гудком... Далеко все позади, меркнет, тает.

Мишка поднимает глаза: солнце над лесом, тепло, и в играющей воде все ослепительнее, все нестерпимее плавится золото, и уже совсем надвинулся белый обрывистый размытый берег, косо отражаясь в неуловимо прозрачной глубине таким же белым, размытым, опрокинутым отражением. И, так же отражаясь, сидел у самой воды мальчик с мешком на плечах.

Челнок ткнулся в берег, и отражения задрожали, запрыгали, уродливо вытянулись и помутнели. И уже не было бездонной глубины, а бежали стекловидные морщины и лизали крутой берег.

Мальчуган прыгнул в живой, закачавшийся, вот-вот готовый черпнуть челнок.

— Ну, что? — проговорил дед и напружился, упершись и отпихиваясь от берега веслом.

— Два хлеба принес и крючья. У тетки Матрены корова отелилась — бычок.

И пока один берег убегал, а другой бежал навстречу, мальчики сидели молча, искоса и исподлобья оглядывали друг друга. Хотелось заговорить — и не умели.

Только когда обсели котелок и стали хлебать дымящуюся уху, Мишка, прожевывая хлеб, проговорил:

— С дедом рыбачишь?

— Рыбачу,— коротко ответил мальчик, все не умея освободиться от связывающей конфузливости в присутствии незнакомых. Но потом набрался смелости и проговорил:

— А этот из городу? — и кивнул на Ваню, привлекшего его своей одеждой.

— Оба из города,— проговорил Мишка,— фабричные.

— Так, так... всякому свое.— Дед вытер усы.— И фабричному тоже бывает ничего: гляди, сапоги с набором купит, а то гармонию, играй себе по праздникам...

Мишка торопливо положил ложку, вытер губы и, наморщив лоб, проговорил убедительно:

— Дедушка, я у тебя останусь... буду помогать, рыбачить стану.

Дед добродушно ухмыльнулся в бороду.

— Миляга, а у тебя нет родителев, что ли?.. А есть, разыскивать зачнут, зараз становой налетит, накостыляет деду шею. Просторно, и река, и солнышко, а тоже и у нас тесно, ух, как тесно!.. Рыбки наловим, все в город тянем, в город и в город, а как цены нет, и толку нет, только что в город возишь.

— А мы, дедушка, в городе живем — ни рыбы, ни молока, ни яиц и не видим.

— И без вас съедят... Скушают за мое почтение.

— Мы одного видали, дедушка: рота-астый да толстый, за стеклом сидит, пасть разяват...

— А зубы че-ерные!..

— Пасть разяват, а ему туда мясо кладут, хлеб, а которые услужающие льют ему туда пойло же-олтое, вроде как лимонад, а он все глотает.

Дед почесал бороду.

— Они горазды... это они могут, на панском положении.

— Рестораном называется...— проговорил Ваня.

Потом все трое купались, шаля и возясь в серебристой туче брызг.

Дед с внуком выехали на реку, и неподвижно чернеет их челнок на светлой глади. Мишка с Ваней голые бегали по берегу, гонялись за мальвой, разыскивая раковины, или валялись на горячем песке.

— Дедушка а!.. — от времени до времени кричали мальчики. Можно хлебца?

И светлая река доносила добродушно:

— Ну-к, что ж?.. Скушайте на здоровье по ломтику.

А когда солнце стало клониться к полям по другую сторону реки, дед сказал:

— Ну, ребятки, надо вам и до дому. Будет шалыганить. Возьмите сушеной рыбки, хлебца да с богом. Отседа направо березничком, а за березничком станция, попросите начальника в красной шапке,— он даром вас довезет.

На станции Мишка снял шапку, приложил руки к животу и, глядя снизу вверх, говорил гнусавым голосом начальнику:

— Пожале-ейте, ваше благородие, сироток... дозвольте проехать до города... Ни папы, ни мамы...

И столько в его лице было плутоватой заячьей хитрости, что начальник, улыбаясь, заметил кондуктору:

— Посадите, что ли.

Когда поезд тронулся и полетели поля, домики, будки, столбы, зеленые откосы, мальчики не могли оторваться от окон.

— А... Ванька, гляди, как чешет!..

И с этой громадной быстротой, точно скашивавшей все встречное, радостное, неодолимое волнение охватывало Мишку.

— А?.. Ванька!.. Теперь я из поезда и вылезать не буду...

Полетели навстречу дома, улицы, экипажи, толпы народу,— надвинулся город, и, когда вышли из вокзала, поглотил их муравейник кипевшей жизни.

Среди уличной непрерывной оглушающей сутолоки встал роковой вопрос: что дальше делать? Мишка остановился, поскреб в голове. Ваня, испуганно озираясь, протянул:

— Надо домо-ой.

Но Мишку осенила новая мысль.

— Слышь ты... все одно по дороге... зайдем к Миколе Мокрому... на колокольню, наберем турманов... Твой

Козел любит; скажешь ему: хоть проходил, да турманов принес, а они денег стоют...

Мишке мучительно хотелось оттянуть время.

— По-оздно!..

— Чего поздно! Говорю — по дороге... все одно... Только скорей, пока колокольню не заперли.

— Ну, ладно, а потом домой.

Мальчики торопливо пошли среди непрерывно движущейся толпы.

Из церкви неслось согласное пение, мигали свечи, пахло запахом человеческих тел и ладана. Из-за дверей не слышно было, но, должно быть, что-нибудь говорил поп или дьякон, потому что головы у всех точно погнуло ветром, стали кланяться и опять — неподвижные спины, и согласное пение, и запах пота и ладана.

Мишка оглядывался. На паперти стояли нищие. Ночь торопливо густела, и в темноте тонули главы, выступы и украшения. По улицам зажглись фонари.

— Пойдем,— дернул Мишка Ваню.

Они пошли к маленьким дверям колокольни. Старик сторож, кряхтя, спустился и пошел к паперти. Мальчики шмыгнули в двери, ощупью поднялись по лестнице. На повороте присели в уголке и стали ждать.

Темно, хоть глаз коли. Наверху мерещится слабый, неуверенный отсвет, должно быть в пролеты окон. Снизу доносится неясное, неузнаваемое пение.

Ухо чутко ловит скрипучие стариковские шаги, тяжелое, немного хриплое дыхание; поравнялось; потом выше, слабее; смолкло. Постояла тишина. И вдруг колокольня дрогнула, дрогнула тягучим глубоким дрожанием, и стены, и ступеньки лестницы, и спины, и руки, и головы мальчиков,— и в ту же минуту, наполняя огромную ночную тьму медлительным гудением, загудел колокол. Как будто не было ни церкви, ни пения, ни людей, а только тяжко гудящие, заполняющие ночь удары.

Мальчики сидели, зажав уши, раскрыв рот,— больно отдается в голове.

Последний удар, и смолкло, но все еще стоит медлительно гудящее колебание. Скрипучие стариковские шаги спускаются вниз, и бежит неровная гудящая волна. Захлопнулась дверь, загремел замок, и все колеблется тяжелая тьма, смолкло пение внизу, погасли огни, разошлись люди, в темноте церковь, но еще колеблется

неуловимым колебанием неугомонная медь. Наконец смолкла, но у мальчиков в ушах все еще нежно и мягко звучит, как далекое воспоминание, и не хочет погаснуть.

Мальчики поднялись до самого верха. Над головой мутный чернеющий край темной меди. Неясно вырезываются пролеты окон, а в пролетах в океане мрака — бесчисленные огни города.

Беззвучно, неровным мягким полетом что-то темное влетело и так же беззвучно-немо стало трепетно порхать над головами, скорее ощущаемое, чем улавливаемое глазом в темноте.

И этот беззвучно-трепетный полет разбудил страх, и он пополз сосущей мелкой холодной дрожью.

— Это — не голуби,— едва шевеля губами, проговорил Ваня.

Мишка и сам знал, что не голуби,— у тех резкий звенящий полет, а это скользило, как тень смерти.

— Уйдем!..

Прижимаясь и держась друг за друга, стали спускаться в глубокой неподвижной темноте, как в колодец. Нащупали дверь,— она была тяжела и неподвижна. Сколько ни били, звук тяжело и глухо умирал, как в подземелье.

Тогда пронесся высокий, резкий крик:

— Дяденька, пусти-и!..

Было немо, глухо, безответно.

— Дяденька... дяденька... дяденька!..

Кричали два голоса, били что есть силы ногами в дверь,— было все так же немо, глухо, безответно.

Возле молчаливо стояла темная церковь с огромной пустотой до самого купола, и эхо наводило особенный ужас.

В темноте пропол дрожащий шепот:

— Подымемся наверх... страшно тут!

Держась друг за друга, нащупывая руками ступени, поползли наверх, и когда среди кромешной темноты смутным, едва ощутимым отсветом обрисовались пролеты окон, а в них бесчисленные огни города, стало легче. Прижимаясь к холодному камню, держась за парапет, оба не отрывали глаз от огней.

Над головами перестало порхать, только края темной меди тяжело выступали, и было неподвижно, темно и немо.

Может быть, прошел час, может быть, два, может быть, пять. Иногда в вышине пробирался ветерок, и тогда шевелились веревки, и с тоненьким повизгиванием звучала медь.

Мишка напряженно глядел в окно, стараясь подавить страх представлением обыкновенного и виденного,— барыня надутая с гнездами на голове, барин в ведре, огромная жующая пасть с почернелыми зубами, зеркальные окна, магазины, трамвай,— и не мог; было непонятное, загадочное и незнакомое.

Тысячи тысяч огней горят и мерцают, как бесчисленные звезды, и нет им конца и краю. Океан мрака лежит, придавив город, едва приподнимаемый отсветом огней, а они так же равнодушно колеблются и мерцают, неизвестно где теряясь за молчаливо и неподвижно спускающейся чернотой ночи.

В темноте шепот:

— Слышишь?

— А?

Прислушались. Над огнями — гул, глухой, тяжелый. Тысячи людей спали под бесчисленными крышами, которые смутно чудились в черноте среди огней, и непрерывный, невидимо грохочущий, ни на минуту не потухающий подавленный гул.

Там над фабриками носился непрерывный гул, но то был определенный, каждодневный здоровый звук незамирающей работы. Здесь среди ночи, среди молчаливо мерцающих огней этот накатывающийся задавленный мертвый грохот поднимал неодолимый страх...

— Спят?..

— Нет...

— Слышишь?

— А?.. Что такое?

Дед с изумлением смотрел на двух свернувшихся комочками от утреннего холода и прижавшихся друг к другу мальчиков.

— Что такое, прости господи?.. Али наваждение!..— И он протер глаза.

Мишка первый проснулся и вскочил на ноги, не понимая, где он и что с ним. Глянул в окно: в радостном утре без конца и краю уходили в голубовато-задымленном воздухе бесчисленные крыши.

— Ванька, слышь, ну, вставай!

— Да вы зачем тут?

— Дедушка, да мы... за голубями...

И, не оборачиваясь, замелькал вниз по лестнице.

— Ах, шалыганы, шалыганы!.. Нашли место... тут только нетопыри да летучие мыши... Ах, шалыганы, шалыганы!.. Ступайте, ступайте!..

Радостно и весело отдались мальчуганы набежавшему на них внизу шуму и уличной сутолоке, торопливо идя по тротуару. Но когда улеглись первые впечатления проведенной ночи, остановились.

— Теперь домой,— решительно заявил Ваня.

А Мишка:

— Слышь ты... Ежели придем сейчас,— утро, и нас цельный день будут драть, а ежели к вечеру, ну, выдерут раз, ну, два, и все, надо спать. Али не так?

Ваня и сам видел, что так, и стоял, беспомощно озираясь.

— Ну, все одно. Семь бед — один ответ.

— Так давай твои тринадцать копеек проедим,— подхватил Мишка.

Пошли, проели и опять целый день болтались по улицам, а когда солнце стало прятаться за крышами, тихонько и нехотя, хмурые и молчаливые, пошли домой.

Из-за домов, из-за крыш, рисуясь на дымном небе, вставала высокая черная знакомая труба, и дым, крутясь, валил из нее. Стлалась мгла и над домами, и над улицами все тот же знакомый несмолкающий гул. И сквозь эту мглу и сквозь этот гул глядело медное и тусклое заходящее солнце.

Мишка с удивлением остановился. Как будто в первый раз видел этот мертвенно-тяжелый дым, слышал этот мертвенно-тяжелый гул. Он постоял, вздохнул и проговорил угрюмо, скрипнув зубами:

— Идем.

Вот уже знакомая пивная с выбитыми стеклами, вот казармы служащих. Ваня шел все тише и тише, остановился, закрыл лицо и горько заплакал.

— Ну, разнюнился. Ну, чего?

— Да-а, че-его?..— плаксиво тянул мальчик.— Чего? Бить будут... бить буду-ут, на коленки поставят...

Мишка злобно засмеялся.

— На коле-енки!..— протянул он.— Дурак!.. Чего думал раньше? Не ходил бы. Ишь спохватился. Так те-

бе и надо. А как драть-то будут,— с злобной радостью, захлебываясь, заговорил Мишка,— уж так драть, так драть будут!.. Шкуру всю спустят, ни стать, ни лечь... Ах, и драть же тебя будут!.. А-а... сахарный!.. Мать твоя сядет тебе на ноги, а работника заставят за волосья держать, а отец зачнет тебя драть, зачнет тебя драть, он у тебя здоровый... Ух, и драть же будут!..

Мишка кривлялся, изгибался, прыгая, скакал перед Ваней, а тот неудержимо рыдал, сдавливая руками грудь.

— Го-о-осподи... да... да... что же э... это... да... за.. за... что же... э... это!..

— Молчи!..— вдруг завизжал Мишка и, как зверенок, кинулся к нему со сверкающими глазенками и сжатыми кулаками.— Молчи, падаль!.. А то укушу!..

Ваня попятился, глядя испуганно расширенными глазами и не узнавая перекошенного злобой лица своего приятеля.

— Жидок на расправу. Ступай за мной!

Мишка пошел вперед, размахивая руками, а Ваня послушно за ним, сдерживая всхлипывания и украдкой вытирая вспухшие красные глаза. Он глядел в худенькую спинку Мишки, на его качающиеся руки, и Мишка казался высоким, сильным мужиком, с которым никуда не страшно, но которого не нужно раздражать.

Когда подошли к Ваниной лавке, Мишка обернулся и сказал:

— Постой на крыльце. Я пойду сперва.

Ваня остался на крыльце. Мишка вошел в лавку, торопливо, беспокойно и, ничего не пропуская, ощупал ее глазами. За прилавком стоял знакомый Мишке благообразный человек с седеющей острой бородкой и злыми, бледно раздувающимися ноздрями. Хозяин так же подозрительно, торопливо, точно обыскивая, ощупал Мишкину фигурку колючими, маленькими, залезающими всюду глазками.

— А?.. Тебе чего?

Под этим пристальным колючим взглядом Мишку охватило чрезвычайное желание исчезнуть за дверьми, но усилием воли он подавил его и, весь напряженный, как сжатая пружина, подобрался к стойке, остро следя за каждым движением хозяина, и одним духом проговорил, злобно блестя глазами:

— Ваньку вам привел, слышь?.. Завел я его, сам... он просился, плакал, а я не пускал, завел... все я... сам... он не виноват...

Бледные тонкие ноздри хозяина все больше раздувались, колючие глаза впивались, и медовый голос ласково проговорил:

— А?.. Не дослышу... Подь сюда, родимый...

Мишка все так же остро-напряженно караулил малейшее движение хозяина, но от того ласкового голоса что-то мягкое прошло по душе мальчика, и он незаметно для себя придвинулся к стойке и опять заговорил, стараясь быть убедительным:

— Я Ваньку вашего завел, сказываю... Он не хотел... все я...

И не докончил,— голова замоталась в бледных крючковатых пальцах хозяина.

— А-яй-яй-яй!.. июууу!..— визжал Мишка, выдираясь, на секунду замолчал, и в хозяйскую руку глубоко и остро влезли Мишкины зубы.

— А-а-а-а!.. Змееныш...— завыл в свою очередь хозяин, а из пальца, который он тряс в воздухе, торопливо и ярко капала кровь.

Мишка рванулся головой, оставил в хозяйской руке пук волос и, как резиновый, отскочил к дверям. По дороге, впрочем, ловко успел толкнуть ногой со звоном разлетевшуюся стеклянную банку, плюнул в кадку с маслом, дернул за связку бубликов, которые рассыпались по всему полу, и, словно его выдуло ветром, исчез из лавки.

— Ах, мошенник!.. Ах, разбойник!.. Погоди... я те...— донеслось сзади, но он уже как буря пронесся мимо оторопевшего Вани, которому кинул: «Ступай, мозгляк... ничего не будет...» — исчез за углом.

Мишка прыгал через засохшую грязь, через рытвины, ухабы никогда не починяющейся изуродованной мостовой, но, чем ближе к дому, тем неохотней и медленней работали ноги.

Немытыми, темными, кое-где разбитыми окнами глядел среди других таких же домов трехэтажный, с облупившейся, грязной, осыпавшейся штукатуркой дом, где Мишку ждало... Он не хотел думать — что, сморщился и почесал ногой ногу.

«Чтоб ты провалился!..»

Подошел к входным дверям, в которых угрюмо темнела в пролете лестница, и долго стоял, почесывая пяткой ногу, опустив глаза, упорно глядя в землю.

«Убьют!»

Он поднял глаза, и темная лестница угрюмо и недоброжелательно глянула на него, подтверждая: «Да, забьют...» И эти грязные, с осыпавшейся штукатуркой стены говорили то же, и разбитые чернеющие глазки окон, и стеснившиеся отовсюду дома.

Было пусто, только непрерывающийся гул неустанно наполнял переулок да в водосточных трубах возились воробьи.

И опять стоял и смотрел в землю и на обсохшую на босых ногах грязь.

«Долго бегал... три дня!..»

Лицо его окаменело, судорожно сведенные мускулы окостенели, в маленьких сощуренных глазах горела холодная искра непотухающей злобы, а в сердце знакомый комок тяжелого, жесткого, ничего не прощающего ожесточения.

Стиснув зубы, с раздувающимися ноздрями, спокойно стал подниматься по угрюмой, все о том же молчаливо говорившей лестнице, потом пошел по коридору. И он был длинный, темный, знакомый и вел к одному страшному месту: к неподвижно темнеющей немой двери. Она, казалось, молча ждала Мишку, чтобы плотно захлопнуться за ним и придавить его крики и вопли.

У двери он остановился, с тоской, отчаянием бегая глазами по темному, равнодушно тянувшемуся коридору, и вдруг неожиданно для самого себя напряженно потянул дверь, и она с тонким злорадно скрипящим повизгиванием отворилась.

Первое, что увидел, была мать. Она что-то делала в углу, и спина у ней была худая, согнутая, как у той старушки, а ведь мать гораздо моложе. Что-то стукнуло мальчику в грудь,— не то жалость, не то удивление, как будто в первый раз увидел. Но сейчас же злобное ожидание и готовность до краев наполнили ожесточившееся маленькое сердце. И Мишка стоял у двери, злобно глядя исподлобья сверкающими глазами.

А маленькая Нютка всплеснула ручонками и весело прокричала тоненьким голоском:

— Ай, Миска плисол, залаз длать его будут!..

Детишки столпились вокруг.

Мать обернулась, и глянуло измученное, исстрадавшееся, изрезанное морщинами лицо, а с этого измученного лица глянули такие же измученные, красные, вспухшие от слез глаза. И всхлипывая и не удерживая катившихся слез, она пошла к нему, протягивая дрожащие руки:

— Сы-ынок... сы... сы-но-чек!..

Мишка растерянно бегал глазами по углам, чувствуя, что не умеет удержать, словно горький дым рассеивающееся ожесточение, удушливо переполнявшее его сердце. И когда мать прижала его голову к своей груди, он вдруг усиленно заморгал, не давая воли едко и щиплюще просившимся на ресницы слезам. И справившись, громко высморкался, нахмурился и проговорил толстым голосом:

— Никак Малафеевская фабрика опять работает.

А мать прижимает его, качает, как маленького, и, ничего не слушая, только твердит:

— Сы... сы-но-чек... сы-нок мой... не думали... не чаяли живого увидать... Отец... отец теперь...

Так они сидят, забыв обо всем, а ребятишки полуиспуганно, полуудивленно жмутся в уголок, глядят оттуда, перешептываются и зажимают друг другу рты.

— Мамка, а в городе девки да бабы перетянут себе живот в рюмочку да ходят, чистые осы.

Он на минутку отодвигается, глядит на мать, на ее изборожденное морщинами, слезами, горем, нуждой лицо, и что-то больно кольнуло его.

— Мамка, а старая ты.

Он хотел не то сказать и, стараясь поправиться и не умея, проговорил:

— А там в городе-то все гладкие да красномордые ходят...

Лицо матери тронулось усталой, измученной улыбкой:

— Старая, старая, мой родной, без время старая... Ты садись,— чай, голодный, покормлю я тебя, чайку поставлю, скоро отец придет.

Комнатка точно посветлела, было уютно и тепло, на столе в клубах пара весело о чем-то рассказывал самовар; ребятишки, как мухи, обсели вокруг стола и глядели в рот Мишке, который усердно жевал и рассказывал:

— Мамка, а как с колокольни фу-у да и страшно на город смотреть... ночью, только и слыхать: гал, гал, гал, гал — и больше ничего... А бабушка сказывает: яйца выделываются в деревне, а едят их в городе, а мы тут их и не нюхаем... И отчего это вода в реке там чистая да светлая, камушки на дне видать, а у нас возле фабрики как из бани?.. А сколько рыбы!.. Я трошки не поймал...

— Да и у нас есть,— хором подхватили ребятишки.

— Да-а, есть... Тут которая и есть, так она брюхом кверху плавает...

— Есть!.. Я сам ловил...

— И я ловила...

— Лови-или!.. Дохлую ловили...

— Ан врешь,— она трепыхалась...

— Сама врешь... а то вот как дам по роже...

— Ну, будет, будет...— остановила мать,— обрадовались.

Уже сумерки. На стене тоненько коптит лампочка. За потемневшими окнами звучит усталый, дрожащий гудок умирающего рабочего дня. Мертвый, пустынный коридор оживляется, хлопают двери, слышатся шаги, говор, с улицы доносится движение,— возвращаются с работ.

Пришел отец. В комнатке смолкло и словно потемнело. Мишка весь сжался, исподлобья только глаза сверкают, ребятишки притаились.

Отец молча, как всегда, снял рабочую блузу, умылся и, утираясь, бросил:

— Бегун...

И помолчав:

— Откуда явился?

Мишка стоял, глядел исподлобья.

— А мы розог нарезали, посолили... Я ремень ха-а-роший приготовил...

Сердце больно и радостно стукнулось в груди мальчика раз и два. Сквозь обычный, сурово равнодушный тон он чутко уловил, как непривычно дрожал голос отца, и, как вырывающаяся птица, забилась, затрепетала сверкающая радость. Да разве есть у Мишки враги?! Разве не чудесно жить на свете... Разве не греют эти добрые, усталые, глядящие из глубоких впадин отцовские глаза?..

Мишка сделал шаг к нему и часто-часто заморгал, сгоняя ресницами что-то едко и радостно проступавшее на глаза. Потом справился с собою и, глядя боком и хмурясь, проговорил толстым голосом:

— А малафеевцы-то нонче никак опять работают.

Сквозь печать всегдашней суровости по лицу отца шевельнулась редкая гостья, улыбка.

— Ну, ну, ну... ты зубы-то не заговаривай... ужо я те вспрысну, чтоб ноги меньше резвые были... Мать, давай-ка вечерять...

Опять обсели стол. Отец хлебал из миски, а ребятишки принялись снова за чай, совершенно белый, откусывая крохотные кусочки сахара, без хлеба, без бубликов, потому что был конец месяца и оставалось несколько дней до получки.

Точно по молчаливому соглашению никто не заговаривал о Мишкином побеге. Отец, когда поел и мать придвинула к нему стакан пустого белого чая, стал рассказывать, что сегодня в набивной ставили новую машину, а в ткацкой выскочившим челноком выбило рабочему глаз, и что Китай собирается воевать с Англией, что приезжал директор фабрики, разносил управляющего, мастеров за то, что на рабочих много расходуется денег.

Когда отец сказал это, спокойно попыхивая папироской, мать вдруг оставила посуду, обернула задергавшееся от злобы лицо и стала кричать злым тонким голосом, в котором дрожали слезы, что они и так издыхают с голоду, что все директора — ироды и анафемы, кровопийцы, и кричала долго и громко, как будто директор был в этой темной, дымной, придавленной комнате.

Стояла тяжелая, мутная, не рассеиваемая отсветом уличных фонарей тьма; все давно спали, только Мишка все ворочался в углу под своими лохмотьями. Наконец сел, прислушиваясь. Тренькал сверчок, сопели и подсвистывали в сонном дыхании дети, и еще какие-то звуки, странные, неопределенные, но дружелюбные в этой родной обстановке, ползали смутно и неясно в темноте в комнате и за окном.

Мишка поднялся и прокрался к отцу. В темноте смутно и бессильно белела свесившаяся неподвижно рука, и было близко сдержанное, негромкое дыхание, выделяясь из других звуков.

Мишка постоял, потом нагнулся:

— Батя... а батя?..

Все та же мутная темнота, все те же смутные, неясные, беспокойно ползающие не то в комнате, не то за окном звуки, и сверчок, и дыхание спящих.

— Батя!..

Белевшая рука шевельнулась.

— А?.. Ты чего?

И немного погодя:

— Ложись... завтра рано вставать... Спи, шатун...

И опять мутная тьма, заполненная сонным храпом, сопением, вздохами, сверчком, кислым, густым воздухом.

Мишка постоял. Хотелось прижаться щекой к руке отца и не то засмеяться, не то заплакать. Он еще постоял, почесал спину и среди мутного отсвета фонарей, среди неясных, неуловимых ночных теней и звуков прокрался в свой угол, лег, прислушался: город сдавленно доносил: «Гал, гал, гал!..»

«Не спят»,— подумал Мишка, мягко и сладко теряя мысли, точно кто-то торопливо ткал паутину, затягивая лицо, веки, слова и усилия, и где-то далеко так же мягко, любовно и ласково тонуло:

— ...а?.. спи, спи, шатун!..

ПОЛОСАТЫЙ ЗВЕРЬ

Пароходный гудок, сиплый спросонья, все не мог наладиться, долго хрипел и, наконец, срываясь и захлебываясь, могуче загудел,— и медный голос его далеко понесся по глади проснувшейся реки, по берегам, еще не успевшим стряхнуть дремоту.

Колеса торопливо шлепали, взбивая пену, и спокойная, тихая голубая вода убегала назад, отражая старые вербы на берегу, забытое облачко на синеве.

На песчаных отмелях виднелся неподвижно стоявший у воды красный скот,— видно, пригнали на водопой.

Чайки кричали неприятными, раздраженными голосами и вдруг неровно падали, белея, как бумага, в воду, выхватывали рыбу и молча, торопливым прямым полетом летели к отмелям завтракать.

Палубные пассажиры, разбуженные гудком, подымались, пожимаясь от приятной утренней свежести. Кто плескал водой в лицо и обтирался подолом рубахи, кто торопливо крестился на только что поднявшееся над прибрежными вербами еще не жаркое солнце, а иные сидели уже за столиками и пили чай, наливая из пузатых чайников.

В каютах господа еще спали.

День начинался на пароходе, как всегда.

Штурвальный на мостике, не отрывая глаз от реки, ворочал колесо. Матросов ни одного не было видно.

Молодой монашек в скуфейке, из-под которой рассыпались светлые волосы, с бледным, испитым, безусым лицом, молча пил за столиком чай с сухарями, а дебелая лавочница, жалостливо глядя на него и забыв про свою остывшую чашку, рассказывала умиленным голосом:

— Только и было моего несчастья-горя, что муж помер, только и знала я испытание божие. Ну, нечего греха таить, пил покойничек. Господь ему простит, царство небесное. А уж с тех пор соломинки горькой не видела. И-и, господи, твоя воля! и в детях, и в делах, и в доме господь посылает успеха да благополучия. Лавка у меня в городе, два приказчика, ну, оба не пьющие да честные, соломинки не утаят. У людей вон капусту заквасили, ан пост-то пришел, выкинули,— не продыхнешь, скислась, как овчина квашеная, а у меня, как стеклышко, все нарасхват берут. Опять же сад за городом, не похвалюсь, ну, каждый год до того урожай, до того вишенья шибкая, хоть засыпься, а яблоков, листа не видать — яблоков! И каждый год, каждый год восемь, а то девять сот с саду имею. Опять же пчелы. У других гнилец, а то матка пропадет, либо за зиму сами пропадут, ну, у меня, веришь ли, как налитая пчела, да ядреная, да веселая, медом хоть залейся, и не жалит, так уж пчела ласковая. Старший сын в консистории служит, все батюшки к нему с почтением, второй при лавке, младший кончает на машиниста; дочку за хорошего человека отдала. И так-то мне горько, так-то мне больно душой, тоска... все не пойму, за что это... али я последний человек...

Она заморгала покрасневшими, сразу набрякшими веками и вытерла платочком глаза.

Бабы с заморенными лицами, сидевшие среди узлов на палубе с ребятишками на руках, сочувственно кивали головой.

А лавочница вздохнула и продолжала, скомкав в руке платочек:

— Пришла я в церковь, вечерню батюшка служил, народу мало. Стала я перед образом спаса на колени, сама красная вся, а сама навзрыд рыдаю: «Господи, али забыл ты меня, али я последний человек у тебя!.. Нет у тебя мне горюшка с макова зернушка... Забыл ты меня, отверг рабу свою, не посещаешь скорбию... Все благополучие, да успех, да деньги, да прибыль. Как же предстану пред очи твои! Скажешь, господи: «Али, раба, хочешь два царства царствовать — там на земле и тут у меня? Не страдала ты, слезами, горем не мучилась, а хочешь под сень праведников...» Вот об чем страдаю, вот об чем сердце болит,— проговорила лавочница, опять провела по глазам платочком, скомкала и стала пить захолодалый чай.

Монашек допил свою чашку, стряхнул туда остатки сухарей, поднялся и стал креститься на солнце, которое поднялось над прибрежными вербами. Потом отвесил низкий поклон.

— Покорно благодарю.

Снова присел и сказал:

— Всякому надо нести крест свой. Его святая воля.

А ближняя баба вздохнула и сказала:

— Всякому свое,— и, все сидя на грязной палубе, стала, похлопывая рукой, закачивать проснувшегося ребенка.

Палубные пассажиры знали всю подноготную друг о друге, как будто вместе провели на этой палубе, заваленной тюками, бочками, ящиками, долгие годы.

Знали, что монашек — сын разорившегося фабриканта, что лавочница дает деньги под большие проценты и нажила капитал, знали, кто куда едет — одни на богомолье, другие за товаром, третьи — работу искать; две бабы с ребятишками ехали на Кубань к мужьям, которые служили на железной дороге. Знали все и про господ, которые спали по каютам.

Из-за тюков выбрался мужичок небольшого роста с заросшим лицом, красным, в обветренных морщинах;

под взъерошенными бровями ласково глядели синие глаза.

— Честной компании! — проговорил он, кланяясь на все четыре стороны, и обобрал корявыми пальцами в свалявшейся бороде забившуюся мочалу, клочки шерсти, бумажки, сено, всякий сор, который ветер намел между тюками, где мужичок ночевал.

— Не видать мытарей?

— Нет, никого нет... Слободно, иди... До остановки не будут тревожить...— заговорили кругом приветливо.

— Ну и хорошо,— проговорил мужичок, нажимая на «о», оглядывая всех ласковыми глазами,— солнушко-то у вас тепло греет, не то, что у нас, на Вологде.

А солнце еще поднялось и ослепительно дробилось в речной глади — смотреть больно. В непрерывающемся шуме колес бежал с одной стороны красный обрывистый берег со старыми наклонившимися вербами, которые тоже бежали назад и за которыми неоглядно уходила степь; с другой — широко раскинулись седые, веками намытые отмели, и над ними кричали чайки, бегали у воды, посвистывая, кулички да чернели шалаши рыбаков.

Видно было, как за отмелями подымались прибрежные горы, размытые, морщинистые, местами голые и неприютные, местами зеленели виноградниками. Старые горы придвигались к самой реке, белея глубокими меловыми промоинами, либо, открывая широкие сухие луга, далеко уходили, смутно подергиваясь фиолетовой дымкой.

— Места у вас богатые, воля! Земли необозримо,— сказал мужичок, жадно глядя в бесконечно уходившую за вербами степь,— земли, сколько хочешь, и прочего всего.

— Лесу нет,— сказал старик в казачьей фуражке,— прута негде срезать. А ты откеда сам будешь?

Мужичок с взъерошенными бровями обрадовался новому человеку,— старик ночью сел на пароход,— опустился на корточки и, ласково глядя, стал рассказывать то, что уже много раз рассказывал:

— Сынка ищу, братик. Как сказано: «Не пецытеся о хлебушке, предоставится». Так и я. Выехал из своих мест, было у меня аккурат полтинник серебром, да два двугривенных, да два пятака.

— С такими деньгами не пецытеся,— вставил кто-то.

Хотя мужичок раз двадцать уже рассказывал свою историю и все слышали, но около него опять сбивается публика, опять слушают, как новое, вставляют замечания.

— Во, во, и я говорю. Ну, хорошо. В поезд, стало быть, сел, кондуктор: «Ваш билет».— «Ка-акой билет? сказано бо: «не пецытеся».— «А-а, не пецытеся!.. К жандару!..» Ну, к жандару и к жандару, не полиняю, не об шести он ногах. Жандар зараз — протокол, да что с меня возьмешь! Одна плохая душонка, боле ничего. Дадут по шее, я и пошел вдоль полотна. Пройдешь до другой станции, подождешь поезда, опять в вагон, проедешь сколько-то, опять «ваш билет», опять высаживают...

— Мочала, начинай сначала,— вставляют слушатели.

— Таким манером и ехал цельный месяц, а из наших мест, ехать ежели бесперечь, много ежели четверо суток проедешь. Ну, хорошо. Приехал я в город Ростов, хороший город, громкой и деньгами не жалит. Сынок у меня там в мастерских пароходных, пароходы починяет. Отвез я его в Москву, ему тринадцати годов не было, а теперь в солдаты бы взяли, да один сын. Превзошел рукомесло, искусник он у меня, дорогая голова, и пишет: «Тесно мне, мол, папаша, в Москве, потому стал я образованный». И спустился он до самого до города до Ростова. Ну, не забывал нас, стариков,— присылал и деньгами и подарками. Старуха у меня квелая, больная, ногами плохо владает; получит, плачет: «Соколик ты мой». А тут перестали письма приходить. Ждем, пождем, нет ничего. Что такое! Али женился, али в другую веру перешел. Старуха плачет, у меня сердце сосет, может, занедужился, может, без памяти лежит. Не вытерпел, обсоветовались со старухой, поехал я да вот другой месяц и ездию.

Мужичок, подавляя волнение, задвигал бровями и заросшим ртом.

— Ну, да где найтить,— вставляет опять слушатель,— человек в городе, как иголка: уронил, не сыщешь.

— А главное, игрок он у меня да певун,— заговорил опять мужичок, радостно оживляясь и ласково оглядыва-

зая всех голубыми, еще не выцветшими глазами,— бывалыча, приедешь к нему в Москву, жил он в подвале у хозяина. Хозяин в воскресный день уйдет, а Яша зараз достанет инструмент, заиграет и голосом запоет, так даже слушать невозможно, очень аккуратно пел. И скажет бывало: «Горькая наша жизнь, папаша, а это заиграешь, как киндербальзам на сердце». А у нас, правда, все в роду — народ инструментальный, и голоса чистые, крепкие, лесные.

— Здесь помощник кочегара тоже дюже умеет на инструменте, чисто выговаривает словами, а там и смотреть не на что — всего-то три струны,— вставляет один из слушателей.

— Капитан не позволяет играть, капитан тут лютой.

— Лютой и есть, молчит, бирюком смотрит, а как заревет, в ушах лопается. Матросов, сказывают, по морде бьет.

— Он лютой с горя: позапрошлый год на этом самом пароходе у него жена и дочка об трех годков потонули.

— Упали, что ль?

— Нет, склока сделалась на пароходе, паника. Как раз разлив был. Пароход и налети на дерево, проломило нос, стал оседать. Капитан велел шлюпки спускать. Народ, кабы был поумней, в порядке бы садились, а то кинулись стадом, как бараны, обеи шлюпки и потопили, и жена капитанова с девочкой потонула, и еще девять человек утопло. Так капитан кинулся спасать, самого замертво вытащили. А пароход-то не потоп, продержался, заделали дирю, и посейчас ходит, вот этот самый. С тех пор нелюдимый стал да лютый, как бирюк.

— Упаси, господи!..— сказала лавочница крестясь.

— Мытари идут! —понизив голос, сказал кто-то из слушателей.— Спасайся, папаша.

Мужичок, с взлохмаченными бровями, с неожиданной легкостью и проворством юркнул между тюками.

— Ноги, ноги, старик, подбери, по ногам найдут.

Из люка показалась взлохмаченная голова и невыспавшееся обветренное лицо матроса. Он выбрался и стал готовить канат. Два другие матроса стали очищать от публики, от узлов сходни.

Пароход закричал густым басом, а вдали на повороте над обрывистым, красневшим глиной берегом показа-

лись строения, конусообразно поставленные жерди, склады леса и длинные скучные, без окон, амбары,— должно быть, хлебные. Виднелись широкие пыльные улицы, заросшие колючкой. На просторных дворах стояли деревянные курени под деревянными и соломенными крышами.

У берега чернели огромные пузатые рассевшиеся баржи, на которые, сгибаясь под пятипудовыми кулями, таскали крючники хлеб.

Публика навалилась у борта и смотрит на подплывающий берег, на пристань, а на ней столпились люди.

Пароход накренился, заскрипели, закачались баржи, кинули конец, который на берегу проворно захлестнули за столб, и ссунули на пристань сходни.

Пассажиры торопливо, толкаясь и спеша, сходили на пристань; другие с корзинами, чемоданами и узлами входили на пароход. Между последними юркнул босой, без шапки, арапчонок. В одной руке он держал клетку с зеленой хвостатой птицей, в другой на цепочке вел странного полосатого зверя, ростом с собаку, с пучком желтых волос на конце хвоста.

Пароход отвалил, и пристань, и баржи, и станица с хлебными амбарами —все побежало от парохода, зашумевшего колесами.

— Надо ль рыбы? — донеслось с воды из-за борта.

Несколько человек наклонилось с парохода: на сверкавшей ослепительным солнцем воде дюжий рыбак, откидываясь, гнал двумя веслами черную долбленку, заваленную мокрыми сетями. На корме стоял голый мальчишка и поднял руки, показывая блестевшую серебром рыбу.

— Сколько?

— Полтинник десяток.

— Кидай!

Мальчишка изо всех сил швырнул, и рыбы, блеснув, упали на палубу, прыгая и извиваясь, а мещанин в картузе завернул в бумагу полтинник и швырнул в лодку, но свертоček не долетел и плюхнулся в воду.

В ту же секунду мальчик кинулся вниз головой, мелькнув под водой, как большая желтая рыба. Рыбак перестал грести, и лодка стала отставать от парохода. Круги на воде разошлись, и лишь чернела неподвижная долбленка.

На палубе все затаили дыхание,— ожидание становилось тягостным. Шумели колеса, и кто-то сказал:

— Утонул.

— Тут быстрина.

Когда уже не ждали, около лодки расступилась вода, показалась мокрая с облипшими волосами голова. Мальчишка взобрался на лодку, раскрыл рот и, как птица, выронил оттуда белый сверточек.

Все облегченно вздохнули:

— Молодчага!

— Смелый тут народ.

— Пловцы...

На пароходе потянулась обычная жизнь, с которой все давно освоились и привыкли.

Прошел помощник, проверяя билеты. Матросы натянули тент, солнце палило, и к металлическим частям нельзя было прикоснуться. Кто за столиком обедал, кто в десятый раз принимался за чай.

Матросов не было видно, они пользовались каждой минутой, чтобы заснуть, так как ночью их будили на каждой стоянке, и нельзя было уснуть больше чем на полчаса, на час.

На мостике стоял штурвальный и, внимательно глядя на реку, ворочал колесом.

— Гляди, гляди, купец гонится!..

Все стали смотреть на берег. Над самым обрывом, подымая клубы пыли, скакала во весь опор лошадь, запряженная в бричку. Возница, стоя, хлестал лошадь кнутом, а толстый купец, приподымаясь на сиденье, толкал возницу ладонью. Пароход шел у самого берега, и видно было красное, с выпученными глазами, лицо купца, ожесточенное лицо возницы и покрытые пеной бока скачущей лошади.

Все с интересом следили за этой погоней.

— Видно, к отходу опоздал...

— Теперь жарит к перевозу. Вон он, перевоз, ежели поспеет, на лодке доставят на пароход.

И вдруг все заволновались:

— Стал!.. Стал!

— Канава!

— Мосток сломан... Теперь не поспеет...

Лошадь остановилась перед канавой, в которой лежал подмытый последними дождями небольшой мостик.

Купец соскочил с брички, бросил зонтик и что есть духу полетел к перевозу.

Все навалились к одному борту, жадно следя за каждым движением купца. С парохода неслись поощряющие крики:

— Катай наперерез!.. Наперерез!..

— К берегу, к берегу жмись!..

Купец, казалось, ничего не слышал, а, глядя прямо перед собой, с раздувшейся шеей и раскрытым ртом, несся, как буря.

С парохода опять закричали:

— Сигай под яр!.. Под яр сигай к лодкам!..

Купец прыгнул под обрыв и долго катился по песку, как сорвавшаяся бочка. Потом вскочил, весь желтый от песка, и перевалился животом в сразу осевшую лодку.

Колеса перестали работать, замолчала металлически дышавшая труба, и пароход почти остановился. Подъехала лодка, и задохшегося купца матросы под руки выволокли наверх.

Долго он сидел, отирая лившийся пот и дико поводя налитыми глазами. Потом отдышался и сказал:

— Не люблю на других пароходах. Привык на «Есауле», пятнадцатый год езжу на нем.

Публика разошлась, располагаясь в тени под тентом. День разгорелся, и на знойно сверкавшую воду больно было смотреть. Утомительно шумели колеса, без устали дышала труба, и с носу так же монотонно доносилось:

— Пя-ать... пя-ать... четыре... пя-ать!..

Арапчонок с клеткой и полосатым зверем забрался между тюками и стал яростно натирать черные блестящие щеки такими же черными ладонями.

А из-за тюка хитро выглянула взмокшая потная голова мужичка с лохматыми бровями.

— Ты чего тут делаешь?

Арапчонок вскочил, испуганно вращая белками, а зверь замотал хвостом.

— Мая — персюк, твая — урус... Мая не трогал, твая не трогал...—и униженно закивал головой, причмокивая.

— Ну, ну, ну,— добродушно похлопал его мужичок,— ну, ну, не бойся, у каждого брюхо просит исть. Покажь нам покус.

Арапчонок весело защелкал языком:

— Ай, карош!.. Ай, спасиби!..

Взял клетку, дернул за цепочку чесавшегося задней лапой зверя, который побежал за ним вприпрыжку, поджав одну ногу, и вышел на середину палубы. Раскатал маленький сверточек, в котором был коврик и бубен. Коврик разостлал на палубе, открыл клетку и отвязал у зверя цепочку. Сам стал на коврик, вытянулся, поднял бубен над головой и ударил в него. Бубен гукнул и зазвенел, а арапчонок завертелся по коврику вьюном.

— Пожалте, каспада, пасматреть зверей, птиц и арапов.

Публика, ленивая и сонная от жары и скуки, обрадованно столпилась кругом. Отдохнувший купец расположился на скамье, расстегнув ворот. Лавочница села к столику, обмахиваясь платочком. Присел и монашек. Подошел, лукаво ухмыляясь, и мужичок, с лохматыми бровями, и старый казак в выгоревшей фуражке. И хотя жарко было и душно, наваливались друг на друга, вытягивали шеи, чтоб лучше рассмотреть.

Мальчишка обвел всех белками глаз, снова ударил в бубен.

— Алло!

Полосатый зверь поднялся на задние лапы и стал танцевать. Зеленая птица, кланяясь, тоже стала танцевать, а арапчонок гибко прыгнул на руки, вскинул кверху ноги и забегал по палубе в кругу зрителей на руках.

— Ловко!..

— Ай да мастер!..

— Потому арап, у них так что кожа да жилы, костей нету.

— А кожа черная,— дюже солнце у них, одно слово — Африка.

Арапчонок два раза перевернулся в воздухе, стал на ноги и сделал публике ручкой.

— Браво!.. Молодчага!..

— Зверь-то до чего полосатый... И окотится же такое!..

Кое-кто из чистой публики гуляет наверху на капитанском мостике; подошли к перилам и, наклонившись, стали глядеть вниз на представление.

Арапчонок вытянулся, скрестил на груди руки.

— Алло!..

Полосатый зверь прыгнул ему на плечи, а зеленая птица взлетела зверю на голову. Так они подержались с минуту, потом птица слетела и зверь соскочил, а арапчонок опять сделал ручкой и сказал, блеснув белыми, как кипень, зубами:

— Живой пирамид. Теперь, каспада, объясню, какой такой дикий зверь у миня на цепе. Эта зверь — страшный американский зверь, по-нашему лев. Он живет на деревах, оттуда прядает на людей и пополам, пополам перегрызает человека одним духом...

— Ах, шут те возьми! Чего ж ты его привел на пароход? А как вспомнит про Америку, да зачнет тут полосовать народ.

— Хоть бы намордник надел, собак — и тех в намордниках водют.

— Это капитану надо обжаловать,— сердито сказал купец,— ежели кинется, тут от него никуда не скроешься.

Арапчонок завращал белками.

— Он, американский лев, он православный народ никак не кушает. Как православный, ходи под деревом хочь всю ночь, он нни-ни!..

— Что ж, он нюхом, что ль, православного разбирает?

— Нни-ни!..

— Как же он тебя, нехристя, до сих пор не сожрал?

— Нни-ни-ни!.. Я хозяин, я не велел...

— Стало быть, ручной, безопасно.

— Жорж,— спросила наверху дама в шляпе с белыми султанами, снисходительно глядя вниз,— неужели это — лев?

— Едва ли,— проговорил господин в золотых очках и в дорогой панаме,— в Америке не водятся львы того вида, который водится в Африке. Там — пума, как его называют, американский лев. Но тот, по-моему, значительно больше и строения другого,— пума принадлежит к семейству кошек. На мой взгляд, это скорее всего пятнистая гиена.

Внизу прислушивались.

— Слышь, господа сказывают — гиена.

— Это почище льва будет.

— Ты что же без намордника такого водишь? Беспременно капитану надо доложить.

Арапчонок зачмокал и замотал головой.

— Зачем бояться? Не бойся, ничего не будет. Алло!

Пятнистая гиена поднялась на задние лапки и стала опять танцевать, умильно качая головой. Зеленая птица взлетела ей на голову, крыльями соблюдая равновесие. Публика успокоилась.

— А это райская птица с острова Цейлона,— сказал арапчонок, достал из кармана рваный картуз и стал обходить публику. Стали бросать медяки. Сверху, сверкая, упали две-три серебряные монетки. Купец достал большой замазанный кошелек, похожий на кожаный мешок, долго рылся, нашел новую копеечку, потом положил и разыскал просверленную. Лавочница дала старый пятак, накрошила булки и кинула на палубу.

Райская птица слетела и жадно стала клевать; гиена тоже бросилась, хватая куски, и вдруг залаяла на птицу, а птица сердито и торопливо заговорила по-куриному: «Ко-ко-ко!..»

Все захохотали.

— Кобель!..

— А энто кочет!..

— Вот те гиена!..

Арапчонок испуганно схватил своих зверей. Кто-то поймал его за ворот.

— Братцы, да он сам-то белый!..

Купец побагровел.

— Это что ж такое?.. Это — подлог, все одно, что фальшивый вексель... Я те за настоящего арапа принимаю, а ты — рязанец. Допустимо?.. За это, брат, арестантские роты. Давай назад деньги.

— Мой ему морду...

Кто-то набрал в пригоршню воды и, как ни увертывался мальчишка, размазал ему по лицу,— лицо, лоб, нос стали полосатые от потеков.

— Видал! Вот она, арапия вся, с него и слезла...

— Я еще давеча промеж тюков видал, как он начищал морду ваксой, яро начищал...— смеялся мужичок с лохматыми бровями,— да думаю: «Пущай покормится, брюхо и у него исть просит».

— Веди к капитану.

Мальчишка захныкал, размазывая черные полосы по лицу.

— Дяденька, пустите, не буду... Очень кушать хочется... Я бездомный... Так никто не подает...

— А-а, да шут с ним, пущай...— добродушно послышалось кругом,— морду-то смой, кабы капитан не увидал. Ты откеда же сам?

Через пять минут мальчишка, отмытый, со смеющимися глазами и плутоватым вздернутым носиком, сидел за столиком, тянул чай и рассказывал:

— Маменька меня отдали в обучение в цирк. Папаша маляр был, да помер. А нас шестеро. Мамаша кашляла да кашляла и говорит: «Помру, куда ты денешься?» И отдала в цирк. Пока мамаша жива была, и так и сяк, все, бывало, зайдет, кренделек принесет. А как померла, очень трудно стало.

— Выламывали?

— Сильно выламывали и били, очень сильно били. Очень хорошо гимнастику все там делают. Ну, и научился. Хозяин-то был, по ярманкам ездили, хорошо дела шли, а помер, хозяйка не умеет, гимнасты ее не слушают, звери запаршивели — кормить совсем перестала, отощал вот до чего, на трапецию не подымусь.

— А пса с кочетом с цирка потянул?

— Хозяйка подарила,— засмеялся мальчик,— да там, почитай, все разбежались, не кормит, ну, кто чего захватил и увел.

— Где ж ты представляешь?

— По станицам, по хуторам, по ярманкам хожу. Где хорошо подадут, а где за вихры оттаскают. Была еще крыса, да собаки разорвали.

Палубные пассажиры понемногу успокоились и расположились по своим местам. А наверху дама с белыми султанами говорила негодующе:

— И как это позволяют так обманывать простой народ! Да и ты, Жорж, хорош,— «гиена». Хороша гиена. Я сразу заметила, что у нее собачья морда.

— Ну, да ведь я пошутил,— конечно, собака, обыкновенная дворняга, это ж ясно.

Шумели колеса, дышала труба. Бежали берега, вербы, отмели, дальние горы.

От времени до времени вдали по берегу показывались строения. Пароход кричал густым медным голосом. Мужичок с лохматыми бровями прятался между тюками, из люка вылезали неотоспавшиеся матросы, готови-

ли чалки, сходни. Пароход приставал, спешили пассажиры с парохода и на пароход, потом грузили и выгружали товар, потом сдергивали чалки, сдвигали на палубу сходни, и опять дышала труба, шумели колеса, и лениво и праздно тянулось время у пассажиров,— все, как вчера, как неделю, как месяц назад, как началось с первого весеннего рейса.

Уже ленивое покрасневшее вечернее солнце косо протянуло через реку синие тени от верб. Мягкой прохладой веяло с реки. Пассажиры оживились. Из кают все выбрались наверх. Официанты в белых рубахах торопливо разносили пузатые чайники по столикам, за которыми сидела публика.

Из машинного отделения поднялся бледный парень с испитым, в саже, лицом и ввалившейся грудью. Он огляделся кругом, придерживаясь за поручни, и вздохнул, глубоко забирая воздух.

— Ну, и хорошо, благодать!..

— Да, не то, что у вас в кочегарке,— бросил пробегавший мимо поваренок в белом колпаке.

Да вдруг приостановился.

— А играть нонче будешь?

— Кабы капитан не накрыл.

— Не услышит, с самого с обеда у себя в каюте в карты дуется. Приходи на нос, оттуда не слышно будет.

— Да уж ладно, чайку попью.

Мальчишка пустился в кухню, кочегар пошел к матросам чай пить.

Потемнело небо, стало бархатным и ушло ввысь. Бесчисленные звезды засеяли его, и все до одной задрожали в темной глубине реки. Берега помутнели, стали неясными, точно отодвинулись, и река, тоже смутная и неясная, стала казаться необъятной.

Только на пароходе зазолотились электрические огни, да из окон кают легли светлые полосы, играя и трепеща на невидимо бегущей воде. Шумели колеса, дышала труба, и в этом шуме и металлическом дыхании всплывали то плач ребенка, то спокойный говор, то дробный стук ножей на кухне. Пароход нес ту же жизнь, что и днем, но теперь она точно стянулась, съежилась на этом небольшом освещенном пространстве, а кругом,— пустыня и молчание.

Пришел кочегар с балалайкой под мышкой, поглядел на тюки, на пассажиров, расположившихся везде на палубе, на бархатную ночь, унизанную и вверху и внизу играющими звездами, присел в углу около якоря, прислонился спиной к борту, прислушался к шумящей на носу пене и тронул заговорившие струны.

Некоторые пассажиры слышали его прежде, подошли и присели на скамьях.

Струны зазвучали больно и сладко. Оттого ли, что хорошо умел играть кочегар, или этот непрерывный водяной шум, монотонный и равнодушный, очищал инструмент, только звучала печальная мелодия, как будто пел сдержанный далекий и неведомый голос.

Все слушали, глядя в темноту, полную звезд.

И в этом ровном шуме, таком же беспредельном, как и ночь, рядом с голосом инструмента родился человеческий голос. И они, обвивая друг друга, плыли над палубой, над слушающими, в пустыню и молчание, бесконечно простиравшиеся кругом.

Кочегар пел со странной, забытой улыбкой на лице:

Спо-сы-ла-ли оте-ец, ма-ать Ва-а-нюш-ку-у,
Спо-о-сы-ла-ли да ро-о-жь жа-а-ть...

Такие простые знакомые слова, но отчего так больно, сладко-больно сердцу? Все слушали, и каждому свое говорила песня: горе ли, радость ли прожитой жизни, все всплывало смутным, щемящим воспоминанием.

И наверху на рубке все больше и больше набиралось публики.

Вдруг, нарушая таинственность ночи, пустынность и неясную задумчивость песни, раздался знакомый голос:

— Яшенька, сынок, родной мой, ай ты, ай нет!.. Слухаю, поелухаю, разливается соловьем, будто мой Яшенька,— говорил срывающимся от волнения голосом мужичок с лохматыми бровями.

— Папаша!

Они крепко обнялись и поцеловались накрест три раза.

— Откуда вы? Каким манером? Вот чудно!..

— Тебя, сынок, искал. Затосковались с матерью, ни от тебя письма, ни от тебя привета вот уж, почитай, год. Мать-то глаза проплакала. Вот поехал, а тебя в

Ростове-то и след простыл,— говорят, был, да весь вышел.

— А это таким манером, папаша: в мастерских хорошо получал, а потом заминка вышла — рассчитали. Одиннадцать месяцев без дела болтался, ну, и не писал,— что голые-то письма слать! Прямо сказать, без копейки сидел. Теперь сюда попал кочегаром.

— Чижало?

— Да как вам сказать, не то чтоб тяжело, но тяжко. Вахта шесть часов, пока отдежуришь, весь в поте своем изваришься, просто не отдохнешь, вылезешь, аж в глазах мутно, несносимая жара от топки. Только и моего, что вылезешь да побренчишь на прохладе. Отдохнешь три часа и опять туда, в пекло.

— Ну, ну, сынок, возграй, возграй, пущай послухают, которые проезжающие, какой такой Яков из деревни Семипалихи.

А в публике слышался добродушный говор:

— Сына нашел.

— Пускай порадуется старик.

— Сын — ничего, помнит родителей.

— А я влез в тюки,— продолжал радостно мужичок,— без билета ведь еду-то, да и засни. И приснился ты мне, Яша, и будто на струменте играешь. Слухал, слухал, не разберу, не то во сне это, не то наяву, и колеса шумят, сон нагоняют, да как вдарил кто-то по башке: сынок! аж вскочил как оглашенный.

Сын опять тронул жалобно и нежно заговорившие струны.

— Капитан кабы не накрыл, не любит.

Тихонько вполголоса запел, и опять набежала и осталась позабытая улыбка на лице. И струны выговаривали своими неугадываемыми словами ту же печаль, только держалось что-то мягкое, ласковое в этом водяном шуме, в этой звездной ночи.

Палубные сгрудились, и впереди всех сидел, поджав накрест по-турецки ноги, поваренок в белом колпаке. Наверху тоже сидели и слушали господа.

Кто-то сказал:

— Паленым пахнет.

— Не сронил ли с папиросы огоньку кто? Ан пола али рукав и тлеет.

— Чудно! Здорово несет.

— Может, из кухни.

Вдруг пронесся шепот:

— Капитан!

Поваренок вскочил и исчез. Яков замолчал, опустил балалайку, растерянно оглядываясь все с той же забытой улыбкой.

Тяжело ступая, подходил коренастый, в туго надвинутой белой фуражке, хмурый человек, и лицо у него было темной бронзы.

Он подошел, постоял, глубоко засунув в карманы руки.

— Что же замолчал?

И, слегка, повернувшись в сторону чистой публики, сказал:

— Артист! Хорошо играет.

— Да, играет славно, художник...

— Ну, продолжай, продолжай,— сказал капитан, странно играя мускулами щек.

Яков с удивлением поглядел на бронзовое лицо капитана, на публику,— никогда не было такого. Потом тряхнул головой, и снова зазвучала балалайка тонким трепещущим звоном.

Капитан подошел совсем близко, нагнулся и сказал сквозь зубы злобно:

— Веселей!..

Яков с удивлением опять взглянул на него и смертельно побледнел: отчетливо и терпко слышался запах гари. Яков метнулся глазами,— смутная, темная береговая черта, маячившая сбоку, теперь тянулась впереди носа,— пароход шел к берегу, а тут никогда не приставали. Яков понял,— ничего не может быть на пароходе смертельнее паники.

Бледный, с проступившим на лбу потом, Яков ударил по струнам. Балалайка зазвенела, точно завертелась причудливо закрутившимися звуками. С присвистом и уханьем грянула плясовая.

Выскочил белый арапчонок, подмывающе ударил в бубен и заюлил, и завертелся волчком.

Все еще плотней сгрудились, вытягивая друг из-за друга шеи.

— Ловко!

— Ай да молодцы!..

Наверху захлопали в ладоши.

Капитан одобрительно кивнул головой и пошел назад, такой же приземистый, хмурый, не вынимая рук из карманов. Поднялся по трапу в рубку и прошептал злобно:

— Куда правишь!

— К этому берегу ближе...— прерывающимся от волнения шепотом ответил штурвальный.

— Дуррак!.. Тут крутояр... никто не выскочит... поворачивай!..

Пароход, шумя, стал забирать и, сделав в темноте круг, пошел полным ходом к отмелям другого берега. А с палубы неслись звуки бубна и балалайки.

Капитан, так же не спеша, спустился к трюму и, низко нагнувшись, спросил:

— Что?

Оттуда вместе с подымающимся едким дымом донеслись прерывающиеся, торопливые голоса:

— Пенька горит... две кипы...

— До бочек с бензином далеко?

— Бензин в углу.

— Руби стенку, тащи шланги, пускай пар.

— Есть!

И сейчас же донеслись глухие удары топора, дерево с треском подавалось. Потом из трюма сразу показалось несколько матросов, мокрых, в саже, с пылающими лицами, и сейчас же за ними вместе с свистящим шипением хлынул горячий пар.

С палубы все неслись разудалые плясовые мотивы.

Пароход мягко ткнулся в песок, и в темноте водворилась странная тишина,— машину остановили.

— Что такое? Что такое?..— испуганно заговорили пассажиры, покачнувшись от толчка.

— Потушили,— доложили капитану,— одна кипа выгорела.

Кто-то отчаянным голосом закричал:

— Пожа-ар!

Поднялась невообразимая суматоха,— все вдруг услышали запах гари. Человека три с криком: «Спасайся!» — кинулись за борт, и снизу неслись их отчаянные вопли:

— По-моги-ите!.. Потопа-аем!!

Матросы бегали, успокаивая публику.

— Спохватились под шапочный разбор... Ничего нету, вам говорят.

И, наклонившись через борт, светя фонарями, спускали лесенки.

— Чего орете-то!.. И захочешь утонуть, не утонешь, там у вас воды-то по щиколотку. Лезьте, ироды, назад... возиться тут с вами.

Понемногу все успокоились. Капитан подошел к Якову, подал серебряный целковый и сказал:

— Молодец... только чтоб не слыхал больше твоей трындыкалки,— и пошел такой же хмурый в рубку.

Яков постоял, глядя ему вслед.

— Своих ему жалко, жену да дочку.

А отец Якова ко всем все приставал:

— Вот она, деревня Семипалиха, что значит — один человек всех вызволил.

Простояли на мели до утра.

Утром снялись, и опять шумели колеса, бежали, то подходили, то уходили горы, и тянулась все та же пароходная жизнь.

В БУРЮ

I

— Ай-яй... ай-яй-яй!..— разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке.— Де-едко... не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими, лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой,— одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте,

перекрещивающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все время молча сидевший на корме, проговорил:

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбегавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками,— это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот саженей. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрач-

ную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и водя из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и наконец на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождал из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жаром, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузото наел. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь...— И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом — и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синеет море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная,

покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починяя сети, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно-бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, и жена Агафона, стоя над ним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и наконец решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаянием, по железной дороге удавалось на некоторых станциях упросить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с

дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано — часа в три утра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руля или не вовремя подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медлительно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, кобчики; по курганам угрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весною и осенью

тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде весло опустить,— все сети.

— Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места,— сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась — для пропитания людей.

— А рыба знает, что ее ловят?

— Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривает,— человеку не дадено знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается, знает, что они уж не выдадут, плавает возле и друг с дружкой рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жабрами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где и как происходит. Рассказывают они и про него, про

Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху, и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было *там*, в глубине, он не думал. *Там* была просто вода, и *оттуда* сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху. Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

— Господь все премудро сотворил,— продолжает дед Агафон.— Скажем, сазан — рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокуши тянуть к берегу, всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут,— а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что кругом сети, перво-наперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая — прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать — зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко подымают над водой,— тогда видит — плохо дело, вот сейчас выволокут, он воткнет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша снизу хоть и чижолая,— камни понизу понавязаны, все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом — и был таков.

— Он, значит, сазан-то, умный?

— Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну, рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови, говорит:

— Ходит рыба в море, все закоулочки выходит,— пропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит али своим братом закусит; а в реках

ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речной. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты разные водятся. Из лесу подмывает корни, ветки,— одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежние времена и ходила в реки, особливо в Дон, кормиться, и шла она, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут ее вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить — вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон-повеление, чтобы по всея Расеи во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету — знает, ловют ее там пять дней. А в субботу вечером гужом гудит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся,— которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети,— это которая запоздалая. Вот оно как... Человек с хитростью, а рыба вдвое...

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

— Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает... Потому сила, сила этих рыбаков развелось — куда глазами достанешь, всё сети...

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял

там до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали по той стороне моря.

— Дома там большущие да высокие,— говорит бабушка, гладя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз,— а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

— Куды — рыбу! Хату подместь и то гнушаются.

— Я, баунька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высо-окие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях... Баунька, а я на аглицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

— Баунька, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

— Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

— Баунька, дед сказывает, матка моя замерзла возле нашей хаты.

— Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли,— зги не видать было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке,— призрела тебя, малую сиротку, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы...

— Дерется дед, баунька, уж так-то больно бьет. Я, баунька, ежели будет бить, так убегу от него.

— Тебе же на пользу, дурачок,— побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недосягаемой глубине синеет опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полураскрыт, крупные капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо,— со злобой думал он,— брюхатый черт, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали другое направление.

«Что я *ему* сын, что ли, али крепостной, что *он* лупит меня, чем ни попадя? Ишь огрел, ажно рубаху просек. Возьму да убегу... Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даромто я не уйду: проверну дирю в лодке да заткну маленечко тряпкой, а сам в степь, ляжу на кургане и буду смотреть. Вот отъедет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Станет потопать и закричит: «Андрейка, потопаю!..» А я ему закричу: «Ага!.. а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху наскрозь просек...»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая Андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правилам, сосредоточенно. Старик не любит разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос:

— Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним сделалось? Осталось еще половину сетей досмотреть,— видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

— Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной,— нечем было дышать, и все так же на недосягаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

— Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем неслось белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, теснясь, густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокой-

ство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскачать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, расходившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми, подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом, без перерыва, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребни то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте, Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, заброшенную лодку. Она то совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелее взбиралась наверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как налетавший шторм клал лодку набок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

— Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

— Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы... потопаем... подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка пошла легче... Берег все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескать через борт пенистые верхушки. Но по-прежнему с шумом шли водяные горы, летела пена и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла набок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду.

— Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота.

— На вербу... на вербу держи!

Старик крикнул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он спасен.

Зажав под мышкой руль, накрутив на руку туго тянувшийся шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андрейка закричал пронзительным детским голосом:

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскать. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, толпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь голова...

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

За далеким лугом только что проснулась узенькая красная полоска зари. В синеватом сумраке все больше светлела широкая река.

У самого берега подымалась гора; по горе лепились домики; наверху белела церковь. Под горой у берега чернели паром и лодки. А на берегу, возле парома, стоял маленький дощатый домик.

В комнате, на полу, на полсти спал паромщик Кирилл, бородатый черный мужик, а в углу на соломе свернулся калачиком мальчик лет десяти, Вася, подручный Кирилла, придвинув к подбородку колени.

По извилистой пыльной дороге с горы спускались две подводы, и лошади упирались, сдерживая накатывавшиеся повозки. На подводах были высоко наставлены большие решетчатые ящики, а в них тесно сидели гуси, куры, утки, покачивались, беспокойно вертели головами, поклевывали друг друга и на толчках испуганно вскрикивали и начинали беспорядочный птичий разговор:

«Куда нас везут?.. Ой, как тесно!.. Ну, не клюй меня. Ах, сколько воды, вот бы поплавать, поплескаться, вдоволь напиться... Как бы это выскочить отсюда...» — и просовывали головы сквозь решетки.

Но решетки были узкие и выскочить нельзя.

С передней подводы соскочил высокий парень, заправил вожжи под сиденье, крикнул на лошадей, которые, прижав уши, стали было кусаться: «Но-о, балуй!..» и пошел к домику, похлопывая кнутом по пыльным сапогам.

В домике было тихо.

— Эй, кто там!.. Паромщик, переправа! — и постучал кнутовищем в темное оконце.

Никто не откликнулся.

С другой подводы прошамкал старик:

— Спят, видно, не слышат. Грохни-ка в дверь.

Парень подошел к двери и загремел кольцом.

— Слышь, что ль! Давай переправу.

Кирилл поднял черную лохматую голову:

— Эй, Васька, слышь, ступай, перевези,— и лег.

Мальчик вскочил, потер глаза, потянулся и опять упал на солому — мучительно хотелось спать.

— Ты чего же вылеживаешься? Ждут,— сказал Кирилл, не поднимая головы.

Мальчик опять вскочил, поддернул штанишки, снял со стены ключ и без шапки, босиком вышел.

За лугом сквозь легкие тучки краснелась заря, отражаясь в реке. Над водой курился легкий пар.

Мальчика передернуло от утренней свежести, и он побежал к парому, шлепая по мокрому песку босыми ногами; нагнулся и стал ключом отмыкать цепь, которою на ночь примыкался паром.

Сзади захрустел мокрый песок под колесами и копытами — подводы подъехали к парому.

— Кто же паром погонит?

Мальчик поднял голову: над ним стоял длинный, как жердь, парень и смотрел одним глазом, другой был затянут бельмом, а в ухе блестела серьга. Подводы стояли одна за другой.

— Я.

— Куда тебе... От земли не видать, что ж старшой не идет?

— Я могу, гоняю, а вы, дяденька, поможете...

— То-то, поможете.

Парень сердито дернул лошадей, и они, топоча по доскам и косясь на воду, ввезли подводу на паром. Другой подводчик ввел вторую пару лошадей. Вася глянул на него испуганно и не мог оторваться: у него не закрывались губы, старческий пустой рот чернел, и сбоку из-под клочковатых седых усов выглядывал желтый клык.

«Это — разбойники!..» — подумал мальчик и стал торопливо отвязывать от столба конец веревки.

Парень взял шест и, напружившись, оттолкнул паром от берега. Мальчик ухватился за канат, уходивший в воду, и стал тянуть. Стали тянуть парень и старик. Паром повернулся носом и быстро пошел наискось к другому берегу, оставляя за собой на светлой воде убегающий след.

«Куда они птицу везут? — думал мальчик,— на ярманку рано еще; в город — так им надо на гору ехать. Непременно разбойники. В прошлом годе так-то у дяди Силантия свиней ограбили, а на той стороне порезали. Ишь, никто так рано не уезжает. И серьга в ухе».

Мальчик искоса посмотрел на парня: он, не обращая внимания, перехватывал длинными, как у большой

обезьяны, руками канат, с которого бежала вода. Особенно страшного ничего в нем не было, но уверенность, что это — разбойники, почему-то еще больше засела.

А на старика, тоже перебиравшего мокрый канат, он и взглядывать боялся: когда взглядывал, на него смотрел провалившийся черный рот и большой желтый клык.

«Нет, разбойники...»

— Ну, ну, цыплок! Поворачивайся... В воду тебя спихнуть, что ли...— сказал парень и злобно блеснул белым мертвым глазом.

«Они меня спихнут в воду, чтоб не рассказывал, что видал, как с краденой птицей ехали».

И, нагнувшись, что есть силы стал тянуть канат, чтоб скорей добраться до берега. А берег уже вот он. Паром ткнулся в песок. Лошади от толчка переступили с ноги на ногу. Мальчик радостно прыгнул на песок и замотал конец веревки от парома за столб.

Парень свел своих лошадей, старик — своих; некоторое время они беззвучно шагали по песку рядом с лошадьми. А когда выехали на крепкую дорогу, сели и уехали.

Мальчик с облегчением посмотрел им вслед.

«Ну, наконец!.. А непременно разбойники. Ишь, как погнали лошадей».

А солнце уже взошло и радостно осветило реку, тот берег, дома, лепившиеся по обрыву, и белую церковь на горе. За речным поворотом чуть таял белый дымок — пароход шел.

— Эх, хорошо искупаться!

Это было великое искушение, так ласково мыла здесь светлая вода желтый чистый песочек и стреляли в разные стороны крохотные рыбки.

Мальчик вздохнул и стал отвязывать от столба веревку,— нельзя купаться, увидит Кирилл, высечет. С усилием отпихнул паром и стал тянуть за мокрый канат. Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. Если подъедет кто, Кирилл будет сердиться, что долго гнал паром. И мальчик изо всех сил тянет медленно скользящий канат.

А кругом рыбы весело и взапуски пускают по воде расходящиеся круги, как будто и они радовались и утру, и солнцу, и тишине, а некоторые выскакивали на секунду из воды, точно хотели посмотреть, что тут делается.

Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тащил канат, и пот капал с красного пылающего лица.

Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, насунув на глаза черные брови:

— Что долго так? Ишь, цельный час паром гнал. Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял.

Очень мальчику хотелось сказать Кириллу, что он сейчас перевозил разбойников, да побоялся, не сказал.

А уже с горы спускались подводы к перевозу. Начинался рабочий день. Кирилл пошел гонять паром и крикнул:

— Берись за конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба и, жуя, пошел к опрокинутой на берегу вверх дном лодке и, все кусая хлеб, стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и в днище лодки. Он делал это ловко, постукивая молотком по рукоятке долота,— за лето всему научился.

Еще ранней весной привела Васю мать из дальней деревни к Кириллу и сказала:

— Кирилл Иванович, вы уж не обидьте моего.

А Кирилл нахмурил брови:

— За хлеб возьму, а больше ничего.

Вдова всхлипнула:

— Хоть полтинник за лето положьте ему.

— За хлеб, и больше ничего. Какая с него польза? Мал. Только что лодку перегонит с одной стороны на другую. Хочешь, за прокорм оставляй, больше ничего не дам.

Так и остался мальчик.

Постукивает Вася молотком, а сам прислушивается к веселому гомону на берегу. Бабы вальками хлопают по мокрому белью. Покрикивают мужики, купая лошадей. Лошади плавают, храпят и вскидываются в воде на дыбы.

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на бегу стаскивают с себя рубашонки и кидаются в воду. Брызги, сверкая, летят столбом. Крик, визг, смех — весело. А Вася все постукивает да постукивает молотком по долоту, забивая в щели паклю,— к обеду надо кончить, а то рассердится Кирилл.

Прокричал пароход и, шлепая колесами, протащил мимо грузные баржи.

Солнце подымалось выше, и река становилась жаркой. Больно было смотреть от блеска. Воздух дрожит и колеблется. Ах, как хорошо бы теперь искупаться!..

К вечеру душно. Всюду стоит сухая горячая мгла, и от нее все неясно и смутно. Ласточки носятся над самой водой, чертя крылом.

Когда багровое солнце стало садиться за далекие вербы, Кирилл кликнул:

— Кончил?

— Кончил.

— Ишь ты, прокопался до вечера. Ну, я пойду по делам, а ты оставайся, да никуда не уходи. Теперь езды мало. А ежели с той стороны покричат парому, переезжай на ту сторону на лодке, возьми мужика, переправишь сюда, с ним отсюда и перегоните паром, а то один ты долго прокопаешься. Да теперь никто и не поедет.— Он поднял голову и посмотрел на мглистое небо, по которому бежали сизыми клочьями тучи.

— Дяденька, я боюсь, как бы ночью гроза не вдарила.

— Ну, боится! Нежно воспитанный. Ничего! Никто тебя не укусит!

Кирилл ушел. Мальчик остался один.

Быстро темнело. Пропал другой берег. Гора смутно чернела, и на ней белым, едва уловимым пятнышком обозначалась церковь.

На берегу водворилась тишина — ни шороха, ни вздоха, только чудилось, молчаливо мелькают над потемневшей водой ласточки.

Где-то глухо погромыхало, как будто большой телегой проехали по мосту, но моста не было. Опять тишина.

Мальчик пошел было в домик, да жутко одному в темноте. Он вышел и примостился на берегу под опрокинутой лодкой. Возле неподвижно чернел паром, а под ним черным блеском чуть проступала вода.

Опять кто-то проехал на телеге, глухо ворча. Мальчик весь съежился и подобрал под себя босые ноги.

Вдруг над лодкой зашумело, засвистело, сыпнуло в глаза песком и понеслось по невидимой реке. В бока парома заплескала мелкая торопливая волна, и беспокойно застучала в помост привязанная веревкой лодка.

На минутку снова стихло, только неуспокоенная волна билась о паром.

«Господи, чего же я тут буду делать!..» — подумал мальчик, вглядываясь в темноту и боясь в нее глядеть.

Ветер бешено загудел. Река зашумела сердито и грозно. Слышно, как отчаянно билась, стараясь оторваться с привязи, лодка. Мальчик боязливо прислушивался, не загремит ли гром, но гром больше не гремел, а лишь стоял гул ветра да шум реки.

Сквозь этот шум почудилось:

— Па-ро-му-у!..

Будто слабо донеслось с той стороны.

Мальчик вытянул шею и напряженно стал слушать. Нет, видно, показалось,— только ветер один визжал: вввж-ж...

Сверху на опрокинутое дно лодки упало несколько крупных капель, и вдруг дождь забарабанил громко и часто, да сейчас же перестал, и лишь ветер да река сердито ворчат в темноте.

И опять сквозь шум:

— Па-ро-му-у!..

Мальчик притиснулся к лодке:

«Нет, ни за что не поеду,— это мне попритчилось. Кто в этакую ночь поедет?..»

Молния широко осветила реку, и дальние вербы, и паром, и белую церковь на горе, а на другом берегу две подводы и двух человек — один высокий, другой низенький.

Молния потухла, и все потухло в кромешной темноте. Мальчик стал дрожать: ему вспомнилось, как утром перевозил двоих — один высокий, другой низенький.

Снова теперь явственно донеслось:

— Да-ва-ай па-ро-о-му-у!..

Мальчик, весь трясясь, закричал:

— Дяденька Кирилл, я боюсь!..

В ответ только свистел ветер да шумела река.

Опять донеслись с того берега крик и брань. Мальчик выбрался из-под лодки, и ветер разом затрепал его рубашонку.

Мальчик заплакал:

— Дяденька Кирилл будет меня би-ить!..

Он подошел к смутно черневшей бившейся у пристани лодке и, плача, дрожащими руками стал развязывать веревку.

— И куда я поеду... Темень, не видать... ы-ы-ы... дяденька Кирилл, куда мне ехать, страшно!..

А с того берега все доносилось:

— Парому-у!..

И ветер рвал лодку, а она, качаясь и прыгая, рвала из рук веревку.

Мальчик ухватился за качающийся борт и прыгнул. Лодка встала, как лошадь, на дыбы, и сразу пропали в темноте черневшие паром и берег,— течение и ветер подхватили и понесли крутившуюся лодку.

Мальчик изо всех сил работал веслами и перестал плакать — не до слез было. Пот градом лился с него. Лодку качало и швыряло, как игрушку. То одно, то другое весло глубоко зарывалось в невидимые волны или моталось в воздухе, не касаясь воды.

Неизвестно, куда несло, где был берег, пристань. Мальчик вдруг понял, что он бесполезно бьется среди этой темноты. Он оставил весла, кинулся на скамейку и горько зарыдал,— пусть несет, пусть опрокинет, и он утонет, все равно, ему не выбраться отсюда.

Лодку приподняло, накренило и с размаху ударило о берег раз и два, — а мальчика выкинуло. Он упал на мокрый песок, и волны, шипя, обдавали его. Он на четвереньках отполз от воды и поднялся. Где он? На каком берегу? Где пристань, домик, паром? Куда идти? Кругом ветер, свист и шум и плеск волн.

Мальчик сел на корточки,— с него бежала вода,— и опять стал плакать:

— Дя-день-ка-а Кирилл!..

Снова молча загорелась широкая синеватая молния и, как днем, все до последней песчинки озарило ярким трепещущим светом: паром, пристань, домик были в пятидесяти шагах, а взбудораженные волны реки с секунду оставались неподвижными. Потом все потухло, и темнота стала еще гуще.

Вася обрадованно пустился бежать и, когда добежал, услышал опять:

— Па-ро-о-ому-у!..

«Надо ехать... Лодку унесло... Поеду на пароме... Его не унесет, он на канате...»

Мальчик в темноте отвязал паром, с трудом оттолкнулся от берега шестом и схватился за канат, но сразу отдернул руку,— ветер и течение с страшной силой под-

хватили и понесли паром, и канат мелькал с такой быстротой, что нельзя было за него хвататься, иначе он мог сдернуть в воду.

Маленький паромщик ждал, что будет. По качке он почувствовал, что паром идет все тише и тише, наконец совсем остановился, и его стало бить на месте. Где он? Далеко ли берег,— нельзя было сказать.

Мальчик стал тянуть канат, но он натянулся, как струна, и дрожал, не сдвигаясь ни на вершок. А волны подымали и били паром. Казалось, вот-вот лопнет страшно натянувшийся канат, и волны подхватят и опрокинут паром.

Молчаливая молния снова озарила мохнатые изорванные тучи, туго натянувшийся углом над рекой канат и посреди реки паром, бившийся и старавшийся сорваться с каната.

Но что было всего страшнее, так это на другом берегу две подводы и два человека — один высокий, другой низенький. Низенький стоял возле лошадей, а высокий у самой воды. А когда молния молчаливо вспыхнула опять, на берегу стояли две подводы, лошади и низенький.

Мальчик в страхе стал изо всех сил тянуть паром назад к домику, но паром тяжело бился на вытянувшемся канате, не сдвигаясь с места.

Молчаливая молния чаще и чаще разгоняла тьму, и видно было, как стали летать воробьи.

«Воробьиная ночь...» — подумал с отчаянием мальчик.

В ту же секунду он увидел ухватившиеся за край парома две длинные голые, мокрые руки. Потом из-за края показалась голова с прилипшими волосами, с них бежала вода, и глянул белый мертвый глаз.

В смертельном ужасе мальчик закричал:

— Ма-а-ма!.. ма-аму-уня!.. пропадаю... ма-а-му-уня...

Он бросился к противоположному краю парома и, закрыв глаза, ринулся вниз. В ту же секунду длинные, мокрые костлявые руки обвились вокруг него и поволокли на паром. Мальчик рвался изо всех сил, только шепча: «Мама!.. мама!..» И вдруг почувствовал, веревка несколько раз обвилась вокруг его тела и прикрутила его к столбику, а над ним кто-то сердитым голосом бормотал. Мальчик потерял сознание.

Когда он очнулся, паром не качало. Стуча по настилу, съезжали на берег подводы. Возле, при свете загорающейся молнии, виднелся домик.

Кто-то поднял Васю и внес в комнату. Вздули огонь. Васю осторожно положили на солому. Старичок с незакрывавшимся ртом наклонился над ним и сказал добрым старческим голосом:

— Сомлел, сердяга. Ну, ничего, парень, вырастешь, крепче будешь.

И выставлявшийся изо рта желтый зуб у дедушки глядел добродушно и незлобиво.

А высокий закурил цигарку и глянул на мальчика добрым белым глазом:

— Ну, молодца, парень,— до середины реки догнал паром. А то бы мне пришлось плыть через всю реку.

Вася, чувствуя радостное облегчение, сказал:

— А я думал, дяденька, вы разбойники.

— Разве такие разбойники? — сказал длинный с бельмом.

— Мы, внучек, курей покупаем для заграницы,— всякую птицу, и гусей тоже, и уток.

— Это твой Кирилка разбойник,— сказал длинный, затягиваясь цигаркой,— сам пошел бражничать, а мальчонку заставил по ночам паром гонять.

А Вася ничего не слышал, но только одно чувствовал — какой он счастливый, и радостно улыбался.

ЗМЕИНАЯ ЛУЖА

I

Хата стояла на взгорье. Выше нее проходила ласковая песчаная дорога, по которой беззвучно катились колеса и так же беззвучно вязли лошадиные копыта. А еще выше темнели вишневые сады, подымаясь до самого гребня, а за гребнем потянулась степь без конца и краю, только не видно было ее снизу.

Под хатой желтел глинистый обрыв. И хата белым пятном, и обрыв желтизной отражались в ставу, который неподвижен, как стекло. Отражались в нем на той стороне погнувшиеся камыши, и лозняк, и старые прибреж-

ные раскоряченные вербы, на которых ветки, как пальцы, торчали во все стороны из макушки толстого дуплистого ствола.

За плотиной ровным, неизменным шумом шумела мельница, у которой видна только крыша. По колено в воде неподвижно часами стоял красный скот; возились утки, ныряя одной головой, и долго выбирали что-то в тине, пошлепывая плоскими носами. На берегу неподвижно и важно белели, стоя на одной ноге, гуси. Было тихо, спокойно и сонно, как будто кто-то важный отдыхал и не тревожили его мирного отдыха.

Возле хаты маленький, тесненький дворик, тоже засыпанный песком,— сверху с дороги сыпался. И чего только тут не понастроили: и маленькая конюшня под взлохмаченной соломенной крышей, и плетневый, обмазанный глиной сарайчик, и курятник, и закута для свиней. Тут же ходили куры, разрывая песок; хрюкали свиньи; лениво валялись врастяжку собаки, и, свесив губу, дремала, покачиваясь, возле дрог старая лошадь. Ступить негде было в тесноте, да некуда было дворику податься,— сверху дорога теснила, снизу обрыв прижимал.

В хате, видно, никого не было,— молча смотрела она сизыми окнами, только перед чернеющей щелью неприкрытой двери столбом толклись назойливые мухи.

За жердевыми, всегда открытыми воротами кто-то тихо поскрипывал колесами, так тихо, что собаки не шевельнулись. Вдруг услышали, с отчаянным лаем выскочили и сейчас же замолчали, виляя хвостами и умильно улыбаясь: в ворота въезжал, свесив вожжи, на бланкарде хозяин, с черной густой подстриженной бородой, острыми глазами, плечистый, в картузе.

Белолобая, белоногая рыжая лошадь осторожно, не цепляя, ввезла в ворота бланкарду и, раздувая ноздри, легонько заржала: дескать, тут я, овсеца бы! В дворике совсем стало негде повернуться.

— Эй, кто там? — сказал хозяин крепким басистым голосом, слезая.

В ответ только курица, квокча, что-то проговорила да старая лошадь чуть приоткрыла глаз, около которого вились надоедливо мухи, и опять задремала. Из-за плотины доносились звуки валька.

— Все разбежались...

Хозяин скинул кафтан и стал распрягать белолобого, а рыжая собака, с косматой мордой, с отяжелевшим от орепьев хвостом, все улыбалась, прижимая уши, как будто хотела сказать: «Ну, вот и приехали...» И терлась о ногу лошади, которая недовольно переступала.

Снизу с пруда кто-то по-детски свистнул, и собаки опрометью кинулись в ворота, а тонкий голосок прокричал:

— Атю-тю-тю-у-у!

Собаки с лаем погнали по дороге хрюкавших и поднявших уши свиней. Из-под обрыва показался мальчик лет восьми, с острыми, как у отца, глазами, в ситцевой, без пояса, рубашонке, на которой сплошь налипла черными комьями присохшая грязь. Он держал в согнутых руках странно выделанные черные фигурки.

— Куда все делись? — спросил отец, не глядя и продолжая распрягать.

— Матка за плотиной белье банит. Гашка пошла на мельницу зерна курам взять, а Иван в кузню — обтянуть колесо, а Нюрка с маткой. Батя, видал — я наделал? Во — Белоногой, во — Барбос, а это Петька наш, а это Кабанец...

Мальчик торопливо сел возле отца на песок и стал расставлять фигурки, вылепленные из грязи. Отец, топча песок большими, пахнущими дегтем сапогами, продолжал распрягать, не обращая внимания на мальчика.

— Это — Белоногой. Вишь, ноги ему белоглинкой натер, а бока красноглинкой, чтоб рыжий стал, а заместо глаз по просяному зернышку вставил, а хвост из метелки с камыша... А Петьке сизое перо вставил... Батя, отчего у петухов сизые перья в хвосте да у селезней еще? А это наш Барбос. Видал, ему орепьев в хвост настромил. Он завсегда в орепьях. А хвост из овчинки пришил. Бать, отчего с собак овчину не дерут на тулупы? А теперича я сделаю нашу хату и двор и все, что в нем. У тебя хозяйство и у меня хозяйство. Буду, как ты, извозничать. А платить мне будут? Сколько? На вокзал — сорок; мешок муки отвезть — тридцать копеек. Две лошади заведу, на одной — ездить, а другая — отдыхать. Батя...

— Чего ты тут под ногами елозишь? Это что — рубаху всю опакостил в грязь? Ишь чем займается... Ты

бы дело делал... Вон Белоногому давно овса пора дать. Ах, ты свинячья требуха!..

И стал топтать большими, толстыми, как глыбы, сапогами расставленные фигурки, а мальчика крепко и больно схватил за ухо. Мальчик отогнул от боли голову, увидел, как под сапогами все его хозяйство превратилось в кусочки засохшей грязи, побледнел, как стена, весь затрясся, куснул отца за корявую мозолистую руку, вырвал сразу опухшее ухо и так пронзительно завизжал, что куры беспокойно заквокали, старая лошадь опять приоткрыла глаз и подергала губой, а собаки повиляли хвостами, потом кинулся бежать, захлебываясь от злобы и слез.

— Гаврилка, куды т-ты?! Задеру как сидорову козу!..

Но мальчишка летел без оглядки, спустился по заворачивавшей к плотине дороге, пролетел, продолжая визжать, по плотине и, нагнув голову, ринулся в заросли. Гибкие лозины хлестали его по лицу, размытые весенней водой корневища рвали босые ноги, а он все бежал, перепрыгивая, пробираясь сквозь попадавшиеся камыши и осоку, которые резали лицо и руки. Иногда попадал в колдобины, наполненные водой и грязью. Наконец, задыхаясь, остановился.

Сзади, из-за плотины, сквозь шум мельницы доносились удары валька. Сквозь лозняк и камыш краснел на той стороне глинистый обрыв, виднелся дворик, две распряженные лошади, дроги, бланкарда, а когда опустил глаза, увидал все это в ставу: и обрыв, и дворик, и лошадей, и белую хату, и все было такое отчетливое, яркое, с мельчайшими подробностями, что он не знал, где настоящее действительное, не то наверху, не то внизу. Может быть, снизу тоже настоящее живое. А то отчего же эта опрокинутая хатка такая белая, белая, как кипень, как будто матка только что побелила ее мелом?

Гаврилка долго стоял, смотрел, вытянув шею; вода пропадала из глаз, а вместо нее голубело небо, белели гуси, стоял по колено в воде красный скот,— только все вверх ногами. Но когда вспугнутые утки, покрякивая, проплывали, по всему ставу побежали прозрачные, как стекло, морщины, и опрокинутое небо, и обрыв, и хатка заколебались и помутнели.

Тогда Гаврилка опять вспомнил, как его обидели, заскулил, схватил засохший ком грязи и пустил в свой

двор. Ком долетел только до середины става, упал, и по воде побежали торопливые круги. А Гаврилка, утирая кулаками слезы, размазывая грязь по лицу и подсмаркивая, пошел прочь от става.

Среди зарослей лозняка и камышей попадались проталины с лужицами, а в них такая теплая вода, точно кто пролил еще неостывший кипяток. Гаврилка с наслаждением влез босыми ногами и стал болтаться в горячей жидкой грязи и воде. Да вдруг вспомнил, что тут змеиное место,— в прошлом году два теленка сдохло, змеи укусили.

Гаврилка разом прыгнул на сухое место и встал неподвижно, вытянувшись на цыпочках, с хворостиной в руке, карауля, чтобы не ужалила за босые ноги.

Когда муть улеглась, стало видно в посветлевшей воде, как торопливо по краям извилисто плавали маленькие змееныши, испуганно выбираясь на скользкий мокрый берег,— много их тут выводилось. А траву кто-то шевелил убегающими зигзагами.

Гаврилка остро вглядывался и вдруг увидел серую большую змею со стрельчатой головой и черной извилистой полосой на спине. Она осторожно пробиралась из камышей и шевелила траву возле лужи.

Гаврилка хватил ее хворостиной. Змея мгновенно свернулась спиралью и закачала головой, блестя раздраженными глазами, раскрыв пасть, шипя и показывая раздвоенный язычок. Гаврилка стал беспощадно хлестать ее, отскакивая при малейшем ее движении, чтоб оберечь ноги. Змея, все так же шипя и показывая язычок, быстро поползла в траву. В последний момент Гаврилка нагнулся, неуловимым движением, с похолодевшим от страха затылком схватил исчезавшую в траве змею за хвост, выдернул, как веревку, и быстро завертел в воздухе, выпучив глаза, отодвигая назад голову и оскалив зубы.

Змея делала отчаянные усилия свернуться и схватить его за палец, но от быстрого движения летала вокруг руки, вытянувшись, как палка. Все так же вертя, Гаврилка что есть силы хлопнул ею о землю, и она осталась неподвижной. Потом разбил ей голову сухими комьями. Сел на корточки и стал разглядывать, вороша хворостинкой.

— Замучила, проклятая. Ага, теперь не будешь!

Он долго рассматривал ее спину, по которой кто-то вычертил странный черный узор.

— Как нарисовано! Вот-то чудно!..

Потом стал опять ловить. Убил одну большую и штук пять маленьких. Этих он просто засекал хворостиной.

Пока возился, солнце перевалило за вербы и дробилось золотом лучей сквозь ветви. Мельница по-прежнему шумела. На той стороне пригнали стадо; слышно было щелканье бича, шум копыт в воде, мычание.

— Гаврилка-а!..— донеслось с того берега.— Гаврилка-а, иди вечеря-ать!..

«Ага, что!.. Покричи-ка, а вот не пойду...— думал Гаврилка, стоя около убитых змей,— есть дюже хочется».

Прислушался — никак коровы идут с луга. Гаврилка осторожно выбрался из зарослей, похлопывая хворостиной по траве, чтоб не наступить на змею. Коровы важно шли домой друг за дружкой, медленно прожевывая жвачку.

— Буренка! — радостно позвал Гаврилка.

Черная с белой отметиной корова остановилась, повернула голову на знакомый голос, глянула выпуклыми блестящими глазами, отвернулась и опять важно пошла, медленно жуя жвачку.

— Буренушка, дай молочка, есть хочется, кожа лопается.

Он подбежал к корове и придержал за рог. Та остановилась, не оборачиваясь и жуя. Гаврилка припал губами к переполненному вымени и стал сосать молоко, которое бежало у него по щеке и подбородку. Корова стояла смирно, потом переступила ногой, отчего Гаврилка полетел на траву, и пошла.

Гаврилка встал, вытер губы.

— Ничего, Буренушка, спасибо, вот хорошо... повечерял.

Он опять пробрался к ставу, сел под ветлой и стал смотреть. Стадо угнали. Ушли и гуси, только утки продолжали торопливо шлепать широкими носами в тине. Да хата висела, опрокинувшись в воде, сначала белая, потом стала розоветь все больше и больше; видно, солнце садилось за лугом, оставляя красную зарю. По воде легли длинные тени.

Гаврилка сидел, охватив колени, и глядел, не спуская глаз, как зачарованный. Эти меняющиеся световые пятна отражения, то белые, то розовые, то вдруг подернувшиеся тонкой фиолетовой дымкой заката, не давали оторваться глазу. Перед мальчиком точно звучала музыка меняющихся цветов.

Закат погас, и все погасло и в воде, и на земле, и отражения повисли, темные и смутные, а в небе зажглись звезды.

— Гаврю-у-шка-а!.. Иде ты, пострел, запропал?.. Иди домой, а то драть будут.

«Ага, покричи, покричи... Не пойду, вот и все...»

Слышны голоса в дворике: то с хрипотой бас отца, то беспокойный испуганный голос матери, то Ивана, старшего брата, то звонкий Гашкин голос.

— А може, утонул.

— Но-о, утонул! Вот придет, я его прохворощу хворостиной.

— А може, на слободу побежал, к дяденьке?

Ночь густеет. Вода, как вороново крыло. Отражения почернели и слились с темнотой. Тот берег стоит смутной стеной, и не видно ни хаты, ни двора, ни вишневых садов за дорогой — все темно, пусто, молчаливо; должно быть, все спать легли.

Спокойные, ослабленные расстоянием и от этого мягкие, навевающие дремоту удары церковного колокола доносятся с того края слободы... Три, четыре... семь... девять, десять!..

Сонно лают далекие собаки. Спать!

Гаврилка подымается, да вдруг вспоминает про убитых змей, минуту колеблется, потом смело лезет в лозняк, чутьем находит похолодевшую лужу, бьет перед собой палкой, чтоб разогнать гадов, ощупью поддевает дохлых змей на палку и берегом, потом молчаливой плотиной воровски пробирается домой, держа перед собой перевесившихся на палке змей.

Во дворе тихо; спят. Собаки молча ластятся; в конюшне звучно жуют лошади, в сарае вздыхает корова, а под дрогами на разостланной полсти храпит отец.

Гаврилка аккуратно развешивает дохлых змей на дрогах, над отцом, пробирается на сеновал и сладко засыпает. И сейчас же к нему приходят странные сны. Снится ему, будто лошади у них зеленые, с красными

глазами, а собаки голубые и будто у отца на лице черный извилистый узор, как на змеиной шкуре. И будто лошади покраснели, как хата на вечерней заре, а с отца черные узоры поползли и стали извилисто ползать по всему двору, забираясь на дроги, на плетни, на дорогу— деваться от них некуда. И Гаврилке стало страшно. Он стал решать, в яве это или во сне, и закричал: «Мама!..»

Открыл глаза, щели золотятся от яркого солнца — уже утро. И сразу догадался, что не он кричит, а во дворе голос отца сердито:

— Ишь, видал, чего наделал! Дохлых змеев по всем дрогам навешал. Ну, пущай только придет, я ему кожу поштопаю.

А Гаврилка слышит, сладко заводит глаза и сквозь улыбку отдается неодолимому детскому сну.

II

Разыскали Гаврилку только к обеду, когда солнце стояло прямо над прудом, до самого дна погружая в него ослепительные лучи.

Иван, старший брат его, которому на будущий год идти в солдаты, полез доставать сена для дрог — ехать на шахты за каменным углем — и увидал Гаврилку. Взял за ухо, вытащил во двор.

— Вот он, прятальщик... А-а, попался!

Гаврилку ослепил солнечный свет, нестерпимо яркие белизной стены хаты, пятна кур, собак, вишневых садов, как будто все это видел в первый раз,— и ласточки, чирикая, носились над двором.

— О-ой, пусти, а то укушу!..

Вышла мать. Глаза у нее набрякли,— целую ночь проплакала, боялась, не утонул ли Гаврилка. Отца не было.

— Ну, иди в хату, поешь; свиные полдни, а он выле-живает. Вот погоди, приедет ужо отец, он те даст встрепку! — сердито говорила мать, а Гаврилка чувствовал, как она его любит, боится за него.

Она пошла на речку с бельем — полоскать, ведя маленькую Нюру, которая держалась за подол, а Гаврилка юркнул в хату. На чисто выскобленном столе миска горячих щей. Гаврилка жадно хлебает, проголодался, а сам пялит глаза по стенам,— все стены в картинках, ко-

торые он поприлепил, которые он собирает в сору около лавок, возле церкви, на большой дороге. Тут и газетные иллюстрации, и крышки с конфетных коробок, и брошенные, затоптанные в песок рекламные картинки, которые он тщательно собирал, расправлял, очищал от грязи и налеплял на стену.

Потом стал глядеть на синих петухов, которых мать понарисовала синькой на печке. Они были куцые, с двумя палочками вместо ног. Мать в чистоте держала хату, все было вымыто, выскреблено, вычищено, и стены и печь ярко выбелены мелом.

Гаврилка долго смотрел на петухов, сорвался, бросил ложку, достал с полки завязанную в узелок синьку, развел ее слюнями и стал подрисовывать петухов.

— Разве у них такие ноги? — говорил он, сидя на корточках перед петухами,— у них лапы. А позади в хвосте перья вон какие. Это только у мельника-козла кот Васька — куцый, да и то он сам ему отрубил хвост.

И он стал пририсовывать петухам великолепные хвосты, похожие на изогнутые серпы. Потом полез в угол, достал красной глинки и стал протирать ею бока петухам.

— Разве петухи синие? Наш Петька весь красный, как огонь. Сизые перья у него только в хвосте да на шее. Да разве петухи бывают такие малые? Они всегда больше курей, а это цыплята.

Когда с речки воротилась мать, усталая и разморенная, всплеснула руками,— вся хата, стены, печка, была в огромных красных петухах с великолепными синими изогнутыми перьями в хвостах.

Мать ахнула, а вечером отец больно отодрал Гаврилку.

Семья извозчика жила крепкой трудовой жизнью, как и все в слободе. Земли у него не было, а держал две лошади, возил дачников с вокзала и на вокзал, купцов в город, уголь с шахт. Все собирался прикупить третью лошадь, да не хватало.

Иван ходил работать по экономиям, жил и в городе работником. Двенадцатилетняя Гашка нанималась на огороды на полку, работала по садам, а на будущую зиму решили ее отвезти в город, сдать в услужение.

На Гаврилке лежала забота о лошадях: засыпать овса, дать сена, напоить вовремя. Иногда и он возил дач-

ников на вокзал. Только маленькая двухлетняя Нюрка ничего не делала и все тянулась за подолом матери. Но как ни бились все, еле-еле сводили концы с концами, и Гаврилка знал, что оттого отец его хмур, неразговорчив, с тяжелой рукой, а мать худая, костлявая, как загнанная кляча. Впрочем, Гаврилка не думал об этом, а просто тянулся к работе, как все, а в свободную минуту бегал и играл, забывая обо всем.

Раз сидели всей семьей посреди двора и ужинали на разостланной чистой дерюжке под звездами.

Шумела мельница.

Отец облизал деревянную ложку, вытер корявой рукой усы и бороду, положил ложку на край глиняной чашки и сказал:

— Иван, слышь, никак без того не обернемся, не иначе — придется тебе идтить на шахты.

Иван тоже захватил в рот всю ложку, тщательно облизал ее, вытер рукой безусые губы и сказал:

— Ну-к, что ж, идтить так идтить!

Мать горестно утерла слезинку, а отец сказал:

— Идтить тебе в солдаты, останусь без работника, никак не обойтиться без третьей лошади. Беспременно надо заработать на лошадь, а сказывают, ноне на шахтах по два с четвертаком дают, недостача народу.

— Работа-то чижолая,— сказала мать так же горестно. Да не договорила, отец прикрикнул.

А работа в шахтах действительно, должно быть, была тяжелая. Когда через два месяца вернулся Иван, Гаврилка ахнул, не узнал брата. От здорового, красношекого парня остались на ввалившемся скуластом черном лице одни огромные глаза, сверкавшие белыми белками.

Гаврилка не мог оторваться от этих сверкавших огромных белков. С тех пор и началось. Взял уголек, пошел и нарисовал на печке глаза с огромными белками и скошенными зрачками.

— Ты чего это тут!..— закричала мать, шлепнула полотенцем,— тьфу! — выгнала из хаты и торопливо забелила мелом огромные глаза, которые безустанно следили за ней скошенными зрачками.

Тогда Гаврилка стал рисовать угольком глядящие на всех глаза на белых стенах хаты, снаружи, на дверях, на окнах, на дрожинах дрог, на всех досках, какие попада-

лись во дворе. Отовсюду, куда ни повернись, скосившись, глядели глаза с огромными белками.

Гаврилку гоняли, мать поминутно всюду тряпкой стирала глаза, а отец и Иван трепали за уши. Наконец взбешенный отец так отодрал мальчика, что тот два дня не мог подняться.

И Гаврилка перестал рисовать дóма. Зато со всех заборов соседних дворов, с дверей, с ворот, со ставень, скосившись, неподвижно глядели бесчисленные глаза. Глядели глаза и на мельнице с дверей, со сруба, а мельник, выдернув из воза кнут, долго гонялся за Гаврилкой при хохоте и улюлюкании помольщиков.

— Ну, ладно, я ж тебя уважу!

Гаврилка убежал на змеиную лужу, перебил и разогнал змей и целый день, вытаскивая со дна черную грязь, подсушивал, мял и лепил из нее.

А к вечеру помольщики и все проходившие мимо мельницы хватались за бока и покатывались от неудержимого хохота: на плетневом колу у плотины торчала козлиная голова, вылепленная из грязи и как две капли похожая на голову мельника — с бородкой, с белыми глазами, с оттопыренными ушами, да вдобавок рожки торчали.

Выскочил мельник, палкой разбил голову и, весь трясясь, пошел жаловаться к извозчику.

— А?! Что смотришь!..— кричал он, тряся бородкой и брызжа злой слюной.— Это что такое, ославил на всю слободу! Какой я козел?.. К уряднику пойду жаловаться, к приставу, до губернатора дойду, в сенат подам. Нет таких правов, чтоб щенки над старыми надсмехались, над старыми людьми при всем честном народе...

— Ну ладно, иди себе...— сказал извозчик, глядя в землю.

Старик ушел, ругаясь и грозя.

Извозчик собрал кольцами вожжи и сказал глухо:

— Гаврилка, иди сюда.

Мальчик, трясясь, забился на сеновал. Хозяйка кинулась к мужу:

— Ой, не трожь! Глянь-кось на себя, лица на тебе нет. В другой раз поучишь...

— И впрямь кабы не убить. Возьми вожжи.

Потом подошел к бочке и вылил себе на голову два ведра воды. Пригладил волосы.

— Гаврилка, иди сюда, иди, не трону.

Мальчик подошел. Долго и молча шли. Прошли слободу, вышли на церковную площадь.

— Дома учитель? — спросил извозчик у сторожа.

— Дома.

— Доложи об нас, дело есть.

— Ничего, идите на крыльцо, там стряпуха скажет.

Вышел учитель, худой, рыжий.

— Что скажете?

— До вас, до вашего совета.

— Что такое?

— Вот не знаю, что с хлопцем делать. Балуется, от рук отбился. То змеев нанесет дохлых, над отцом навешает, а то глаза зачнет рисовать, куды ни глянешь, глаза ды глаза, а то голову слепит козлину, ну точь-в-точь наш мельник, а народ обижается.

— В школу надо отдать.

— Не из чего, не из чего отдавать-то. Осенью сын старший уходит, без работника останусь; сами знаете, какие наши достатки. Кабы отдать его в мастерство какое. Ежели вы слово только скажете, всяк возьмет — и сапожник, и кузнец.

— Так зачем же к сапожнику. Рисует, говоришь?

— Так глаза сделает, ночью снятся.

Учитель подумал.

— Ну, так вот, иконописец есть у меня в городе знакомый. Он же и вывески пишет. Вот к нему и отдай; если склонность есть к рисованию, выучится, зарабатывать будет лучше, чем сапожник.

— Сделайте милость.

Через неделю Гаврилка уже работал в мастерской иконописца.

Мастерская была маленькая, с низким черным потолком комнатка, вся заставленная струганными, покрытыми грунтом досками, которые готовились под иконы, и готовыми иконами. Тут же стоял верстак, валялись инструменты, кисти, пахло клеем, красками и лаком.

Мастер был плешивый, в очках, и большой пьяница. В других комнатах шумела детвора,— большая семья была.

Гаврилка быстро освоился и через месяц уже копировал иконы. Мастер держал его за работой с утра до но-

чи, передохнуть не давал и жестоко наказывал за малейшее упущение.

Как-то принес ему икону Георгия Победоносца и велел скопировать шесть штук, а сам ушел и запил, целую неделю не приходил.

На беду, должно быть, ребятишки утащили икону, с которой надо было копировать. Гаврилка в отчаянии искал, но так и не нашел. Целый день проплакал, нет как нет, не с чего рисовать.

На стене криво висело засиженное мухами зеркало. Глянул в него Гаврилка, и вдруг его осенила мысль. Схватил загрунтованную для письма доску и стал торопливо рисовать Георгия Победоносца, глядя на свое лицо. К концу недели были готовы все шесть рисунков.

Пришел хозяин, хмурый, разбитый и злой, и все кряхтел, разбираясь в мастерской.

— Ну, что, готово? — спросил он.

— Готово,— весело ответил Гаврилка, подавая свою работу.

Хозяин взял, глянул, сделал широкие глаза, протер их, надел железные очки, опять поглядел, отодвинув рисунок, и вдруг побагровел:

— Да ты что же это? А?! Ты что же это свою поганую морду вздумал рисовать? А?..

— Дяденька, ребятишки куда-то икону дели, искал, искал, так и не нашел...

— А-а, так ты так!..

Гаврилка больно был наказан, проплакал всю ночь и думал, уткнувшись в подушку и глотая слезы:

«Ладно, ежели бы в деревне, я б набил змей, всю мастерскую бы ими устлал... То-то бы ты повертелся...»

Наутро мастер велел Гаврилке собираться и отвез его в деревню к учителю, который порекомендовал мальчика.

— Как хотите, не могу держать такого. Поглядите, чего он наделал,— везде свою морду понарисовал.

Учитель взял рисунки, поглядел и весело рассмеялся:

— Ну, Гаврилка, не беда, не горюй, из тебя будет толк. Надо, брат, только учиться, из тебя выйдет отличный художник.

Гаврилку на казенный счет определили в школу рисования. Потом он уехал учиться в академию, потом за границу.

Прошло много лет. К хате, что стояла над ставом, подъехал с вокзала человек в широкополой шляпе, с бледным лицом и в золотых очках. Это был известный художник Гавриил Иваныч Оскокин.

Поговорил он с обитателями хаты. Это были новые люди. Они тоже занимались извозом. Отец и мать художника умерли. Иван женился и перебрался на Кавказ. Сестры вышли замуж и уехали в другие деревни.

Вспомнилось художнику детство и показалось таким милым, таким светлым и далеким. Захотелось закрепить его, пожить воспоминаниями о нем.

Он достал краски и стал писать. И на холсте, как воспоминание о невозвратном прошлом, проступала хатка, белым пятном отразившаяся в неподвижной, неуловимой глазом воде, в которой голубело далекое небо, и опрокинутые старые-престарые вербы, и желтый осыпающийся обрыв, и темная плотина.

Эта картина потом побывала на выставках, и перед ней постоянно толпилась публика, потому что веяло от нее тихими ласковыми воспоминаниями о невозвратном.

ТРИ ДРУГА

I

Утреннее, не жаркое еще солнце чуть поднялось над соседней хатой и сквозь вербы задробилось золотыми лучами, а семилетний Ванятка уже слез со скамейки под образами, где ему стлала всегда матка, и выбрался из душной хаты.

Мать, худая и костлявая, с головой, повязанной ушастым платком, кидала на дворе зерно и кричала:

— Кеть, кеть, кеть, кеть!..

К ней со всех ног бежали куры, индюшки, неуклюже раскачиваясь, спешили утки, гуси. Свиньи, приподняв уши и похрюкивая, тоже торопились, разгоняя птицу, а мать на них кричала:

— Та це!

Ванятка ухватил хворостину и, радостно визжа, стал гонять хрюкавших и повизгивавших свиней.

— Гони их на улицу! — закричала мать.

Ванятка, забегая то спереди, то сзади, стегал хворостиной кидавшихся во все стороны свиней. Свиньи не выдержали и побежали в раскрытые скрипучие жердевые ворота. Только лишь старый кабан, с нависшими изо рта желтыми клыками, угрожающе остановился, повернувшись мордой к Ванятке, как будто говорил: «Ну, ну, подойди, подойди!..»

Ванятка знал, что он не одну собаку запорол клыками. А отец рассказывал, что в лугу распорол брюхо лошади, наступившей на поросенка. Лошадь, чтобы за нее не отвечать, кинули в озеро, а когда она там расползлась,— ее растащили рыбы и раки.

Ванятка подбежал к кабану, который был выше его, и, чуя его горячее вонючее дыхание, вытянул между маленьких злых кабаньих глаз хворостиной. Кабан повернулся и грузно побежал на улицу, а мать закричала:

— Не трожь, пострел! Он тебе таки выпустит кишки...— И дала подзатыльника.

А когда Ванятка заревел на весь двор, утерла ему нос и сказала:

— Не плачь, сынок, иди в конюшню, помогай отцу,— запрягает на степь ехать.

Ванятка побежал к конюшне. Отец, подставив под телегу дугу, мазал дегтем и крутил ходко вертевшееся на приподнятой оси колесо.

Ванятка постоял, глядя хитрыми серыми глазами. Он был белобрыс, брови его выцвели от солнца и степного ветра, а нос облупился. Очень хотелось самому подмазывать телегу, макать черный помазок в ведерко с дегтем, крутить ходко вертевшееся на поднятой оси колесо, но отец все равно не позволит, а даст подзатыльника.

Ванятке хотелось все делать, что делают взрослые, а силенки не хватало.

Вот и теперь — постоял-постоял, поглядел на скособочившуюся телегу, на широкую спину наклонившегося отца и юркнул в конюшню.

В конюшне под соломенной крышей летали ласточки, а в углу, свесив губу, стоял, покачиваясь от дремоты, Пегаш. Без уздечки, без шлеи и хомута он казался голым.

Хомут висел на деревянном гвозде, вбитом в стену. Ванятка поднялся на цыпочки, достал руками хомут, а

снять не может — тяжел. Ухватился за шлею и стал изо всех сил тянуть в сторону,— хомут грузно упал на навоз. Ванятка, напрягаясь, подтащил его к коленям лошади и, весь красный от натуги, приподнял и стал надевать на морду Пегашу.

Пегаш, подрагивая добрыми, мягкими губами, нагнул голову, вытянул шею, помогая надевать на себя хомут, но Ванятка никак не мог справиться, запутавшись в шлее. Наконец кое-как насунул хомут на нос, но через глаза не мог продвинуть. Пегашу надоело, и он высоко вскинул голову. Хомут сам собою ссунулся на шею, а Ванятка отчаянно завизжал: его зацепило шлеей, и он повис под лошадиной шеей. Пегашка смирно стоял, пожевывая губами.

Мужик вошел на визг, высвободил болтавшегося в воздухе Ванятку — лицо у него было расцарапано,— поставил наземь и дал такого шлепка, что тот вылетел из конюшни и с ревом побежал к матери, да не добежал: из открытого база выскочили беломордые телята и, задрав хвосты, стали носиться по двору, подбрыкивая.

Ванятка схватил хворостину и погнал их на улицу, а с улицы, обогнув сад,—на гору.

На горе потянулась степь, сколько глаз хватает, и на самом краю стояли курганы, три кургана, как три брата. За курганами отец будет косить сено.

Телята спустились в балочку и, помахивая хвостиками, стали щипать траву, а Ванятка обернулся в другую сторону и, приложив руку козырьком, стал глядеть. Под горой, за хутором тянулся луг, по лугу извилисто блестела речка, темнели вербы, а дальше, теряясь обоими концами, как желтая ниточка, тянулась линия железной дороги. Телеграфные столбы стояли тоненькими палочками, и тихонько ползла длинная сороконожка — поезд; чуть белел передвигавшийся дымок.

Потом Ванятка стал смотреть в ту сторону, где в сухом тумане пропадали рельсы,— там был город. Города не было видно, а тоненько-тоненько блестела звездочка,— говорили — собор.

Долго смотрел в смутный, сизый, сухой туман, одевавший край земли,— очень хотелось глянуть хоть одним глазком, какой такой город, какие там хаты, плетни, куры, собаки, и так ли скрипят там неподмазанные телеги, как у них по улицам.

Да забыл про город, упал на четвереньки и стал разыскивать заячью капусту. Заячья капуста топорщилась в траве мясистыми листьями. Сорвал и долго со вкусом жевал, выплевывая жевки. Потом поискал и поел щавелю. Потом сунул в муравьиное гнездо палочку и облизал с нее муравьиный сок.

В небе плавал коршун.

Ванятка огляделся. Солнце поднялось. Становилось жарко, и от зноя степь стала трепетать тонким трепетанием.

Ванятка побежал с горы, мотая руками, как крыльями,— есть захотелось.

II

Над двором стоял зной; над навозом гулко тучами зудели серые мухи, а ласточки с чиликаньем низко и мгновенно проносились.

У печурки, сложенной во дворе, возилась мать с хлебами,— к утру надо везти на покос,— и сказала:

— Кабы дожжа не было, касаточки разыгрались.

Обедали в хате только Ванятка, двухлетняя сестренка да мать, а старшие брат и сестра и отец были на покосе.

— Мамка,— сказал Ванятка, отпуская пояс на раздувшемся животе,— я к батюне пойду на покос. Чего я тут не видал!..

— Я те пойду!.. Я те так пойду, своих не узнаешь...

— Чего я тут не видал...—плаксиво тянул Ванятка.

— Цыц! Бери Нюрку да ступай на двор... Да гляди мне за ней, а то надысь нос расквасила. Ступай.

Ванятка подхватил сестренку под животик и поволок из хаты.

Во дворе все то же: зной, зудящие мухи и белогрудые ласточки, мелькая, чиликают.

Мать, убравшись с посудой, пошла месить навоз, тяжело вытаскивая из него босые, сразу ставшие грязными ноги. Потом навоз станут резать кирпичами, потом их высушат и будут зимой топить печи.

Ванятка выбрался с Нюркой на улицу; сели с ней посредине в горячую мягкую пыль и стали играть. Пришла старая свинья, постояла около них, посмотрела

и пошла кушать копеечки, которые густо росли вдоль дороги.

Ванятка вскочил, погнался было за свиньей, потом сказал, делая страшное лицо и выпучив глаза:

— Нюрка, беги скорее к матке, а то свинья съисть.

Девочка жалобно заплакала, закрыв ладошкой глазки, и, ковыляя, направилась к воротам, а Ванятка что есть духу пустился по дороге, обжигая босые ноги о горячую пыль, обогнул сад и, задыхаясь, вбежал на гору.

Внизу за хатами открылся луг, блестевшая в зное река, ниточка железной дороги, но Ванятка ничего этого не видел, а пустился бежать к трем курганам, которые стояли, как три брата.

Жесткая мелкая трава царапала босые ноги, солнце жгло. Иногда Ванятка с размаху садился на землю, хватал обеими руками ногу, выворачивал подошву, подтаскивая ее к самому лицу, слюнями оттирал налипшую пыль и грязь и, схватив черными ногтями воткнувшуюся колючку, выдергивал и опять пускался бежать.

Добежит до покоса,— трава там не такая, как тут: высокая, густая — отец ездит на громко звенящей, грохочущей косилке, управляя ножами; брат Алешка гоняет потных лошадей, а сестра Варька на кизяках варит кашу. Подойдет Ванятка, скажет: «Пусти, Алешка!» И станет сам гонять лошадей, косилка пойдет еще лучше, и отец скажет: «Ай да Ванька, молодца!..»

И вдруг вспомнил плачущую Нюрку и что его бить будут, когда вернется. Заныло сердце, приостановился, посмотрел: луг уж скрылся за далеким краем обрыва, спряталась и речка, не видно железнодорожной линии, лишь сизоватый сухой туман лежит на краю, и в нем чуть приметно звездочка сияет. А впереди — степь, и три кургана, три брата, на самом краю стоят.

Опять побежал. Спустился в балочку, стал подыматься, да остановился: впереди какая-то большая рыжая птица бросилась на землю, потом взмыла, опять упала, снова сильными взмахами поднялась и снова рыжим комом упала, и что-то на траве под ней трепыхалось, что-то желтое и живое.

Ванятка что есть духу побежал и увидал,— под коршуном отбивается и кричит, как ребеночек, тоненько и жалобно зайчишка. Подымется коршун, зайчишка прыгнет раза два-три, а тот упадет на него и начнет тер-

зать когтями и клювом, зайчишка заверещит, опять прыгнет, и опять насядет коршун.

Ванятка пронзительно закричал и бросился к зайцу, испуганно махая руками. Коршун недовольно поднялся, раскинув большие крылья; виднелся кривой нос, который он поворачивал то в ту, то в другую сторону, да лапы желтоватые, мохнатые, которые он так и не подобрал. Коршун улетел.

Зайчишка весь съежился комочком и сидел неподвижно, покорно заложив уши на спину и глядя большим выпуклым, круглым глазом,— другой был выклеван. Шерстка на нем мягкая, как пух,— зайчишка был совсем молоденький, молочный,— и голова в крови.

Ванятка взял его на руки. Он не сопротивлялся, а подвигал лапками и улегся комочком, как в гнезде.

Ванятка, осторожно держа, понес его назад:

— Ах ты сердяга!.. Лапушка моя... бедненький... Ишь, проклятый, как он тебя!..

Долго шел, пока не открылся луг, речка заблестела; по линии полз поезд, белея дымком, и звездочка собора стала яснее блестеть.

— Мамунька!.. мамунька!..— не своим голосом заорал Ванятка, вскакивая во двор, весь дрожа, с пылающим лицом,— гли, кого я поймал.

Он забыл, что его будут драть, а мать, перестав на минутку ногами месить навоз, закричала:

— Ты иде это шалаешься! Кому я велела Нюрку смотреть!.. Постой, я тебе побегаю...— Но, увидев окровавленного зайца на руках, сказала: — Это еще чего такое?.. Вот кабы увидали тебя на улице собаки, разодрали бы совсем и с зайцем.

А Ванятка весь дрожит, прижимая зайца:

— Мамуня!.. мамуня!.. мамуня!.. я его под лавку, я его под лавку...— и понес в хату.

Мать закричала:

— Куды ты эту погань!.. Вот я тебя совсем с ним на улицу выгоню.

Тогда Ванятка побежал к амбару, чтоб там устроить своего больного, но, когда подбежал к дверям, заяц вдруг развернулся, как пружина, толкнул в грудь, прыгнул на землю и, не успел моргнуть Ванятка, исчез под амбаром в узкую дыру, проделанную крысами.

Ванятка упал животом на землю и, прижимаясь лицом к мелкой сухой соломе и горячей пыли, долго глядел в дыру, но там было черно и пусто.

— Ванятка!..— закричала мать, бросила месить и, слегка обтерев нога об ногу навоз, подошла и оттаскала за вихры.

III

А ночью случилась гроза,— недаром так припекало днем и низко летали касаточки. Ванятка спал под образами на лавке. Спал он всегда крепко и ничего никогда не слыхал, а сегодня чудилось, бегает будто по степи, а за ним гоняется коршун, и будто нос у коршуна кривой, а глаз один вывернутый, красный. И вдруг сквозь веки почуял, кто-то заглянул ярко-синий, режущий. И опять заглянул, да так нестерпимо, что Ванятка открыл глаза.

Сквозь щели ставен лился ослепительно синеватый, почти белый свет, несколько секунд лился, дрожа, потом погас, и стало непроглядно черно, глухо. Ванятка зажмурился, а сквозь веки опять на секунду заглянул ослепительный свет и погас.

Ванятка вскочил, ничего не видя. Стало невыразимо страшно, не оттого, что вспыхивал этот ослепительный даже сквозь веки свет, а оттого, что вспыхивал он молча. Когда погас, в темноте стояло глухое молчание, и Ванятка закричал:

— Мамуня-а!..

Мать спала на кровати с маленькой сестренкой; Ванятка сполз на пол и, натыкаясь на стол, на скамейки, стал пробираться к кровати. Пошарил — пусто. Опять сквозь щели полился свет, и Ванятка увидал, матери нет, а Нюрка, прильнув к подушке, тихонько подсвистывала носом.

Снова все стало черно, глухо. Ванятка кинулся к выходу, нащупал дверь и, когда отворил, все увидал, яркое и отчетливое: пустой двор, корыто посредине, плетни и белый, как кипень, нетрепещущий тополь.

— Мамка-а!..— закричал он в темноте и побежал к базам — должно быть, мать пошла подпереть двери, чтоб скотина не разбежалась.

Но когда все кругом снова замерцало в ослепительном свете, он увидал, что возле не базы, а плетень в со-

седний сад. Сейчас же все потухло, и Ванятка, протянув руки, побежал к базам, а когда осветило, увидал, что лазает у конюшни.

Заворчал гром. Упали тяжелые капли. Плача, натыкаясь то на плетень, то на кучу соломы или навоза, метался Ванятка, зовя мать.

Густо посыпал дождь. Гром раскатывался, заполняя все небо. И хоть часто, почти без перерыва, светила молния, сквозь мелькающую, мутно-белесую сетку дождя ничего не было видно.

Отдавшись отчаянию, весь мокрый, Ванятка, как стоял, сел на корточки, не зная, где он, и горько всхлипывал, глотая слезы вместе с сбегавшим по лицу дождем.

А гром то оглушал потрясающим треском, то ровно, как множество колес, раскатывался во всех направлениях, то, глухо ворча, смолкал. Тогда, слышно было, шумел дождь и с томительными промежутками вспыхивал синевато-беспредельный свет, трепетно отражаясь в бегущих всюду ручьях.

— Мамулька-а... мамка-а... ы-ы-ы...

И вдруг прислушался: возле, у самых ног, кто-то бесконечно жалобно и беспомощно вякал. Ванятка протянул руки и нащупал мокрого, грязного, слабо ворочавшегося щенка. Верно, кто-нибудь выбросил, и щенок прибился к воротам.

Сразу прошел страх, ощущение заброшенности, одиночества. Ванятка поднял щенка, прижал, чувствуя, как он теплеет, тыкается мордочкой в грудь, и пошел, сразу разбирая, что он сидел под плетнем у ворот.

Молния широко осветила растворенную дверь в хату.

В комнате, освещаемая побледневшей и поредевшей молнией, мать беспокойно шарила по лавке:

— Ты где делся?.. Ванятка!..

Ванятка осторожно пробирался к своей лавке, и вода бежала с него, оставляя лужи. Очень хотелось ему рассказать матери о своей находке, да побоялся и, прижав пригревшегося щенка, крепко и сладко заснул. Заснул, и приснилось ему, будто опять налетает коршун, клюет и больно бьет его крыльями.

Вскочил испуганно, а это мать больно шлепает его рукой, и уже день на дворе.

— Это что за моду взял!.. Не таскайся, не таскайся!.. Все запакостил... Вот тебе!.. Вот тебе!..

Потом схватила жалобно завизжавшего щенка и понесла во двор и за воротами выкинула в лопухи.

Ванятка бежал за ней плача. А когда ушла, подобрал щенка, принес к амбару и устроил ему из соломы гнездо в старой кошелке.

Так завелось у Ванятки свое хозяйство.

Заяц долго сидел под амбаром, да голод не тетка, и в конце концов высунулся из дыры, выставив мордочку, торопливо обнюхивая подвижными ноздрями воздух. Больной глаз заструпился, втянуло его, стал подживать. Здоровый, большой, круглый и любопытный, глядел осторожно.

Ванятка клал около дыры под амбаром кусочки хлеба, молодые капустные листья, ставил молоко в кринке, приносил из степи заячьей капусты, и заяц все подбирал. Стал есть из рук и день ото дня ручнел.

Вот только собаки одолевали. Как только приедет под праздник отец с поля, собаки придут за телегой и, как звери, кидаются к амбару, а заяц юркнет в дыру и уже не показывается. Собаки визжат, роют лапами, да не достать.

Да и отец был недоволен и раза два больно оттрепал за волосы Ванятку, чтобы делом занимался, а не баловался с зайцем.

Дела же у Ванятки всегда было много, как и у всех во дворе. Когда лошади были дома, гонял лошадей и быков на водопой, выгонял телят на гору, возил отцу на ближний покос хлеба, пшена, глядел за Нюркой. Зато в каждую свободную минуту бежал к амбару и проводил время с друзьями.

Щенок и заяц подросли и выравнялись, привыкли друг к другу и презабавно играли. Щенок облапит зайца, поймает за шиворот и начинает немилосердно таскать. Заяц встанет на задние лапы — да так забарабанит передними по морде, что щенок повалится на спину и начинает отбиваться, сердито повизгивая. А Ванятка катывается со смеху.

Только взрослые досаждали Ванятке: гонялись за зайцем, травили собаками. Но заяц перестал бояться собак: погонятся за ним, он под амбар; а если посреди двора окружат, вскочит в телегу или в сени забьется, а раз вскочил в большую кадку с резаной соломой. Соба-

ки прыгают кругом, а достать не могут; увидал Ванятка, выручил.

Щенок и заяц спали вместе в кошелке, свернувшись клубочком. А утром рано, чуть зорька низко закраснеется за дальними вербами, щенок и заяц являются к окну, за которым спит Ванятка, станут на задние лапы и заглядывают. Щенок повизгивает, а заяц вдруг забарабанит по стеклу, да так, что того и гляди стекло вылетит.

Увидит мать и прогонит хворостиной, а не увидит, Ванятка откроет окошко и даст каждому по корочке хлебца, припасенной с вечера.

IV

Однажды случилось событие, которое не только помирило всех с зайцем и щенком, но и доставило обоим почетное положение.

Лето перевалило за Ильин день. Пшеницу сняли, и все стали готовить катки и молотилки.

Отец Ванятки тоже целый день налаживал каменные катки, чтоб утром на заре отвезти их на поле и начать молотьбу.

Ночь была черная, ветреная,— суховей трепал в темноте вербы и тополя, кружил по темному двору соломинки и сухие камышинки. Все крепко спали. Собаки полаяли с вечера и тоже дремали, свернувшись под телегой. Заяц со щенком забились под амбар.

С улицы, осторожно скрипнув жердевыми воротами, вошли три человека; у одного был лом. Собаки с ревом вырвались из-под телеги. Им бросили несколько кусков сала с отравой. Они похватали, сейчас же стали кататься в судорогах и неподвижно вытянулись.

Три человека стали ломать замок у конюшни, из-под амбара выскочил щенок и, вертясь около ног, стал тявкать. Тот, что держал лом, ударил им щенка, но в темноте задел лишь слегка. Щенок отчаянно завизжал и понесся, поджав одну ногу, к Ваняткиному окну; заяц испуганно помчался за ним. Под окном щенок, надрываясь, визжал, метался, а заяц стал на задние лапы и забарабанил в стекло.

Услыхал Ваняткин отец, схватил ружье, вышел на двор, покликал собак,— никто не отзывался. Это показа-

лось подозрительным, и он выстрелил в воздух. Потом позвал старшего сына, вместе осмотрели двор, нашли дохлых собак, а на дверях конюшни погнутую дужку замка: воров и след простыл,— не успели сломать замка.

С этих пор и щенок и заяц стали полноправными гражданами во дворе. Мать Ваняткина стала обоих кормить.

— Ничего, пущай растет,— говорил Ваняткин отец, трепля радостно лизавшего руки щенка,— пущай растет, сторожем будет. Ишь рот черный — злой будет.

И дали клички: щенку — Забияка, а зайцу — Одноглазый. Они привыкли и прибегали на клички.

К осени Забияка выравнялся в хорошую собаку, облохматился, а кругом морды и около глаз выросли косматые, торчком стоящие усы и баки, что придавало ему свирепый вид. А Одноглазый стал белеть.

Ванятка не расставался с ними. Куда бы он ни шел, впереди трусил лохматый, дымчатый Забияка, с косматой свирепой мордой, а сзади Одноглазый сделает два-три скачка, станет столбиком и поводит ушами, а там опять прыгнет и опять постоит и послушает. Если выскочат собаки, Одноглазый перемахнет через плетень и исчезнет в саду, а там его лови не лови, не поймаешь.

Ванятка пройдет дальше, оглянется, а Одноглазый опять тут, прыгнет, прыгнет, станет и пошевелит ушами.

Зато и Ванятка любил их. Бывало, сядет на землю, обнимет с одной стороны Одноглазого, с другой — Забияку, сидит и рассказывает им, как людям, по целым часам. А они понимают: Одноглазый пошевеливает ушами, а Забияка нет-нет да и лизнет Ванятку в лицо, за что получает легонький тумак. И всяким сладким куском делился с ними Ванятка.

V

Пришел сентябрь. Все Ваняткины товарищи ходили в школу. Скучно стало Ванятке, и говорит он как-то отцу:

— Батя, слышь, отдай в училище... Ну, чего я тут... Слышь, отдай.

Отец почесал поясницу, поглядел на серое небо, по которому скучно летели вороны, и сказал:

— Постой, сынок, рано тебе, пущай эта зима пройдет, а на тот год отдам.

— Отда-ай, батя... отда-ай...— упрямо хныкал Ванятка.

— Цыц! Сказываю, на будущий год.

Ванятка замолчал, но задумал свое.

Пошли дожди. Деревья трепались в холодном ветре, который обрывал последние крутившиеся листья и заливал окна сбегающими ручьями. По лужам, покрывавшим целыми озерами черневшие от грязи улицы, вскакивали и лопались дождевые пузыри. Стало неуютно, безлюдно, скучно. Одноглазый и Забияка целыми часами спали под амбаром.

Ванятка улучил минуту, достал с полатей старые отцовские сапоги и вставил туда ноги. На спину и на голову углом накинул от дождя мешок и отправился.

До училища было три версты. Грязь стояла непролазная. Колеса вязли по ступицу, лошади едва вытаскивали ноги.

Ванятка на улице сейчас же утонул сапогами, и когда потащил ноги, они вылезли из сапог. Тогда он ухватился за голенище, вытянул сапог и переставил одну ногу; потом ухватился за голенище другого сапога, переставил,— так и стал передвигаться, переставляя ноги.

В пот ударило Ванятку. Он разогнулся и глянул назад: уныло опустив голову и хвост и вытаскивая грязные лапы, плелся Забияка, а за ним то присядет, то прыгнет Одноглазый, по самые уши в грязи.

Ванятка замахнулся:

— Уйдите вы! Вам нельзя... Пошли, пошли!..

Забияка покорно завилял хвостом, с которого текла грязь, а Одноглазый недоумевающе поводил ушами.

Ванятка стал швырять в них грязью, а они не понимали, за что это.

— Пошли!.. Убью...— кричал Ваня, отогнал и опять побрел, утопая в грязи.

Косой дождь все так же сек лицо и заливался за шею и в рукава. Идти было мучительно тяжело. Только когда выбрался на полугорье и пошел косогором по каменистому хрящу, стало суше.

Вдали из-за сада показалось белое здание школы. Ваня, подходя к училищу, оглянулся: Забияка, нагнув голову, хитро крался, а Одноглазый стоял столбиком, пошевеливая ушами.

Ваня опять с отчаянием стал швырять в них камнями, комьями грязи, со слезами озлобления крича. Забияка, поджав хвост, мокрый и жалкий, побежал под дождем домой, а за ним, то задерживаясь, то скачками, пошел Одноглазый. Выскочила откуда-то, тявкая, собачонка, и заяц умчался.

Ваня обтер в сенях свои чудовищные сапоги и вошел в школу. Там стоял невероятный содом, гам, шум — была перемена.

Ребятишки накинулись на Ваню.

— А-а, зайчиный отец!..

— Ванька, здорово!..

Ваня стоял посреди них, не зная что делать. Когда пробил звонок, все повалили в класс. Ваня, шмурыгая по полу сапогами, которые он с трудом поднимал, вошел вслед за другими и примостился на краешке парты.

Вошел учитель. Все закричали:

— Новичок! Новичок!

Учитель подошел к Ване:

— Ты чей?

Ваня стоял, упорно глядя в пол.

— Ну, что ж ты не говоришь? Чей же ты?

— Мамкин,— угрюмо сказал Ваня, все глядя в пол.

Ребятишки покатились от хохота и закричали:

— Заячий хозяин...

— Он Щербаков... Щербака рыжего сын.

Учитель улыбнулся.

— Зачем же ты пришел?

— Букварь.

Все опять засмеялись.

— Сколько тебе лет?

— Об рождестве девятый пойдет.

— Видишь, хлопец, ты еще мал; приходи на тот год.

— Я реветь буду,— все так же хмуро заявил Ваня.

Учитель опять улыбнулся и ласково погладил его по голове.

— Ну, хорошо, оставайся пока; слушай, о чем тут говорят; я сам поговорю с отцом.

Класс стал заниматься, а Ваня, напрягаясь и морща лоб, слушал, ничего не понимая, и чувствовал себя, как в церкви.

Урок подходил к концу. Вдруг все головы повернулись к окну, и учитель остановился на полуслове: в омы-

том дождем стекле виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату,— одна косматая, другая с длинными ушами.

Ребятишки захохотали.

— Это что такое? — спросил учитель.

— Это Ванькин кобель да заяц.

— Одноглазый...

— На задних ногах стоят...

— Они у него выучены...

Учитель строго сказал:

— Это не годится. Нельзя так.

Ваня горько разрыдался:

— Я их убью. Я их прогонял, они не слухают. Я их собаками зацукаю...

Учитель, успокаивая, опять ласково погладил по голове:

— Ну, ничего, ничего, успокойся. Только не бери их с собой в другой раз.

Потом позвал сторожа и что-то сказал ему. Сторож, стуча в сенях сапогами, хлопнул наружной дверью, и в стекле разом исчезли и косматая и ушастая морды.

Когда Ваня ворочался, на косогоре его ждали и Забияка и Одноглазый, невыразимо грязные. Забияка, радостно визжа, прыгал и лизал в лицо, а Одноглазый становился столбиком и барабанил по коленям. Ванятка ласкал обоих и, радостный и счастливый, держась руками за голенища, чтобы не вылезли ноги, добрался домой.

VI

Пришел март. Снега быстро таяли, шумели овраги, птицы летели с юга, и солнце безоблачно сияло.

Ваня каждый день ходил в школу, но ни Забияка, ни Одноглазый его уже не провожали.

С зайцем стало делаться что-то странное. Стал он беспокоен, пуглив, поминутно навастривал уши, не давался в руки. И однажды исчез.

Долго ходил и искал его Ванятка,— нигде не было. Только когда однажды выбрался на гору, на талом снегу увидел обтаявшие заячьи следы: большими скачками, видно, уходил в степь и уже больше не ворочался.

Только раз летом на покосе видел Ваня, как по скошенному месту прокатился крупный заяц, остановился

на секунду, присел, повел ушами и исчез, мелькнув в траве. Своя, видно, началась жизнь.

А у Вани и Забияки тоже у каждого своя была жизнь: Забияка зло сторожил двор, лошадей, скотину, днем и ночью не подпуская к дому никого. Стал он еще косматее, вечно в орепьях, с мотающимися комками грязи на лохмах.

Ваня летом не покладая рук работал во дворе, в поле, ездил на мельницу, возил на станцию хлеб, а зимой в отцовских валенках бегал в школу.

ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

— Стало быть, не пришел,— проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с разных сторон повторяло удары.

—А-ах, холодная...— проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высовывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без

перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая, косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстилалось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными лесами. Шест перестал доставать дно, которое далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человечьего, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

— Ах-х, ты!..— сердито проговорил мальчик, осматривая объеденную птицу и лисьи следы под деревом.— Ладно, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни объеденные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо стояли сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную сплошную массу.

«Как бы не заблудиться»,— тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и темным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в темноте озером стояла такая же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

— Ок-казия!.. Что будешь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась кромешная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно подвигался вперед среди немой тишины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

— Что ж это, никак к берегу не прибьешься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезды.

— Аххх, ты, бож-жа мой!..— хлопнул себя по бедрам, поплевывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работал наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

— Дядька-а Силанти-ий! — закричал он тонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти-и-ий...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это были первые звуки, нарушившие давившее мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло, кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, треща и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно,— и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилось легкое, почти

неуловимое дуновение проснувшегося среди ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послюнил палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось,— теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами заскрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секунду захватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец — берег.

Он дрожал как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

— Шатун... ахх, ты... Носит тебя нелегкая!..— И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошенного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

— О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» — далеко покатилось и отозвалось вместе со свистом по озеру, и опять бесчисленно зашумели

тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник, и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал идти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерек. Поел тетерек и принялся за мальчиковы ноги, отъел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

— Эй, вставай, Митюха! Разоспался... Солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит — солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи перелетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

— А я думал — медведь.

— Какой медведь?

— Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

— Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигай, он и будет призначать направление.

— Ах я дурак!.. И верно... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не видать, куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

МЕДВЕДЬ

I

Над самым берегом стояла великолепная дача, похожая на белый дворец,— в ней жили господа. Даже и не жили, они все время проводили за границей, и дача сто-

яла пустая. Но ее охраняли и за ней ухаживали, и для этого во дворе жило много народу: дворники, сторожа, кучера, садовники, горничные, лакеи.

Жил в сторожах рязанский крестьянин, переселившийся года два назад на Кавказ с большой семьей,— старшему, Галактиону, четырнадцать лет. Жена, крепкая российская женщина, хорошая работница, вот уже полтора года лежит желтая и раздувшаяся от злой кавказской лихорадки и слабым замученным голосом все скрипит:

— Галаша, сынок, ты бы мне медвежатинки добыл, что ли. Так и вертит в носу, так и вертит, кабы съела кусочек, поздоровила, гляди. Уж так-то хочется, так-то хочется!

Жалко Галактиону матки, да как добудешь? За эти два года он отлично выучился стрелять, да на медведей отец не пускает, и некогда; то виноградy вскапывать, то в огороде, то скалу порохом взрывать,— от работы некогда и оторваться.

От дачи в одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом, уходили в небо горы.

Ближние были густо-зеленые, покрытые дремучими лесами; дальше синели затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые, как сахар, снеговые хребты.

Леса и горы тут пустынны — редко встретишь человека, но тут своя жизнь, свое население: бродят грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одиноко разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, все примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всем мире осталась только горсточка на Кавказе.

Много по Кавказским горам и лесам звериного и птичьего населения,— охотнику тут раздолье. Много и гадов всяких: в траве, в каменистых щелях извиваются гадюки; на припеке греются маленькие красные змейки, от укуса которых человек и зверь быстро умирают; на камнях выползают греться смертоносные скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, мно-

гоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами.

II

Рано утром, в воскресенье, еще солнце не вставало, Галактион потихоньку от отца вскинул охотничий мешок с хлебом, взял подвязанное веревочкой ружье, мешочек с порохом и пулями и вышел.

Море только что проснулось, было светлое, покойное и еле заметно дымило тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко, ласково шуршал, чуть набегая на мокрые голыши тонко растекающимся зеленоватым стеклом. Косо белели вдали, не разберешь — крылья ли чаек, рыбачьи ли паруса.

Галактион пошел по знакомой тропке, уходившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно-дрожащей росы.

Долго он шел, подымаясь выше и выше. На тропинке, загораживая ее всю, показалась маленькая горская лошадь. Ее не видно было под огромными перекинутыми через деревянное седло чувалами, набитыми древесным углем. За ней, так же осторожно и привычно ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три лошади с качающимися по бокам огромными чувалами. На четвертой, свесив длинные ноги почти до земли, ехал знакомый грузин, Давид Магарадзе.

Увидя Галактиона, он улыбнулся, ласково и приветливо кивая головой, и заговорил, останавливая лошадь, чисто по-русски, лишь с легким акцентом:

— Здравствуй! На охоту собрался?

Передние лошади сами остановились, и от их дыхания чуть шевелились по бокам огромные чувалы, а на белый, хрящеватый камень тоненькой струйкой посыпалась угольная пыль.

— Эх, вот работа у меня сейчас, а то б с тобой махнул. На Мзымте стадо коз видел, так и полыхнули в горы, только камни посыпались.— У Давида горели черные глаза — он был страстный охотник.— А в монастыре все просят, чтоб с ружьем прийти — медведи одолевают, сад весь пообломали. Ге-а... о-о!..— гортанно крикнул он.

Шевельнулись чувалы, тронулась передняя лошадь, за ней вторая, третья, поехал и Давид, подталкивая ногами под брюхо, ласково кивая мальчику головой. Вот на повороте на минуту показались растопыренные по бокам чувалы и скрылись. Галактион остался один. Издали донесся голос Давида:

— В монастырь зайди — просили.

— Ла-а-дно!

Деревья неподвижно стояли; в ветвях гомозились птицы; верхушки тронуло взошедшее солнце.

Долго мальчик карабкался, хватаясь за ветви и выступившие корни. Из-под ног срывались камни и, прыгая, катились вниз, а со лба падали крупные капли пота.

Часа через два, задыхаясь, с бьющимся сердцем, он выбрался из лесу на каменистую площадку. Далеко внизу расстилалось синее море.

Кругом стояли скалы, старые, потрескавшиеся. Высоко из расщелины отвесной скалы тянулась, протягивая корявые ветви, уродливая сосенка. Никто не знает, как ее занесло туда и как она держалась на бесплодном камне. Гигантские обломки были причудливо наворочены. Как будто жили здесь великаны и стали строить невиданное жилище. Сорвали с гор каменистые верхушки, сбросили и нагромоздили здесь, да потом раздумали и ушли. Так мертво все и осталось, лишь из расщелины одиноко протягивала уродливые руки корявая сосенка.

Мальчик осторожно прошел между камнями, где мелькали змеи. Площадка обрывалась отвесной стеной. Далеко внизу белело ложе высохшего ручья.

Выбрался из ущелья, перевалил горный отрог, и среди синевших гор в лесной долине открылся белевший кельями и церковью с золотым крестом монастырь.

Зашел к знакомому монаху. Монах был откормленный, краснорожий, с огромным брюхом. Он повел мальчика мимо пчельника. Кругом звенели, золотисто мелькая, пчелы.

«Хоть бы медку дал»,— подумал Галактион, втягивая носом сладкий запах разогретого меда.

— Одолевают, одолевают нас медведи,— сказал монах, поправляя скуфью,— просто сладу нету. Чуть отвернешься ночью, двух-трех ульев нету, заберется, повалит и лапой все выгребет. И не укараулишь,— хитрые!

— Мне Давид говорил. С углем я его встретил.

— А далеко встретил?

— Да только что стал подыматься.

— Он вчера у нас был с углем. Просили его. Говорит, ружья не захватил, дома.

— А отчего же вы сами, отец, не стреляете их? Тут у вас раздолье, охота великолепная.

Монах присел на срубленный пень.

— Нам нельзя. Устав монастырский не велит оружия в руки брать, не токмо кровь живую проливать. Вам можно, вы в миру, а мы божье дело делаем.

Помолчали. Галактион подумал: «Божье! Пьянствуете тут, обжираетесь, народ обманываете и заставляете на себя работать. Ружья, вишь, ему в руки нельзя взять, а бездельничать можно,— привыкли все чужими руками загребать».

Хотелось встать и уйти, а с другой стороны, уж очень хорошо было на медведя поохотиться.

— Вот садись тут в засаду. Ночи светлые, луна. В конце сада сливы поспели, так туда стали таскаться,— все деревья пообломали.

— А вы, батюшка, ежли убью медведя, медку дайте, матке понесу, больная дюже!

— Ну, там видно будет,— уклончиво ответил монах и ушел.

III

Вечером взошла луна, и сад, и лес, и горы стали волшебными. Всюду голубые тени, в просветах листвы лунное сияние, деревья, как очарованные, и на верхушках голубовато-облитых гор зубчато чернеют леса.

Отчего все так таинственно, непонятно, все иначе, чем днем?

Галактион лежит на спине в густом малиннике на охапке душистой травы, которую нарвал на пчельнике. Над ним бездонный синий океан, и на нем высоко сияющая луна. И в ее сиянии звезды побледнели и попрятались.

Иногда наплывает жемчужное облачко, покроет, сквозя, луну. Луна бежит в одну сторону, облачко в другую. Облачко дымчато растает, а луна опять одна и сияет на беспредельном синем океане.

Мальчик осторожно раздвигает малинник; таинст-

венно стоят черные деревья с простертыми ветвями, и в одну сторону от них тянутся голубые тени.

Ни звука, ни шороха. Изредка в это сонное молчание впивается томительный крик маленькой совы, «сплюшки», невидимо летающей: «Сплю-у... сплю-у...», или доносятся вой, визг и крики — шакалы возятся в лесу.

Ружье, заряженное пулей, лежит возле. Галактион заводит веки, надоело ждать, а когда открывает — все то же: молчание, покой и сияющая луна, но тени на земле передвинулись — время идет.

«Нет, видно, Михаил Иванович сегодня не явится!»

Он решил подождать, пока луна спустится к самому лесу, и тогда уходить.

Поднял глаза — под деревом стоит человек. Присмотрелся — медведь на задних лапах внимательно осматривается и нюхает воздух. Мальчик затаил дыхание. Долго глядел и нюхал медведь. Потом не спеша опустился на передние лапы, подошел к дереву и обнюхал его со всех сторон. Опять поднялся неуклюже на задние лапы, неуклюже облапил дерево и полез. В его фигуре, в движениях была медлительность, медвежья неповоротливость, но не успел мальчик и глазом моргнуть, как медведь очутился на дереве и уселся на развилке ветвей.

Дерево низенькое, и Галактиону отлично видно каждое движение медведя. Он осторожно приладил рогулю, положил ружье. Стрелять хорошо и близко, только надо сразу свалить, а то задерет.

Медведь помахивал к себе лапой, очевидно ловил сливы, но никак не мог поймать: ветви тонкие, а сливы на концах веток, и когда он нагибался, все трещало и гнулось, никак Мишка не достанет слив. Он поворочался, прислушался, потом, захватив два толстые сука, стал с силой трясти все дерево. Сливы посыпались дождем. Галактион ждал, хотелось посмотреть, что дальше будет.

В ту же минуту послышалось торопливое чавканье под деревом. Глядь, а там целое семейство диких свиней, и большое семейство: папаша, мамаша, дедушка, бабушка и целый выводок поросят, больших и маленьких. Все они торопливо подбирали с земли сливы, вкусно чавкая.

Медведь еще два раза сильно тряхнул дерево и стал спускаться, перехватывая ствол лапами.

Только коснулся земли, свиньи прыснули в кусты, и медведь с удивлением стал обнюхивать пустую землю, всю пропитанную запахом свиных следов. Походил-походил, посмотрел в одну сторону, в другую — никого. Лишь круглая, ясная луна на высоком небе, да горы неровно вырезываются зубчатым лесом на верхушках, да голубые тени от деревьев еще более передвинулись.

Мишка недовольно поурчал и опять полез на дерево, а свиньи — тут как тут, все расположились кольцом, осторожно похрюкивая в ожидании. Медведь глянул на них свирепо и стал спускаться. Свиньи моментально исчезли. Мишка снова полез, поглядывая вниз. Охватив сук, опять с силой тряхнул, сливы посыпались, шлепая о землю.

Медведь, не теряя ни секунды, неуклюже и в то же время с поразительной быстротой стал спускаться. Мальчик глянул, ухватил зубами пальцы и стал кусать: хохот душил его, до того уморительна была фигура.

Но как ни проворен был Мишка, свиньи оказались проворнее; когда он спустился, на земле только вояли их следы, а сами они рассыпались по кустам, подобрав до одной все сливы.

Медведь долго ходил, качая головой, сердито урча, на все корки «ругал» свиней и свиную породу. Становился на задние лапы, долго смотрел в кусты. Было тихо, молчаливо, пустынно. Все залито с одной стороны лунным светом, с другой лежали густо голубые тени.

Опять походил, качая головой и неодобрительно урча, грозил кому-то. И полез на дерево в третий раз. А свиньи уже стоят кольцом вокруг дерева в ожидании. Медведь глянул на них сердито и не спешил трясти. Долго он возился, примащиваясь, потом захрустел косточкой, достал-таки, видно, сливу лапой.

Опять схватился за сук, тряхнул и в ту же секунду повис на передних лапах и повалился сверху прямо на свиней. Они с отчаянным визгом кинулись бежать, а мальчик неудержимо расхохотался и повалился на траву.

Когда поднялся, не было ни медведя, ни свиней.

Стояла одинокая ободранная слива. Сад спал. Спа-

ли осеребренные горы, все так же чернея зубчатым лесом, и бежала мимо жемчужного облака луна.

«Сплю-у!.. сплю-у!..» — томительно, с тоской, замирает в насыщенном лунном сиянии. Вдруг завозятся в лесу, нарушая молчание визгом и хохотом, шакалы, и опять тишина, и сияние неспящей луны, и горы, и неподвижный сад.

Галактион поднял ружье и сумку.

— Эх, жалко медвежатинки матке не добыл, и меду теперь не даст толстопузый...

Идет Галактион, хочется спать.

Да как вспомнит неуклюжий, на мгновенье повисший медвежий зад и как он повалился на свиного дедушку, громко расхохочется на весь сад.

Мальчик разыскивает на поляне свежескошенную копну, забирается в нее,— чудесно выспится до утра.

Месяц стал ниже, уже касается верхушек деревьев,— ему тоже хочется спать. Все потемнело.

КАПЛЯ

I

Стояла огромная гора.

Далеко на вершинах ее лежал вечный снег. И лежал он неподвижно целые века, скованный мертвым холодом. Но каждый раз, как всходило солнышко и пригревало вершину, снежинки таяли, и светлые капли, чистые и прозрачные, сбегали на край обрыва, и, колеблемые ветром, они с секунду дрожали, отражая в себе открывшийся перед ними невиданный дотоле прекрасный мир: синее небо, горы, ущелья, леса и долины, затянутые фиолетовой дымкой. И сквозь дымку виднелись нивы, пастбища, стада и вдали, едва заметно, жилища людей.

И капля, радостная и тревожная, полная ожидания, по мере того как становилась больше и тяжелее, отрывалась и летела вниз, сверкая всеми цветами радуги. Она была молода, и ей страстно хотелось счастья, и она летела принести его другим, и мир казался ей прекрасным.

Внизу, куда она летела, дымились туманы и веяло

мглой и сыростью глухих ущелий. Но ей казалось, что она вечно будет лететь мимо отвесно уходивших вверх скал, зеленых мхов, темных расщелин, из которых местами, как змеи, свешивались корни.

Вершина уходила вверх, а все, что находилось внизу, становилось яснее, отчетливей. Уже можно было хорошо разглядеть отдельные деревья леса, покрывавшего внизу отлогие горы, а в долинах забелели домики людей; желтея длинными четырехугольниками, выступали засеянные места и бродивший поодаль под присмотром пастухов скот.

Но печальная это была картина. Хлеб с пустым, выжженным солнцем, колосом стоял, шелестя одной соломой, скот понуро бродил по сгоревшей траве, и люди были печальны и неприветливы — внизу не было воды. Когда-то здесь с горы сбегал шумный поток, орошая всю долину, но много лет назад огромный скалистый обвал загородил ему ложе, и он частью ушел в расщелины, частью изменил направление и стал сбегать по другому скату горы. И здесь внизу воцарились засуха и жажда.

«Полечу я,— сказала себе капля,— полечу я туда, упаду светлой росинкой в чашку цветка или проберусь в колосок пшеницы, освежу их, и они повеселеют, и люди будут благословлять меня, им я принесу счастье, и меня там тоже ждет радость и счастье...»

Только так подумала капелька и радостно полетела быстрее, возле мелькнула скалистая поверхность, и она ударилась о плоский камень и расплылась, как расплывается упавшая слеза. Это было до того неожиданно, что на мгновение все кругом смешалось и исчезло.

«А... что это,— проговорила она, когда прошло несколько секунд,— что такое случилось?»

Серые скалы, гранитные глыбы мощной грудой недвижно лежали вокруг. Кругом было пусто и дико. Не было видно ни лесов, ни долин, ни людских жилищ, даже дымившие мглой ущелья были далеко внизу. Только на холодном камне вместо радостной, игравшей радугой капельки виднелось влажное расплывшееся пятно.

«Что же это? Куда же делась сила и призраки счастья? Зачем грело солнце, зачем родилась я? Как хочется жить, как хочется воротить прошлое, радостное и тревожное! Всему конец».

И она жила, и тоска сосущая, смертельная, жила с ней.

И, неподвижно нагроможденные, лежали каменные глыбы.

— Тысячелетия лежим мы, придавив тяжкой грудой бока горы, и нет человеческой силы, которая бы поколебала нас, и будем неподвижно лежать, пока стоит мир. Куда же ты, глупая, летела и зачем ты упала сюда? Поделом же тебе.

— Если бы только умереть...

Поднялось солнце, обошло гору, передвинуло тень на другую сторону. Жгучие лучи упали на дикий камень, и... капелька высохла.

А солнце подымалось все выше и сильнее пригревало вершину. Снежинки таяли и падали вниз светлыми каплями. Каждая капелька думала долететь до той долины, что виднелась далеко внизу, и падала на дикие скалы, загораживавшие путь, и умирала.

II

Пришла осень.

Леса зачервонели и стали осыпать листву, и можно было далеко видеть и человека и зверя между оголившимися деревьями. По утрам лужицы затягивались длинными игольчатыми кристаллами. Прозрачен был воздух, и очертания далеких гор выступали отчетливо и резко.

Солнце стало меньше греть, и снега, лежавшие на вершине, стали все меньше обтаивать. Но в том месте, куда всё падали и умирали капельки, проточилась тонкая, невидимая глазу трещина.

«Ну, что ж,— подумала скала,— пускай себе»,— и продолжала неподвижно лежать.

Пришел мороз и слегка подморозил воздух. На другой день ударил более крепкий мороз, и лед внутри скалы расширился, несмотря на сильнейшее сопротивление, раздалась недвижная гранитная масса, и расщелина побежала через всю скалу до самого низу.

Тяжкий удар пронесся по горе и потряс ее от основания до вершины, и пошло по всем скалам и ущельям:

«Слышите!.. Слышите!.. Слышите!..»

«Да, да, да, да... да...» — откликнулось им со всех сторон.

И долго не могли они успокоиться, и ходило, отражаясь и замирая, эхо.

Подняли головы люди, посмотрели вверх и сказали:

— Наверху что-то делается.

А наверху только сделалось то, что скала расселась надвое, и побежали от этой расщелины во все стороны тонкие трещинки.

«Нет, нельзя так,— думала огромная скала,— надо поправить беду».

И стала она засыпать расщелину камнем, галькой и истертым известняком, и поползли туда оползни, и затянули ее всю до самых краев.

«Слежится, и все будет по-старому»,— думала она и продолжала оставаться такой же угрюмой, одинокой и неподвижной, дожидаясь зимы.

Пришла зима, и, крутясь, загудели метели.

День и ночь стал валиться снег, и там, где были расщелины, лощины и промоины, росли сугробы, все сравнивая и покрывая, и лишь голые скалы, обвеваемые ветром, уныло и бесплодно подымались среди снежных полей.

Мертво и пусто сделалось кругом, и никто уже тут не думал о будущем, о счастье, не вспоминал прошлого. Даже птицы и звери спустились ниже, в область сосны, ели и кустарников. А высоко вверху в разреженном пространстве, где стоит вечный холод, так же безучастно неслись перистые облачка, которые состояли из тонких ледяных кристаллов.

Раз перистые облака, предвещавшие всегда мороз, спустились ниже и посинели. Потеплела земля. Пошел от нее туман и пар.

Подул с юга ветер и принес оттепель. Порыхлели и грузно осели снежные сугробы. Просочилась сквозь них натаявшая сверху вода, наделала ходов и стала пробираться по расщелинам осевшей скалы, и зажурчали по всем направлениям невидимые ручейки.

III

Мертвые снега и немые неподвижные скалы, нависшие отовсюду, с недоверием и враждебностью смотрели на возрождавшуюся жизнь. И когда пахнуло весен-

ним теплом, нахмурились они, белея занесенными снегом расщелинами.

Рыхлый снег стал нарастать шапками, перегибаясь и нависая с обрыва. А тучи клубились у темени горы. И если б кто-нибудь заглянул сюда, он догадался бы, что творится тут недоброе, готовится грозное. Но сюда никто не заглядывал.

Вот поднялось до зенита солнце, и тепло пригрело землю. Накренились снега, не выдержали и рухнули, увлекая за собой обломки скал, гранитные глыбы, тучи гальки и истертого ледниками известняка.

Колоссальной грудой прошел обвал, переворачиваясь в воздухе, и, оставив за собой широкий след, с потрясающим гулом рухнул, и лишь снежное облако закурилось над тем страшным местом. Дрогнули вековые сосны, сронили с ветвей старые иглы, тяжело поднялись с отдаленных вершин орлы, и два охотника, карабкавшиеся у линии вечного снега, оборвались по ледниковой крутизне.

Затаилась пробиравшаяся вода, просочилась сквозь обвал и шумным и веселым ручьем побежала вниз, унося талый снег, который, растаивая, наводнил долину и напоил иссохшую землю, жадно поглощавшую влагу.

Все покрылось зеленью. Везде проснулась жизнь. Но капельки, те первые капельки, которые упали на бесплодный камень, не видели и не слышали этой пробудившейся жизни, и самые имена их безвестно затерялись.

НА СТОРОНЕ НАРОДА

Первую мировую войну пятидесятилетний Серафимович встретил уже закаленным революционером. За плечами была ссылка на Север, жизнь под надзором полиции на Дону, уроки баррикадных боев на Пресне. Вот почему события войны писатель расценивал с позиций революции. Его рассказы, очерки и статьи той поры впоследствии были названы «пораженческими по сути дела» [1]. Другими словами, они отражали линию ленинской партии по отношению к этой войне. «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству» [2],— писал В. И. Ленин в 1915 году.

В атмосфере шовинистического угара и искусственно раздуваемого ура-патриотизма военные власти всячески препятствовали поездкам в действующую армию журналистов либерального и демократического направления. «Представитель печати для власти всегда был бельмом в глазу. Представитель же печати в теперешнюю войну, это — пария, существо, которое надо искоренять всеми мерами, всеми средствами.

И искореняли. Корреспондента на пушечный выстрел не подпускали не только к фронту — к тылу. Было официально допущено на фронт несколько корреспондентов, но их держали в почетном плену, показывали только то, что хотели показать и что никому не нужно было, и требовали одного — прославления гениальности власть предержащих. Железная рука цензуры легла на всю печать...» — писал Серафимович в наброске к первому очерку из Галиции [3], куда он, корреспондент «Русских ведомостей», вынужден был отправиться в качестве санитара врачебно-продовольственного отряда, организованного Пироговским обще-

---

[1] Газ. «Правда», 1933, 20 января.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 286.
[3] «Отправление на фронт в Галицию в 1915 году» (ЦГАЛИ).

ством врачей. В отряде Серафимович встретился с сестрой милосердия Марией Ильиничной Ульяновой, и общение с ней, несомненно, укрепило антивоенную настроенность писателя. В результате на страницах газеты, несмотря на военную цензуру, появилась большая серия очерков, рисовавших правдивую картину ужаса и бессмысленности империалистической бойни, картину бесцельной гибели сотен и тысяч молодых жизней. Из увиденного писатель делает революционные выводы и устами героя рассказа «Встреча», юноши, искалеченного на войне, прямо говорит: «...Может, надо потерять правую руку, чтобы узнать, чтобы почувствовать зерно истины...». А писатель, размышляя о его судьбе, восклицает: «...Есть жизнь, бьются сердца, и кто знает, как потрясающе будет нарушено тягостное молчанье, с каким страшным грохотом рухнет строй».

Не удивительно, что побывавший на фронте Серафимович встретил Октябрьские дни на улицах революционной Москвы. В то же время отвращение к бесчеловечности империалистической войны не сделало писателя пацифистом, и впоследствии, когда народ молодой страны рабочих и крестьян поднялся с оружием в руках, чтобы отстоять завоевания первой в мире победившей пролетарской революции, Серафимович стал специальным корреспондентом газет «Правда» и «Известия» и за годы гражданской войны побывал на многих фронтах: на Восточном, где Красная Армия билась с Колчаком и белочехами, на Южном, где его сын Анатолий был комиссаром бригады, на польском — в трудный момент, когда белополяки заняли Киев. В корреспонденциях, написанных в эти годы, нашел конкретное и яркое художественное воплощение самоотверженный героизм красноармейцев, подчас босых, раздетых, голодных, впечатляюще отразилась растущая и крепнущая дисциплина новой, революционной армии, созданы запоминающиеся образы коммунистов. «Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции,— все это идет на служение ей»,— с гордостью пишет Серафимович в очерке «Политком».

Такова принципиальная позиция писателя, который с первых же дней счел дело революции своим кровным делом. В дни 70-летия А. С. Серафимовича в «Правде» было опубликовано письмо Мариэтты Шагинян: «Дорогой Александр Серафимович! В этот день мне хочется вернуть вам старый невыплаченный долг. Я за него вас никогда не благодарила и счастлива, что донесла память и благодарность до такого большого праздника, как ваш юбилей.

Дело было на третьем году революции. Дело было — недоброй памяти — во дни саботажа, критики и недоброжелательства. Знаете ли вы, какой огромной поддержкой для тех из нас, кто принял Октябрь, была в эти дни ваша прямая и прочная репутация большевистского писателя? В ответ на клевету, иронию, размагничивание у многих из нас на языке был один-единственный аргумент: «А Серафимович?», «А Блок?».

Вы служили нам доказательством — и стали доказательством правоты того прямого, неразрывного идейного пути писателя с Октябрем, которым так заслуженно гордится и так прекрасен ваш юбилей!» [1].

После победы Октября Серафимович одним из первых среди писателей пришел на службу в советскую печать: сначала заведующим отделом искусств в «Известия», а затем и в «Правду». Одновременно он заведовал агитмассовым отделом Моссовета. На Красной Пресне в 1918 году он был принят в партию, от целей и задач которой уже давно себя не отделял. Депутатом Московского Совета его избрали те рабочие Трехгорки, с которыми он породнился еще в дни революции 1905 года.

*

Важное место в творчестве А. С. Серафимовича на протяжении всего его жизненного пути занимает тема деревни. Серафимовича, как и его учителей и современников Глеба Успенского и Короленко, уже в ранний период творчества отличало глубокое сочувствие обездоленному крестьянству. В своих повестях, рассказах и очерках писатель был беспощадно правдив, обнажая царившую в деревне темноту, кабалу, унижение человеческого достоинства, жестокую эксплуатацию человека человеком. Крестьянскую тему Серафимович разрабатывал главным образом на материале быта казачьих станиц. Но родная донская степь, «траурный чибис» и его бесконечная грустная песенка-вопрос: «Чьи-и-вы?», кочующая крестьянская повозка, которую медленно тянет покорная, костлявая клячонка,— все это, пришедшее еще из детской памяти (рассказ «Чибис»),— лишь необходимый реальный фон для жаркого писательского слова о типичной судьбе батрака на Дону в дореволюционной России. «...Мне хотелось,— говорил А. С. Серафимович,— заострить внимание тогдашнего «образованного общества» на жестокой эксплуатации батраков, из так называемых «иногородних»,

[1] Газ. «Правда», 1933, 20 января.

показать, как они живут в забитости, с горя пьют и неудачи вымещают на своих близких» [1].

Показывая кабальный изнурительный труд на «вражьей земле» («Вражья земля»), тяжкую участь деревенской женщины, унижаемой в своем женском достоинстве («Чибис»), Серафимович не ограничивается географией Дона, но рисует и деревню Центральной России (повесть «Галина»), где наряду с крестьянством показаны и представители интеллигенции и духовенства. «В этой повести, написанной накануне Февральской революции,— говорил Серафимович,— я стремился обрисовать безвыходное положение деревни.

Тут я изображаю центральную полосу России... Во время наездов я встречался с разными либеральными деревенскими деятелями: земскими врачами, учителями и пр. Наблюдения постепенно накоплялись, укомплектовывались и «вынашивались» [2].

Характерно, что именно повесть «Галина» была вырвана из подготовленного уже к выпуску сборника «Слово» «Книгоиздательства писателей в Москве», когда недавние друзья и единомышленники Серафимовича по творческому объединению «Среда» исключили его из своих рядов за сотрудничество с большевиками и работу в газете «Известия». В своем ответе «Среде», опубликованном в тех же «Известиях», Серафимович писал: «Сам по себе случай маленький, но, как в капле, отразилась в нем вся громада событий... представители русской литературы, расписавшиеся за мужика, за рабочего, солдата, очутились по одну сторону пропасти, а эти самые мужики, рабочие, солдаты — по другую».

Десятки телеграмм, резолюций рабочих, студенческих и солдатских собраний, писем, полученных писателем в эти дни, ярчайшим образом свидетельствовали о том, что сам Серафимович прочно занял позицию рядом с революционным народом, на стороне народа.

Г. Ершов

---

[1] А. С. Серафимович. Собр. соч., т. V, М., ГИХЛ, 1947, стр. 346.

[2] А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 328.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В ДЫМУ ОРУДИЙ

Поход. Первая публикация не установлена. В 1901 году рассказ вошел в сб. «Очерки и рассказы», изданный в Петербурге Б. Звонаревым. В последнем прижизненном издании напечатан с пометой «1896—1897 гг.». Рассказ носит автобиографический характер.

Термометр. Впервые — газ. «Русские ведомости», 1914, 25 декабря, под рубрикой «Раненые тыла».

Встреча. Впервые — газ. «Русские ведомости», 1915, 27 ноября.

Следопыты. Впервые — московская газ. «Вечерний курьер», 1915, 12 октября и 15 октября.

На побывке. Впервые — газ. «Русские ведомости», 1915, 21 июля. В Собрании сочинений, М., 1930, т. XI, изменена концовка рассказа.

Двое. Впервые — сб. «Сполохи», кн. 10, М., 1916.

Две смерти. Впервые, под заглавием «Два пропуска»,— журн. «Красная панорама», 1926, № 45.

Только уснуть. Впервые — газ. «Известия», 1918, 5 апреля (23 марта), под рубрикой «Впечатления».

Красный праздник. Впервые — газ. «Известия», 1918, 5 мая (22 апреля), под рубрикой «Впечатления».

Дон. Первая публикация не установлена. По свидетельству самого автора, очерк напечатан в июле — августе 1919 года.

На родине. Впервые — газ. «Известия», 1918, 10 апреля (28 марта), под рубрикой «Впечатления».

Подарки. Впервые — газ. «Правда», конец 1918 года.

По усам текло. Впервые — газ. «Правда», 1918, 15 декабря, под рубрикой «Впечатления».

Политком. Впервые — газ. «Правда», 1918, 24 декабря, под рубрикой «Впечатления».

На позиции. Впервые — газ. «Правда», 1918, 12 декабря, под рубрикой «Впечатления».

Ни то ни се. Впервые — газ. «Правда», 1920, 30 мая, под рубрикой «Впечатления».

Несите им художественное творчество. Впервые — газ. «Правда», 1920, 12 сентября, под рубрикой «Впечатления».

Белопанская армия. Впервые — газ. «Правда», 1920, 23 мая, под рубрикой «Впечатления».

На панском фронте. Впервые — газ. «Правда», 1920, 22 мая, под рубрикой «Впечатления».

Красная Армия. Впервые — газ. «Правда», 1920, 29 мая, под рубрикой «Впечатления».

Мокрый ветер. Впервые — газ. «Петроградская правда», 1920, 9 марта, под рубрикой «Впечатления».

Борьба. Впервые — газ. «Правда», 1920, 15 марта.

Два течения. Впервые — газ. «Правда», 1920, 1 мая.

Тиф. Впервые — газ. «Правда», 1920, 14 марта.

В штабе. Впервые опубликован в 1920 году. Точная дата публикации не установлена.

Наказание. Впервые — кн. «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., 1958. Рассказ носит автобиографический характер.

Раненые. Впервые — Собр. соч., М., ГИХЛ, 1959, т. 5. Написан для цикла «В Галиции», но не был опубликован по цензурным соображениям.

Ненависть. Впервые, под заглавием «Ночь», — газ. «Правда», 1918, 15 ноября, под рубрикой «Впечатления».

Фабрика. Впервые — газ. «Правда», 1918, 19 ноября, под рубрикой «Впечатления».

Самоисцеляющая сила. Впервые — газ. «Правда», 1918, 24 ноября, под рубрикой «Впечатления».

Бой. Впервые — газ. «Правда», 1918, 11 декабря, под рубрикой «Впечатления».

Львиный выводок. Впервые, под заглавием «Волчий выводок»,— газ. «Правда», 1918, 29 декабря. Заглавие было изменено в последнем прижизненном Собрании сочинений.

В теплушке. Впервые — газ. «Правда», 1918, 1 января, под рубрикой «Впечатления».

Гниющая язва. Впервые — газ. «Правда», 1920, 19 сентября, под рубрикой «Впечатления».

Животворящая сила. Впервые — газ. «Правда», 1923, 17 апреля. Здесь суммированы впечатления, которые нашли отражение в очерках «Несите им художественное творчество» и «Гниющая язва».

Адимей. Впервые, под заглавием «Когда пришел Октябрь»,— журн. «Экран», 1926, № 43.

«История Адимея была подробно мне рассказана в Тебердe... Адимей был одним из обманутых, отсталых бедняков, сражавшихся в начале революции против советской власти. Потом Адимей стал председателем Совета, активным советским работником» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 448).

Год. Впервые — журн. «Красная нива», 1926, № 48.

Корреспондент «Правды». Впервые — газ. «Правда», 1927, 6 мая.

«Старый, дореволюционный корреспондент,— говорит А. С. Серафимович,— выуживал материал на верхах, в штабах, в канцеляриях. А я понял, что мне необходимо прежде всего стать как можно ближе к красноармейской массе — и именно здесь, в ее гуще, черпать свой материал. Ведь воевал народ за народные цели, и я писал теперь для народных масс. Пришлось, конечно, беллетристику на время оставить. Сама жизнь выдвинула на первый план очерк» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 448—449).

Товарищка Дора. Отрывок, впоследствии вторая часть рассказа,— журн. «Делегатка», 1926, № 3, под заглавием «Товарищка Дора»; первая часть рассказа — журн. «Новый мир», 1927, № 12, под заглавием «Дора», с подзаголовком «Отрывок из романа «Борьба».

Впервые полностью напечатано в Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

Девушка гор. Впервые — журн. «Экран», 1927, № 28.

Два брата. Впервые — газ. «Красная звезда», 1928, 23 февраля.

Преображение. Впервые, под заглавием «Кусочек воспоминаний»,— журн. «Знамя», 1933, кн. 2.

Бригадир. Впервые, под заглавием «В степи»,— журн. «Огонек», 1938, № 35—36; затем, под заглавием «Зубами от смер-

ти»,— в Сочинениях А. С. Серафимовича, М., 1939. Название «Бригадир» рассказ получил в последнем прижизненном Собрании сочинений.

В ДЕРЕВНЕ

Вражья земля. Впервые — газ. «Земля и воля», 1917, 30 июля.

Чибис. Впервые — газ. «Русские ведомости», 1911, 30 июня.

Галина. Впервые — Собр. соч., т. X, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1918.

Бунт. Впервые — журн. «Безбожник у станка», 1924, № 12.

ДЕТИ

Мишка-упырь. Впервые — сб. «Утро», М., 1909, с посвящением: «Толке и Игрушке» (Толка — старший сын Серафимовича Анатолий; Игрушка — младший, Игорь).

Полосатый зверь. Первая публикация не установлена. Автор относит рассказ к 1913 году. Вошел в сб. «Воробьиная ночь», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1916.

В бурю. Первая публикация не установлена. Вошел в Собр. соч. в 4-х томах, СПб, «Знание», т. 1, 1903.

Воробьиная ночь. Впервые, под заглавием «Маленький паромщик»,— журн. «Семья и школа», 1916, № 1.

Змеиная лужа. Впервые, под заглавием «Божья искра»,—детский журн. «Проталинка», 1914, № 12.

«Яркий деревенский «самородок»... Таких «самородков»... было много в дореволюционной России, но они увядали, не успевши расцвесть»,— так определил тему рассказа сам писатель (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 441).

Три друга. Впервые — журн. «Семья и школа», 1914, № 1.

По словам писателя, он «хотел дать типичную хуторскую середняцкую семью, всецело поглощенную хозяйством, и представить, как в таких семьях живут и вырастают дети» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 436—437).

Лесная жизнь. Впервые, под заглавием «В лесу»,— журн. «Семья и школа», 1908, № 1.

«Я отобразил в рассказе обстановку своей ссылки. Дана природа нашего севера,— окрестности города Пинеги (бывшей Архангельской губернии). Тут много озер с лесистыми островами. Местность очень живописна, тогда она была почти дикая, нехоже-

ная. Хотя ссыльным, под страхом строгой ответственности, не разрешалось охотиться, тем не менее я, бывало, прячу под шубу ружье и отправляюсь на охоту. Иногда уходил на далекое расстояние. Отправлялся обычно не один, а с кем-нибудь из местных крестьян, иногда с мальчиками, которые вполне заменяли взрослых. Они прекрасно ориентировались в лесной обстановке, подчас очень трудной. Приходилось попадать во время охоты в разные затруднительные положения,— мальчики умели быстро находить выход» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. IV, М., ГИХЛ, 1947, стр. 471).

Медведь. Впервые, под заглавием «Веселая ночь»,— детский журн. «Проталинка», 1914, № 1. Позднее, после Октябрьской революции, рассказ был коренным образом переработан и в таком виде появился в сб. рассказов «Юные труженики» (М., 1923).

Рассказ отражает впечатления от поездки на Кавказ в 1913 году.

Капля. Впервые — газ. «Донская речь», 1898, 30 августа, с подзаголовком «Сказочка для детей».

Это рассказ-аллегория. «Многим, даже оппозиционно настроенным против царского строя, тогда казалось, что самодержавие стоит прочно в веках, как могучая скала, что ему износу не будет. Надо было разъяснить, что непрерывно идущая десятилетиями подпольная революционная работа подтачивает, как подпочвенная вода, стекающая каплями, устои самодержавия» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. III, М., ГИХЛ, 1947, стр. 372). В те годы, разрабатывая запретные темы, Серафимович не раз обращался к аллегорической форме («Рождественские рассказы», 1899; «Маленькая сказка», 1900; «Светочи», 1901, и др.).

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В ДЫМУ ОРУДИЙ

I

Поход 7
Термометр 29
Встреча 34
Следопыты 39
На побывке 46
Двое 52
Две смерти 74
Только уснуть 79
Красный праздник 89
Дон 91
На родине 98
Подарки 101
По усам текло 105
Политком 108
На позиции 114
На то ни се 121
Несите им художественное творчество . . . 124
Белопанская армия 126

На панском фронте 129
Красная Армия 131
Мокрый ветер 134
Борьба 137
Два течения 139
Тиф 141
В штабе 143

II

Наказание 147
Раненые 156
Ненависть 164
Фабрика 166
Самоисцеляющая сила 168
Бой 170
Львиный выводок 176
В теплушке 182
Гниющая язва 192
Животворящая сила 195
Адимей 197
Год 205
Корреспондент «Правды» 213
Товарищка Дора 217
Девушка гор 228
Два брата 232
Преображение 235
Бригадир 237

В ДЕРЕВНЕ

Вражья земля 245
Чибис 253
Галина 266
Бунт 346

ДЕТИ

Мишка-упырь 363
Полосатый зверь 414

В бурю 432
Воробьиная ночь 447
Змеиная лужа 455
Три друга 468
Лесная жизнь 482
Медведь 488
Капля 495

Г. Ершов. На стороне народа 500
Примечания 504

Александр Серафимович
СЕРАФИМОВИЧ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том III

Редактор тома
Н. Г. Цветкова

Оформление художника
Е. В. Шворака

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 15.02.80. Подписано к печати 12.05.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л. 27,72. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 1276. Заказ № 1974. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70685